ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[5] 2001

РОМАН ИНГРИД НОЛЛЬ "АПТЕКАРША" / СТИХИ И ЭССЕ МИШЕЛЯ УЭЛЬБЕКА / "ЦИРК НА ЧЕРДАКЕ": ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ РОБЕРТА ПЕННА УОРРЕНА / ЭССЕ ЛЮДВИКА ВАЦУЛИКА / РАССКАЗЫ АНДЖЕЯ СТАСЮКА / СОНЕТЫ МИЛАНА ЕСИХА / О ФЕНОМЕНЕ ГАРРИ ПОТТЕРА

Основан в 1891 году

[5]

2001

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Анджей Стасюк. *Рассказы.* Перевод с польского М. Курганской и Т. Изотовой. Вступление Т. Изотовой

15 Мишель Уэльбек. *Стихи и эссе.* Перевод с французского Ирины Кузнецовой

27 Ингрид Нолль. *Аптекарша.* Роман. Перевод с немецкого Г. Шевченко. Вступление М. Рудницкого

136 Ингер Эдельфельдт. *Прогулка.* Рассказ. Перевод с шведского Е. Ермалинской

140 Милан Есих. *Сонеты.* Перевод со словенского Жанны Гилёвой

Из классики XX века

144 Роберт Пенн Уоррен. *Цирк на чердаке.* Повесть и рассказы. Переводы с английского. Вступление А. Зверева

Статьи, эссе

221 Гао Синцзянь. *Обоснование литературы.* Нобелевская лекция 2000 года. Перевод с китайского Д. Н. Воскресенского

Д. Н. Воскресенский. *Тернистый путь нобелевского лауреата Гао Синцзяня*

239 Людвик Вацулик. *Эссе разных лет.* Перевод с чешского Юзефа Преснякова

252 Ирина Каспэ. *Народ за Гарри Поттера*

262 *Послание директора библиотеки Конгресса США Джеймса Биллингтона поэтическому вечеру, посвященному 5-й годовщине со дня смерти Иосифа Бродского*

Возвращаясь к напечатанному

264 Сергей Дубин. *Действительно ли scripta manent? "Элементарные частицы" Мишеля Уэльбека два с половиной года спустя*

Среди книг

269 Наталья Старосельская. *Житие Агасфера.*

Ю. Виноградова. *Между небом и землей.*

Алиса Романова. *"Серый кардинал" – за кулисами современности*

Курьер "ИЛ"

279

Авторы номера

283

© "Иностранная литература", 2001

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Жоржи Амаду
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
Т. П. Карпова
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников

Из общего тиража
Институт "Открытое
общество" ежемесячно
выкупает и направляет
в библиотеки России
и ряда стран СНГ
1 700 экземпляров;
Министерство культуры
РФ выкупает для
библиотек 1000
экземпляров; финансовую
поддержку журналу
оказывает также
Министерство печати РФ.

Анджей Стасюк

Рассказы

С польского

"Иностранная литература" сравнительно недавно знакомила читателя с Анджеем Стасюком ("ИЛ", 1998, № 4) и теперь вновь к нему возвращается. Такое внимание не случайно. Стасюк — прозаик, поэт и литературный критик — один из самых популярных в Польше писателей среднего поколения. Его книги переводятся на другие языки; интерес к нему за пределами Польши подтвердили, в частности, и посвященные его творчеству полосы газет, выходивших в дни Международной книжной ярмарки во Франкфурте в конце прошлого года.

Любопытна уже биография Стасюка, в которой можно разглядеть черты хулигана и романтика, не желающего следовать стереотипам и бездумно подчиняться тому, что навязывают традиции и привычки. Его исключали из лицея, из техникума, из профессиональной школы. Он был участником движения пацифистов. Дезертировал из армии, за что полтора года провел в тюрьме (так появились его тюремные рассказы — дебют, принесший ему известность). Сотрудничал с нелегальными журналами. А в какой-то момент, отказавшись от всех городских соблазнов, решил сменить шумную столичную жизнь на деревенское уединение. Живет на юге Польши, в Бескидах, ведет натуральное хозяйство, разводит овец, связь с миром поддерживает через электронную почту.

В нашей публикации сведены вместе небольшие рассказы из разных изданий. Именно в малой форме максимально ярко проявляются ценнейшие особенности прозы Стасюка, позволяющие называть его мастером зримого слова, лириком, обладающим фантастически тонким восприятием мира природы, с одной стороны, и с другой — бытописателем, душевно привязанным к миру предметов, в которых — как уверяет Стасюк — растворена жизнь человека.

"Я никогда не предполагал, — пишет в газете "Тыгодник повшехны" известный прозаик Генрик Гринберг, — что возможно так живописать словом. Все взвешено и обдумано, и я не знаю в прозе более метких и поразительных метафор".

© by Andrzej Stasiuk 1997, 1999
© Т. Изотова. Вступление, 2001

Как-то в самом начале творческой карьеры Стасюка назвали "писателем факта". Но уже тогда, сочетая в себе несочетаемое, он позволил критикам разглядеть в своей прозе и тот "удивительный метафизический свет", который стал вскоре опознавательным знаком художественной индивидуальности Анджея Стасюка.

Т. Изотова

P*aris* – L*ondon* – N*ew* Y*ork*

А когда маленький прицеп пана Генека съезжает с горы, это смахивает на атаку старинной кавалерии: многоцветье, флажки и шум среди пламенеющих деревьев осени, среди багрянца и золота, навстречу сухому восточному ветру; на галоп легкой конницы; на рысь отряда латников со скрежетом, бряцанием и скрипом разболтанных доспехов и шелестом реющих знамен, — но перед мостом пан Генек вынужден притормозить и в деревню вкатывается уже вполне солидно, легко и тихо. Останавливается в огненном пятне сентября, выходит и ждет возле своей лавки, а мотор дымит разогретым маслом, как загнанный механический конь. Но вокруг пусто. Появляются только две собаки. Обнюхивают колеса, пускают на них струйку и снова обнюхивают, чтобы проверить, не совершили ли какой ошибки, — как все собаки на свете, везде, где крутятся резиновые колеса автомобилей. Потом собаки медленно отправляются по своим делам, и пан Генек остается один на ветру. Ничего не происходит. Лишь неизвестно откуда доносится запах ольхового дыма. Свет позднего утра проникает сквозь тюль и шифон, нейлон и кружева, тонет в складках хлопка и, наконец, исчезает в суконных драпировках, как в темной воде.

Кроме того, что на вешалках, в открытом ларе прицепа свалены еще разные разности: залежи блузок и рубашек, мешанина легких халатиков и шлафроков, детские пальтишки и убогие платья с вечными складками плиссе, змеиные гнезда колготок и экзотических легинсов, телесно-теплые сплетения спортивных костюмов, тут и там спокойная плоская синева джинсов, а рядом взрывы воланов жабо для праздников, именин и свадеб, связки ремешков, похожие на трофеи какого-то первобытного охотника, а внизу, подобные утонувшим в омуте сокровищам, пуговицы: сапфиры, изумруды, рубины, аметисты, жемчуга, бирюза и топазы — и все с двумя или четырьмя дырочками. Наполненное персидской роскошью нутро прицепа дымилось на солнце. Прямоугольная стальная коробка просто кипела. А надо всем, на самой высокой вешалке величественно колыхалось черное кожаное пальто. По нему сновали зеленоватые ящерицы бликов. Пальто было, наверное, тяжелое, потому что ветер едва шевелил его. Оно напоминало грозную хоругвь из глубины древнейших времен, когда по земле ходили огромные твари с выгнутыми, как радуга, хребтами. Сельский пейзаж был пред ним так же беззащитен, как цвета осени. Дикое и траурное, оно будто напоминало, что пришло взять свое. Цивилизация сшила себе наряд из дикого зверя.

© М. Курганская. Перевод, 2001

— Восемь сотен, — сказал пан Генек, когда я пощупал рукав. — Меньше не получится. За один только вес надо дать восемь. Про остальное уж я не говорю.

Да, тяжелое. Такое тяжелое, будто в коже все еще оставалось тело. Мы стояли и разговаривали. Никто не пришел, только ветер нес дым из труб. Где-то ревела корова. Я спросил пана Генека, удается ли вообще что-нибудь продать.

— Когда как и смотря где, — ответил он уклончиво. Его машине было двадцать лет. — Но мотору только десять, — оправдался он с достоинством.

— Ну все же, сколько выходит в день? — напирал я.

— Что-то же надо делать, — ответил он.

У меня не было восьми сотен. Мы поговорили еще немного. Он закрыл створки своего алтаря, и платья, платья-костюмы и пиджаки смешались с клубком второсортной одежды на дне прицепа. Мы попрощались, он включил зажигание, развернулся и поехал в гору. Крыша прицепа, как серебряный панцирь, блестела в полуденных лучах, пока наконец совсем не потонула в металлическом сиянии.

Я легко мог представить себе его путь. Он сворачивал на боковые дороги, которые отходили от главного шоссе, как рыбьи кости от позвоночника. Когда они кончались, надо было возвращаться. В больших деревнях он останавливался у магазина. Тогда подходили женщины, окружали его волшебный сундук, а он раскидывал перед ними трофеи из далеких чужих земель: парижские, берлинские, римские, — как будто вернулся с давней войны, а не просто привез все это с оптового склада. И так являлся им мир, и кружили атомы далекого присутствия неведомых, непредставимых тел. Paris — London — New York. Формы домохозяек с Курфюрстендамм, пространства, еще недавно наполненные пружинистыми движениями шоколадных девушек из Ниццы, шерсть и твид, навсегда впитавшие в себя запах влажного воздуха Темзы; в карманах забытые крошки неизвестно чего — кто-то положил их и не вынул в Бельгии или Голландии, и они прибыли сюда, где небо сейчас обопрется о кромку Карпат и кончится. Вот женщины и касаются этих миров, прикладывают к своим телам, а соседки в роли зеркал кивают с одобрением или говорят: возьми лучше вон то, вон то красное. И, перегибаясь одна через другую, вслепую тянут руки вглубь прицепа, чтобы достать что-нибудь, чего глаза еще не видели, какой-нибудь знак из далекого далека, доказательство того, что, скажем, над Веной и деревней Бодаки простирается один и тот же небосвод, а форма облаков хотя и меняется по пути, но их сущность остается все той же и над озером Леман, и над ручьем Сенкувка, поскольку реальность едина, и в тонкой батистовой блузке кроется слабый, едва уловимый след “Kenzo Jungle”, “Elephant” или “Masumi”. На остановке тормозит автобус, появляются другие женщины, и уже делается оживленней, все полно движения, ведь надо успеть, известное дело: то, что не понравилось, в чужих руках сразу приобретает ценность.

— Возьми своему вон ту.

— Ту?

— Ну да.

— Не будет он ходить в зеленом.

— А красивая.

— Красивая, но он не наденет.

Пальто висит, но никто на него не смотрит. Оно ждет своего часа, который в конце концов должен прийти, так же как когда-то пришло время паровых локомобилей, порошкового молока и общедоступных изображений святых. Время всегда приходит. Оно понемногу просачивается в долину как memento далекого наводнения, которое уже унесло за горизонт города и страны. Paris – London – New York, пуговички из чего-то золотистого и потемневшие блестки на воротничках, на груди ковбойская вышивка, потертые сгибы манжет. Время, худший его вариант, сосланный сюда в наказание, время second hand, когда сорокалетние мужчины встают с утра и, не побрившись, выходят на дорогу, чтобы молча смотреть, как наступает день, и проходит, и не оставляет никаких следов, кроме выкуренной пачки сигарет. На зрителях стоптанные ботинки, они свободны и умирают от сердечного приступа раньше, чем закончится представление. Потом их души путешествуют утренними пяти-, шестичасовыми автобусами. Никто их не замечает. Живые внимательно смотрят в окна в ожидании перемен, будто не понимают, что те уже текут в их жилах вместе с кровью, и отныне будет только так.

– Я бы взяла серую, пан Генек.

– Нету. Серые сразу разлетаются.

– И коричневых тоже нет?

– Нет. Только то, что здесь. Послезавтра поеду за товаром, может, будет.

– А эта зеленая?

– Сто.

– Старыми?

– Ну не новыми же.

– Даже не знаю. Куплю, а он не наденет.

Наконец все пустеет, и холодом тянет от длинных теней. Пан Генек позвякивает в кармане мелочью. Снова пахнет ольховым дымом, и время от времени лают собаки. Земной шар совершает свои обороты в ледяной вечности, неся на спине Европу, та в свою очередь тащит на себе области и районы на юго-востоке, а они легко подхватывают свои секондхэнды, барахленды и тряпэксы, и заграничную одежду, и ежедневно новые поступления, и импортную конфекцию на вес, открыто с восьми, после четырех просим звонить, все выстирано в порошках высшего качества, а внутри – тени тел, как призраки со всех четырех сторон света, как покинутое существование, в которое вселятся другие, потому что человек человеку брат и его форма восходит к единой первоначальной форме. Отсюда это бесконечное шествие образов, в любой из которых можно воплотиться за сотню старыми, отсюда свобода выбора, позволяющая сущности одним движением изменить свою экзистенцию, создавая симбиоз с бытием на первый взгляд ей не когерентным.

Paris – London – New York. Рубашка ближе к телу, и пресуществление мира из метафоры плавно превращается в нечто конкретное, в галицийскую версию Страшного суда, где равенство наступит не благодаря наготе, а благодаря парадоксальной общности одежды, как в Берлине, так и в Горлице, и дальше к югу, где среди запаха ольхового дыма лают собаки с холодной цепью на шее, и автобусы за два пятьдесят делают пируэты на пустых площадях, от которых отходит только одна дорога с одиноким мотоциклистом, медленно взбирающимся в голубоватой дымке выхлопов к прочерченному по линейке горизонту.

Зима

И снова ночь. Золотистый месяц едва проглядывает из-за туч. В неподвижном воздухе снег падает совершенно вертикально. Кажется, будто за большой гардиной где-то далеко горит желтая лампа. А ты — ночной путник, который заглянул в окно чужого дома и увидел бесконечно большую комнату.

Сосед вытащил из сугроба сбившийся с дороги автомобиль, вернулся на своем газике, потушил свет и спит. Лай собак угасает где-то на полпути, тонет в белом пуху, и собаки беспомощно замирают с разинутой пастью, а ответа нет. Так я бы хотел начинать все рассказы. С тел и вещей, потому что мне не хватает веры в воскресение ни тех, ни других. Даже если тела воскреснут, что они будут делать без всего остального? Как найдут свое место в пространстве, если, конечно, и пространство воскреснет? Что они будут делать без своих собак, домов и перемен погоды? Такой страх охватывает меня всякий раз, когда я отыскиваю в себе хотя бы крупицу веры в то, что кто-нибудь когда-нибудь слепит меня заново, поставит на ноги, слегка наподдаст и скажет: ну, иди. А я тогда спрошу: куда, как, зачем и по чему, ведь скорее всего передо мной будет только высочайшего качества бесконечность пополам с вечностью.

Поэтому я так болезненно привязан к вещам, событиям, ничего не стоящим подробностям, перечислениям, мне всегда хочется знать, как что называется, и именно поэтому мне больше нравятся места с обстановкой бедной, а не богатой: предметы там имеют свою истинную ценность и, очень возможно, люди их хотя бы чуточку любят, ведь ничего другого у них нет, — не поклоняются им, а именно любят, даже и не догадываясь об этом. Поклоняться вещам — это свойство богатых. Они любуются своими персонами в каждой зеркальной поверхности и в конце концов сами превращаются в собственное отражение. Их вещи — настолько дорогие, что никогда не ветшают, — и есть их бессмертие.

В такую тихую ночь, как эта, можно услышать, как стареет мир, перегорают лампочки и транзисторы, ржавчина разрушает механизмы, дерево в печи сгорает быстрее, чем растет в лесу, одежда изнашивается и истлевает на наших телах, с каждым мгновением делаясь тоньше и теряя прочность; полное становится порожним, а затем и разбитым, сигарета в пепельнице самостоятельно оканчивает свое существование, изображения и звуки испаряются с магнитных лент, и паста опускается в стержне ручки, а бумага становится хрупкой, как облатка, и даже фальшивое царство искусственных материалов не устоит. Это настоящий мир любви, ибо темная тень утраты висит над ним, как ястреб над добычей.

В древнем городе Левице я видел, как словацкие цыгане сидели перед своими домами, старыми и потрескавшимися. По обыкновению людей свободных посиживали себе на ступеньках, а рядом с ними стояли магнитофоны “грюндиг”, “панасоник” и “сони”, наполненные их музыкой. Вряд ли у них было что-то еще. А потом я себе представил, как однажды навсегда разрывается сердце этой отливающей глянцем машины и наступает тишина, которую ничем не заглушить.

Пять дней валил снег. Исчезли изгороди и дороги. Люди роют тоннели вокруг домов. На коньках крыш громоздятся большие белые подушки. И дует, дует из глубины мира, метет, гонит, стелет простыни, нагромождает

валы и волны. Курильщики по домам пересчитывают сигареты и ждут, пока кто-то выйдет первым и протопчет тропинку. Дорога из Баницы вниз, к Пентне, выглядит так же, как до изобретения колеса, как во времена, когда никто не знал никаких забот и никуда не выезжал. Мир разглаживается все больше и стремится к какой-то идеальной форме с закругленными краями. Проложенные стёжки сразу же исчезают — идешь по чужим следам, будто по целине. В душе гнездится страх, ведь, в конце концов, история вида — это история преодоления обособленности. Из окна можно следить за преображениями пейзажа — до тех пор, пока сугробы не поднимутся до края стрехи. Легко представить себе, как некогда в такую погоду люди пересчитывали спички, следили за падением уровня жидкостей в посуде, за пустеющими мешками, за тающими запасами в поленнице. Тропинка в хлев, тропинка к колодцу — и всё. Конец света и бесконечность времени. Тела упражняются в пережидании, в сменах позы, в неторопливых — чтобы хватило подольше — размышлениях и воспоминаниях. Ну и еще сны — единственное кино из плоти и крови. Два ведра, четыре кастрюли, стол, лавка, кровать, семейные бумаги за иконой, несколько ложек, одежда, нож, кочерга, пара крынок. Меня преследуют сельские и архаичные видения, потому что уже давно я не очень верю в воскрешение тел, потому что нагота и самодостаточность минули вместе с райским грехопадением, и теперь мы ничего не стоим без вещей, которые нас окружают, — ведь мы отдали им часть наших бессмертных душ, и нам пришлось бы все взять с собой, чтобы предстать перед Всевышним в относительной целостности. Да. Поэтому я обращаю взор к временам кочерги, четырех кружек и пары портков на смену, поскольку все это еще можно было связать в узелок и унести с собой, когда наступал твой час.

Где-то далеко перегретые машины пытаются пробиться сквозь холодный пух и выбиваются из сил. Гусеницы пробуксовывают. Стальные днища подгребают под себя утрамбованный снег, и нужно подавать назад, разгоняться, начинать сначала; и в конце концов металл гнется, лопается, в жопу эту работу, говорит Качмарек и вылезает из кабины, чтобы посмотреть, что стало с массивным, сваренным из швеллерной стали рычагом отвала. Дизель работает ровно, преобразует топливо в энергию, энергия устремляется в трубу и расплывается в буром небе над поселками. Из хат выходят мужики и окружают бульдозер. Садятся на корточки, как вокруг больной коровы. Порывы ветра подхватывают их белое дыхание и дым от сигарет. Пахнет разогретым маслом, а ночь конденсируется над горизонтом, как пар на холодном стекле. Мужики греются в тепле машины, пинают ее, обстукивают и сплевывают — нет ведь на свете таких, кто не разбирался бы в тяжелых машинах. Перепады давления сотрясают внутренности мотора — впуск, сжатие, работа, выхлоп, — но снаружи это проявляется только в легкой вибрации, и тепло волнами расходится в воздухе. Наконец машина двигается с места, а они идут за ней по разрытому снегу, и через десять минут в темнеющем воздухе видны мертвенные отблески искр электрической сварки, а вечер несет их вдаль, как будто предвещая грозу. Мужики отворачиваются и зажмуривают глаза. Морозный воздух пропитывается дьявольским запахом расплавленного металла, и сигареты приобретают странный посторонний привкус.

Двор Хрынача, где они стояли, загорался серебряным светом, и четверо мужчин в темноте дощатого навеса, мерцающего магниевыми вспышками, выглядели вполне неправдоподобно. От электрической ду-

ги все вокруг озарялось каким-то доисторическим сиянием, светилось, как мир в начале творения, и трудно было различить людей, потому что их тела отражали свет так же, как и весь валяющийся вокруг ржавеющий хлам: колеса со спицами, рамы прицепов, выпотрошенные, перевернутые кузова, скелеты циркулярок, останки трактора, позвоночники коленчатых валов, лопнувшие от мороза канистры, перманентная коррозия под руку с постиндустриальной печалью, — и даже когда мужчины двигались, в этом предвечном свете их движения казались нервными, прерывистыми, лишенными плавности, свойственной организмам, в которых течет кровь. Это был своеобразный Вифлеем, тот осиянный ртутным свечением хлев, чьи лучи достигают самых отдаленных уголков мира, чтобы воскрешать и высвобождать из мрака безбрежные свалки машин, станков, аппаратов и разных мелких механизмов.

Хрынач закончил, отложил маску, выбросил из держателя остаток электрода и сплюнул на остывающий раскаленный шов.

— Гнёцца не ламёцца, — пошутил. — Пять минут выдержит.

К людям вернулся их прежний облик. Качмарек вскочил на сиденье, машину бросало из стороны в сторону, пока она задом не выехала на шоссе, вращая натертыми до блеска гусеницами, похожими на огромные браслеты. Бульдозер направился прямо на юг, чтобы через час исчезнуть в сыпучей, все сгущающейся белизне. Мужики смотрели вслед удаляющейся машине, и когда отвал бульдозера вошел в первый сугроб, они услышали, как тарахтенье мотора смешалось с тишиной долины и через мгновение почти пропало.

Хрынач погасил свет, закрыл ворота и сказал:

— Занесет, заметет и захерачит.

И снова ночь. Мир катится как снежный ком, и белизна налипает на него все более толстым слоем. Еще выступают наружу леса и отдельные деревья. Сугробы ложатся вокруг домов плавными волнами или серпами. Все тихо, неподвижно и нездешне. Окрестности все больше напоминают макет вечности. Очертания стремятся к идеалу, различия сглаживаются, температуры выравниваются — и все труднее приходится детали, этому прибежищу дьявола. С тем, что выпадет из кармана, можно попрощаться, по крайней мере до весны. Собаки бегают туда и обратно по протоптанной тропинке. Мое сердце тоскует по неразберихе, по бардаку, по хаосу, по "жили-были дед и баба"... Зима — это коварство идеи, которая прикидывается материей, чтобы ввести нас в искушение при помощи обтекаемых форм, круговых траекторий и гармоничных фигур, предвещающих идеальную реальность капли логоса, разведенной в стакане с космосом.

И только дома́ хранят остатки хаоса. Можно переставлять вещи с места на место до тех пор, пока они не утратят своего смысла. Сгустившаяся жизнь приобретает самые архаичные формы. Сидишь, посиживаешь, полеживаешь, принимая позу эмбриона, чтобы тело оказывало текущему времени как можно меньшее сопротивление. Тепло внутри циркулирует по замкнутому кругу. В девять вечера гаснет свет, и стекла окон отражают общемировое свечение кинескопов. Белые тарелки антенн кажутся половинками черепов, которые, прежде чем расколоться, заключали в себе, должно быть, мозг сверхъестественных размеров. И когда вокруг тяжелеет, наслаивается и пухнет неподвижность, изображения на 21-дюймовых "самсунгах", "дэу" и "куртисах" под Божьей Мате-

рью и Сердцем Иисуса разгоняются, как карусель на Вшолковых Лонках. Эдек возвращается из хлева, принося с собой запах сена и навоза, и когда наконец усаживается за стол, его рука инстинктивно тянется к черному пульту телевизора. Его затвердевшие пальцы с трудом нащупывают кнопки, но он знает их расположение наизусть и не ошибся бы даже в полной темноте. В конце концов, всем этим невидимым волнам, которые приносят изображения людей, борющихся со временем и богатством, тоже приходится на ощупь преодолевать бездны мрака, прежде чем они доберутся до здешних мест. Когда жена ставит на стол жареную картошку с салом, Харада как раз делает шестнадцатый круг. Он входит в вираж – левое колено едва не задевает покрытие, – и через мгновение его красный "сузуки" движется уже как по струнке, с ревом открытой до конца дроссельной заслонки и оставляет позади яркие обтекаемые фигурки соперников.

– В среду должны делать прививки, – говорит жена, – но, наверное, не доберутся.

– А если и доберутся, то закрой Бурека и суку в хлеву и отведи только Азора, – говорит Эдек.

– Они лаять начнут, – говорит жена.

– Пусть лают, – отвечает Эдек и нажимает кнопку, чтобы избавиться от победоносного Харады. Теперь из глубины атмосферы появляется поблескивающий Майкл Джексон, делает несколько движений бедрами и тоже пропадает в электронном вихре, чтобы освободить место для троих загорелых мужчин в светлых костюмах. Мужчины идут вдоль берега, а за голубой водой не видно горизонта. Ветер шевелит перистые листья пальм. Картинка меняется, и теперь один из этих типов в открытой машине пересекает расцвеченный неоновыми огнями город.

– Я не буду платить за трех собак по десять злотых с головы, – говорит Эдек и перемещает палец. На зеленой лужайке Джон Траволта наклоняет голову, разгоняется, а на него бежит черный бык. Прежде чем они столкнутся, с синего неба над горлицким районом сходит белый ангел с теннисной ракеткой, и наемные убийцы, и бронзовые ленивые женщины на лежаках, пеперминт, Лас-Вегас, Годзилла, Рурк, борцы, фильмы ужасов и порно, голубоглазые президенты, и кто дальше въедет на восемнадцатиколесном велосипеде в груду песка, семь чудес света, или сады Семирамиды, а также серфинг на Бермудах.

– И пять было бы слишком, – говорит жена.

– Кошек попрячут, – говорит Эдек. – Кошек не видно.

– Так и кошек тоже? – спрашивает жена.

– Писали, что тоже, – отвечает Эдек.

– И тоже по десять?– спрашивает жена.

– Тоже, – отвечает Эдек.

– Уж лучше утопить, – говорит жена и забирает пустую тарелку.

А потом, как всегда, все гаснет, и древнейшая тьма спускается и на Эдека, и на Качмарека, и на Хрынача, и на остальных. Сменяются сны, а она все длится и длится, и дает силы. Она смывает и затопляет события и вещи, укрепляет тела. Так было от сотворения мира и так будет, чтобы мы не умерли от чрезмерности.

Переводы М. Курганской

Из сборника "Дукля"

Праздник весны

КОГДА лягушки выходят из-под земли и отправляются на поиски стоячих вод — это знак, что зима уже обессилела. Белые языки лежат еще в темных расселинах, но дни их сочтены. Вода едва вмещается в русла ручьев, и даже сквозь стены дома слышен этот подвижный и монотонный шум. Из четырех стихий только у земли нет своего голоса.

Но речь о лягушках, а не о стихиях. Так вот, вылезают они из своих нор и держат путь к канавам и лужам, к неподвижной, более теплой воде. Их тела похожи на комья лоснящейся глины. Если день солнечный, луг оживает: десятки, сотни лягушек тянутся вверх по склону. Собственно, увидеть этого нельзя, потому что кожа их имеет оттенок, близкий к цвету бурой прошлогодней травы. Взгляд улавливает единственно свет и движение. Они еще полусонные и холодные, так что прыгают медленно, усилие от усилия отделяет долгий отдых. Если солнце светит под соответствующим углом, их шествие превращается в вереницу коротких вспышек. Они загораются и гаснут, словно блуждающие огоньки среди дня. Уже тогда они объединяются в пары. Температура лягушачьей крови, как известно, такая же, как у окружающего мира, и когда в ясное, но припорошенное инеем утро лягушки копошатся внутри пятен тени, не исключено, что по их жилам перемещается красный лед. Но и тогда уже они ищут друг дружку и прилипают одна к другой таким причудливым двухголовым и восьминогим образом, что Тося кричит: "Смотрите! Лягушка несет лягушку!"

Все это происходит в придорожной канаве. Целый день солнце нагревает воду, и только во второй половине дня безлистые вербы бросают на ее гладь нерегулярную сетку тени. Здесь нет стока, ветер сюда не добирается и ни один ручей не впадает, но поверхность воды живая и тягучая. Она напоминает спину большой змеи: сверкает, переливается, отражает свет, холодный блеск скользит, растекается, дробится и не застывает даже на миг.

Сначала — только лягушки. Одни темно-коричневые, бурые, почти черные, с тигровым узором на бледно-желтых лягушачьих ляжках; другие более крупные, цвета высохшей и покрытой пылью глины — эти в воде слегка краснеют, приобретая теплый тон, и тогда видно, что они сделаны из мяса. Пары соединяются в четверки, одиночки пристраиваются к парам, потом из этого образуются восьмерки, десятки, возникают лягушиные шары о несчетном количестве ног. Похоже на диковинных животных начала времен, когда формы жизни не были еще упорядочены, когда еще продолжался эксперимент над материальным выражением бытия.

Вскоре появляется икра. Сначала прозрачная, будто водяной сгусток, потом ее делается все больше и больше и она приобретает сверкающий темно-синий оттенок. Вода исчезает совершенно, бесформенная инертная субстанция сползает на самое дно канавы. Вспугнутые тенью приближающегося человека, лягушки ныряют, неуклюже, с трудом. Скользкая,

© Т. Изотова. Перевод, 2001

ленивая и тяжелая, словно ртуть, материя выталкивает их обратно на поверхность. Сопровождается это звуком, похожим на бульканье в животе.

Когда все уже закончено, небо остается голубым от края и до края. Так же неподвижна поверхность воды. Лягушки ушли, осталась только икра и тела тех, что не выжили. Они всплывают, белея своими брюшками, изо рта у них тянутся бледно-розовые нитки внутренностей, точно какие-то изощренные разновидности водорослей. И это — знак того, что весна уже наступила.

Ласточки

С началом сентября все переменилось. Совершенно так, как если бы у неба было нутро. Однажды утром синева прорвалась и выпустила ветер, смешанный с ледяным дождем.

Погода была — в самый раз для водки. Дом дрожал от порывов ветра, и стропила скрипели, будто корпус какого-то парусника. Нас раскачивало, и требовались большие усилия, чтобы не уронить ни капли из маленькой, наполненной до краев стопки. Мы пили за холод и за ветер.

Капли дождя тянулись с севера, похожие на серые нити, и терялись где-то на юге, будто вовсе не касаясь земли. В этом буром вихре исчезли формы и очертания. Лес и реку можно было распознать по шуму, становящемуся все громче. Но могло быть и так, что их сорвало с места, и теперь они носились по свету, сплетенные в клубок.

— Будто с цепи спустили, — сказал Весек. Наверное, он подумал о ветре.

На второй день появились ласточки. Они были всегда, поэтому мы не обратили на них внимания. Только вот количество... В два, в три, в десять раз больше обычного. Они тяжело летали над самой землей, будто хотели спастись от ветра, вырваться из него, спрятаться. Некоторые укрывались под навесом крыши, вцепившись лапками в стену. Это было единственное сухое место.

На следующий день утром мы находили их мертвые тела. Они весили — всего-то ничего. Мы поняли тогда, сколько сил должен иметь такой вот комочек перьев, чтобы противостоять буре.

Дождь не переставал ни на секунду.

После обеда мы приоткрыли окно. Пять ласточек влетели внутрь. Они уселись на печке под потолком. Мы могли брать их в ладони. Они не пытались улететь. Барабанный стук их сердец был невероятно быстрым.

Утро наступило солнечное. Мы выпустили птиц. Собрали мертвые тела, рассеянные вокруг дома. Когда огонь хорошо разгорелся, осторожно засовывали их в печь.

Дождь

В пять утра снова начинается дождь. Первые капли ударяют о камни с мягким отзвуком лопающихся шариков. Пламя зари сияет еще над черным краем горы, и ливень наполнен серебряным светом. Но это продолжается лишь минуту. Пелена туч скользит беззвучно, снизу виден ее мохнатый край. И опять все как обычно. Вот уже неделю

мы пребываем в этом странном мире, где свет словно лишился сил. Он крадется по стенкам, пытается отрывать от поверхности предметы, но те будто намагничены. Они поглотили не только его сияние. Они и сами постепенно исчезают, уменьшаются, проваливаются в себя. В середине дня нужно зажигать лампу, чтобы их найти.

Мы смотрели, как серый гребень дождя расчесывает заросли. Высокие травы ложатся на бок, а вода просачивается между стеблями в пористый грунт, журчит в тоннелях, прорытых насекомыми и мышами, находит дорогу к подземным озерам, которые увеличиваются с каждым днем, поднимаются — и на плоских лугах начинают блестеть темные зеркала. Но в них ничего не отражается. Из воздуха исчезли все крупицы света. Пейзаж хотя и пребывал на своем месте, но краски сблизились, и целокупность мира умещалась между черным и мрачно-зеленым.

Мы тоже постепенно исчезали. Не помогали ни сигареты, ни кофе — одна чашка за другой. Кровь наша была разжижена. Она текла все медленнее. В какой-то из дней я поранил палец, и из него стала сочиться прозрачная жидкость, похожая на сок растения. Ведь человек состоит главным образом из воды, и двух недель дождя хватает, чтобы тело его превратилось в то, чем было изначально. Водяная пыль, туман и изморось проходили сквозь кожу и оставались внутри. Даже водка, обычно горячая и быстрая, сейчас догорала в жилах с грустным шипением: стопка как отсыревшая спичка, и только.

Во время коротких прояснений на заре или за минуту до заката свет приобретал болезненную интенсивность. Он тогда стремительно увеличивался в объеме и искал выхода. Слышны были шум и свист, а надорванные края туч оранжево раскалялись. Но это длилось лишь минуту, и снова сгущалась шелестящая дождистая тьма.

Однажды приехал почтальон в резиновом плаще. Конверты были похожи на мокрые носовые платки. “Все пропитывается, — сказал он. — Приходит уже размякшим”. Ничего нельзя было прочесть. Слова расплылись, наверное, еще до того, как были написаны. Тогда мы окончательно потеряли надежду.

Мороз

НОЧЬЮ температура упала до минус тридцати. Круглая луна висела под темно-синим сводом, и все напоминало сон, в котором видны едва лишь контуры событий, вводящих в искушение. Мы знаем, что это опасно, но не хотим пробуждаться.

Воздух был неподвижен и натянут до предела, и никакой звук не мог в нем укрыться. То, что обычно затихало через минуту, сейчас длилось до бесконечности, потому что такой мороз замораживает даже время, сплавляя его в единое целое с воздухом и светом. Эта новая материя имела звучность металла.

Мы шли старой трелевочной дорогой, наезженной санями для перевозки срубленного леса. Даже самые крошечные предметы и формы отбрасывали тень. Ледышка, след полоза, отпечаток зимней подковы, сломанная веточка — у всего этого имелся свой черный двойник. Кора буков отливала стеклянным блеском. Белое, серебряное и черное соединялись в изысканные сочетания, наделяя реальность знаком вопроса. А если даже и не реальность, то во всяком случае цель и смысл восприя-

тия. Дыханием смерти веяло от этого пейзажа. Реки промерзли до самого дна, птицы гибли на лету, в лесу раздавался треск лопающихся деревьев. Это был лютый звук, потому что тишина превращала его в бесконечность. Мертвые, жесткие хлопки длились в пространстве, словно в вечности, длились, словно совершенная модель беспросветной печали.

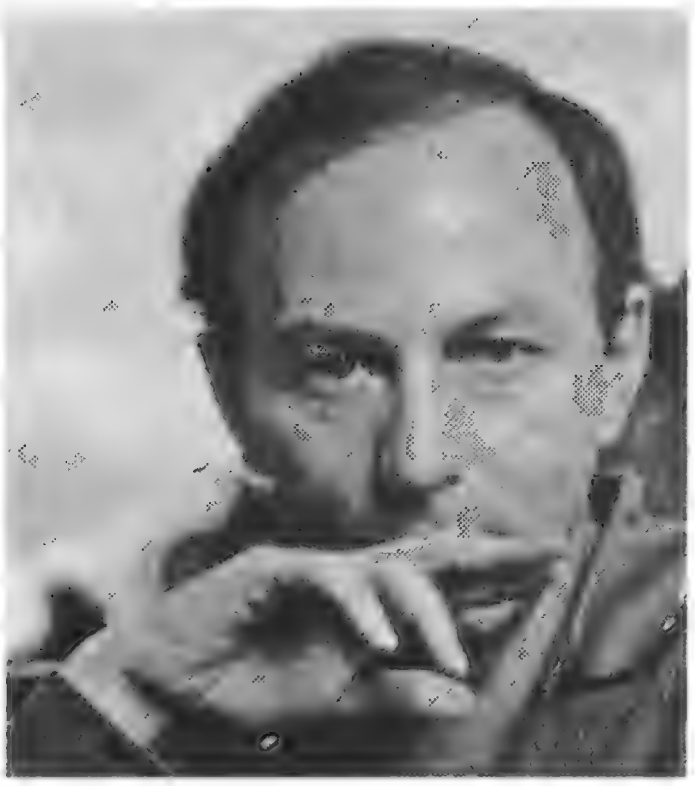
Потом дорога закончилась, и мы по едва протоптанному следу вышли на голый перевал.

Внизу лежала земля. Опрокинутая навзничь, распростертая и отданная леденящему свету. Невидимая неподвижность сочилась с небес и заполняла все укромные уголки, дупла, ямки под корнями, расщелины в скальных обрывах над Завоей, внутренности деревьев, тела зверей, человечью плоть, пористую структуру камней, стены, дома, стебли сухих трав, снопы, запасы еды, собачьи конуры, кошачьи чердаки, мысли, сны и страхи перед засыпанием; все вокруг теряло свою изменчивую природу, стремилось к неизменности, к воплощению грез, в сторону, где альфа сплетается с омегой, а сущность пронизывает существование, как сладостная дрожь — ступни и ладони пьяного на морозе.

Снег люциферически искрился. Соблазн всегда облекает себя в одежды эстетики. Звезды мерцали сверкающими иголочками. Вещи беспредельные, равнодушные и прекрасные зовут нас к самому своему краю и, быть может, наблюдают, как мы колеблемся над пропастью, одинаково одолеваемые желанием и страхом. Ртутный свет луны стыл и дрожал в долине у наших ног. Выразительность темного пейзажа преодолевала его реальность. Мы слышали собак. Гавканье долетало с юга, но никакой деревни там не было, так что, очевидно, этот лай блуждал среди замерзших просторов воздуха, словно обратившаяся в звук фата-моргана. Возможно, застывшее пространство сохранило эти отголоски с прошлой зимы, и наша хилая беседа полушепотом тоже должна быть сохранена, и нас услышат люди через год или через сто лет. Наконец усилием воли мы заставили себя двинуться дальше. Было что-то трусливое в этой нашей суетливости. Мы пытались ускользнуть черным ходом. Вроде каких-то усердных земляных созданий, занятых сохранением крупицы тепла в теле, в то время как весь остальной мир просто существовал и великодушно расточал себя.

Переводы Т. Изотовой

Мишель Уэльбек



Стихи и эссе

Перевод с французского Ирины Кузнецовой

Из книги "Смысл борьбы"

***

Долгое единение с природой не в моей натуре –
Слишком много беспорядка и всяческих зарослей, шмыгают
какие-то существа.
Я люблю цитадели, построенные в лазури,
Мне нужна вечность – или уверенность в ней сперва.

Внимательный осмотр земляного покрова в сосновом бору позволяет выявить глубокую дисгармонию среди образующих его веточек, иголок и сучьев. Эта дисгармония, как показывает наблюдение, порождает целый особый мир, она же определяет судьбу насекомых. Насекомые скрещиваются, озабоченные выживанием, полностью зависящим от случайностей. Их общественная жизнь представляется ограниченной.

Я так и не смог принять до конца кантаты Иоганна-Себастьяна Баха –
Слишком правильное в них соотношение звучанья и тишины,
А мне нужен вопль, поток разъедающей магмы, ощущение
натиска и размаха,
Чтобы пробить безмолвие тьмы.

© Flammarion, 1996, 1997
© И. Кузнецова. Перевод, 2001

Мое поколение, похоже, открыло заново секрет музыки идеально ритмичной и, следовательно, идеально скучной. От музыки до жизни — один шаг. Не по заказу и не корысти ради, просто служа человечеству, я одну за другой зажигаю упрямо спички поэзии. К счастью, вирус СПИДа не дремлет.

Полдень

Улица Сюркуф блестит, как склянка,
В сетке ливня магазин колбас,
А влюбленная американка
Пишет другу сердца в Арканзас.

Жизнь струится за глотком глоток;
Под зонтами прячась близоруко,
Ищут выход — непростая штука —
Смертные меж паникой и скукой
(Выброшен окурок в водосток).

Жизнь на малой высоте. Безлюдье.
Вялый темп бульдозера в траве.
Кончилась одна из интерлюдий —
Час сидения в пустом кафе.

Убийственное возвращение мини-юбок

Девушки в метро, легко ступая,
Порождают стресс и волны хмеля,
Адски соблазнительные в мае.
(Я ушел на службу без портфеля.)

Поискать любви в толпе вокзальной?
Или "сексуальных приключений"?
Нет, на вещи я смотрю реально,
Только временами столбенею.

Пломбы на вагонах, знаки "стоп"
Вдоль путей (маршрут Балар-Кретей).
Тут я попросту упал как сноп.
Был один из лучших майских дней.

Так весны открытье состоялось —
Юбок сногсшибательный балет.
Времени почти не оставалось
(Но я знал: покоя плоти нет).

Из книги "Погоня за счастьем"

***

Бывают мгновения, когда буквально слышишь насмешливое шуршание времени, ускользающего среди тишины и уюта,
И смерть опережает нас по очкам.
Становится скучно, и соглашаешься ненадолго отвлечься от главного, сделать какое-то нудное, но необходимое дело, считая, что оно займет три минуты,
А после с тоской замечаешь, что два часа улетучились почему-то.

Время безжалостно к нам.

Иногда вечерами кажется, будто день пролетел за четверть часа,
и, естественно, начинаешь думать о возрасте, торопиться,
Пытаешься блефовать, чтобы разом наверстать полгода, и не находишь ничего лучше, как опять исписать страницу,
Потому что — за вычетом редких моментов истории и нескольких личностей, чьи имена нам известны из книг, —
Лучший способ обыгрывать время — не пытаться прожить в нем сполна, ловя каждый миг.
Место, где наши поступки вписываются в гармонию мира, где они волшебно последовательны и свободны от противоречий,
Где все наши "я" дружно шествуют рядом без раздоров и драм,
Где правит абсолют, где идеалы вечны,
Походка — танец, а слова — псалом,
Не существует на земле,

Но мы туда идем.

Ощущение холода

Утро было светлым, чистым, как кристалл.
Ты терять свою свободу не хотела.
Ждал тебя, на птиц смотрел и знал:
Предстоит страданье, что бы я ни сделал.

***

I

Я катил на “пежо”, на своем сто четвертом
(Двести пятый, конечно, машина покруче).
Капал дождь. Я не стану бороться, всё к черту!
А в кармане три франка и мелочи куча.

Я не знал, как мне быть: скоро съезд на Кольма́р[1],
Но разумно ли будет съезжать с автострады?
Пишешь ты: “Надоело. Ты псих и фигляр.
Всё, конец! Я по горло сыта этим адом”.

В отношеньях, короче, возник холодок –
Да, проходит любовь, это старая тема.
Но я духом не пал и, проверив гудок,
Затянул потихоньку мотив из “Богемы”.

II

Немцы – свиньи, но асы по части дорог,
Так мой дед говорил, человек очень тонкий.
Я был близок к истерике, гнал на восток
И приветствовал гладкость германской бетонки.
Это было как бегство, я больше не мог,
Нервы сдали совсем от бессмысленной гонки.

Бак пустел, но до Франкфурта хватит и трети,
Там друзей заведу, и, сосиски жуя,
Будем с ними шутить и смеяться над смертью,
Обсуждать судьбы мира и смысл бытия.

Обогнав два фургона, везущие мясо,
Я запел, водворясь на своей полосе.
Ничему не конец! Замаячил над трассой
Образ радостей жизни в их зыбкой красе.

1. Город на западе Франции, недалеко от границы с Германией. (*Прим. перев.*)

Оставаться живым

Руководство для начинающих

Сначала страдать

> "Мироздание кричит. Бетон чувствует силу ударов, когда по нему бьют, ломая стену. Бетон кричит. Трава стонет на зубах животных. А человек? Что ж говорить о человеке?"

Мир — это непрерывно расширяющееся пространство страдания. В основе мира — ядро страдания. Всякое существование есть разрастание и сжатие. Вещи страдают, пока не начинают быть. Небытие, прежде чем стать бытием, содрогается от боли: в отвратительных пароксизмах.

Живые организмы развиваются, усложняются, делаются разнообразнее, но их основа остается неизменной. Когда достигается определенный уровень сознания, раздается крик. С него начинается поэзия. Членораздельная речь также.

Первый поэтический импульс — обратиться к началу начал. То есть — к страданию.

Разновидности страдания, разумеется, заслуживают интереса, но это не главное. Всякое страдание годится, всякое страдание хорошо, всякое страдание приносит плоды, всякое страдание есть мир.

Годовалый Анри лежит на полу в грязном подгузнике; он орет. Мать, постукивая каблуками по плиткам пола, ходит мимо в поисках лифчика и юбки. Ей некогда, она опаздывает на свидание. Это маленькое орущее создание, копошащееся на полу в собственном дерьме, выводит ее из себя. Она тоже начинает орать. Анри заходится еще пуще. Она уходит.

У Анри отличный шанс стать поэтом.

Марку десять лет. Его отец умирает в больнице от рака. Этот полутруп, опутанный резиновыми трубками, — его отец. Только взгляд еще жив, он выражает страдание и страх. Марк тоже страдает. Ему тоже страшно. Он любит отца. Но ему уже начинает хотеться, чтобы отец поскорее умер, и он винит себя за это.

Марку следует потрудиться. Он должен развить в себе особый и весьма плодотворный вид страдания: Священное Чувство Вины.

Мишелю пятнадцать. Он ни разу не целовался с девочкой. Ему хочется танцевать с Сильви. Но Сильви танцует с Патрисом, и ей это явно нравится. Мишель застывает: музыка проникает в самую глубь его существа. Это великолепный медленный фокстрот, красоты необычайной. Он и не знал, что можно так сильно страдать. Его детство до сих пор было счастливым.

Мишелю никогда не забыть этот контраст между тем, что творится в его душе, окаменевшей от страдания, и потрясающей красотой музыки.

Мальчик развивается в правильном направлении.

Мир состоит из страдания потому, что он, в основе своей, свободен. Страдание есть необходимое следствие свободного взаимодействия частей системы. Вам надлежит это знать и говорить об этом.

Вам не грозит счесть страдание целью, к которой надо стремиться. Страдание *есть*, следовательно, быть целью не может.

Нанося нам рану за раной, жизнь чередует коварство с открытой жестокостью. Их надо уметь распознавать. Поупражняйтесь. Изучите эти формы досконально на собственном опыте. Разберитесь, в чем их различие и что между ними общего. Тогда многие противоречия разрешатся сами собой. Это добавит вашим словам силы и проникновенности.

Из-за специфики современной эпохи проявления любви сегодня практически сведены к нулю. Но идеал любви остается прежним. Пребывая, как всякий идеал, вне времени, он не может ни измениться, ни исчезнуть.

Отсюда несоответствие между идеалом и реальностью, вопиющий разлад, богатейший источник страдания.

Все решается в период отрочества. Если у вас сложилось представление о любви хоть сколько-нибудь близкое к идеальному, хоть сколько-нибудь благородное и возвышенное, вы пропали. Вас уже ничто не спасет, вам всегда будет мало того, что есть.

Если вы не встречаетесь с женщинами (оттого что вы застенчивы, некрасивы или по какой-либо иной причине), читайте женские журналы. Это обеспечит вам почти такой же накал страдания.

Прочувствовать до конца всю беспредельность отсутствия любви. Культивировать ненависть к самому себе. Ненависть к себе, презрение к другим. Ненависть к другим, презрение к себе. Все перемешать. Обобщить. В любых ситуациях заранее считать себя проигравшим. Мир как дискотека. Накапливать разочарования, чем больше, тем лучше. Научиться быть поэтом значит разучиться жить.

Можете любить свое прошлое, можете его ненавидеть, но оно всегда должно стоять у вас перед глазами. Надо достичь полного знания о самом себе. Тогда, постепенно, ваше глубинное "я" отделится и выскользнет к солнцу; а тело останется: распухшее, отечное, раздраженное — готовое к новым страданиям.

Жизнь — серия испытаний на прочность. Выдержать первые, срезаться на последних. Погубить свою жизнь, но *не до конца*. И страдать, всегда страдать. Научиться чувствовать боль всеми клетками своего тела. Каждый осколок мира должен ранить вас лично. Но вы обязаны остаться в живых — во всяком случае, на время.

Не пренебрегайте застенчивостью. Кое-кто даже считал ее единственным источником внутреннего богатства, и доля истины в этом есть.

Потому что в момент расхождения между намерением и поступком происходят интереснейшие психологические явления. Человек, у которого это расхождение отсутствует, недалеко ушел от животного. Так что застенчивость — превосходный стартовый толчок для поэзии.

Развивайте в себе чувство обиды на жизнь. Горечь — необходимая составляющая всякого настоящего творчества.

Конечно, в какие-то минуты жизнь может вам показаться просто бестолково устроенной. Но горечь всегда должна быть под рукой, наготове — даже если вы предпочтете ее не выражать.

И постоянно возвращайтесь к истокам, которые суть страдание.

Когда вы почувствуете, что вызываете у окружающих испуганную жалость, смешанную с презрением, знайте: вы на верном пути. Можете начинать писать.

Использовать членораздельную речь

> "Сила становится движением, когда она приходит в действие и это действие разворачивается во времени."

Если вам не удастся выразить свое страдание во вполне определенной, четко структурированной форме, вам крышка. Страдание сожрет вас живьем изнутри, раньше чем вы успеете что-либо написать.

Структура — единственное спасение от самоубийства. К тому же самоубийство не решит ваших проблем. Представьте себе на минутку, что Бодлеру в двадцать пять лет удалась попытка самоубийства.

Верьте в структуру. Верьте в древние законы метрики. Версификация — мощный инструмент внутреннего освобождения.

Не считайте своим долгом изобретать новые формы. Новая форма — большая редкость. Одна на столетие — уже хорошо. И ее совсем не обязательно создает великий поэт. Поэзия не есть работа над языком, это не главная ее задача. Слова находятся в юрисдикции общества в целом.

Новые формы в большинстве своем создаются не на пустом месте, а отпочковываются со временем от старых. Инструмент подгоняется, прилаживается, претерпевает какие-то мелкие изменения. И новизна становится очевидна не сразу, а лишь на последнем этапе, когда произведение закончено. Этот процесс вполне сопоставим с эволюцией в животном мире.

Вначале вы испускаете нечленораздельные крики. Потом у вас часто будет возникать искушение к ним вернуться. Это нормально. Поэзия предшествует членораздельной речи.

Давайте волю крику всякий раз, когда чувствуете, что вас распирает. Это освежает, как купание в реке молодости. Но имейте в виду: если вы не научитесь хоть иногда выныривать из нее, вы погибнете. Запас прочности в нашем организме не беспределен.

В пароксизме боли вы не сможете писать. Но если чувствуете в себе силы, то все-таки попытайтесь. Результат, скорее всего, будет жалким. Скорее всего — но не обязательно.

Никогда не "работайте". Писать стихи — это не работа, это удел.

Если какая-то конкретная форма (к примеру, александрийский стих) требует от вас чрезмерных усилий, откажитесь от нее. Такие усилия никогда себя не оправдывают.

Но нельзя отказываться от усилия главного, постоянного, состоящего в том, чтобы не поддаваться апатии. Это усилие совершать необходимо.

В вопросах формы не стесняйтесь противоречить себе. Отклоняйтесь от избранного направления сколько угодно. Не слишком заботьтесь о том, чтобы иметь цельную "творческую индивидуальность": она и так у вас есть, хотите вы того или нет.

Не пренебрегайте ничем, что может дать вам хоть чуточку душевного равновесия. Счастье не для вас, это ясно, и ясно давно. Однако если вам вдруг подвернется какое-нибудь из его подобий, ловите его. Не раздумывая.

Все равно это ненадолго.

Ваша жизнь — сплошное страдание. Вы вознамерились выразить его в упорядоченной словесной форме. На этом этапе ваша задача — прожить как можно дольше.

Выжить

> "Литература все-таки единственный вид деятельности, позволяющий не зарабатывать ни гроша, не рискуя стать посмешищем."
>
> *Жюль Ренар*

Мертвый поэт писать не может. Отсюда необходимость оставаться живым.

Это довольно простое соображение, но следовать ему бывает порой нелегко. Особенно в периоды затянувшегося творческого бесплодия. Поддержание собственной жизни вдруг начинает казаться мучительно бессмысленным — ведь все равно уже ничего не написать.

Возразить тут можно только одно: вам не дано этого знать. И если вы трезво посмотрите правде в глаза, то вынуждены будете согласиться. Потому что истории известны самые невероятные случаи.

Если вам не пишется, это может быть предвестием перемены формы. Или темы. Или и того и другого. Или действительно предвестием вашей творческой смерти. Но вам это неведомо. Вам никогда не будет

по-настоящему ясна та часть вас самих, которая побуждает вас писать. Она приоткроется для вас лишь в самых общих чертах, весьма противоречивых. Эгоизм или самоотверженность? Черствость или сострадание? Все объяснения выглядят на свой лад убедительно. И это лишний раз доказывает, что вы ничего не знаете. А раз не знаете, то и не ведите себя так, будто знаете. Перед вашим неведением, перед этой таинственной частью вашего существа будьте честны и смиренны.

И дело не только в том, что поэты, которые живут долго, больше успевают написать. Старость — время совершенно особых физических и психологических процессов, и обидно было бы это упустить.

Вместе с тем надо признать: выжить необычайно трудно. Теоретически можно избрать *стратегию Пессоа*: найти какую-нибудь скромную службу, ничего не публиковать и тихо ждать смерти.

Однако на деле это таит серьезные трудности: ощущение, что время уходит впустую, что вы не на своем месте, что вас недооценивают... Все это очень скоро станет невыносимо. Пьянство практически неизбежно. В итоге вас ждет желчность и озлобление, а за ними неминуемая апатия и полное творческое бесплодие.

Как видите, этот путь имеет свои минусы, но, в принципе, он единственный. Не забывайте о психиатрах — они выписывают больничные листы. Однако длительное пребывание в психушке следует исключить: слишком вредно. Это средство крайнее, и к нему можно прибегать лишь как к альтернативе жизни под мостом.

Формы социальной помощи (пособие по безработице и т. п.) надо использовать в полной мере, равно как и финансовую поддержку более состоятельных друзей. И пусть вас не слишком мучают угрызения совести. Поэт — это священный паразит.

Поэт — священный паразит; подобно скарабеям в древнем Египте, он может благоденствовать на теле богатого развращенного общества. Но есть для него место и в сердце общества сильного и аскетичного.

Вам не надо бороться. Борются борцы на ковре, а поэты — нет. Но все-таки надо хоть изредка публиковаться: это необходимо, чтобы могло иметь место *посмертное признание*. Если вы не опубликуете некий минимум (пусть всего лишь несколько стихотворений в малоизвестном журнале), потомки вас не заметят, точно так же как не замечают современники. Будь вы хоть гений из гениев, но должны оставить зримый след. А дальше положитесь на литературных археологов: они откопают остальное.

Не исключено, что из этого ничего не выйдет, так часто бывает. Но нужно по крайней мере раз в день повторять себе, что главное — сделать все, что в ваших силах.

Полезно изучать биографии любимых поэтов: это поможет избежать некоторых ошибок.

Следует усвоить, что проблема материального выживания не имеет хорошего решения. Зато плохих имеет очень много.

Вопрос, где лучше жить, как правило, не стоит: будете жить там, где получится. Старайтесь лишь избегать слишком шумных соседей, которые сами по себе способны довести кого угодно до полной интеллектуальной смерти.

Временное трудоустройство может дать некоторые познания относительно функционирования общества, небесполезные, в принципе, для какой-нибудь будущей книги. Жизнь на дне в качестве маргинала приносит знания другого рода. В идеале, следует чередовать.

Другие виды жизненного опыта — такие, как гармоничная сексуальная жизнь, брак, дети, — тоже весьма полезны и плодотворны. Но они почти недостижимы. И в плане художественном это области, по сути, неосвоенные.

Жизнь ваша будет делиться между горечью и тревогой. В обоих случаях может помочь алкоголь. Главное — заполучить передышку, чтобы что-то написать. Передышки будут краткими, постарайтесь ими воспользоваться.

Счастья бояться не надо: его нет.

Бить по больным местам

> "Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины."
>
> *Второе послание к Тимофею, 2, 15*

Не ищите знания ради знания. Все, что не проистекает непосредственно от чувства, в поэзии имеет нулевую ценность.

(Надо, разумеется, понимать слово *"чувство"* в широком смысле: некоторые чувства ни приятны, ни неприятны, таково, как правило, ощущение странности.)

Чувство упраздняет причинно-следственные связи; только через него можно воспринять вещь в себе. Передать это восприятие и есть задача поэзии.

Сходство целей философии и поэзии — источник их скрытого союзничества. Оно не обязательно должно выразиться в сочинении философских стихов — поэзии надлежит открывать мир собственными путями, чисто интуитивными, минуя фильтр умственной реконструкции мира. И уж тем более надо избегать изложения философии в стихах, что чаще всего имеет результатом жалкий суррогат. Тем не менее, именно среди поэтов новая современная философия обретает самых серьезных своих читателей, самых внимательных и восприимчивых. Точно так же только философы, точнее некоторые из них, в состоянии воспринять, вытянуть на свет и осмыслить истины, таящиеся в поэзии. Поэзия способна почти так же, как непосредственное созерцание, — и в гораздо

большей степени, нежели старая философия, — дать им материал для обновления представлений о мире.

Чтите философов, но не подражайте им; ваш путь, увы, иной. Он неотделим от невроза. Пути поэзии и невроза пересекаются и чаще всего на последнем этапе сливаются — поэтическая струя почти неминуемо растворяется в кровавом потоке невроза. Но выбора у вас нет. Другой дороги тоже.

Постоянная работа со своими навязчивыми идеями и состояниями в конце концов доконает вас, превратит в недееспособную развалину, снедаемую тревогой или опустошенную апатией. Но, повторяю, другой дороги нет. Вы должны достичь критической точки. Войти в смертельный вираж. И создать несколько стихотворений, прежде чем разобьетесь о землю. На миг вам откроются необозримые дали. Всякая великая страсть ведет в бесконечность.

Как любовь разрешает все проблемы, так великая страсть в конце концов выводит в пространства истины. В пространства совершенно иные, где находиться мучительно, но где взгляд обретает зоркость и ясность. Где вещи предстают в первозданной чистоте, в прозрачности истины.

Верьте в тождество Истины, Красоты и Добра.

Общество, в котором вы живете, имеет целью вас уничтожить. Вы готовы с ним сразиться. В качестве оружия оно использует безразличие. Вы не можете позволить себе того же. Следовательно, нападайте!

У любого общества есть свои уязвимые места, свои болевые точки. Найдите их. И нажмите как можно сильнее.

Углубляйтесь в темы, о которых люди не хотят слышать. Показывайте изнанку жизни. Напирайте на болезнь, агонию, уродство. Настойчиво говорите о смерти, о забвении. О ревности, равнодушии, фрустрации, отсутствии любви. Будьте отвратительны, и вы будете правдивы.

Никуда не вступайте. Или вступайте, а потом сразу же выходите. Никакая общественная идея не должна привлекать вас надолго. Борьба бок о бок с единомышленниками делает человека счастливым, вам это не нужно. Ваша стезя — несчастье. Ваша сторона жизни — темная.

Ваше назначение не в том, чтобы предлагать какие-то пути, строить теории. Если можете это делать, делайте. Но если приходите к неразрешимым противоречиям, скажите об этом. Потому что ваше главное призвание — докапываться до истины. Вы могильщик и одновременно покойник. Вы тело общества. И вы же в ответе за тело общества. Все ответите как один. Землю жрать будете, сволочи!

Вы должны установить параметры вины и невиновности. Сначала для себя, это даст ориентиры. Но и для других тоже. Изучите их поступ-

ки и смягчающие обстоятельства, потом судите, совершенно беспристрастно. Но не щадите и себя, не щадите никого.

Вы богаты. Вы знаете, что́ есть Добро и что́ есть Зло. Не смешивайте их никогда; не дайте себе увязнуть в толерантности — это печальный признак старости. Поэзия в силах установить непреходящие моральные истины. И свободу от них вы должны ненавидеть всей душой.

Истина скандальна. Но без нее ничего не выйдет. Наивная и честная картина мира — уже шедевр. В свете этого требования оригинальность мало что значит. Не заботьтесь о ней. В любом случае оригинальность неизбежно проявится через сумму ваших недостатков. А ваше дело — просто говорить правду, вот и все.

Невозможно любить одновременно правду и наш мир. Но вы уже сделали выбор. Теперь проблема в том, чтобы от него не отступать. Призываю вас не сдаваться. Не потому, что вам есть на что надеяться, нет. Наоборот, предупреждаю: вы будете очень одиноки. Люди, как правило, приспосабливаются к жизни, иначе они умирают. Вы — живые самоубийцы.

По мере приближения к истине ваше одиночество будет все более и более полным. Прекрасный, но безлюдный дворец. Вы ходите по пустым залам, где эхом отдаются ваши шаги. Воздух чист и неподвижен, все вещи словно окаменели. Временами вы начинаете плакать, настолько четкость очертаний невыносима для глаз. Вам хотелось бы вернуться назад, в туман неведения, но в глубине души вы знаете, что уже поздно.

Продолжайте. Не бойтесь. Худшее позади. Конечно, жизнь еще потерзает вас, но вас с ней уже мало что связывает. Помните: вы, в сущности, уже умерли. Теперь вы один на один с вечностью.

Ингрид Нолль

Аптекарша

Роман

Перевод с немецкого Г. Шевченко

О романе и его переводчике

Трудно поверить, что десять лет назад писательницу по имени Ингрид Нолль в Германии никто не знал, — настолько уверенно и привычно вписалось сейчас это имя в немецкий литературный, да и общекультурный ландшафт, став во многих отношениях символом моды, успеха, неожиданной и в то же время вполне заслуженной славы. Все дело в том, что до начала 90-х годов писательницы Ингрид Нолль просто не существовало — была домохозяйка, мать троих детей, дама уже предпенсионного возраста, чья скромная и по всем критериям сугубо частная жизнь мало кого интересовала. Лишь вырастив чад и выпустив их в самостоятельную жизнь, высвободив наконец себе комнату для работы, она отдалась сочинительству. И судьба, как по мановению волшебной палочки, счастливо переменилась. Сегодня Ингрид Нолль — маститый автор пяти романов, трех повестей, сборника рассказов, лауреат нескольких литературных премий, "немецкая Агата Кристи", как без колебаний аттестуют ее издательские проспекты, рецензенты и интернет-сайты, по ее книгам снято уже два фильма (один из них, 1997 года, по немецким масштабам чуть ли не блокбастер, как раз по "Аптекарше", со знаменитой Катей Риман в главной роли), книги переведены во многих европейских странах, в список которых начиная с этого номера, благодаря традиционной первооткрывательской предприимчивости "ИЛ", вошла и Россия. Надо заметить, что о частном существовании Ингрид Нолль и сегодня мало что известно: кто-кто, а уж издатели знают, как важно окружить успешный имидж аурой таинственности. Вот и об Ингрид Нолль издательские аннотации скупо сообщают только экзотические, "цепляющие" воображение детали: родилась в 1935 году в Шанхае, в Герма-

© 1994 Diogenes Verlag AG Zurich
© Г. Шевченко, наследники. Перевод, 2001
© М. Рудницкий. Вступление, 2001

нию вернулась с родителями в 1949-м, изучала германистику и искусствоведение в Боннском университете, живет в старинном и фешенебельном городке Вайнхайме.

Понятно, что в судьбе Ингрид Нолль по-своему, с поправкой на феминистский бум второй половины минувшего века, реализовался миф о Золушке. Зигзаг ее удачи подается в западной прессе и легко внедряется в массовое сознание именно как пример наглядно свершившейся мечты о женской эмансипации: талант, долго томившийся под спудом бездушного и бездумного мужского угнетения, исполнив постылый долг немецкой домохозяйки, вырвался на долгожданную свободу и явил миру лик хотя и немолодой уже, но счастливо и загадочно улыбающейся литературной принцессы.

Понятно, что и в книгах своих Ингрид Нолль этому имиджу не изменяет: в них всегда и особым образом педалируется тема женской судьбы и женской исповеди. Меньше всего они напоминают классические детективы — с непременным движением повествования (под присмотром всеведущего сыщика или без оного) к торжеству добра над злом, наказания над преступлением. У Ингрид Нолль развитие сюжетной интриги всецело и беззаветно подчинено совсем другой цели — всепоглощающей мечте о женском счастье, в поисках коего героине (как правило, женщине обыкновенной, даже заурядной, с которой миллионам читателей и особенно читательниц так легко себя идентифицировать) приходится противостоять циничному, бездушному, порой попросту сутенерскому миру мужчин и рано или поздно, бунтуя против законов этого мира или, наоборот, им покоряясь, идти на преступление. Деликт оказывается в итоге чем-то вроде праведной мести за вековечную социальную и сексуальную эксплуатацию "слабого пола" и потому, кстати, чаще всего остается безнаказанным. От такого (в данном случае, надо признать, очень изобретательного) смешения детективного жанра, дамского романа и феминистской (правда, на сугубо бытовом уровне) идеологии возникает весьма своеобразное, временами захватывающее "криминальное чтиво" с характерными для нашего постмодернистского времени элементами самоиронии, пародии и черного юмора, с постоянным тяготением художественного целого к некоей "каверзе", обманывающей привычные эстетические и моральные ожидания. Атмосферу этого художественного мира хорошо уловили оформители книг Ингрид Нолль, издаваемых солидным издательством "Диогенес": с суперобложек фрагментами классической живописи на нас смотрят женские лица, так сказать, в состоянии гротеска — разными оттенками коварства и любви, красоты и порока, кокетства и угрюмости, отголосками еще не осознанных желаний и уже отгоревших страстей в них тревожно запечатлелись "потемки" женской души, плутающей где-то "по ту сторону добра и зла".

Перевод этого романа оказался последней работой талантливого филолога-германиста Григория Алексеевича Шевченко (1941—1999), чья жизнь оборвалась безвременно и трагически. Глубокий и разносторонний исследователь, Г. А. Шевченко занимался как историко-литературными проблемами (специалисты знают и ценят его научные труды о немецких романтиках, в особенности об Э. Т. А. Гофмане), так и произведениями современных авторов (Бёлля, Грасса, Эрнста Юнгера и многих других), творчество которых он анализировал тонко и интересно, в широком контексте всей немецкой культуры. Кроме того, в последние годы он с большой увлеченностью писал и о немецком кинематографе (фильмы В. Герцога, В. Вендерса и др.). Мне посчастливилось дружить с Гришей со студенческой скамьи, довольно долго мы работали вместе. Интеллигент в первом поколении, он вырос на рабочей окраине Харькова, поступать на филфак МГУ пришел после службы в армии, имея за плечами и годы трудового стажа. Жил на одну стипендию, учился блестяще. Жизненного опыта и самых разнообразных знаний (он, на-

пример, играл на кларнете, профессионально разбирался в радиоделе, прекрасно фотографировал) было в избытке, однако по части филологической подготовки и общекультурной эрудиции ему, естественно, многое приходилось наверстывать, и он делал это стремительно, с огромным упорством, но и веселым азартом: не зря, невзирая на почти щуплую конституцию, он был на факультете лучшим спортсменом. При этом никогда не был карьеристом и в партию — при своей-то пролетарской анкете — не вступил по убеждению.

Почти вся его трудовая жизнь прошла во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы, где он работал методистом, комплектатором, библиографом и — с особенным успехом — редактором раздела немецкоязычных стран в издававшемся ВГБИЛ журнале «Современная художественная литература за рубежом» (впоследствии «Диапазон»). Все, кому довелось сотрудничать с Гришей Шевченко, помнят его мягкую тактичность и неколебимую порядочность, высочайшей пробы интеллигентность, доброту столь щедрую, что приходилось прятать ее за маской внешней сдержанности, и тонкий юмор, особенно обаятельный и обезоруживающий на фоне все той же внешней невозмутимости. Свою непросто сложившуюся жизнь он сумел прожить честно и с редким достоинством.

М. Рудницкий

1

НИКАКОГО иного добра, кроме необъяснимого гонора да еще высокомерного семейного девиза – "О деньгах не говорят, их имеют", – моя мать от своего клана не унаследовала. По отношению к моему отцу она, как правило, неизменно проявляла почтительность, но в его отсутствие, случалось, входила во вкус поистине первобытной свирепости, достойной ископаемых тиранозавров. Мы, дети, осознали хищность ее натуры не сразу, а лишь когда отец без всякой видимой причины вдруг наотрез отказался есть мясо и стал фанатичным – в пределах семьи, разумеется, – поборником вегетарианства. Впрочем, нам, учитывая потребности наших растущих детских организмов, он иногда великодушно дозволял полакомиться парой ломтиков копченой колбасы, яйцом или крохотной порцией гуляша по воскресеньям.

Зато в четыре часа пополудни, когда другие домохозяйки наконец-то позволяют себе расслабиться за чашечкой кофе, наша толстая, приземистая мама устраивала настоящую мясную оргию – себе, мне и моему брату. Это были долгожданные минуты молчаливого утробного единения, полные запретного, сладостного и постыдного восторга.

Покончив с обильной трапезой, мы, словно шайка убийц за устранение трупа, принимались за тщательную ликвидацию бренных останков всего съеденного, торопясь управиться с этим делом до отцовского возвращения. Ни единой улики не должно было остаться от нашего жуткого и упоительного пиршества – ни костей, ни хрящей, ни пятнышек застывшего жира, ни грязных тарелок, ни даже самого мясного духа. Исступленно чистились зубы, опорожнялось и досконально проверялось мусорное ведро, а всей кухне посредством аэрозольного освежителя воздуха возвращалось прежнее состояние невинности.

Но поскольку я все-таки была папиной дочкой, я очень страдала от своего преступного мясоедения. Так что не случись со мной примерно год спустя главная травма моего детства, я бы, наверно, заимела комплекс вины от мясных прегрешений.

Мой отец любил пословицы и присказки, когда речь заходила о деньгах. Это от него мы сызмальства узнали, что деньги не пахнут, что они на улице не валяются, что они правят миром, хотя и не в них счастье. Но чаще всего он приговаривал: "Деньги – это не вопрос". Тратил он их как заблагорассудится; когда моему брату в одиннадцать лет вздумалось учиться музыке, ему купили неприлично роскошный концертный рояль, который и по сей день загромождает гостиную моих родителей, хотя тренькал на нем братец от силы месяцев восемь. В то же время отец настаивал на том, чтобы линейки, треугольники, фломастеры, заколки и кеды я приобретала на свои карманные деньги. Даже мать не знала, сколько отец получает, но неизменно исходила из того, что зарабатывает он "по максимуму". Однако, поскольку прямо говорить о деньгах у нас было не принято, матери приходилось иной раз выражать свои пожелания в виде тонко завуалированных намеков. Мне к окончанию школы отец подарил малолитражку, хотя именно о таком подарке всегда мечтал мой братец.

Я довольно рано усвоила, что родительскую любовь можно купить усердием и старанием. Родители гордились моими отметками, прилежанием и первыми успехами в роли будущей домохозяйки.

Сохранились детские фотографии, на которых я запечатлена в роли маленькой садовницы – с лейкой в руке и в соломенной шляпке. Отец увековечил меня и в облачении кухарки – в большом клетчатом фартуке я в песочнице затейливо украшаю зубной пастой вылепленные из песка куличи, и еще – last but not least[1] – в роли медсестры: на моей детской постели все куклы и медвежата уложены ничком, а на их якобы поврежденных конечностях – гигантские повязки из туалетной бумаги. У иных из кукол корь, о чем свидетельствует сыпь, щедро нанесенная красным мелком на их мордашки. Я могу припомнить лишь один-единственный случай, когда мой медсестринский пыл вызвал суровое родительское недовольство, – это когда я попыталась путем искусственного дыхания методом "рот в рот" оживить крота, безнадежно и, должно быть, уже не первый день дохлого.

В те годы я еще воображала себя любимицей семьи: милый прилежный ребенок, славная девчушка, безропотно выходившая гулять с косынкой на голове. Когда настало время идти в школу, я и там старалась не обмануть ничьих ожиданий; я была прилежная, любознательная ученица, все больше проявлявшая склонность к естественным наукам. Уже в десять лет я засушивала растения, закладывая их между страниц книг, тем самым положив начало гербарию, который хранится у меня до сих пор. Все во мне и на мне должно быть в чистоте и порядке, комната моя всегда образцово прибрана, и подружек для игр я подбирала таких же, себе под стать, и даже моя колония дождевых червей, которых я разводила в подвале, была с безупречной стерильностью отделена от заложенных на зиму яблок.

1. Совсем не в последнюю очередь (*англ.*).

Однако в старших классах мое чрезмерное прилежание почему-то перестало вызывать дружеское уважение однокашников. Даже такой, казалось бы, пустяк, как моя привычка подчеркивать важные предложения в учебниках ярко-желтым фломастером, да еще и по линейке, стала вызывать раздражение и ехидные шуточки: дескать, у этой зубрилы от усердия даже книги желтеют. Сколько ни старалась я завести себе подружек — у меня их больше не было. А от дежурных похвал учителей мне становилось совсем невмоготу.

И вот, когда мне стукнуло двенадцать, тут-то все и случилось. Была короткая перемена, учительница вышла из класса, а я, как всегда, помчалась в туалет, — я даже туда бегала чаще других, должно быть, от нервного напряжения. Когда, вернувшись, я попыталась войти в класс, дверь почему-то не открылась. Мои одноклассники, человек десять, не меньше, приперли ее изнутри и не пускали меня в класс, через дверь я слышала их приглушенный шепоток и гнусное хихиканье. Вообще-то меня не так просто вывести из себя, но в тот сумрачный зимний день мне с самого утра было тошно, и я не смогла сдержать слезы. Разозлившись, я изо всех сил стала биться в серую обшарпанную дверь, неодолимой преградой отделявшую меня от остальных. До начала урока оставались минуты, надо было мне, дуре, просто дождаться звонка, а уж при появлении учительницы все эти шутники мигом и, конечно же, с самыми невинными физиономиями расселись бы по местам. Но мне было уже не до шуток — я отошла, чтобы как следует разбежаться, и...

Дверь предательски поддалась, словно изнутри ее никто никогда не держал, и я пушечным ядром влетела в класс. Я успела почувствовать сильный глухой удар латунной ручки, за которую ухватилась, обо что-то твердое, и в тот же миг всем на радость растянулась на гладком зеленом линолеуме. Почти тут же в класс вошла учительница. Мои недруги кинулись врассыпную и уже сидели за партами.

Разумеется, первый и главный спрос был с меня. Я ничего не рассказала: ябед в школе не прощают. Когда в классе снова воцарилось спокойствие, вдруг выяснилось, что одного из учеников почему-то нет.

— Аксель закачался и в коридор вышел, — объяснила моя соседка по парте.

Учительница послала одного из мальчиков узнать, в чем дело, но тот вернулся ни с чем. Тогда она сама пошла взглянуть, куда он запропастился, звала его, даже зашла в мальчишечий туалет. Кто-то предположил, что Аксель, наверно, убежал домой — испугался, что во всем обвинят его. Поскольку он и так прогуливал уроки по малейшему поводу и без всякого повода, объяснение всем показалось убедительным.

А через четыре часа Акселя нашли. Как установило вскрытие, он умер от черепно-мозговой травмы — это я нанесла ему смертельный удар дверной латунной ручкой. Он, бедняга, как раз подглядывал за мной в замочную скважину, когда остальные вдруг как по команде отпустили дверь. А потом, то ли от испуга, то ли от боли, убежал в кладовку, где у нас хранились географические карты, и там спрятался. Он скончался от сильного кровоизлияния в мозг.

Потом было самое настоящее полицейское расследование, о котором я, правда, мало что помню. Когда на своей парте я стала находить первые полуанонимные записки, мне, по настоянию родителей, пришлось сменить школу. На вырванных из тетрадки листочках писали всегда одно и то же: “УБИЙЦА”.

Дома я иногда ловила на себе пристальный отцовский взгляд — в его бесконечно усталых глазах стояли слезы.

Так что из этой школы меня забрали и упекли в женскую католическую гимназию, под присмотр монашек-урсулинок, где я и вела себя соответственно — тише воды, ниже травы. Главное — не выделяться, вот что стало теперь моим девизом. Впрочем, никакой враждебности никто здесь ко мне не выказывал; моя старая школа находилась в другом районе, слухи о гибели Акселя сюда не дошли. Я и здесь числилась примерной ученицей, малость занудливой, но безвредной тихоней, и меня это вполне устраивало. И только когда мне стукнуло шестнадцать и во мне пробудилась смутная тоска по противоположному полу, роль тихони перестала меня устраивать.

Воспоминания о моей невольной вине преследуют меня постоянно, а здесь, в больнице, от них и подавно никуда не деться ни днем ни ночью.

В больнице этой, даже в отделении первого класса, максимум, на что можно рассчитывать, это палата на двоих, так что особого покоя тут ждать не приходится. Даже почитать толком не дадут. Беспрестанные набеги медсестер и нянечек, то с градусником, то с очередной порцией таблеток, унылое, но сосредоточенное ввиду отсутствия иных чувственных радостей ожидание пресной больничной кормежки, более или менее безмолвное соучастие в беседах твоей соседки с ее посетителями – все это сообщает больничным будням довольно прочный каркас. Свет мы гасим рано. После чего я, словно Шехерезада, живописую моей соседке по палате госпоже Хирте все более пикантные подробности своей интимной жизни, а вот той, судя по всему, в ответ поделиться нечем. Да и что со старой девы взять – у нее в прошлом ни скандалов, ни любовных похождений. В женскую больницу города Хайдельберга она угодила в связи со срочной операцией по удалению матки. Всего лишь миома, уверяет она, доброкачественная опухоль, в сущности безвредная, но причиняет кое-какие неудобства. Я-то лично считаю, что у нее рак.

Ей, конечно, уже все известно о клейме убийцы, которым я была отмечена в двенадцать лет. Кстати, эту историю она выслушала с жадным и нескрываемым любопытством.

Возможно, я потому и рассказываю про свою жизнь, по сути, первому встречному, что для меня это своего рода терапия, которая к тому же – в отличие от пресловутой кушетки в кабинете психоаналитика – ничего не стоит.

Мне было бы еще легче, перейди мы с ней на "ты", но предложить ей это мне неудобно, я ведь моложе. Чтобы сделать первый шаг в этом направлении, я для начала попросила называть меня просто Эллой. Не тут-то было, она вежливо, но твердо поставила меня на место. Да и чего ждать от человека, который даже к своей так называемой подруге обращается не иначе как "госпожа Рёмер"?

– Будь вам лет этак семнадцать, госпожа Морман, тогда еще куда ни шло...

– Да вы же мне в матери годитесь, – ляпнула я в сердцах.

И, видно, задела-таки ее за живое: она только молча сверкнула на меня очками. Но в целом мы с ней ладим. Просто трогательно, до чего эта женщина скорбит об утрате своей матки, хотя боли переносит стойко, как солдат. В конце концов, ну что в ее возрасте этот изъятый орган? Такое же излишество, как, например, зоб.

Иной раз, когда она сидит в туалете, я тайком заглядываю в ящик ее ночного столика и в шкаф. Из направления больничной кассы я уже знаю дату ее рождения, семейное положение (незамужняя, конечно) и, наконец-то, не только фамилию, но и имя (Розмари); однако никаких личных писем, никаких фото-

графий. Если верить ее словам, деньги и украшения она сдала на хранение в сейф. Держать ценные вещи в палате – это легкомыслие, так она заявила. На вид она не сказать чтобы бедная, да и какая беднячка станет доплачивать за палату первого класса. Ее вещи – духи, ночное белье, халат – тоже не из дешевых и подобраны со вкусом.

Недавно я поведала ей, как еще с юных лет пустилась во все тяжкие и, что называется, вела двойную жизнь. В темноте лица соседки не было видно, но я уверена, что она скорчила презрительную гримасу.

Мужчин я любила таких, которым жилось еще хуже, чем мне. И хотя более чем сомнительные мои похождения оставались в тайне от моих учительниц и соучениц, от домашних они, понятно, не укрылись, всякий раз повергая их в ужас. Должно быть, именно в ту пору отец из-за меня подорвал себе здоровье. Еще бы — его невинное белокурое дитя якшается с подозрительными типами, отбросами общества, бомжами, от одного вида которых его трясет. Добро бы это был кризис полового созревания! Но, к несчастью, и когда он миновал, пристрастия мои ничуть не изменились. Подобно тому как прежде я откручивала ручки-ножки моим куклам, чтобы было кого штопать и лечить, точно так же теперь я повсюду отыскивала больные мужские души, чтобы подвергнуть их спасительному врачеванию. Как выяснилось, мне легче справляться со своими трудностями, когда я нахожу в себе силы преодолевать чужие.

С моих детских фотографий на меня глядит очень живое, даже чуть плутоватое личико. Карие, с искринкой глаза схватывают все на лету. Я всматриваюсь в них сквозь годы, пытаясь уже там, в детстве, разглядеть в них эту жажду во что бы то ни стало добиться любви в обмен на свою опеку, заботу и ласку. Эта сугубо женская потребность, которая обычно обращена на маленьких детей, но находит себе выход и в хлопотах по дому и саду, в кухонных трудах и даже в уходе за больными, в моем случае почему-то искала себе жертв главным образом среди мужской половины человечества. Нет бы моим родителям подыскать мне тогда работу приходящей няни или, на худой конец, купить мне лошадь. Они же вместо этого окантовывали и вешали на стенку свидетельство об успешном окончании мною очередного класса.

Поначалу я даже не отдавала себе отчет, что меня столь неодолимо влекут к себе всякие изгои, больные и невротики. Между тем еще в школе у меня появился друг, употреблявший героин и жаждавший спасения именно и только от меня. Я тоннами поглощала шоколад, ночи напролет наставляя на путь истинный своего плаксивого избранника, и воровала для него у родителей деньги, сигареты и спиртное. Не угоди он за решетку, я, быть может, и по сей день занималась бы его воспитанием. Я ведь в ту пору была золото, а не подруга.

Следующим у меня был безработный моряк. Ну а затем кого только не было в моей коллекции: и депрессивный субъект, и хронический больной, и спасенный мною самоубийца, и даже свежевыпущенный на волю уголовник с наколотым свирепым орлом на груди.

Пополнению коллекции немало способствовала и моя профессия аптекарши. Вопреки строжайшим запретам я не раз открывала в ночи иному замученному ломкой бедолаге, явившемуся ко мне с мольбой о "колесах", не только окошечко в аптечной двери, но и саму дверь.

Чтобы раз и навсегда уяснить для себя свою роль в чужих неустроенных судьбах, я не однажды начинала курс психотерапии, но ни разу не

успевала довести его до конца — слишком много времени отнимало у меня врачевание моих собственных подопечных. К тому же мало-помалу мне и без всякого психотерапевта стало ясно, что меня — внешне такую образцово-показательную, такую благовоспитанную пай-девочку — как магнитом притягивает все, что лежит за пределами буржуазной добропорядочности.

Я сама пугалась этой таящейся во мне бездны; иногда мне снилось, что я, убитая очередным из моих любовников, отправляюсь на тот свет, так и не родив ребенка. Я просыпалась в ужасе, с каким-то щемящим чувством собственного ничтожества, ибо жизнь женщины, не изведавшей материнства, казалась мне зряшной, пропащей. Я знаю цену своему уму и своей образованности, своему трудолюбию, однако мое биологическое предназначение значит для меня ничуть не меньше. Мне так хотелось хотя бы раз приобщиться к таинствам сотворения мира и породить другую жизнь. Время утекало, как песчинки в песочных часах. Все мои помыслы были сосредоточены на будущем ребенке, на этом крохотном существе, которое можно будет лепить по своему усмотрению, воспитывать по велению сердца — холить и лелеять, опекать и защищать. Мне хотелось, чтобы мой ребенок был причастен ко всему, что казалось мне важным в жизни. Он ничем не будет обделен — ни материнской лаской, ни игрушками. И конечно же, у него будет образцовый папа, достаточно интеллигентный мужчина из хорошей семьи, у которого достойная работа и стабильный доход. Правда, мои тогдашние поклонники этим стандартам никак не соответствовали.

Госпожа Хирте мирно похрапывает.

2

Однажды в воскресенье меня пришла навестить Дорит, моя подруга детства. Она может ко мне вырваться, только когда ее Гёро соглашается присмотреть за детьми. Не успели мы войти во вкус нашего традиционного трепа, как в палату ввалилась куча врачей – обход. Дорит из деликатности удалилась в коридор. А нам пришлось отвечать на стандартные, избитые вопросы:

– Ну-с, как мы себя чувствуем? Вены не беспокоят? Шов не болит?

– Когда меня выпишут? – спрашивает госпожа Хирте.

Заведующий отделением, уж пора бы ей знать, не большой охотник брать на себя ответственные решения. Скосив взгляд на мешочек мочеприемника, он отделывается шуткой:

– Что, так с катетером вас и выписывать?

Когда Дорит снова уселась возле моей кровати, я принялась рассказывать ей, до чего мы этого завотделением, доктора Кайзера, терпеть не можем, – тут госпожа Хирте даже соизволила обнаружить свое участие в нашей беседе кивком головы, – в отличие от господина доктора Йохансена, главного врача.

– Понимаешь, он смотрит тебе в глаза секунды на две дольше, чем нужно, – рассказываю я Дорит, – этак и влюбиться недолго.

Усмехнувшись, моя подруга с любезной бесцеремонностью пытается вовлечь в разговор госпожу Хирте.

– Элла не преувеличивает, как вам кажется?

В ответ эта мымра, буркнув нечто нечленораздельное, разворачивает "Вельт ам зонтаг" и углубляется в самый скучный экономический раздел газеты.

Конечно, о семье можно рассказывать днем и ночью, но большинство женщин явно предпочитают истории про мужчин. Для себя я давно решила, что жить госпоже Хирте осталось недолго, значит, она ничего и не разболтает, а коли так, можно подарить ей еще парочку волнительных часов без сна. Истории мои она обычно выслушивает без всякого комментария, но однажды даже у нее вырвалось:

– Да вы просто сумасшедшая!

Меня это крайне позабавило, и теперь меня почему-то так и разбирает желание чем-нибудь еще эту старую перечницу поразить. Обстоятельно, во всех подробностях, я рассказываю ей про Левина.

Когда он показался на моем горизонте, у меня поначалу возникло ощущение, что душеспасительная полоса в моей биографии теперь-то уж позади. Наконец-то у меня появился совершенно нормальный парень, пусть на несколько лет моложе меня и еще студент, но в остальном, что называется, вполне "правильный". Втайне я, конечно же, подумывала о замужестве, о детях, но заговорить об этом первая никогда не отважусь. До таких решений мужчина должен дозревать самостоятельно.

Жизнь у Левина тоже была не сахар, но при этом он не стал преступником, не сел на иглу, не припал к бутылке и не пустился во все тяжкие. Главной причиной его страданий была мать, сразу же после внезапной смерти отца сошедшаяся с другим мужчиной и уехавшая с ним в Вену. Неподалеку, в каком-нибудь получасе езды от Хайдельберга, обитал его удивительно живучий, хоть и тяжелый характером дед, которому, похоже, единственный внук требовался главным образом в качестве посыльного, газонокосильщика и персонального шофера. Кстати, я и познакомилась-то с Левином, когда надумала купить себе подержанный автомобиль.

В моей шкале жизненных ценностей автомобили располагаются где-то по соседству со стиральными машинами. Помимо цены и пробега на спидометре меня интересует в них разве что цвет – и то лишь в той мере, в какой он не бросается в глаза.

В тот день, слоняясь по двору автомобильной комиссионки, я вскоре заметила неподалеку от себя высоченного парня, что расхаживал между рядами машин, изучая картонные таблички с ценой и прочими данными, приклеенные изнутри к ветровым стеклам. Скользнув по нему взглядом, я в поисках дельного совета продолжала высматривать продавца.

– А вот это уже кое-что, – задумчиво проговорил молодой человек, указывая на кабриолет.

Я только помотала головой.

– Да вы хоть раз ездили в открытом автомобиле? – поинтересовался он. – Неужели не тянет подставить упругому встречному ветру ваш хорошенький носик?

Я испуганно подняла на него глаза.

– Сколько он предложил вам за вашу тачку? – спросил он.

– Две тысячи, – призналась я не без досады.

В магазин мы вошли вместе, а там я доверила все переговоры незнакомцу. Если честно, я вообще стесняюсь торговаться. А вот Левин – тот торговался цепко и напористо, как настоящий барышник. Результат переговоров превзошел все мои ожидания, хотя, по правде сказать, приоб-

ретать этот легкомысленный автомобиль вообще-то не входило в мои намерения.

Но не успела я оглянуться, как мы уже совершали пробную поездку, Левин за рулем, я рядом с ним, а пристроившийся на заднем сиденье продавец то и дело что-то орал мне прямо в ухо, расхваливая достоинства своего стального мустанга.

— Зачем же так коротко стричь такие белокурые волосы? — как бы между прочим спросил вдруг Левин. — Они бы так живописно развевались сейчас на ветру...

— Вот и купите себе этот кабриолет, раз уж он вам так нравится. И пусть в нем развеваются на ветру ваши белокурые волосы...

— Наш брат студент о такой тачке может только мечтать...

Так вот, значит, почему на нем такая потертая лётная куртка из секонд-хэнда. Бедный мальчик.

Два часа спустя заносчивый кабриолет нестерпимо алого цвета красовался у подъезда моего дома, а я держала в руках свежеподписанный договор купли-продажи автомобиля в рассрочку.

Еще несколько дней меня мучили подозрения, уж не работает ли Левин у того продавца тайным агентом, — барышники и не на такие уловки горазды. Но я ошибалась.

А потом как-то воскресным утром этот верзила заявился ко мне домой.

— В такую прекрасную погоду... — начал было он.

Пришлось объяснить ему, что я работаю над диссертацией, в аптеке из-за этого перешла на полставки, а значит, и в выходные должна трудиться, чтобы наконец эту проклятую диссертацию добить.

Как-то само собой получилось, что Левин оказался за рулем. Он принес мне раскосые солнечные очки, типичный подарок с блошиного рынка, я в них сразу стала похожа на кинозвезду шестидесятых годов. Обо мне можно говорить все что угодно, называть меня "доброй душой" и даже "своим парнем", но вот к комплиментам по части моей внешности я отношусь настороженно.

Впрочем, льстя мне, Левин, как выяснилось, вовсе не кривил душой. У него было привлекательное свойство — способность по-детски искренне, пламенно воодушевляться.

— Да это же просто сад, я такой красоты в жизни не видел! — воскликнул он, осматривая уже после нашей автомобильной прогулки мою скромную двухкомнатную квартирку и имея в виду балкон. Балкон как балкон, ничем не лучше тысячи других, столь же неряшливо поналепленных по стенам новостроек. Правда, я действительно большая любительница цветов: в ящиках вдоль перил у меня весело перемигиваются желтые, красные и оранжевые настурции, в горшках цветут розы, герани и даже лилии, стальные прутья балконной решетки прихотливо обвивает розовый и белый горошек.

Желая задержать его еще на несколько минут, я предложила пришить оторвавшуюся пуговицу.

Нет, с этим он вполне справится и сам.

— Если руки плохо приделаны, в зубные врачи лучше не соваться.

Я удивилась: с какой это стати он решил податься в стоматологию, по-моему, это совсем не для него.

— А с той же самой, с какой вы решили стать аптекаршей, — парировал он. — Чтобы денег побольше загребать.

Я бросила на него внимательный взгляд, — вот, значит, какого он обо мне мнения.

Во время нашей второй автомобильной прогулки мы уже были на "ты", хотя до нежностей дело так и не дошло. А в третий раз он объявился на пороге квартиры с котенком в руках, коего с сияющим видом мне и вручил. Вынуждена признаться: котят я просто обожаю. Но хотя мне не однажды предлагали котенка, я неизменно отказывалась — как раз из любви к ним и из чувства ответственности. Ведь меня целыми днями не бывает дома, и по ночам часто в аптеке приходится дежурить, да и если уехать захочу — на кого тогда бедного котенка оставить? Все эти мои возражения Левин просто пропустил мимо ушей.

— Это кот, — сообщил он. — Как мы его назовем?

— Тогда кот Мурр, — сказала и с нежностью вспомнила про кота моего деда, которого в детстве очень любила.

— Нет, мне не нравится, — не согласился Левин. — Назовем его Тамерланом.

Так к моему кабриолету добавился еще и кот, хотя ни того, ни другого я себе не выбирала. Стоит ли удивляться, что некоторое время спустя почти помимо моей воли в моей постели оказался молодой мужчина?

Снова и снова я спрашиваю себя: может, Левин все это затеял только ради прогулок на кабриолете? Потому что автомобиль, этого нельзя отрицать, играл в наших отношениях эротизирующую роль, по крайней мере для Левина. Для меня же Левин стал первым любовником, с которым я могла беззаботно смеяться и снова почувствовала себя молодой. Понятное дело, я не расспрашивала его, много ли у него было женщин до меня, но почему-то мне казалось, что не слишком много. Мы достаточно регулярно спали друг с другом, но куда больше времени он уделял нашим беседам. Так что нередко инициатором очередного часа любви выступала я, хотя, если уж совсем начистоту, никакой это был не час и даже не четверть часа.

Иногда мы ездили даже во Франкфурт — просто чтобы сходить в кино. Я-то считала это напрасной тратой времени и денег, ведь тот же самый фильм и в Хайдельберге посмотреть можно. Хотя, не спорю, это было упоительно — мчаться в автомашине рядом с человеком, который от бешеной скорости просто приходит в состояние эйфории.

Да и вообще, это было прекрасное время. Я поклялась себе не поить и не кормить Левина, не баюкать его на ночь, не гладить ему рубашки и уж тем более ничего не печатать ему на компьютере. Но в конце концов, он ведь возится с моим автомобилем, установил в нем два динамика и почти новое авторадио, а отправляясь домой, даже прихватывает с собой кое-какой мусор на выброс, да и коту приносит рыбные остатки из дешевой закусочной "Дары моря". К тому же какой бессердечной стервой надо быть, чтобы не поджарить тощему оголодавшему парню нормальный бифштекс с луком? А в студенческой столовке разве хорошего мяса поешь? Решив не быть мелочной, я сама драила для нас ванну и покупала ему трусы и носки, чтобы после ванны с травяным экстрактом ему было во что переодеться.

Диссертацию свою я почти совсем забросила. Да и Левин меня отговаривал, он считал, что кандидатская степень для аптекарши — просто блажь. Я объяснила ему, что в аптеке я всего лишь продавец лекарств,

пусть и со знанием компьютера, а вот с кандидатским дипломом я могу рассчитывать получить место на крупном предприятии или в научно-исследовательском институте.

— А где заработок больше? — оживился он.

— На предприятии, наверно, ну или если самой аптеку открыть. Но меня-то больше интересовала бы научная работа, особенно в области токсикологии.

Из тактических соображений о своих самых заветных желаниях я предпочла умолчать.

Раз в три недели у меня ночные дежурства; и вот Левин повадился навещать меня во время дежурства на работе, развлекал беседой, между делом интересовался, в чем заключаются мои обязанности.

— Да ничего особенного, — отвечала я. — Вот в аптеке моего деда по ночам еще бывали заказы по индивидуальным рецептам врачей, я такие, к сожалению, делаю сейчас только для двоих-троих кожников старой школы.

Из богатейшего дедовского хозяйства мне, увы, кроме нескольких флакончиков и ступок, ничего не досталось: аптеку его распродали. Левину тем не менее очень хотелось взглянуть, что же перепало мне в наследство.

Из шляпного отделения моего платяного шкафа я извлекла изящные, коричневого стекла аптечные флаконы с написанными от руки этикетками.

— Ну подари хоть один, — тут же принялся клянчить Левин, — я буду держать в нем лосьон после бритья.

И разумеется, выбрал мой любимый флакон — самый маленький и изящный. На выцветшей этикетке фиолетовыми чернилами было выведено: "POISON"[1]. Левин заинтересовался еще больше. Он с усилием вынул притертую стеклянную пробку и высыпал содержимое на шелковую диванную подушку. Из пузырька высыпались маленькие стеклянные колбочки диаметром с ноготь и длиной от двух до четырех сантиметров. Левин прочел вслух: "Apomorphine Hydrochlor., Special Formula No. 5557, Physostigmine Salicyl., gr. 1/600, Poisons List Great Britain, Schedule I"[2] и так далее. Он с любопытством на меня глянул.

— Яд?

— Ну конечно, — ответила я, — А что тут такого? Я же аптекарь.

Левин осторожно открыл одну из колбочек, извлек оттуда вату и вытряс таблетку. Даже я удивилась, до чего она крошечная — с бисеринку, не больше.

Вот что любопытно, продолжал Левин, он слыхал, что в некоторых странах с тоталитарным режимом руководители государства, а также иные лица, имеющие допуск к высшим государственным тайнам, постоянно имеют при себе капсулу с ядом, чтобы при угрозе пыток мгновенно покончить с собой, эта капсула у них в зубе запломбирована.

— Вот уж не думал, что яд может так симпатично выглядеть.

Я молча забрала у него все колбочки, прокипятила флакон в мыльной воде и только после этого отдала.

1. Яд (*англ.*).
2. Апоморфин гидрохлор, специальный заказ № 5557, физостигмин салицил., гр. 1/600, реестр ядов Великобритании, каталог № 1 (*лат., англ.*).

В тот же вечер я ужаснулась и стала осыпать себя упреками: как можно было годами хранить столь опасные препараты просто так, в платяном шкафу? Ведь сколько потенциальных самоубийц оставались в этой спальне на ночь! Хорошо, что времена эти миновали. Решив во что бы то ни стало припрятать яд в более укромном месте, я взяла один из мешочков с сушеной лавандой, высыпала его содержимое в мусорное ведро, сложила туда колбочки и английской булавкой подколола мешочек к подкладке моей длинной шерстяной юбки, которую все равно почти не ношу.

Жизнь Дорит, моей школьной подруги, почти полностью посвящена двоим ее маленьким детям. Так что видимся мы, к сожалению, редко, главным образом когда ей в очередной раз требуется валиум. Но уж тогда мы стараемся отвести душу и поболтать всласть. На сей раз мы сидели в кафе "Овечка", и она опять завела свою старую песню, дескать, нельзя всю себя отдавать только работе, этак у меня никогда не будет ни мужа, ни детей.

— Да что ты, Дорит, какая там работа, у меня новый любовник.

— Честно? Что ж, будем надеяться, тебе хоть с этим наконец-то повезет...

Я пообещала их познакомить.

Хотя Левину было двадцать семь, выглядел он, к сожалению, намного моложе. У него все еще была угловатая фигура абитуриента, аппетит четырнадцатилетнего юнца и восторженность первоклашки. И все же, на мой вкус, внешне он выглядел совсем неплохо, хотя и не настолько хорошо, чтобы все женщины на него бросались: непомерно большой нос странно выделялся на его по-детски розовом личике, отчего вся физиономия казалась слегка асимметричной, как бы чуть скособоченной. С его почти мальчишеской внешностью плохо вязалось то тщеславное упорство в занятиях, с которым он стремился как можно скорее закончить университет.

Как и следовало ожидать, Дорит осталась им недовольна.

— Кое-какой прогресс, конечно, есть, не спорю, — заметила она без энтузиазма. — Но он на тебе никогда не женится, уж с *твоим-то* жизненным опытом пора тебе это видеть.

— Это почему же?

— Господи, да что тут непонятного? Ему мамочка нужна, которая будет носить ему из аптеки анисовые леденцы от кашля, нос утирать и давать машину покататься. А в один прекрасный день, когда ты, еле живая от усталости, будешь ехать домой с работы, ты увидишь его на набережной Неккара с какой-нибудь двадцатилетней мочалкой, которую он будет нежно за ручку держать.

Конечно, Дорит вразумляла меня из лучших побуждений, и, наверно, в чем-то она даже права, ведь, к немалому моему ужасу, похожие сценки, увы, рисовались иногда и в моем воображении. Но кто же способен, руководствуясь одними только доводами разума, выставить за дверь любимого мужчину? Да и не такая уж неимоверная у нас разница в возрасте, — что такое восемь лет в наше время, когда иные старухи выскакивают замуж за юнцов лет на двадцать себя моложе. К тому же и выгляжу я гораздо моложе своих лет. Дорит даже утверждает, что я, дескать, из тех вечных блондинок, которые и в пятьдесят пять выглядят на двадцать с

хвостиком, — теперь осталось только проверить, как сбудется это ее пророчество. (Как удачно, что вот уже два года я хожу с контактными линзами и Левин не видел меня в моих огромных очках.) Кроме возраста было, конечно, и еще кое-что, что нас разделяло, но я в то время еще не вполне отдавала себе в этом отчет. Его страсть к автомобилям я не принимала всерьез, но вот некоторая его поверхностность, что ли, бывало, меня все-таки коробила. Да и восторженность его была какая-то неглубокая и относилась, как правило, к вещам сугубо материальным.

И все же, все же, когда солнечным воскресным днем мы с Левином катили в Эльзас, чтобы со вкусом там пообедать, жизнь и вправду казалась мне прекрасной.

Однажды часа в четыре, когда, сидя на диване, мы лакомились вишневым тортом собственного приготовления, к нам в гости пожаловала Дорит с детьми, — вероятно, чтобы самой удостовериться, вправду ли уж так хороша наша совместная идиллия. Дети тут же устроили кучу-малу — каждому хотелось первым погладить кота.

— В жизни не видел таких милых детей, — сказал Левин, хотя не заметить, как Франц выдернул у сестрицы клок волос, а Тамерлан, шипя, в ужасе метнулся на шкаф, было невозможно.

А Дорит, надо сказать, никогда особой застенчивостью не отличалась. И сейчас каким-то ржавым, ядовитым голосом она задала моему юному бойфренду вопрос, что называется, в лоб:

— Ну а сам-то ты сколько детей заводить собрался?

Я покраснела как рак и уставилась на кота — в сторону Левина я даже взглянуть боялась.

А он совершенно спокойно ответил:

— Двоих, наверное.

Я чуть не бросилась ему на шею и не расцеловала, только вот кто сказал, что в качестве матери этих двоих детей он видит именно меня?

Когда Левин понес на кухню кофейник, Дорит заговорщически мне подмигнула, в ответ на что я жестом показала ей, что при первой же возможности ее удавлю.

Тем не менее я не утаила от нее — рано или поздно все равно пришлось бы об этом рассказать, — что в ближайшее время я снова перехожу в аптеке на полный рабочий день, для начала подменять молодую сотрудницу, которая уходит в декрет, так что диссертацию пока что придется отложить. Но вот о том, что я начала печатать дипломную работу Левина, я, конечно, ни словом не обмолвилась. Это как раз то, чего я не хотела допустить ни при каких обстоятельствах; но когда он пришел ко мне и попросил объяснить, как печатать на компьютере, вид у него был, мягко говоря, довольно жалкий. Как выяснилось, этот на все руки мастер умеет на компьютере только играть в детские игры, больше ничего.

Стыдно признаться, но я и тут была счастлива. Тематика, правда, незнакомая, но довольно скоро я убедилась, что работа у него нетрудная, во всяком случае много проще моей. Я переворошила гору специальной литературы и справочников, узнав необычайно много нового о человеческой челюсти. Даже сейчас, когда столько времени прошло, я без труда могла бы сделать небольшой доклад на тему "Силиконовые пластические материалы для снятия объемных оттисков и особенности их применения в стоматологии".

Видимо, именно в пику отцовскому вегетарианству я стала страстной мясоедкой, хоть и знаю теперь, что для здоровья это не слишком полезно. Поэтому, как правило, больше ста граммов на нос я не покупаю. Но для здорового голодного парня как не сделать исключение? Зато какой это был восторг — вместе наброситься на гигантский бифштекс!

Однажды Левин принес мне разделочный нож для мяса и большую вилку, чтобы раскладывать порции по тарелкам, — семейное серебро с монограммой. Я растроганно изучала изысканный греческий ленточный орнамент, затейливый фамильный вензель и мелкие царапинки, оставленные на лезвии ножа тремя поколениями хозяев.

— Красота какая, — восхитилась я. — Даже не верится, как это твой дед решился с ними расстаться.

— Не то чтобы он так прямо решился, — пробормотал Левин, подправляя нож стальной точилкой. — Просто деду такие вещи уже ни к чему, у него, по причине самой банальной скупости, плохо подогнаны зубные протезы, так что мясо он может есть только в совершенно разваренном виде.

— Нет, это не по мне, — заявила я решительно. — Краденые вещи мне ни к чему, все равно мне от них никакой радости, отнеси все назад.

В ответ Левин только высмеял меня. Он же все равно наследник, рано или поздно оно все равно ему достанется, какой же смысл оставлять прекрасное серебро попусту тускнеть в буфете?

Я сдалась, сочтя похищение серебра шалостью, великовозрастной мальчишеской проказой, и понемногу стала привыкать к фамильным столовым приборам, число которых со временем увеличивалось.

Подруга Дорит только посмеивалась, слушая мои рассуждения о никчемности материальных ценностей; сама она без малейшего стеснения признается, что обожает дорогие вещи и шикарные магазины. Меня при этом она уличала в ханжестве. Дескать, мою позицию следует скорее квалифицировать как Understatement[1]. Я, мол, ненавижу богатство, хвастливо выставляемое напоказ. Зато ухлопать тысячу марок на какую-нибудь мелочь, скажем на японскую фигурку нэцкэ, на изящное колечко в стиле модерн с жемчужинами и эмалью, на дамскую сумочку экстракласса, — это я всегда пожалуйста. Наверно, поэтому у меня не повернулся язык всерьез отчитать Левина, когда он принес мне драгоценности своей бабушки. Вещицы были скорее скромные, правда очень тонкой работы и золотые. Но в конце концов я тоже много всего для него делаю, трачу на него деньги, пекусь об его интересах. Столовое серебро и бабушкины золотые украшения — это знаки его любви, так надо на это смотреть. Теперь бы еще решить вопрос с ребенком...

Среди ночи госпожа Хирте иногда вдруг просыпается, хватает флакончик "Мисс Диор" и торопливо себя опрыскивает. Однажды в ночном полумраке – полной темноты в палате не бывает никогда – я видела, как она надевает на голову наушники своего плейера. Наверно, решила еще раз послушать свои любимые песни Брамса, которые иногда, как, кстати, и свои духи, радушно протягивает мне, будто это коробка конфет...

1. Недосказанность, недоговоренность (*англ.*).

3

О себе она рассказывает мало. Когда меня пришла навестить моя бывшая аптечная шефиня, госпожа Хирте вдруг как-то погрустнела и скисла. Сама-то она никаких сил не жалела, стараясь разгрузить своего шефа, и вот она, благодарность. Стоило ей утратить трудоспособность, как о ней тут же забыли.

Я не большая любительница подобных откровенностей, особенно между женщинами; своей подруге Дорит, например, я только тихо завидую, а она, похоже, не без удовольствия поощряет во мне это чувство. Но тут, к этой незнакомой, в сущности, совершенно чужой мне женщине я впервые в жизни испытала сострадание – чувство, которое прежде во мне пробуждали исключительно мужчины.

Однажды в неурочный час Левин заглянул ко мне в аптеку, хотя знает, что я не люблю на глазах у шефини уходить из-за прилавка в задние комнаты.

– Ну, в чем дело? – нетерпеливо спросила я, строго глядя в его сияющие глаза.

– Как насчет того, чтобы поменять собственную квартиру на общую? – поинтересовался он.

Все что угодно, только не это, пронеслось у меня в голове. Только-только я обжилась в своей маленькой уютной квартирке, очистила ее от всех дармоедов и захребетников, и теперь отказаться от всех этих завоеваний? Если я и соглашусь на такое, то только ради создания своей собственной семьи. Я энергично помотала головой.

– Да ты послушай сперва, – уламывал меня Левин, – у меня в руках, можно сказать, королевские апартаменты для нас двоих, это сказка, а не квартира!

Уверенными, точными движениями своих красивых рук Левин, будто заправский архитектор, принялся набрасывать план.

– Без балкона? – разочарованно протянула я.

– Не совсем, – возразил Левин. – Видишь ли, дом-то в Шветцингене[1], в трех минутах ходьбы от замкового парка. Ты будешь, как княгиня, прохлаждаться в парке на белых скамейках, любоваться фонтанами, кормить уток, да еще и в барочный театр на все премьеры ходить!

В конце концов мы сняли эту большую квартиру в старом доме. Сквозь высокие решетчатые окна свет падал на деревянные полы. По сплетениям дикого винограда Тамерлан мог из окна спускаться прямо в сад и вкушать там все радости привольного кошачьего житья. Однако вскоре помимо балкона мне стало недоставать и еще кое-чего более существенного: покоя. Прежде Левин приходил ко мне всего на несколько часов и на ночь обычно не оставался. Теперь же, возвращаясь с работы, я неизменно заставала его дома, из чего, однако, вовсе не вытекало, что в ожидании меня уже зазывно посвистывает чайник. Зато радио орало вовсю, его пытался перекричать телевизор, а сам Левин в это время громко разговаривал с кем-то по телефону.

– Что сегодня на ужин? – деловито вопрошал он вместо приветствия.

Что ж, я получила, что хотела. Разумеется, я его обстирывала, я готовила, я ходила по магазинам, и за квартиру платила тоже я. Само собой, машину мою он брал когда вздумается.

1. Городок в 10 км от Хайдельберга.

Однажды после особенно тяжелого дня я, словно мать нерадивого сына, отругала его за беспорядок в квартире. При этом Левин даже не был неряхой, просто он ухитрялся занимать собой все пространство в квартире. Обе мои комнаты теперь неизменно были завалены вещами, не имеющими ко мне ровно никакого отношения, тогда как его комната выглядела почти необитаемой.

— Ты иногда у меня прямо как ребенок, — сказала я и поцеловала его.

— Разве ты не хочешь детей? — спросил он.

Я чуть не поперхнулась.

— Конечно, хочу, всякая нормальная женщина хочет иметь детей.

Казалось, Левин о чем-то раздумывает.

— Хочешь, заведем? — спросил он. Прозвучало это так, будто в дополнение к кошечке он не прочь завести и собачку.

— Потом, — сказала я. Мне хотелось иметь не внебрачного ребенка, а полноценную семью.

Не реже раза в неделю мы ездили к деду Левина в Фирнхайм[1]. Я ожидала увидеть нечто вроде богадельни и была немало изумлена при виде дома, скорее заслуживающего называться виллой. Старик жил здесь один, под присмотром экономок, которые, правда, то и дело менялись. Последнее обстоятельство Левин объяснял допотопными представлениями старика об их жалованье.

Видимо, дед и вправду несколько оторвался от жизни и реальных цен на рынке труда, пребывая в безумном убеждении, что весь белый свет только и норовит его облапошить. Левин отзывался о старике без особого почтения, но долг свой исполнял честно: следил за домом и садом, возил деда по врачам и в банк, даже ногти ему на ногах стриг. Со временем и я стала выполнять работу, на которую не были способны экономки: печатала письма, заполняла бланки счетов, сортировала белье, пополняла продуктами морозилку. Думаю, кто другой на его месте отблагодарил бы меня не только скупым словом, но и каким-нибудь маленьким презентом. Тем больше я ставила Левину в заслугу, что он — пусть не без воркотни — все равно продолжает бескорыстно заботиться о деде.

Однажды, когда я оказалась со стариком наедине — Левин повез отдавать в ремонт газонокосилку, — я попыталась обрисовать ему плачевное материальное положение его внука.

Герман Грабер, так его звали, посмотрел на меня раздосадованно.

— Значит, и вы тоже считаете меня старым скрягой, — проговорил он и, как ему казалось, незаметно прополоскал свои "третьи" зубы глотком кофе. — Допустим, вы знаете, что я богат. Чего вы, полагаю, не знаете, так это того, что мой бедный обездоленный внук превратил в груду металлолома мой новенький "мерседес". За что ему и приходится безвозмездно делать для меня кое-какую мелкую работу, но если он при этом еще и жалуется, то лучше уж мне сразу завещать все свои деньги первому попавшемуся сироте.

"Да это же шантаж!" — подумала я с возмущением, подкладывая кусок яблочного пирога на его тарелку, украшенную альпийским пейзажем.

— К тому же еще большой вопрос, — продолжал он, — действительно ли одна из двух последних экономок увела у меня фамильное золото и серебро или это внук постарался.

1. Городок в 20 км от Хайдельберга.

Я покраснела и промолчала.

Но Герман Грабер, похоже, моего смущения не заметил, поскольку как раз в этот момент углядел в саду на бельевой веревке чей-то черный бюстгальтер.

На обратном пути я принялась расспрашивать Левина об аварии. Он отвечал неохотно, почти сквозь зубы.

— Устал, наверно. Ну и провалился на секунду. Из Испании возвращался, всю ночь гнал.

Я сочла, что это ужасная безответственность.

— Кто-нибудь пострадал?

— Не совсем... На меня по встречной вылетел грузовик, начал резко выворачивать, и у него прицеп опрокинулся. Угадай, чем он был нагружен? Конфитюром в стеклянных банках. Представляешь, как шоссе выглядело?

— Я спросила, пострадал ли кто-нибудь?

— Вернее, это был даже не конфитюр, а сливовый мусс.

Несколько минут мы молчали.

На новом "мерседесе" Левину разрешалось лишь время от времени вывозить старика, да и то на черепашьей скорости, брать же машину для своих нужд ему было категорически запрещено.

— И на чем же твой дед такое состояние сколотил?

— Он был электриком на маленькой фабрике и изобрел там какой-то невероятно выгодный промежуточный продукт, который взялся производить уже на своей собственной фабрике. Разбогател он еще в молодости, потом предприятие стало хиреть. Когда умер мой отец, дед вообще фабрику продал.

Я уже знала, что отец Левина был органистом и к профессии фабриканта, очевидно, серьезного интереса не проявлял.

— Похоже, твой дед решил тебя повоспитывать, — заметила я не без злорадства.

Но Левин так не считал.

— Да он просто садюга, вот и гоняет меня на велосипеде! Другой бы на его месте давно подкинул внуку тысчонку-другую.

Мы ехали по автостраде, хотя я лично предпочла бы красивую горную дорогу через Вайнхайм. Мне и прежде приходилось замечать, что Левин лихач, но сейчас я просто запаниковала.

— Нельзя ли чуть помедленнее, — попросила я. — Куда нам торопиться? Кстати, я нахожу очень благородным с твоей стороны, что ты навещаешь деда бескорыстно, а не из-за какой-то там тысячи.

Левин и не подумал сбросить скорость.

— Конечно, я его навещаю, но уж никак не из благородных побуждений, — сказал он. — По мне, пусть хоть завтра коньки отбросит, но он же, чуть что, завещание грозится изменить.

Я не удержалась от язвительного замечания:

— В последнее время тебе не так уж часто приходится на велосипеде ездить. Так что можешь спокойно дожидаться наследства.

— Ага, пока сам не поседею. Старого хрыча ничто не берет, живучий, этот и до ста лет протянет.

Я рассмеялась.

— Ну и пускай себе живет. Может, и у тебя его гены, тогда и ты доживешь до глубокой старости. А что, кстати, ты бы стал делать с таким наследством?

Левин еще наддал газу.

— Гоночный автомобиль купил бы, по свету поездил, в ралли Париж — Дакар поучаствовал, и уж во всяком случае не гробил бы жизнь на удаление чьих-то гнилых зубов.

Я прикусила язык. Ни будущей работы врача, ни меня в его жизненных планах не предусматривалось.

Вечером следующего дня я демонстративно не притронулась к его дипломной работе, оставив ее лежать на кухонном столе, а сама впервые за несколько недель занялась собственной диссертацией. Я просто идиотка, дура набитая; если так дальше пойдет, я и диссертации не напишу, и ни в какой институт не устроюсь, и замуж не выйду, и детьми не обзаведусь.

Потом я позвонила Дорит и, сгорая от стыда, поведала ей о своих трудовых подвигах ради карьеры Левина.

— Меня это ничуть не удивляет, — холодно заявила та. — Не надо было тебе с ним съезжаться. Да ты вообще хоть любишь его?

— Люблю, наверно, — проронила я.

В том-то и беда. Вопреки всем резонам и предостережениям разума, вопреки сигналам тревоги, которые я ощущала в себе почти физически, — я его любила. Любила, когда он спал возле меня, свернувшись калачиком подобно эмбриону, а мне хотелось плакать от нежности. Когда, оголодавший, радостно ел и нахваливал мою стряпню, когда, как игрушками, восхищался аптечными склянками, когда ему было весело рядом со мной, — тогда все, все было хорошо. Порою счастье длилось часами, когда мы с ним, устроившись на диване, на пару гладили Тамерлана, увлеченно глазея на автомобильные погони Джеймса Бонда по телевизору. Но бывали и вечера в одиночестве, когда я не знала, где он пропадает. Разумеется, каждый из нас волен приходить и уходить когда заблагорассудится. Гордость не позволяла мне его расспрашивать — а может, я уже просто боялась его потерять.

В один из таких вечеров, когда я в тоскливом ожидании уже почти заснула перед телевизором, меня вырвал из дремы телефонный звонок. "Левин! — обрадовалась я. — Наконец-то приучился звонить, когда задерживается!"

Я сняла трубку.

— Элла Морман.

— Извиняюсь, э-э, я, видать, ошиблась номером, — пробормотал взволнованный женский голос.

Я разочарованно положила трубку. Через минуту снова звонок. Тот же молодой голос.

— Извиняюсь, а Левина нет? Вы, видать, его подруга?

— Простите, а с кем я говорю? — сухо осведомилась я, хотя голос и показался мне знакомым.

— Так это ж я, Марго, — представился голос. Марго была очередная и еще совсем неопытная экономка, которую Левин приискал для деда. Она сообщила, что у Германа Грабера сердечный приступ, он в больнице, а ей велели оповестить ближайших родственников, дело серьезное.

Теперь я и подавно не могла уснуть. Когда Левин вскоре после полуночи, даже и не подумав не шуметь, заявился домой, он по моему лицу сразу понял, что что-то случилось.

— Что, врач звонил?

— Да нет, экономка, госпожа... я не знаю ее фамилии. Словом, она назвалась Марго.

— А мы и не зовем ее иначе, — проронил Левин.

Разумеется, я не ждала от него слез горя, но и столь откровенной радости тоже не ожидала. Перезванивать Марго было уже поздно, Левин решил, что прямо с утра поедет в больницу.

— Университет подождет, это важней, — сказал он.

В ту ночь мы оба плохо спали. Левин лежал на соседней кровати почти без сна, сквозь дрему я слышала, как он встает, ходит то на кухню, то в ванную, включает то телевизор, то радио. Да и мне в мечтах рисовалось совсем иное, причем скорое, будущее на прекрасной вилле. Там и детям будет просторно.

— Все как нельзя лучше, — заявил Левин на следующий день, вернувшись из больницы, — дед тронут, что я так быстро приехал, но дела у него не ахти. Главный врач сказал, все может кончиться очень скоро, мотор больше не тянет. По идее надо бы шунтирование делать, но в восемьдесят лет это исключено.

А потом Левину зачем-то понадобилось, чтобы я вместе с ним вышла на улицу; перед домом стоял "порше".

— Почти новый, и отдают почти даром, — сказал он, не в силах оторвать от машины глаз.

— А он тебе очень нужен? — спросила я.

Левин посмотрел на меня как на ненормальную.

Пришлось сесть с ним в машину для пробной поездки, во время которой я чуть не умерла от страха и едва не оглохла, а кроме того почему-то согласилась взять в банке еще один кредит. Простому студенту банки, как известно, в долг не дают.

А ведь я старалась быть с ним строгой.

Он же скоро будет купаться в деньгах, убеждал меня Левин, и упустить такое сокровище было бы полнейшим идиотизмом.

Столь явно рассчитывать на смерть ближайшего родственника просто неприлично, возражала я.

Тогда этот большой ребенок, которому не терпелось заполучить несусветно дорогую игрушку, попробовал взять меня лестью, взывая к моей, уже не однажды проявленной, щедрости, и даже намекнул на некий ожидающий меня сюрприз.

"Свадьба?" — чуть не выкрикнула я, но вовремя осеклась. Было бы слишком больно встретить вместо ответа его изумленный, ошарашенный взгляд. Оставалось только прикинуться дурочкой.

— Путешествие? — спросила я.

Левин покачал головой.

— Ни за что не угадаешь. Назначаю тебя главным архитектором, дизайнером и руководителем всех работ по перестройке фирнхаймской виллы.

Холодно, без тени признательности в голосе, я поинтересовалась:

— А ты уверен, что у меня есть к этому призвание?

Левин рассмеялся.

— Вить семейное гнездо — призвание всякой женщины.

Обалдев от радости, я кинулась ему в объятия. А потом пошла в банк и запросила кредит, каковой и был мне предоставлен на самых невыгодных условиях.

Левин был на верху блаженства и целыми днями где-то пропадал на своем "порше", благо что и летние каникулы как раз подоспели.

Едва я заканчивала работу, Левин подкатывал к аптеке на машине, и мы мчались то во Франкфурт, то в Штутгарт, а по выходным, бывало, и к морю — хочешь на Средиземное, хочешь на Северное. Но в глубине души меня терзали сомнения: во благо ли ему моя щедрость? Еще, чего доброго, угодит в аварию, как Джеймс Дин[1], а мне на память о моем единственном кандидате в мужья, которого не стыдно было показать людям, останется только куча долгов?

Однако, когда две недели спустя я пришла в больницу навестить Германа Грабера, он отнюдь не произвел на меня впечатление смертельно больного человека. Старик был бодр и полон планов на будущее.

— Если все будет хорошо, — радовался он, — то меня уже на следующей неделе выпишут. Доктора, правда, пытаются мне внушить, что надо нанять сиделку, но я вовсе не намерен зря тратить деньги. Марго, конечно, далеко не светоч разума, но чуть больше покрутиться сумеет и она.

После больницы мы поехали на виллу. Левин занялся стрижкой газона, а я взяла на себя беседу с Марго.

— Господин Грабер, видимо, скоро вернется домой, — сказала я, — вы сумеете при необходимости справиться с работой сиделки, я имею в виду, вдобавок к вашим прежним обязанностям?

— Ничего себе, — протянула Марго и потребовала прибавки.

На обратном пути Левин был, мягко говоря, не в духе.

— Только не говори мне ничего! — накинулся он на меня. — Не волнуйся, получишь ты свои деньги! Кто бы мог подумать, что старый хрыч так легко выкарабкается?!

— Не беспокойся, деньги подождут. Но если он будет жить дома, нам придется чаще к нему ездить. Не знаю, можно ли вообще оставлять его на Марго, по-моему, она с этим не справится.

— Это почему? — возразил Левин. — Марго в порядке. И потом, чего ты ждешь при такой оплате? А я однажды уже застукал нашего дедулю с биноклем — Марго любит загорать в саду без лифчика. Так что пусть спасибо скажет, ведь это я ему ее сосватал, те, что прежде-то были, вообще ни на что не годились.

Выяснилось, что Левин знает Марго еще по начальной школе. Потом он в гимназию перешел, а она доучиваться осталась. После школы на курсы кройки и шитья ходила, потом устроилась простой работницей на фабрику, а потом даже это место потеряла.

Тощая как жердь, Марго смолила сигареты одну за другой. Во мне шевельнулась смутная догадка.

— А наркотиками она часом не баловалась?

— С чего ты взяла?

1. Джеймс Дин (1931—1955) — известный американский киноактер, сыграл главные роли в фильмах "Берегись, моряк" (1951), "К востоку от рая" (1955) и "Гигант" (1956). Погиб в автомобильной катастрофе.

Я предпочла Левину не рассказывать о своем богатом жизненном опыте; но уж больно хорошо вписывалась эта Марго в галерею неприкаянных душ, с которыми мне доводилось иметь дело прежде. Правда, то все были мужчины. Во всяком случае, одно мне вдруг стало совершенно ясно: мне эта Марго не нравится.

4

Недавно за очередной вечерней сказкой нас застукала и отчитала ночная сестра. Дескать, госпоже Хирте нужен полный покой. Но моя соседка дала ей неожиданный отпор. Заявила, что ей как раз особенно хорошо спится, когда рядом тихо журчит мой монотонный голос. Так пусть же он не умолкает! На сей раз речь о Марго.

У нас в квартире побывала посторонняя женщина! Я чуяла это нюхом, всем нутром. Крючки моих вешалок всегда направлены в одну сторону, так легче даже в самой пожарной спешке одним движением выхватить из шкафа нужную одежку. Когда-то меня приучила к этому мать, и я соблюдаю этот порядок неукоснительно. А теперь платье в голубую полоску и бирюзовое летнее висят неправильно. Я придирчиво осматриваю туалет и ванную. Разумеется, знакомые Левина, придя в дом, имеют право помыть руки. (Однако в моем шкафу им делать абсолютно нечего.) В унитазе плавает окурок, я этого свинства на дух не переношу: разбухшие сигаретные фильтры не тонут, сколько ни спускай воду, от них потом не избавишься. Левин не имеет этой скверной привычки, он исправно опорожняет свою пепельницу в мусорное ведро. Зато на вилле я то и дело замечаю плавающие в унитазе окурки.

В комнате Левина, которую я тоже подвергла тщательному осмотру, повсюду были разбросаны комиксы, а на подоконнике обнаружились две банки из-под пива. Я попыталась утешить себя мыслью, что они еще совсем дети. Но то, что я, педагогически покачивая головой, ласково спускаю Левину, я вовсе не обязана терпеть со стороны этой Марго. Ей предстоит взять на себя ответственность по уходу за больным, она всего лишь работает у нас по найму, с какой стати Левин водит ее к нам в дом? К тому же я просто не выношу ее духи — этот дешевый яблочный аромат.

— Здесь была Марго? — поинтересовалась я, как только он вернулся. Он бросил на меня короткий, с прищуром, взгляд и предпочел не отпираться. Поскольку она в отличие от меня любит быструю езду, он покатал ее на "порше", надо же поддерживать ее в тонусе. Я не вполне поняла, почему и кому именно это надо. О платяных вешалках я вообще не заикнулась — кому охота выглядеть занудливой матроной, которая мало того что не выносит быстрой езды, так еще и ревнива? По ночам меня донимал один и тот же кошмар: на крутом повороте Левина выбрасывает из машины. Днем я старалась об этом не вспоминать. Пора наконец понять, что моя страсть окружать всех моих мужчин материнской опекой ничего, кроме горьких любовных неудач, мне не принесла.

И все-таки у этой Марго ну совсем никакого стиля! Я вообще хоть убей не пойму, что он в ней такого мог найти. Правда, Левин родом из здешних краев, тесно связан с землей и людьми, тогда как я, уроженка

Вестфалии, никогда не чувствовала себя здесь своей. Он болтает с Марго на диалекте, может, это тоже дает ему чувство защищенности и уюта. В свое время он проучился полсеместра на Рейне, в Рурской области, но затосковал по родным пирогам с луком, соленым кренделям и вскоре вернулся восвояси.

Когда мы доставили Германа Грабера домой из больницы, Марго к нашему приезду на свой неказистый манер даже сервировала кофейный столик: перед тарелкой выздоравливающего красовалась лиловая вазочка с воткнутыми в нее тремя цикламенами, его ожидали покупной сливочный торт и крепчайший кофе — ни того, ни другого старику категорически нельзя. Боясь обидеть Марго, мы с Левиным воздали должное и торту, и кофе, а дед потребовал водки. И Левин ничтоже сумняшеся принес ему бутылку. Мы с Марго пообещали Левину не говорить старику о покупке "порше", но она тут же чуть не проболталась.

Герман Грабер явно был рад снова оказаться дома.

— Все, в больницу больше ни ногой, — заявил он, — там с тоски одни глупости в голову лезут.

— Это какие же? — осведомилась я, лишь бы поддержать разговор.

Он хмыкнул.

— А такие, что не стоит ли, к примеру, изменить завещание.

Левин побледнел. Потом вскинулся:

— Ладно, Элла, нам пора.

— Эй, а как же насчет моего жалованья? — вякнула Марго совсем некстати.

Дед потрогал самую крупную бородавку у себя на носу.

— А чтобы тебе всякие глупости в голову не лезли, имей в виду: свою долю наследства ты получишь не раньше, чем закончишь университет. Это чтоб ты не думал, что, ежели я завтра помру, тебе больше и пальцем шевельнуть не придется.

Мне эта мысль показалась не такой уж сумасбродной.

— Так как насчет моего жалованья? — не унималась Марго.

И хотя момент был самый неподходящий, Левин пустился в объяснения с дедом.

— Дедуль, Марго нужна прибавка. Пойми, кругом все дорожает.

— Всем нужны от меня только деньги, — с досадой крякнул господин Грабер.

Пришлось мне робко Левина поддержать.

— Что вы конкретно предлагаете? — спросил старик, глядя на меня в упор.

Чувство справедливости все же возобладало во мне над неприязнью; и что интересно, старик без звука принял все мои доводы. Марго не соизволила сказать мне спасибо, но все же буркнула что-то вроде: "Ну и дела!"

На прощание старик галантно поцеловал мне ручку, от волнения, правда, слегка облившись остатками кофе. Меня он почти растрогал. Левин наблюдал за нами, кипя от злости.

С тех пор как я обнаружила, что Марго побывала у нас в доме, я постоянно с брезгливой подозрительностью искала следы постороннего присутствия в моих комнатах. Я ставила ловушки — укладывала длинный волос на коробку с драгоценностями, обдувала пудрой стеклянные

полочки в ванной, где я храню косметику, помечала уровень духов во флаконе, а в платяной шкаф поставила самую неустойчивую вазу, которая при неосторожном открывании дверок непременно свалилась бы на пол.

Долгое время, однако, я ничего не могла обнаружить, и ловушки мои тоже не срабатывали. Что ж, наверно, это все плод моего воспаленного воображения, а злосчастные вешалки в шкафу я, должно быть, сама неправильно повесила. Слишком много сомнительных мужчин было в моей жизни, вот теперь от любой ерунды крыша и едет. Следы и лишние волоски оставались только от моего кота. Но как-то вечером, осторожно открыв дверцы шкафа, я обнаружила на полу разбитую вазу; и коричневые флаконы на полке тоже были переставлены. У меня и здесь свой секрет — начальные буквы этикеток на флаконах образуют слово "анемон", и тут две буквы были перепутаны — я с отвращением и негодованием прочла: "аномен". Левин искал яд, это первое, что пришло мне в голову, и я вся похолодела. Я запустила руку внутрь шерстяной юбки — нет, все на месте. Укрытие обещало быть надежным. Уж этой-то старой юбкой Марго вряд ли прельстится.

Разумеется, я взвешивала, не припереть ли Левина к стенке. Но не по душе мне это. Придется упрекать его, высказывать подозрения, он начнет отпираться, а я буду стоять перед ним как ненавистная училка, распекающая провинившегося ученика. Надо просто получше за ним приглядывать.

Поскольку Левин любит болтать по телефону, мой аппарат нередко оказывался у него в комнате. Так что когда мне однажды вечером понадобилось позвонить Дорит, пришлось идти за телефоном к нему. Уже возле самой двери я услышала, что он с кем-то говорит, а разобрав слово "Марго", остановилась как вкопанная и притихла.

— Адвокат? Когда? — взволнованно спрашивал Левин.

В следующий наш визит в Фирнхайм я даже удивилась здоровенькому и бодрому виду господина Грабера. Ему подобрали какое-то новое сердечное лекарство, и старик уверял, что после этого просто как будто заново родился. Левин деловито бегал по дому и заглядывал во все углы, словно замышляя грандиозный ремонт.

Тем временем Герман Грабер отвел меня в сторонку.

— Он намерен на вас жениться? — спросил он.

Я покраснела.

— Вы лучше его об этом спросите.

— Мне было бы куда спокойнее, знай я, что он под присмотром благоразумной жены. Он у меня без царя в голове.

С проникновенным видом влюбленной дуры я кивала.

Герман Грабер продолжил:

— А вы немного напоминаете мне мою покойную жену. Считайте, что это комплимент. Возможно, я изменю завещание таким образом, чтобы Левин мог вступить в права наследства только в том случае, если женится на вас.

— Лучше не стоит, господин Грабер. Неужели вы думаете, что я хочу женить его на себе насильно?

Тут он рассмеялся.

— Чуть-чуть подтолкнуть человека к счастью никогда не повредит. Я вам ничего не обещаю, но я старый человек, и мне нравится немного поиграть в судьбу. Правда, мой адвокат считает, что я совсем спятил, ведь я чуть ли не каждую неделю меняю текст завещания, но что делать, если у меня столько идей. Когда мой внук расколошматил мой "мерседес", я на время вообще лишил его наследства, за исключением обязательной доли, положенной ему по закону.

Его слабая, в старческих крапинках, но все еще красивая рука ухватилась за мою почти с мольбой.

— Надеюсь, вы еще долго сможете играть с судьбой и вашим завещанием, — рискованно пошутила я. Но он ничуть не обиделся.

— Я вижу, мы понимаем друг друга. А как вам такой вариант: я сделаю наследником моего первого правнука? Тут уж Левин непременно на вас женится, причем опрометью!

Это был хитрый ход, к тому же отвечавший моим самым заветным желаниям, но я и тут застенчиво отнекивалась.

Левину я о нашем разговоре ничего не сказала, как раз из-за правнука, неловко было. С другой стороны, желание умудренного опытом старца чуть-чуть повернуть судьбу в благосклонное для меня русло вовсе не казалось мне такой уж нелепицей.

Как со свойственной ей прямотой говорит моя подруга Дорит: "Если хоть чуток сомневаешься — в шею его!" Но меня-то сомнения мучили всю жизнь! Стараясь опекать, холить и лелеять своих мужчин, я невольно попадала к ним в кабалу. Я не могла жить без их благодарности, ответной нежности, чувства, что я им нужна. И все равно — пусть Дорит не думает, что мне всю дорогу попадались одни только непутевые мужики!

Я сидела у нее на кухне и рассказывала о Левине, о том, как прилежен он в учебе, как заботливо ухаживает за дедом, а главное, о том, как я счастлива. Дорит слушала молча, мыла салат, потом ополоснула сито и разделочную доску, после чего стала разгружать посудомоечную машину. Тут в комнату с ревом влетела ее младшенькая, и Дорит пришлось сесть, чтобы утешить дочурку. Глядя на эту трогательную картину — прильнувшее к матери дитя, нежные ручки, обхватившие материнскую шею, — я снова остро ощутила, чего мне в жизни недостает.

— Мужики — они все эгоисты, — заявила Дорит, — а мы им только потакаем, все подчиняться норовим. Ты же норовишь подчиняться еще до замужества, это вообще никуда. Он ведь за дедом потому только ухаживает, что на наследство рассчитывает, хоть ты об этом не рассказываешь, но у меня и свои источники есть, а с тобой он ласков, пока может получать от тебя все что душе угодно.

— Откуда ты знаешь про наследство? — изумилась я.

— Тоже мне великая тайна! Геро мой родом из Фирнхайма и все про них знает — и про старого скупердяя Грабера, и про фабрику его, которая была, да сплыла, и о неладах с единственным сыном, который вбил себе в голову, что органистом станет...

Муж Дорит и вправду все про всех знал, особенно сплетни и слухи про местных богачей.

— Интересненько, — сказала я, — а что еще Геро тебе рассказывал?

— Сам-то старик был большой ходок по дамской части и раз в неделю укатывал на такси в Висбаден, в тамошний бордель. Его жену это про-

сто убивало. Теперь-то он о ней чуть не плачет, хотя сам же до срока ее в гроб вогнал.

– А о матери Левина что известно?

– Несчастная женщина; может, хоть во втором браке ей больше повезет. Герман Грабер мечтал, что сын у него будет красавец, настоящий мужчина, а вырос хилый музыкантишка; и от невестки он ждал кучу внуков, а она подарила ему только твоего Левина, на котором потом, видать, у них в семье весь свет клином сошелся. С другой стороны, старик Грабер никогда и не хотел сделать из него фабриканта, предприятие-то свое он давно продал.

– Дорит, а вот ты вышла бы замуж за Левина?

– Ну уж нет, у меня уже Геро есть.

Мы рассмеялись. Но она тут же снова заладила:

– Если ты хоть чуточку не уверена, значит, это не то.

– Брось, Дорит, сама-то ты замуж рано выскочила, вот у тебя и запросы. А в жизни все совсем не так просто. Но когда я вижу, как ты с детьми тетешкаешься, я точно знаю, что и мне того же хочется.

– Да ради бога, – сказала Дорит, сдернула с шеи заплаканную дочурку и усадила мне на колени. Та хоть и не сбежала от меня, но и не прильнула всем тельцем, как к маме.

– Ладно, Дорит, пока, – сказала я наконец, сунув ей на прощанье упаковку валиума. – Геро привет, и если он еще что услышит, пусть поделится.

Еще на лестнице я услышала, как в доме надрывается телефон. Марго, опять чем-то взволнованная, потребовала Левина.

– Я понятия не имею, когда он соблаговолит прийти. А что, господину Граберу опять плохо?

– Хозяюшка дорогая, – сказала она, отчего меня всю так и передернуло, – вы уж будьте добры, передайте ему, что мой старик возвращается.

Когда Левин вернулся, я ему эту весть полушутя доложила:

– Ее отец возвращается.

Левин потряс головой.

– Совсем, видно, спятила. Не иначе ужастиков насмотрелась. Ее отец давно в могиле и, надеюсь, уже не восстанет. – Но тут же осекся и переспросил: – Она в самом деле сказала "отец"?

– Она сказала: "Мой старик возвращается".

Левин побледнел и схватился за голову.

– Ты все напутала! Никакой это не отец, это ее муж!

– Муж? Так она замужем?

– Как видишь.

– Тогда где он был раньше? – Впрочем, я уже смутно догадывалась где: не иначе как в тюрьме. Разумеется, я поинтересовалась, за что его посадили.

– Не знаю, меня это не касается, – явно соврал Левин. И убежал в свою комнату звонить. Выждав минуту-другую, я подкралась к его двери, но, кроме невнятных возгласов типа "ах вот оно что" и "ну конечно", ничего не услышала.

Марго живет у Германа Грабера в квартирке для гостей с отдельным входом, неужто теперь она поселит там мужа-уголовника? Этого никак нельзя допустить, иначе одному Богу известно, какая шпана заполонит

нашу виллу. У меня даже мурашки по коже забегали. Нет уж, страницы моей биографии, посвященные уголовникам, психам и наркоманам, перевернуты и закрыты раз и навсегда. С другой стороны, нельзя же эту Марго просто выкинуть на улицу, она пока что ничем не проштрафилась, а услуги ее даже после прибавки все равно стоят очень недорого.

Левин вернулся после разговора с Марго какой-то взъерошенный.

— Она напугана. А я не знаю, как ей помочь. Может, ты знаешь?

— А развестись она что, не может?

— По-моему, она боится, что тогда он ее вообще убьет. Не лучше ли ей дать ему немного денег, и пусть катится.

— А твой дед знает, что она замужем?

— Да нет, он не спрашивал никогда.

Левин нервно расхаживал взад-вперед по моей комнате. Ему явно не давало покоя еще что-то.

— Послушай, а тот яд — ты его выбросила? — спросил он наконец.

Я посмотрела ему прямо в глаза.

— Как я понимаю, ты его не нашел?

Он взвился.

— Думаешь, мне приятно вечно зависеть от твоих денег? А старик только небо коптит, ему все равно помирать, не сегодня, так завтра.

— Выражайся, пожалуйста, яснее: какое все это имеет отношение к яду?

— Элла, ты очень хорошо знаешь, что я имею в виду. Я придумал совершенно безопасный способ. Мы бы враз избавились от всех наших забот. Зажили бы в роскошном доме, я открыл бы в Фирнхайме практику, особо утруждаться нам бы тоже не пришлось, денег на путешествия и увлечения сколько угодно — ну скажи, разве тебя это не прельщает?

Я была в ужасе. С трудом выговорила:

— Замечательная мечта, она может осуществиться и без убийства.

— Да какое убийство! Острая сердечная недостаточность, домашний врач прекрасно знает, что старик в любую секунду перекинуться может.

— Вот и подожди, пока он сам умрет.

— Да не могу я ждать. У меня долги.

Как выяснилось, "долги" — это не мои деньги за его "порше". Оказывается, муж Марго его шантажирует.

— Он меня просто укокошит, если своего не получит.

Я почувствовала, как почва уходит у меня из-под ног. Левин, этот студентик из добропорядочной семьи, первый мой возлюбленный, с которым я даже связывала брачные планы, — и замешан в каких-то темных делах, о которых я и расспрашивать-то боюсь. Я разревелась.

Левин обнял меня, стал целовать, успокаивать. Когда наконец я перестала прятать лицо в его промокшей от моих слез рубашке, я обнаружила, что вид у него тоже совсем невеселый.

— Послушай, — всхлипнула я, — давай начнем все сначала, с нуля. Я просто забуду все, что ты мне только что сказал, а ты вернешь деду столовое серебро и украшения.

— Чтобы он точно знал, что это я их стибрил, он-то думает, что это сделала предшественница Марго.

— Просто сознайся и попроси прощения.

— Ага, и он лишит меня наследства.

— Нет, если честно покаешься, он простит.

— Ни в жизнь. Но раз уж ты так настаиваешь... Где эта дребедень?

Я встала, вынула из шкатулки золотую цепочку с кулоном в стиле модерн, браслет с зеленой эмалью, брошь в виде змеи, потом принесла из кухни большую салатную вилку, разделочный нож, прибор для рыбных блюд и изящные чайные ложки. Несколько вещиц я, возможно, забыла, но остальное лежало перед Левином на столе.

— Так это вообще приданое моей бабушки, — изумился он, будто видя все эти вещи впервые, — это ей принадлежало, а вовсе не деду.

Я задумчиво перебирала цепочку, которая шла мне ну просто идеально, так, будто именно для меня ее изготовил какой-то влюбленный ювелир. На что она старику? И зачем ему тяжелое столовое серебро, ежели он давно привык обходиться обкусанной ложкой и гнутой вилкой? Я подумала немного — и положила все на прежнее место.

5

Из своих частых деловых поездок отец любил привозить мелкие сувениры: брикетики гостиничного мыла, подушечки шампуня, конверты и бумагу с эмблемой приютившей его гостиницы, игрушечные пачки сливочного масла. Родительские привычки заразительны, вот и я храню дома солидные запасы маленьких подарков – шариковых ручек, лакричных леденцов, шоколадок, – которыми мы балуем покупателей нашей аптеки. И здесь, в больнице, я собираю урожай от обильных завтраков и ужинов – мелкие расфасовки плавленого сыра и копченой колбасы, кругляшки меда и джема, не считая бананов и яблок. И госпожа Хирте вносит лепту в мои припасы, без лишних слов оставляя свои дары на моем ночном столике. Недавно Павел привел ко мне всех троих детей, причем уже совсем к вечеру, но когда лежишь в первом классе, часы посещений соблюдаются не слишком строго, – и я вручила им внушительный пакет гостинцев.

Мы как раз пили чай. Лене тоже захотелось попробовать, ей пришлось очень широко раскрывать свой маленький ротик, чтобы управиться с толстой фарфоровой чашкой. Госпожа Хирте, по обыкновению, не проявила к детям ни малейшего интереса и сразу же уткнулась в книгу. Обе старшие дочки, к сожалению, очень похожи на свою мать, причем это мое "к сожалению" относится не к их внешности – они все трое прехорошенькие, – а к моей зависти. Зато про младшего, моего любимца, этого, к счастью, не скажешь, он ни на кого не похож.

Когда гости мои откланялись, было еще не очень поздно. Но госпожа Хирте с плохо скрываемым нетерпением в голосе сказала:

– Ляжем сегодня пораньше. Вчера я, наверно, задремала – как-то я не вполне поняла, в связи с чем муж Марго шантажировал вашего Левина...

Несколько лет назад Левин и Дитер — муж Марго — были задержаны на греческо-турецкой границе. В печке их автомобиля обнаружили героин, машину конфисковали. У них был уговор: в случае прокола Дитер всю вину берет на себя, Левину конфликтовать с законом никак нельзя, дед тут же лишит его наследства, причем раз и навсегда. Но зато Левин по их уговору должен был раздобыть деньги, нанять именитого адвоката и, при возможности, добиться освобождения товарища под залог. Он ничего не смог. Герман Грабер не дал ему ни гроша и не поверил ни единому слову из наспех сочиненной им небылицы: дескать, некий незнакомец спас ему жизнь, защитив от банды уличных грабителей, но сам при этом оказался в тюрьме за нанесение тяжких

телесных повреждений, хотя и действовал в пределах необходимой самообороны.

— Ты в эту туфту и сам-то не веришь, — только и проронил Грабер-дед.

А теперь Дитер передал, что за два года его отсидки, да еще в турецкой тюрьме, с Левина должок. И что дожидаться годами, пока старина Грабер помрет, он не намерен.

— Ты употреблял наркотики? — спросила я упавшим голосом. Но Левин ответил отрицательно; он, правда, приторговывал помаленьку, еще в школе, это да, но после той истории начисто завязал. Дитер — другое дело, тот постарше, почти профессионал, но и он, кроме порции коки по воскресеньям, ничего не употребляет.

— А Марго?

— Раньше, конечно, да, но сейчас, думаю, нет. Я и на работу к деду ее пристроил, чтобы хоть как-то Дитера отблагодарить. Но боюсь, он будет не в восторге от ее нищенского жалованья.

Жалованье у нее, положим, вовсе не нищенское, в конце концов, Марго никакая не домработница, а обыкновенная лентяйка и неряха. Но все-таки я вздохнула с облегчением, поняв, что Левина связывают с ней не амурные шашни.

— Твой дед намерен позволить тебе вступить в права наследства лишь после получения диплома, — сказала я. — Сейчас тебе его смерть все равно ничего не даст.

— Он еще не был у нотариуса,— возразил Левин, — так что, наоборот, надо поторопиться.

Я лихорадочно подыскивала новые доводы.

— Пойми, от бандита и шантажиста невозможно откупиться...

— Дитер не из таких, — отмахнулся Левин. — В этом мире тоже свой кодекс чести. Закладывать он меня не станет, но избить изобьет, а то, глядишь, и изувечит.

— Продай "порше", — предложила я. — Может, он и впрямь отстанет.

— О'кей, — процедил он, — похоже, тебе подавай мужа, которого по стенке можно размазывать.

Видно, я была уже сама не своя, потому что пробормотала:

— Тогда лучше подсунь яд этому подонку Дитеру!

Левин только присвистнул. Потом принялся мне втолковывать, почему его безупречный способ только для стариков хорош, а для молодых не годится.

Левин посвятил меня наконец в своей гениальный план, главным элементом которого были как раз мои ядовитые таблетки. Пришлось признать, что риск действительно невелик. Я даже почти перестала бояться угодить на скамью подсудимых в качестве сообщницы. Куда труднее оказалось преодолеть угрызения совести и отвращение к самой затее. Хотя умом я прекрасно понимала, что старик, к тому же сердечник, долго не протянет, но понимала я и другое: никому не дано право "немного поиграть в судьбу", как называл это сам дед, а теперь и его внук Левин.

Левин между тем развивал передо мною свой план:

— Мучиться он не будет, это один миг, домашний врач ничего не заподозрит, сам говорил, что старик в любую секунду умереть может, выпишет свидетельство о смерти, и дело с концом. Я, кстати, хорошо его знаю, он тоже далеко уже не юноша... Но конечно, в воскресенье этого

делать нельзя, на "скорой помощи" приедет незнакомый врач, и как он себя поведет — неизвестно.

Я подумала о том, сколько моих друзей и знакомых не однажды и во всеуслышанье мечтали о внезапной смерти: просто упасть замертво, и никаких тебе больниц, никаких кислородных шлангов и капельниц. Мгновенная безболезненная смерть — разве это не благо для старика, которому, возможно, предстояли бы месяцы мучительного умирания?

— А Марго? Вдруг она что-то заметит?

— Это она-то? Не беспокойся, сообразительность — это не по ее части, у нее совсем другие таланты. Она знает, что у деда больное сердце, и когда обнаружит труп, поднимет крик и вызовет врача, а нам больше ничего и не требуется.

— А ее муж? Сообразить, что твой дедушка, может быть, неспроста так удачно для тебя умер, — это же как дважды два. И почему, собственно, Марго так его боится?

— Да уж есть причины. Пока он сидел, она тут гуляла направо и налево — и с его лучшим другом, и с его братом. Ясно, что Дитер обо всем этом теперь прознает. И начхать ему, от чего дед помрет, лишь бы бабки получить, и тогда мы квиты.

Потом, когда мы с Левином перебирали колбочки с ядом, для меня это было вроде отвлеченной интеллектуальной игры. Когда я чего-то не знала, Левин справлялся в медицинском справочнике, пока наконец не сделал свой выбор.

— А он часом не выдохся? — спросил он вдруг. — Может, стоит его сначала испытать. — И задумчиво посмотрел на Тамерлана.

Я, должно быть, изменилась в лице, ибо он поспешно добавил:

— Да я пошутил, пошутил. — Потом, изображая профессора, изрек: — Тщательно обработав лунку, мы поставим временную пломбу.

Мне нравилось, когда Левин строил из себя ученого, поэтому я прикинулась дурочкой и спросила:

— А что такое лунка?

— Дефект в эмалевом покрытии зуба, — наставительно произнес он, упиваясь тем, что нудные семестры на факультете стоматологии наконец-то хоть на что-то пригодились.

Взгляд мой упал на дивное фото дедовской виллы, которое Левин повесил у нас на кухне. Снимок убеждал безмолвно и куда лучше самых лукавых Левиновых рассуждений. Там мое место, а не в чужой съемной квартире без балкона и сада. Даже новому дому Дорит (обошедшемуся намного дороже, чем планировалось) с моей виллой не тягаться.

— Просто репетиция, — сказал Левин, когда мы в четверг вечером отправились в Фирнхайм на кабриолете — "порше" уж больно всем бросается в глаза.

Герман Грабер ложился рано, а вставать любил поздно. Вечером, уже в постели, он, нацепив наушники, потому что был глуховат, смотрел телевизор. Это означало, что никаких других звуков в доме он не слышит, ну разве что если бы бомба взорвалась. Взломщиков он не боялся, акции и деньги хранил в банковском сейфе.

Обстановка в доме поражала тяжеловесной безвкусицей. Замшелые плюшевые портьеры, дубовые резные шкафы, потемневшие от времени панели. Старик, похоже, был глубоко равнодушен ко всей этой рухляди,

включая многочисленные серебряные шкатулки и фарфоровые статуэтки покойной жены.

Разумеется, ключ у Левина был с собой.

– Я в подвал, подпаять кое-что надо, – объяснил он Марго, направляясь вниз, где у Германа Грабера была оборудована хоть и допотопная, но солидно оснащенная мастерская. Марго с любопытством уставилась на авторадио, зажатое у Левина под мышкой.

Пока я вместе с Марго составляла на кухне для деда диетическое меню на завтра, Левин успел незаметно притащить из машины портативную ручную дрель и прошмыгнуть с ней вверх по лестнице. Он знал, что вставная челюсть деда хранится в ванной комнате в обыкновенной чашке; по субботам, в свой банный день, Герман Грабер заливал ее дезинфицирующим раствором, а в обычные дни оставлял просто так.

Миниатюрным сверлом Левин просверлил в двух пластмассовых зубах два отверстия, заложив в каждое по таблетке. После чего слегка замазал отверстия тонким слоем, поставив скорее символические временные пломбы, способные быстро раствориться под воздействием слюны.

Проделав все это, Левин положил челюсть обратно в чашку, а дрель и авторадио отнес назад в машину. Когда он вернулся к нам на кухню, на лице его читалось неподдельное облегчение.

– Ну вот, радио в порядке, – объявил он, а затем обратился к Марго: – О Дитере ничего не слышно?

– Не-а.

– Значит, может объявиться в любой момент?

– Ага, и тогда общий привет.

Сказав ей, что хотим еще успеть в кино, мы уехали.

В Хайдельберге, желая попасться на глаза кому-то из прохожих – что удалось нам без всякого труда, – мы прошвырнулись по главной улице, выпили на Театральной площади по чашечке кофе и с некоторым опозданием, которое не осталось незамеченным в зрительном зале, явились на вечерний сеанс.

А после фильма, о котором я вообще ничего не могу вспомнить, Левин вдруг сообщил мне, что наш визит на виллу отнюдь не был репетицией.

Прямо посреди улицы я чуть не взвыла от ужаса.

Этой ночью, лежа друг подле друга, мы не могли уснуть – каждый ворочался и мешал другому. Вдруг я встала и начала одеваться.

– Поднимайся, Левин, поедем обратно, еще не поздно все исправить! – скомандовала я.

Даже не пойму, что в итоге помешало мне осуществить задуманное – то ли его нежности, то ли моя усталость?

В восемь утра начиналась моя смена в аптеке. Левин обещал мне позвонить, как только получит какое-нибудь известие из Фирнхайма. Сам он поднялся позже обычного, поиграл в саду с котом и сходил к почтовому ящику за газетой, не забыв вежливо поздороваться с соседями.

– Уж не собрались ли вы заболеть, Элла? – сказала мне шефиня. – На вас прямо лица нет.

Пришлось сказать ей, что у меня как раз начинаются критические дни и я, мол, от этого всегда просто труп. При последних словах я вдруг поперхнулась, побледнела и стала хватать ртом воздух не хуже астматика.

Шефиня недовольно покачала головой.

– Отправляйтесь-ка лучше домой, милочка, – посоветовала она. – Больной аптекарь способен только покупателей отпугивать.

– Да со мной правда ничего особенного, – уверяла я ее. – Если не возражаете, я просто прилягу минут на десять в задней комнате.

Это время я потратила на то, чтобы как следует подкраситься. На часах было уже около одиннадцати. Может, после стольких лет хранения яд и вправду утратил силу? Как я этого желала!

Не успела я, с косметическим румянцем на щеках, снова встать за прилавок, как зазвонил телефон. В трубке раздался каменный голос Левина:

– Вынужден сообщить тебе печальное известие: дедушка умер. Видимо, я еще позвоню тебе попозже, а сейчас срочно еду в Фирнхайм.

Поскольку начальница была рядом, я таким же неестественным голосом отвечала:

– Боже мой, какой ужас! Когда это произошло? Это экономка тебе позвонила?

– Нет, сам врач. Ладно, пока!

– Случилось что-то? – спросила любопытная шефиня.

Я кивнула.

– У моего друга умер дедушка. Правда, он был уже очень старенький и больной, так что этого следовало ожидать.

– Может, вам все-таки уйти пораньше? – спросила она.

– Нет, спасибо, правда не нужно.

Левин, однако, больше не звонил; работала я просто ужасно, то и дело совала лекарства не на свое место и даже забыла послать на дом одной старушке срочный заказ. Но из аптеки я вышла, только когда закончился рабочий день, и ни минутой раньше.

Дома не было ни души. В восемь наконец зазвонил телефон. Я кинулась к нему, но это была Дорит.

– Ты уже в курсе, что у тебя теперь жутко богатый ухажер? – спросила она с непочтительной игривостью. – У него сегодня дед помер.

– А ты-то откуда знаешь? – протянула я почти в тон ей.

– Геро на хвосте принес. Мужчины – они же сплетницы похлеще баб. Сосед старого Грабера видел катафалк... А он вместе с Геро работает... Ну что, переезжаете в фирнхаймский дом и начинаете строительный бум?

– Рано пока об этом говорить, – ответила я как можно суше. Не хотела долго занимать телефон.

– А я сегодня купила себе шелковый блейзер, – похвасталась Дорит. – Угадай, какого цвета. Розового!

Но мне было не до этой болтовни, я извинилась, закончила разговор и положила трубку. Больше всего на свете мне хотелось сейчас под душ, я просто взмокла от пота. Но я знала: только я подставлю лицо вожделенным теплым струйкам, зазвонит телефон. Правда, теперь я ждала звонка уже не от Левина, а из полиции – вот сейчас позвонят и скажут, что он арестован.

Наконец в половине девятого послышался знакомый рокот подкатившего к дому "порше". Я кинулась к дверям. Левин взял с переднего сиденья множество целлофановых пакетов, протянул мне один и буркнул:

– Рот закрой, и дверцу заодно! Все путем!

Едва мы закрыли за собой дверь квартиры, нервы у меня окончательно сдали. Но Левин только рассмеялся.

— Сейчас увидишь, ты ждала не напрасно! — И стал извлекать из пакетов шампанское, мой любимый салат, креветки, экзотические фрукты, дорогие паштеты. — Или ты не голодна?

Вообще-то я весь день о еде и думать не могла, но вид деликатесов неожиданно пробудил во мне аппетит. Тем не менее я не забыла поинтересоваться, где он пропадал все это время.

— Вовсе я не пропадал,— лениво оправдывался Левин. — Все это время я работал.

Пока я расставляла тарелки и раскладывала еду, он рассказывал... Марго сегодня в десять утра подала завтрак; старик не спеша и с удовольствием его съел, как всегда почитывая за кофе свою газету. Когда он покончил с завтраком, Марго ушла за покупками. А вернувшись через полчаса, застала его бездыханным за письменным столом с выпавшими из рук пасьянсными картами. Он был еще теплый, уверяла Марго, но все равно она так перепугалась, что чуть сама концы не отдала. Она тотчас же кинулась звонить доктору Шнайдеру. Тот приехал, увидел, что помочь ничем уже нельзя, сразу же выписал свидетельство о смерти и позвонил Левину. Когда Левин туда приехал, Марго уже на пороге встретила его рыданиями. Это она во всем виновата, не надо было давать дедушке такой крепкий кофе. Он сразу же отправил ее к себе.

— И что же ты потом делал?

— Я же сказал: работал. И потрудился на славу.

Я не вполне понимала, о чем он, но Левин с сияющим видом уже поднес к моему рту полную вилку креветок. Потом подлил себе шампанского.

— За нас, Элла, и за лучшие времена!

Он сунул руку во второй пакет и достал оттуда коробочку, явно из ювелирного.

— По-моему, золотистый топаз очень подойдет к твоим карим глазам.

Потом, как фокусник, стал извлекать из пакетов шелковые рубашки для себя, шелковые блузки для меня, туфли, духи, а под конец зачем-то еще и маленький глобус.

Пришлось попотеть, прежде чем он открыл сейф Германа Грабера; должен же был старик держать дома хоть какую-то наличность! Сейф прост по конструкции, без ключа, только с цифровым замком. Но там ничего особенного не оказалось — так, бумаги всякие, альбом для гостей, сводки из банка о процентах по срочным вкладам, кстати, не такие уж большие суммы.

Тогда он тщательно, пядь за пядью, осмотрел спальню, он был уверен, где-то у старика есть тайник. Но только после многочасовых поисков ему улыбнулась удача.

— Нет, старик был не дурак, — протянул Левин уважительно, — кроме меня такую заначку никто бы не отыскал.

Невысоко над полом возле каминного поддувала из-под обоев торчал кончик шнура. Левин поддел плинтус и потянул за шнурок, как за леску, выудив из-под обоев целлофановый пакетик с несколькими тысячными купюрами. Это, разумеется, не само наследство, о котором столько разговоров, но все же как бы аванс. Только после этого Левин вызвал агента из похоронного бюро, обсудил с ним все детали, а потом

безуспешно пытался дозвониться до адвоката. И уж совсем перед закрытием магазинов все-таки успел вот кое-что купить.

Только теперь самообладание окончательно меня покинуло. Я завыла и стала жаться к Левину, как потерявший хозяина пес.

Он гладил, утешал, успокаивал меня:

— Ну ладно, ладно, все уже позади. Ляг поспи, тебе сейчас это просто необходимо. А мне надо еще кое-что обмозговать.

После блаженной ванны с травяным экстрактом и нескольких таблеток валерианы я погружалась в сладкую полудрему. "С завтрашнего дня перестаю принимать пилюли, — думала я. — Кольцо с топазом тут совершенно ни при чем, хотя хорошо, что Левин не унаследовал у деда его скупости, лишь бы, правда, это транжирством не обернулось... Придется еще немного его повоспитывать..."

Наутро я отправилась на работу, а Левин поехал в Фирнхайм. Деньги из тайника были на исходе.

Может, уволить Марго? Пожалуй, пока не стоит, и Левин против, — ему спокойнее, если на вилле будет кто-то жить. Все равно мы въедем туда только после капитального ремонта. Кстати, места в доме достаточно, на первом этаже вполне можно будет разместить зубоврачебный кабинет, это еще до начала ремонта спроектировать надо. Я радовалась, что Левин строит столь разумные планы, а не спешит покупать себе второй автомобиль.

В лихорадочном нетерпении Левин ожидал дня приема у нотариуса. Пока что ему не суждено знать, на какую сумму денег он может рассчитывать и нет ли в завещании очередной злокозненной закавыки. Вилла, впрочем, стоит с десяток "порше", уверял он меня; "порше" у Левина — это как валютная единица.

Мрачного вида нотариус томил нас нарочитой медлительностью. Завещание, изрек он наконец, и в самом деле подвергалось переделке двенадцать раз. Последней его версии всего две недели сроку, и ее содержание неизвестно даже ему. Левин побледнел. Однако об университетском дипломе в завещании не было ни слова. Левину отходила часть ценных бумаг — на сумму, в точности соответствующую обязательной наследственной доле. Виллу же и львиную долю своих акций старик Грабер отказывал мне — Элле Морман, буде я в течение ближайшего полугода стану законной супругой его внука. Разумеется, я вправе отказаться от супружества с Левином, и в этом случае моя доля наследства должна быть передана в собственность Красного Креста.

Понадобилось время, прежде чем Левин сумел осознать смысл всего услышанного. Когда этот смысл до него наконец дошел, он вскочил и заорал:

— Это ж любому ясно, что старик не в своем уме был! Это же полный бред — все свои деньги совершенно чужому человеку отдавать! А нельзя посмертно объявить его невменяемым и назначить над ним опеку?

Мои радостные, хотя и робкие надежды как в воду канули. Я-то мечтала совсем не о деньгах.

— Объявить невменяемым... — задумчиво прогнусавил нотариус. — Это путь, который снова и снова пытаются избрать родственники умершего, дабы оспорить завещание, причем иногда даже небезуспешно. Но в вашем случае я не вижу ни малейших шансов, ваш дед до последнего

дня пребывал, как у нас принято говорить, в здравом уме и твердой памяти, и засвидетельствовать сие смогут очень многие.

Но Левин уже приходил в себя.

– Да это не столь уж существенно, – проговорил он, с трудом сдерживаясь, – мы с моей невестой все равно скоро поженимся.

– Что ж, в таком случае ничто не должно помешать вашему счастью, – изрек нотариус с почти нескрываемой завистью, лапая меня сальным взглядом. Я не ответила на его улыбку и ничем не подтвердила заявление Левина. Я была уязвлена до глубины души.

6

— Хорошо спали? – спрашиваю я наутро госпожу Хирте, замечая выражение усталости и одновременно некоего лукавства на ее лице.

– Кошмарный сон, – отвечает она, – наверно, все от полнолуния.

– Что же вам такое приснилось? – интересуюсь я с тайным испугом.

– Я застрелила полицейского.

Вообразив себе, как эта мымра очкастая берет на мушку полицейского, я не могу сдержать улыбку.

– Надо справиться у Фрейда, что бы это значило, – замечаю я.

В отличие от меня госпожа Хирте в клинике лежит не в первый раз. Несколько лет назад у нее была операция на кишечнике; она, впрочем, неколебимо убеждена, что именно тогда рак был окончательно и бесповоротно изгнан из ее организма. Ее анализ на гистологию пока не пришел, но не думаю, что врачи станут скрывать от нее правду. Глядя на ее жуткую худобу и желтоватую бледность, не нужно быть специалистом, чтобы поставить диагноз.

– Так на чем я вчера остановилась? – спрашиваю я как бы невзначай.

Она смущена.

– Кажется, там, где речь зашла о диете для дедушки,– бормочет она.

– Ну и чудненько, – говорю я. – Итак, дед умер.

Более чем откровенная реакция Левина на дедовское завещание заметно охладила мои чувства к нему. По дороге от нотариуса он, видимо, это понял.

— Что случилось? — спросил он. — Почему ты так немногословна? Радуйся: пришла, можно сказать, с улицы, и вон какой куш сорвала.

Я отнюдь не считала все проделанное нами игрой и тем более не чувствовала себя счастливой победительницей. “Ну погоди, принц мой ненаглядный, — подумала я, — так просто я тебе не дамся”.

Разумеется, он уже минуты через две поинтересовался, когда у нас свадьба.

— Не знаю, — холодно ответила я.

— Теоретически у нас полгода времени,— сказал Левин, — только вот Дитер не сегодня-завтра объявится, так что стоит поторопиться.

— К чему такая спешка? — возразила я. — Продай свои акции или “порше”, и ты вполне можешь с ним рассчитаться.

У Левина отвисла челюсть.

— Вот оно что, — проговорил он, — я, значит, выкладывай бабки, а ты будешь прохлаждаться на моем наследстве?

— До свадьбы мне не принадлежит ни гроша, — заявила я, — и ты прекрасно это знаешь. Как и то, что за деньгами этими я не гонюсь.

Левин уставился на меня как на совсем чокнутую.

— Ты хочешь сказать, что я тебе больше не нужен, а наследство пусть горит синим пламенем? Послушай, можно ведь сразу же развестись, глупо, если все это Красный Крест заграбастает...

— Ничего не имею против Красного Креста, — холодно заметила я.

Левин рассмеялся.

— Шутить изволите, — сказал он и потянулся меня обнять.

Я оставалась бесчувственной, как статуя.

— Мой совет: до обрученья не целуй ее... — процитировала я.

Этот намек он понял сразу.

— Свадьба через неделю! — воскликнул он бодряческим тоном, но я все равно продолжала дуться.

Несколько дней мы испытывали терпение друг друга. Каждый ждал уступки от другого.

Между прочим, пресловутый Дитер все никак не объявлялся. Я даже начала сомневаться в его существовании, хотя и Марго время от времени со страхом заговаривала о его возвращении. "Может, это фантом, плод коллективной фантазии Левина и Марго?" — подумывала я. Но потом отбросила эту мысль: Левин вряд ли станет пускаться на аферу вместе с такой дурехой. К тому же он человек хотя и легкомысленный, но не интриган.

В конце концов, на попятную пошел Левин. Однажды заехал за мной на "порше", хотя мой кабриолет стоял перед входом в аптеку, и пригласил в очень дорогой ресторан.

— Решил за один вечер спустить все свои денежки? — ехидно поинтересовалась я.

— Мы еще не отпраздновали нашу помолвку, — только и сказал он.

Что ж, тогда мне надо было еще заехать домой, принять душ и переодеться.

И только в ресторане, блаженно откинувшись после трудного, тоскливого дня на уютную спинку диванчика и выпив холодного вина, я сменила гнев на милость.

Левин все очень хитро рассчитал. После нескольких бокалов, когда голова у меня уже слегка пошла кругом, он вдруг огорошил меня вопросом:

— Ну скажи, чего тебе больше всего на свете хочется?

— Ребенка!

На следующий день мы заказали свадебные объявления в газетах. Была суббота, у меня был выходной, но по магазинам с Левином я не поехала, осталась убирать квартиру. Неужели и вправду мы уже скоро сможем позволить себе уборщицу?

Тут позвонили в дверь. Дорит, подумала я, вот уж некстати. Опять многочасовой разговор о мужиках и детях.

Но на пороге я узрела вовсе не Дорит, а статного мужчину.

— Левин Грабер здесь живет? — нерешительно спросил он, хотя табличка на двери делала его вопрос явно излишним.

Хотя я не знала, когда Левин вернется, незнакомец изъявил желание его подождать.

— Я Дитер Кросмански, — добавил он.

Я перепугалась.

От Дитера, похоже, это не укрылось.

— Если вам это неудобно, я зайду сегодня вечером.

"Он понял, — подумала я, — что я про него знаю, и теперь, чего доброго, решит, что я бывших арестантов за людей не считаю".

Пришлось любезно пригласить его в дом, проводить в комнату Левина, принести ему газету и бутылку пива. Дверь я на всякий случай оставила открытой: вдруг он в вещах Левина копаться начнет? С тряпкой в руках я решительно вошла в комнату, извинилась за вторжение и принялась прилежно стирать повсюду пыль. Краем глаза мы следили друг за другом.

Наконец я с притворным дружелюбием поинтересовалась, не из Хайдельберга ли он.

— Нет, но я жил здесь раньше. А вообще-то родители мои с востока.

Дитер говорил на хорошем литературном языке в отличие от Марго, чье местное происхождение при всем желании скрыть невозможно, до такой степени выдает его диалект. Неужто Дитер и вправду ее муж? Как можно более беззаботным тоном я спросила:

— Вы с Левином учились вместе?

— Да нет, — столь же любезно отвечал Дитер, — путешествовали.

Вот это уже ближе к делу. Дитер, похоже, тем временем пытался прикинуть, постоянная ли я подружка у Левина или так, случайная гостья, и до какой степени я в курсе дела.

Что ж, я пошла ему навстречу.

— Мы с Левином хотим в скором времени пожениться, — сообщила я.

— Вытекает ли из этого, что Левин уже окончил университет?

— Пока нет, но скоро окончит.

— А что его дед — жив еще?

Это был вопрос, что называется, на засыпку, но изображать неведение было бы совсем уж глупо.

— Недавно умер.

— Тогда Левин должен быть богачом, непонятно, с какой стати он ютится в одной комнате?

Ишь, как все хочет выведать, с досадой подумала я. Ничего не поделаешь, сама нарвалась.

— Завещание вступит в силу лишь по истечении определенного срока, — сказала я, — такие дела за один день не делаются.

К моему удивлению, он не стал вдаваться в подробности, а вместо этого неожиданно сказал:

— Что-то я себя неважно чувствую, нельзя ли мне прилечь? Я уверен, Левин возражать не станет, он бы наверняка мне позволил чуток вздремнуть на его кровати.

Без всякого восторга я наблюдала, как он снимает ботинки (и на том спасибо) и укладывается. Подавив тяжелый вздох, я вышла из комнаты, оставив дверь приоткрытой.

Я давно уже навела блеск во всей квартире и даже успела немного отдохнуть, а Левина все не было. Не просыпался и Дитер. Я проскользнула в комнату, чтобы получше его рассмотреть. Нет, на торговца наркотиками он решительно не похож, и вообще злодеи в моем представлении

выглядят иначе. Этот же в своей ковбойке и вельветовых штанах смахивает на студента-англичанина, если не на сельского землемера откуда-нибудь из моей Вестфалии. На лице безмерная усталость; пожалуй, лицо даже интеллигентное, и, если начистоту, не могу сказать, чтобы оно мне так уж не нравилось. И как это его Марго окрутила? Вон, ноготь большого пальца у него изувечен. Почему-то мне стало почти жаль этого чужого спящего мужика, я принесла из соседней комнаты шерстяной плед и укрыла его.

Левин накупил много вкусной еды и поэтому вернулся домой не слишком поздно. Заслышав рокот мотора, я на цыпочках поспешила к двери, открыла ее еще до того, как он успел вставить ключ, и, приложив палец к губам, шепнула:

— Он здесь!

— Кто? — гаркнул ничего не понимающий Левин.

Еще раз знаком велев ему не шуметь, я отвела Левина к двери его комнаты. Не веря себе, он уставился на своего дружка, потом оторопело проследовал за мной на кухню. Куда только подевалась его удаль! Судорожно шаря по карманам в поисках сигарет, он осведомился, о чем мы тут с гостем беседовали.

— Не волнуйся, он был кроток как ягненок, — успокоила я Левина. — Правда, пришлось сказать ему о смерти твоего деда, но он бы и так об этом узнал.

Левин явно был раздражен.

— Ну и что прикажешь с ним делать?

— Дать ему выспаться, потом вместе пообедать и прогуляться по парку, — как ни в чем не бывало предложила я.

Левин удивленно на меня глянул.

— Кто бы мог подумать, что ты такая невозмутимая, тебе впору прямо гангстерской невестой быть.

Я не стала уточнять, что я ею уже стала, и принялась за стряпню, чему Левин изрядно мешал своим нервным хождением взад-вперед по кухне. Чтобы чем-то его занять, я попросила его почистить яблоки. Он схватился за самый острый нож и, разумеется, тут же порезал палец. Пока я накладывала повязку, на пороге объявился наш гость, все еще в носках. Заметив на столе несколько капель крови, он побледнел и поспешно отвел глаза. Я протерла стол. Только тогда он отважился к нам подойти.

— Ну что, старина, — сказал он, крепко — не слишком ли крепко? — похлопывая Левина по спине. — Марго все еще в Хайдельберге, на Грабенгассе у Лоры?

Левин от ответа уклонился.

— Знаешь, Элла — прекрасная повариха, но ей нельзя мешать. Пойдем, ударим по аперитиву.

Они удалились, предоставив мне запекать в духовке медальоны из заячьей спинки, начиненные виноградинами без косточек, с гарниром из яблок в кальвадосе. Из гостиной сюда не доносилось ни звука.

Когда полчаса спустя я позвала Левина и Дитера к столу, оба были в наилучшем расположении духа, никаких следов схватки — ни словесной, ни рукопашной — заметно не было.

Заяц удался на славу, они были в восторге. Мы болтали о политике, о том о сем, о кулинарных рецептах. Потом Дитер вдруг встал.

— Дашь мне свою машину? — спросил он, обращаясь к Левину. — Завтра утром я тебе ее верну.

Я чуть не потеряла дар речи от такой бесцеремонности, да и представить себе, что Левин кому-либо отдаст ключи от своего "порше", было просто невозможно. У него и впрямь чуть дрогнули уголки губ, когда он изрек:

— Я отвезу тебя куда прикажешь.

— Очень мило с твоей стороны, но это ни к чему, — твердо сказал Дитер, — да ты и выпил больше моего.

Что верно, то верно. И Левин в самом деле отдал ему ключи.

— Ты ведь знаешь, где она стоит.

Едва он исчез, я набросилась на Левина с вопросами:

— Он поедет к Марго? А если он ее изобьет? И что ему от тебя надо?

Левин зевнул.

— Дорогая, как ты верно заметила, он стал кротким агнцем. Мы вполне поладили, а Марго он и пальцем не тронет.

— А что насчет денег, которые ты ему должен?

— Теперь это не к спеху, — сказал Левин. — Кстати, он будет нашим свидетелем на свадьбе.

Эта новость пришлась мне совсем не по вкусу — значит, придется звать и Марго. Я ведь пригласила родителей, которых вижу очень редко, брата, нескольких друзей и мою шефиню. Свидетелями мне хотелось видеть Дорит и Геро, а теперь, значит, это будут Дорит и Дитер. Мои родители столько лет переживали из-за странностей моего вкуса в выборе любовников, что теперь я хотела порадовать их видом благопристойного жениха, с высшим образованием, да к тому же еще и богатого наследника. Но одно только появление Марго все безнадежно испортит.

Левина мои огорчения только повеселили.

— Вот уж не думал, что в тебе столько спеси. Надеюсь, хотя бы Дитер тебя не смущает?

Я промолчала. Но про себя вынуждена была признать, что со стороны Дитер выглядит, пожалуй, даже получше, чем Левин.

— А сколько лет Дитеру и чем он вообще занимается? — поинтересовалась я.

— Тридцать пять, по-моему, а по специальности он страховой менеджер, кажется. Толковый парень, и языки знает.

— Если он такой толковый, с какой стати он заделался наркодельцом?

— Вопрос, конечно, интересный... Но на что не пойдешь ради денег?

Я решила перепрятать колбочки с ядом в новое место; такой, мягко говоря, импульсивный человек, как Левин, не должен знать, где они находятся. Раздумывая над этой задачей, я вдруг задалась вопросом, а зачем столь сильные и опасные яды, да еще и раздобытые, видимо, где-то в Англии, понадобились деду? Ведь подобные препараты вовсе не входят в обязательный провизорский набор любого аптекаря, как я внушала Левину. Может, это как-то связано с тем, что во времена Гитлера мой дед был вовлечен в дела, о которых в семье предпочитали помалкивать? Я припрятала колбочки в старый цветочный горшок, присыпала их землей, а горшок поставила в погреб к прочим остаткам моего балконного хозяйства.

День свадьбы приближался. Я волновалась в предвкушении все новых и новых хлопот. Что мне надеть? Дорит отправилась со мной покупать льняной костюм кремового цвета. Для свадебного букета она предложила мне чайные розы, лилии и незабудки. Я не могла решиться, мне казалось, что на фоне такого букета я буду выглядеть бледной.

А у Левина, как оказалось, были совсем другие заботы.

— Поехали, — сказал он мне дня за три до свадьбы, — я знаю в Фирнхайме одного архитектора. Пора подумать, что мы сделаем с домом.

Так впервые после смерти Германа Грабера я вновь оказалась на вилле. Огромные комнаты в первом этаже, при жизни старика завешенные и пустовавшие, теперь совершенно преобразились: Дитер и Марго уже успели вынести отсюда громоздкие, черного дерева мебеля и со вкусом расположились здесь сами. Марго явно вознамерилась окончательно перебраться из своей полуподвальной квартирки в господские покои. Не скажу, чтобы подобная перспектива привела меня в восторг.

Архитектор предлагал различные варианты — что и как отремонтировать, где и что модернизировать, как перестроить и при этом не изуродовать. Я непременно хотела, чтобы у нас был зимний сад. Нельзя начинать работы, нудил архитектор, не приняв окончательного решения — будем мы оборудовать на первом этаже зубоврачебный кабинет или нет. Потому что тогда надо второй вход пристраивать. Левин сонным голосом ему отвечал, что на этот счет он пока ничего не решил.

Когда архитектор наконец уехал, Дитер принес из дедовских погребов несколько бутылок вина. Дескать, раз уж он будет у нас свидетелем, надо нам с ним наконец перейти на "ты". Он поднял бокал:

— За тебя, Элла!

Меня это предложение застигло врасплох; выходит, что и с Марго, которая прежде называла меня только "госпожа Морман", теперь тоже придется быть на "ты". Я была раздосадована, хоть и пыталась винить во всем себя — в конце концов ведь это именно я всегда ругала своих родителей за их высокомерие.

— Мне совсем не нравится, — заявила я Левину на обратном пути, — что твои друзья-приятели заполонили весь фирнхаймский дом; на свадьбу там можно было бы устроить на ночь моих родителей и твою маму.

— До мамы я вообще пока не смог дозвониться, — уклончиво сказал Левин.

Я еще больше расстроилась: на свадьбе должны быть родители жениха и невесты, так положено! Чтобы сменить тему, спросила:

— Слушай, можешь ты мне объяснить, как Дитера угораздило жениться на такой дурехе?

— Не стоит так уж презирать эту дуреху. Она однажды очень даже его выручила.

— Но это же не повод, чтобы сразу жениться! Они совсем друг другу не пара.

— Тебе-то откуда знать? — усмехнулся Левин.

7

– Неужто у вас и вправду хватило глупости выйти замуж за этого аферис-та? – спрашивает госпожа Хирте. – Если да, то избавьте меня от описания свадьбы, расскажите-ка лучше сразу о счастливом разводе.

Видно, вчера она слушала внимательно. Но свадьба – это важно, не могу я ее пропустить.

В дни перед свадьбой Дорит показала себя настоящей подругой. Она помогала мне во всем: заказывала номера в гостинице, ломала голову над убранством стола, консультировала наших общих друзей насчет подарков... Левин всеми этими вещами интересовался мало, но, навестив шеф-повара шветцингенского замкового ресторана, заказал там поистине царское меню свадебного обеда.

Накануне торжества, едва живая от усталости, я сидела у Дорит на кухне, окунув опухшие от беготни ноги в ведро с холодной водой и какими-то еще эссенциями, стимулирующими кровообращение. Я испытывала к Дорит такую любовь и признательность, что сама не знаю как проговорилась об условиях завещания. Дорит мгновенно сделала стойку. Я должна пообещать ей не давать Левину доверенности на распоряжение имуществом, этот и за год все промотает.

Я пыталась протестовать.

– Дорит, но он же наверняка этого потребует. А меня материальные ценности никогда особо не волновали...

– Знаю, знаю, ты у нас живешь внутренним миром, – съязвила Дорит. – Но старик-то хотел, чтобы за его ненаглядным внуком кто-то присматривал. И доверил это тебе, иначе не отказал бы именно тебе все свое добро.

Пришлось с ней согласиться и пообещать быть осмотрительной.

С юга приехал мой брат с женой и ребенком, с севера прикатили родители. Когда они прибыли, Левина дома не оказалось – он хотел дать мне возможность побыть с моей семьей. На лицах родителей, хоть они его еще не видели, заранее читалась стойкая неприязнь к будущему зятю.

Мать задала свой фирменный вопрос:

– А кем был его отец?

– Органистом.

– Но ты же что-то намекала насчет наследства, откуда у церковной мыши?..

– Наследство – от деда.

В глазах у предков аршинными буквами запечатлелся вопрос “сколько?”, но задавать его вслух они считали ниже своего достоинства.

Отец прошелся по квартире с инспекцией. С той же бесцеремонностью он и комнату Левина подверг осмотру. Потом наконец соизволил раскрыть рот:

– И сколько ему лет?

– Двадцать семь.

Он вздохнул. Тридцать семь были бы ему куда больше по душе. Он без конца помешивал чай, хотя уже двадцать лет живет без сахара.

Брат, к счастью, несколько разрядил атмосферу. Его зануда-жена осталась с ребенком в гостинице, я всегда знала, что она меня не выносит. Обняв меня и родителей, Боб поздравил меня с предстоящей свадьбой.

Вскоре появился Левин, и в поисках общих тем разговор, к моему облегчению, в конечном счете сосредоточился на автомобилях.

Впрочем, мои предки продолжали угрюмо дырявить глазами своего будущего зятя, однако вопиющих недостатков в нем, похоже, с ходу не обнаружили. Вечер прошел мирно, мои родичи загодя ретировалась в свои гостиничные номера.

День свадьбы был ознаменован дивной солнечной погодой, и даже мои родители были в сносном настроении. Мать с заговорщической миной затащила меня на кухню и торжественно подарила дюжину белоснежных банных гостиничных полотенец – трофеи от дюжины отцовских командировок, в которых ей было дозволено сопровождать супруга.

После обильного завтрака, приготовленного моей тучной матерью и моей тощей невесткой, за нами явились наши свидетели. Дорит и Дитер были в меру торжественны и серьезны, уж за них-то мне перед предками стыдиться не пришлось. С Дорит они, кстати, были знакомы и раньше и считали, что та хорошо на меня влияет. После официальной церемонии в магистрате мы все отправились в ресторанчик при замке. Я решила, что выгляжу очень неплохо, кремовый костюмчик мне к лицу, а отец собственноручно повесил мне на шею тяжелое, в шесть ниток, гранатовое ожерелье своей бабушки, на которое я давно уже зарилась.

Но тут-то и случился полный облом. Я увидела Марго и просто остолбенела. Неужели это та самая драная кошка, которая худо-бедно, впрочем, скорее худо, чем бедно, управлялась с хозяйством Германа Грабера? Передо мной игриво прохаживалась наглая девица в черном платье, сверху прозрачном, а сзади с глубоким, до самой ложбинки в заднице, вырезом, то есть в наряде, уместном скорее на панели, чем на чужой свадьбе, и купленном к тому же явно на мои деньги. Надо ли пояснять, что при виде столь похабно и напористо выставляемой напоказ низкопробной сексуальности многие мужчины буквально прирастали к полу, ошалело вопрошая: “А это кто такая?”

По счастью, во время обеда Марго сидела далеко от меня. Однако мой брат, не теряя времени даром, поспешил к ней подсесть и явно наслаждался ее обществом.

Рядом с моей шефиней (она пришла в платье сафари цвета киви) мы посадили доктора Шнайдера, домашнего врача Германа Грабера. Его пригласил сам Левин: дескать, надо налаживать добрые отношения с будущим коллегой. Я, собственно, и не возражала. Были среди гостей и другие столпы фирнхаймского общества. Да и как иначе, ежели мы хотим тут обосноваться, а Левин рано или поздно намерен открыть здесь свою зубоврачебную практику.

После кофе явились музыканты. До этого Левин никогда со мной не танцевал, говорил, что совсем не умеет. Оркестрик, как выяснилось, был свадебным подарком от Дитера, и я поначалу очень даже обрадовалась – танцевать я люблю, а свадьбу без вальса вообще не представляю.

Поскольку Левин и не думал отрываться от стула, меня на первый танец пригласил отец, благо обычаям свадебного торжества это не противоречит. Следом за нами вышли танцевать Дорит и Дитер, а потом и остальные. Отец оказался хорошим танцором, о чем я прежде не

подозревала, и мне было приятно хотя бы таким нехитрым образом ощутить свою общность с ним.

— Ты даже не представляешь себе, какое это для меня облегчение — знать, что ты хорошо устроена в жизни, — сказал он мне. — Ведь мне через два года на пенсию, и тогда я уже не смогу тебе помочь.

— Папа, да я уже шесть лет сама себя обеспечиваю!

Он рассеянно кивнул. Мы уже танцевали танго, как вдруг я увидела рядом с собой Левина. Для никудышного танцора он управлялся со своими конечностями даже слишком хорошо, а повисшая на нем вульгарной девкой Марго и вовсе исполняла настоящий эротический перформанс. С этой минуты моя свадьба была больше мне не в радость.

Когда танго кончилось, я поспешила к шефине. Та давно уже красноречивым взглядом молила о помощи. Старикан Шнайдер явно перебрал. Невзирая на присутствие жены, сидевшей неподалеку, — она, похоже, была даже старше его, — он осаждал мою шефиню двусмысленными комплиментами. Разумеется, та и сама была в силах за себя постоять. Но я посчитала нужным прийти ей на выручку.

— Мои родители очень бы хотели с вами познакомиться, — позвала я ее, и она с готовностью встала.

Завидев меня, господин Шнайдер немедленно сменил направление главного удара.

— А у Левина, как я погляжу, губа не дура, — прошамкал он и принялся обстоятельно рассказывать о своей дружбе со старым Грабером и о том, как он верой и правдой вот уже сколько десятилетий пользует всю его семью. — Вот переберетесь к нам в Фирнхайм, а там, глядишь, я скоро и четвертое поколение Граберов лечить буду...

"Ну уж нет, — решила я про себя, — если у меня будет ребенок, я и не подумаю доверить его этому ископаемому". Но виду не подала и продолжала любезно улыбаться.

— Он был крепким малым, наш дружище Герман,— продолжал врач, — своего никогда не упускал. Иначе и не достиг бы ничего, ведь вышел-то из бедноты. Сын его — тот совсем другое дело, зато вот Левин, сразу видать, тоже не промах. М-да, был человек и умер, наш дружище Герман, а ведь мог бы еще пожить на старости лет. И скажу я вам, такой жуткой смерти и врагу не пожелаешь.

У меня даже дыхание перехватило. Ведь Левин говорил, что все прошло мгновенно и "как нельзя лучше".

— То есть как? — спросила я почти неслышно. — Я думала, он тихомирно скончался за завтраком, без всяких болей.

— Меня, как вы понимаете, при этом не было. Но что у него ужасные, мучительные судороги были — это сразу видно по лицу, по рукам. Он пытался звать на помощь: телефон валялся на полу, скатерть со стола сдернута. Нет, смерть от сердечного приступа отнюдь не всегда скоротечна и безболезненна.

Доктор Шнайдер заметил, что мне не по себе. Но, видимо, списал это на обычное волнение невесты.

— Пойдите лучше подышите свежим воздухом, — посоветовал он.

С тех пор как я стала жить в двух шагах от шветцингенского замка, я полюбила замковый парк как свою вотчину. Я часто сиживала на скамейках тамошнего летнего театра и читала, устраивала себе пикники возле искусственных руин, наслаждалась одиночеством в "мечети" или, устро-

ившись на скамейке у самого берега, кормила в пруду уток. В день свадьбы мне так хотелось рука об руку прогуляться с Левином по парку, и вот вместо этого я торчу тут одна перед знаменитым каменным сфинксом, который, подобно всем сфинксам на свете, с безмолвной улыбкой таращится на меня взглядом большой хищной кошки. Если кто и вернет мне присутствие духа, то только не он, а вот эти древние деревья, птицы и, возможно, даже дурацкие золотые рыбки в воде. Минут десять спустя я вполне овладела собой. Итак, отныне я официально, по документам, Элла Морман-Грабер, все будут звать меня, конечно же, по мужу "госпожой Грабер" и, значит, то и дело напоминать мне о покойном. Значит, придется к этому привыкнуть.

Хотелось вернуться к гостям по возможности незаметно, просто смешаться с беззаботной толпой танцующих и самой пуститься в пляс. Стараясь избегать широких, как по линейке разбитых аллей, я побрела обратно к замку глухими тропками в тени густых деревьев и шарообразных кустов самшита. Парк в этот час отнюдь не был безлюден — помимо запоздалых туристов бродили здесь и наши гости, пожелавшие размять ноги после возлияний, еды и танцев. Проходя мимо скамейки, на которой часто сиживала в одиночестве, я в который раз отметила, что укромное это место просто создано для влюбленных. Скамейка оказалась занята. Я заслышала голоса и замерла за кустами, не поверив собственным ушам. Да, на скамейке сидела Марго. И совсем не с Дитером; с ней был Левин.

Мне опять чуть дурно не сделалось. Эти двое сидели на скамейке, тесно прижавшись друг к другу, и что-то горячо обсуждали.

— Ну хорошо, хорошо, — сказал Левин. — Будь по-твоему, она и впрямь похожа на жесткошерстного фокстерьера, но зато она исполняет все мои прихоти, этого не от всякого фокстерьера дождешься.

Эта шелудивая кошка смеет называть меня фокстерьером?! Да я чуть из-за кустов не выскочила, готовая облаять и покусать обоих!

— Ладно, Левин, пошли, а то мне зябко, — протянула Марго, и оба встали. Никем не замеченная, я последовала за ними.

В зале продолжались танцы. Не успела я смешаться с толпой, как меня подхватил под руку Дитер.

— Мне тебя очень недоставало, — проникновенно сказал он, — если позволишь, этот танец мой.

Какое счастье, что эти слова произнес не Левин, — я бы точно не сдержалась! К немалому изумлению Дитера, я прильнула к нему так, будто это он мой жених. Поначалу он не знал, как ему реагировать, и не отстранялся, по-моему, только из вежливости. Но после двух танцев (ибо я и не думала его отпускать) мы лучше почувствовали друг друга и уже оба начали находить удовольствие в этом бездумном и слитном подчинении единому ритму.

Марго тем временем кружилась в объятиях моего брата (чья жена с кислой миной за ними наблюдала), а Левин танцевал с Дорит. С наигранной беззаботностью он помахал мне рукой. Снова обретя лицо, я ответила ему очаровательной улыбкой. Только тут до Левина, видимо, дошло, что потанцевать с молодой женой его прямая обязанность, и на следующем вальсе очередь наконец-то дошла и до меня.

Левин на две головы выше меня, на идеальную пару мы точно не тянем. Но я, со своей стороны, честно пыталась изображать таковую и сияла что есть мочи. Все, пуще всех мои папочка с мамочкой, глядя на нас,

таяли от умиления. Передо мной же, пока мы кружились в этом шарманочном ритме на три четверти, проходили жуткие сцены из страшных сказок, особенно история Синей Бороды, чьей седьмой жене посчастливилось обнаружить расчлененные тела своих предшественниц. Мне казалось, я теряю рассудок, распадаюсь на два разных существа — белокурую невесту, что всем на зависть празднует счастливейший день своей жизни, и взъерошенного фокстерьера, для которого разодрать кошку самое милое дело, не говоря уж о преследовании иной блудливо-петляющей дичи.

Поцеловала меня в мой свадебный вечер только Дорит. Когда мы с Левином, не чуя ног от усталости, наконец-то рухнули в постель, то оба мгновенно погрузились в сон. Он явно перепил, а я стерла себе в кровь ноги.

– Новую обувь надо разнашивать постепенно, – изрекает госпожа Хирте.

На следующий день мои родители непременно хотели перед отъездом осмотреть наше будущее жилище. Хотя Марго и знала, что нас следует ждать к полудню, это ни в коей мере не подвигло ее к нашему приходу подняться с постели. За истекшее время она исхитрилась заполонить собою весь дом, так и не приучившись при этом проветривать помещения. Во всяком случае, сказать, что она занимает в доме только один этаж, было теперь очевидным преуменьшением. Строители по-настоящему за работу еще не взялись, но дом уже стоял в лесах, а весь двор был загромождeн упаковками черепицы, кафельной плитки, сантехники. Словом, являл собой не самое привлекательное зрелище; когда же — в потертом розовом халате, снова похожая на облезлую плюшевую цацку, — перед нами явилась заспанная Марго, я, с одной стороны, даже немного успокоилась — ну не может она в таком виде Левину понравиться! — с другой же чувствовала себя в глазах родственников чуть ли не опозоренной.

Однако тех потрясла отнюдь не Марго, а буржуазный размах и солидность виллы; они наперебой восторгались садом с разлапистыми елями, которые мне-то из-за их мрачной тевтонской аляповатости нравились меньше всего. Я уже подумывала их спилить и посадить вместо этого вишни и яблони. Мешала мне и кортадерия, разросшаяся у самого крыльца, но в ней души не чаял Левин, он еще в детстве любил играть с ее длинными и острыми, как копья, стеблями.

Когда наконец родители и Боб с семьей разъехались по домам, я при первой возможности заговорила с Левином о смерти Германа Грабера. Тот прикинулся дурачком.

— Старый хрыч пыль тебе в глаза пускает, — возмутился он. — Я же видел деда, говорю тебе, лицо у него было просто блаженное. Или ты этому болтуну веришь больше, чем мне?

Я чуть было не сказала “да”. Но стоит ли семейную жизнь начинать со скандала? Конечно, мне не давала покоя и сцена с Марго, невольной свидетельницей которой я стала, но я ни в коем случае не хотела, чтобы он заметил мою ревность, быть может к тому же и беспричинную.

Словом, настроение было отвратное, и я уже жалела, что взяла отпуск на всю неделю. Тогда уж лучше было бы на несколько дней съездить в Венецию, но Левин при мысли об организованном пробеге от досто-

примечательности к достопримечательности в толпе янки и япошек приходил в ужас. Сам он хотел в Гонконг. Сошлись на том, что в следующий отпуск махнем недельки на три в Юго-Восточную Азию, а пока что никуда не поедем.

Словом, выйдя снова на работу, я была почти счастлива. Левин, правда, был со мной мил, подарил мне кучу дорогих на вид и совершенно ненужных мне вещей, но в глубине души я понимала, что все это не что иное, как попытка подкупа. Ведь женился он на мне отнюдь не ради моих прекрасных глаз.

8

Ничуть не удивлюсь, если госпожа Хирте точно так же роется в моей тумбочке, как и я – в ее; правда, мне будет неприятно, если она уже обнаружила там открытку Левина и письмо Павла. Мне-то недавно все же достался кое-какой улов: в одном из ее детективов я нашла фотографию. На ней госпожа Хирте, облаченная в спортивную куртку, прогуливает какого-то мужчину в инвалидной коляске, – должно быть, отводит душу на ниве благотворительности. А паралитик, судя по всему, выглядел когда-то очень недурственно, интеллигент образца шестьдесят восьмого, жаль, сейчас от его личности мало что осталось.

Левин прямо об этом не говорил, но явно ждал, что полученное наследство я перепишу на него; когда намеками, когда изъявлениями любви он давал мне это понять. Используя преимущества своего положения, я в один из дней все-таки решила докопаться, почему Дитер женился на Марго.

– Она в свое время обеспечила ему алиби, – неохотно выдавил Левин.

– То есть ложное алиби?

– Ну ясное дело.

В результате моих долгих и назойливых расспросов выяснилось только, что Марго была тогда беременна.

– От Дитера?

– Наверно.

– А где же ее ребенок?

– Марго принимала наркотики, и во время беременности тоже. Роды оказались преждевременными, и ребенок умер.

Тут я настолько разбушевалась от возмущения, что Левин долго не мог меня успокоить.

– Нет худа без добра, – сказал он наконец. – Ее это так потрясло, что она даже бросила колоться.

Мне, конечно, было Марго немного жаль, но, с другой стороны, одобрить такую непростительную безответственность я никак не могла. Так что это за история с ложным алиби? Этого мне Левин так и не сказал.

На выходные мы теперь ездили в Фирнхайм инспектировать ход работ. Я уже успела полюбить свой будущий дом. Зимний сад всегда был моей тайной мечтой. Его пристраивали с задней стены здания, откуда открывался дивный вид на весь наш участок. В мыслях я уже видела цветы и растения, пышно произрастающие там в любое время года, манящие к

отдыху плетеные кресла, мирно покачивающегося в лианах попугая. У меня тут будет сущий рай.

Однако мне совсем не нравилось, что Дитер и Марго, судя по всему, даже и не собирались съезжать. Левина это ничуть не огорчало: пока мы сюда не въезжаем, можно спокойно оставить им их две комнаты, раз уж они ничего себе не подыскали.

— Но они и не ищут! — кипятилась я.

— Разумеется, они ищут, — возражал Левин, — но ты же знаешь ситуацию на рынке жилья, за один день это не делается.

Видимо, Дитер все же получил от Левина какие-то отступные, иначе на что он живет? Похоже, и Марго по-прежнему получает жалованье, но в этом хоть какой-то резон есть: все-таки она по утрам встречает строителей, убирает за ними мусор, обеспечивает их питьем.

На две ванные комнаты в доме (прежде-то была только одна) я легко согласилась — пусть наши дети поплещутся в собственной ванне, но две кухни нам зачем?

— Если вдруг окажемся на бобах, — объяснял Левин, — один этаж можно будет сдать, вместе с кухней это полноценная квартира.

— Вот когда до этого дойдет, тогда и перестроим, — отрезала я и все дальнейшие переговоры посчитала излишними.

Но когда наконец — после трех месяцев стройки — мы въехали в дом, Дитер и Марго все еще жили там, и оказалось, что мы должны пользоваться общей кухней. Драма была неизбежна.

Я человек аккуратный, почти педантичный, и чистюля — иначе, наверно, не стала бы аптекаршей. Еще в детстве я обожала печь пирожные и песочное печенье, развешивая все с точностью до грамма на домашних почтовых весах. На кухне у меня все сверкает и такой порядок, что я любую вещь с закрытыми глазами нахожу. Конечно, неряшливость Левина меня раздражала, но ему я, как ребенку, все спускала с рук.

По наследству от бабушки мне достался старинный кукольный магазинчик — игрушечный прилавок с тридцатью деревянными ящичками, а на каждом ящичке своя фарфоровая табличка, в них-то я и храню свои пряности. Тут-то и ждал меня первый удар: пакетики ванили, корицы, гвоздики и кардамона, извлеченные из своих ящичков, без всякого разбора были свалены в омерзительно розовую пластмассовую банку из-под дешевого кофе. В ящички же Марго чего только не понапихала: пластыри, резиновые прокладки из набора для консервирования, этикетки для морозильника, канцелярские скрепки, ластики и всякую прочую несъедобную ерунду. Я сперва чуть в обморок не грохнулась, потом собрала весь этот омерзительный хлам, отнесла его в неприбранную спальню Марго и шваркнула ей на кровать. Та поняла меня совершенно правильно: это было объявление войны.

А жизнь моя с переездом в фирнхаймский дом и без того заметно осложнилась. Это от моей старой квартиры до аптеки было рукой подать, из Шветцингена я добиралась уже существенно дольше, а теперь и на машине не всегда за полчаса успевала. Но ни от работы, ни от своей самостоятельности я пока что отказываться не собиралась. Так что вставала я утром раньше всех.

Вскоре после меня, по идее, должен был уходить из дома и Левин, но, по-моему, он теперь не слишком-то рвался в университет, предпочитая всласть отоспаться. Так что я уже успевала отработать несколько ча-

сов за прилавком, когда на моей вилле, должно быть, только-только садились завтракать. От одной мысли об этих их совместных трапезах у меня мгновенно портилось настроение.

Дитер, надо отдать ему должное, не сидел сложа руки; он сразу же начал искать работу, но по его специальности страхового менеджера мест нигде не было. В транспортном агентстве ему предложили нерегулярные заработки — подменять других водителей. И хотя работа водителя грузовика — он освоил ее в армии — была явно ниже уровня его квалификации, он все же согласился.

С тех пор Дитер часто бывал в разъездах; работа, конечно, непостоянная и нерегулярная, но мне очень импонировало, что он ею не побрезговал. К тому же в свободные дни он много работал в саду, а в комнатах, которые они занимали с Марго, поклеил обои, покрасил окна и двери и вообще делал много полезной работы по дому. Левин предоставил в его распоряжение "мерседес" Германа Грабера.

Когда Дитер и Марго бывали вместе, я, не скрою, не спускала с них глаз. В каких они отношениях? Трудно сказать — какая-то общность, скорее товарищеская или просто по жизни, безусловно, есть, но ни намека на сексуальность, никаких нежностей и ласк я, во всяком случае, заметить не смогла. Да спят ли они вообще друг с другом? Поскольку оба молоды и ложатся в одну просторную постель Германа Грабера, надо полагать, что да.

Левин и я разместились в четырех комнатах на первом этаже. В так называемом "рабочем кабинете" Левина не умолкал второй телевизор. В будущем я планировала перенести наверх нашу спальню и, разумеется, оборудовать там же детские комнаты. В полуподвале находилась бывшая комната Марго, а под крышей — две мансардных комнаты, изначально задуманные как помещение для прислуги. Там была свалена сейчас та часть мебели старого Грабера, которой ни мы, ни Марго с Дитером не нашли применения. Левин, конечно, прав: для двоих этот дом слишком велик.

Именно поэтому мне особенно трудно было объявить Дитеру и Марго, что они должны освободить помещение. Они, кстати, даже не сразу меня поняли.

— Разве мы тебе мешаем? — ошарашенно спросил Дитер.

С наибольшим удовольствием я бы ответила начистоту, что лично он не мешает мне нисколько в отличие от его беспутной лахудры-жены. Мне и самой было до смерти неловко — какие тут могут быть доводы? Видимо, Левин, вопреки уверениям, так и не сказал им, что они должны подыскать себе новое пристанище.

Она работает не покладая рук, твердила Марго с видом заносчивым и униженным одновременно. Она и вправду что-то делает, но все, к чему бы она ни прикоснулась, вызывает у меня одно отвращение. Деревянные лестницы в доме она не столько моет, сколько грязную воду по ступенькам размазывает, о мастике для натирки полов слыхом не слыхивала. В комнатах наверху все провоняло, эта неистребимая вонь расползается по дому во все углы. Похоже, она ни разу не проветривала даже у себя в спальне, не говоря уж о кухне. К войлочным губкам, которыми она стирает пыль, невозможно прикоснуться — я завела себе свои и старательно их прятала. Однако она очень скоро их обнаруживала и еще скорей испоганивала, так что я теперь почти ежедневно возвращалась домой с целым набором новых, свежекупленных. И потом, я просто не могу слышать, как она игриво называет Левина "хитрюгой Хрюшей".

Короче, она внушала мне какую-то почти физически ощутимую ненависть — даже ее стряпню я в рот взять не могла. По вечерам я сама становилась к плите, отнюдь не безупречно чистой, и готовила для нас с Левином что-нибудь вкусненькое, но мне стоило все большего труда заглядывать в холодильник, где с приветом от Марго меня встречали дешевый маргарин, вонючий плавленый сыр, конечно же без обертки, и отнюдь не первой свежести колбаса.

Левин однажды даже спросил:

— Ты часом не беременна? Что-то уж больно в еде привередлива?

К сожалению, забеременеть мне пока не удавалось, но я знала, что зацикливаться на этом не стоит. Не означает ли вопрос Левина, что и он мечтает о том же? Я для себя истолковала это именно так.

Когда зимний сад был готов, во мне снова пробудился вкус к жизни. Я накупила растений, сколько и каких душе угодно, — их доставили в огромном, битком набитом фургоне. Теперь можно было круглый год среди зелени обедать, качаться в гамаке и читать, просто мечтать, напрочь позабыв о мерзких затхлых запахах внутри дома, ибо здесь-то всегда царил густой освежающий аромат влажной травы. Мне доставляло радость, придя домой, поливать свои цветы, а потом улечься в гамаке, ласковым шлепком согнав с него Тамерлана, и устроить себе ужин именно здесь, а не в моей испоганенной кухне.

— Когда окончательно разделаемся с ремонтом, — предложила я как-то раз в минуту хорошего настроения, — надо устроить новоселье. Дорит и Геро тут вообще еще не были, да и шефине моей не терпится посмотреть...

Левин не возражал. Я, правда, не знала, как быть с Марго. По дому она почти всегда бегает распустехой (в тигровой мини-юбке и зеленых плюшевых тапках), но в предвкушении гостей наверняка вырядится этакой шлюхастой королевой бала, и видеть это мне будет во сто крат тяжелей, чем выносить вонь по всему дому.

Но, видно, от нее и впрямь никак не избавиться. Вон и Левин уже заявил, что с уборкой и мытьем посуды лишние руки не помешают. Я-то лично с превеликой радостью управилась бы с этим сама.

Настала осень, темнело рано. За две недели до новоселья у меня было ночное дежурство. Я по привычке слегка задремала, как вдруг услышала звон разбитого стекла — не иначе очередной торчок ломился в аптеку за кайфом. Полусонная, я кинулась в заднюю комнату, услышала, как сработала сигнализация, и в тот же миг ощутила удар по голове и рухнула на пол. Полиция прибыла через считанные минуты, схватила взломщика на соседней улице и принялась устанавливать масштабы ущерба.

Позвонили шефине, она тут же примчалась и первым делом отправила меня домой. Рваная рана на голове, которую она собственноручно обработала, особых опасений не внушала, так что я отделалась легким испугом. Полицейские вызвались было доставить меня домой, но, узнав, что я живу в Фирнхайме, со вздохом облегчения встретили мой вежливый отказ.

Вечером, возвращаясь домой, я всегда ставлю машину в гараж. Но этой ночью у меня даже на это не было сил. Оставив машину на улице, я прямиком по темной садовой дорожке поспешила к дому. Похоже, все

спали, что и неудивительно — было уже три часа утра. Как вдруг я заметила за домом, как раз там, где у меня зимний сад, полоску света на газоне. Почуяв неладное и умирая от страха, я крадучись двинулась туда. Неужто и к нам пожаловали воры?

Ни взлома, ни взломщиков я в зимнем саду не обнаружила. Зато обнаружила, что в гамаке с каким-то странным выражением лица возлежит Левин. К немалому моему изумлению, он лежал в чем мать родила, только на причинном месте подобием фигового листка распластался кот. Интересно, на что это он так пялится?

Чтобы проследить за направлением его взгляда, мне пришлось переместиться к другому углу зимнего сада. Только оттуда я смогла увидеть Марго: кроме черных подвязок и высоких красных сапог на ней ничего не было — если не считать, конечно, фиолетовых трусиков, зачем-то кокетливо наброшенных на голову. Так вот оно что: пока я корячусь на работе, в моем зимнем саду разыгрывается стриптиз-шоу! Но Дитер-то где?

Я смотрела во все глаза. Теперь ясно, о каких талантах Марго говорил Левин. На мой взгляд, она подавала, она предлагала себя самым порочным и даже извращенным образом, выделывая вещи, до которых я бы ни в жизнь не смогла опуститься. Лишь после того как Левин, протянув ей небольшой конверт, в полном изнеможении упал в мой гамак, я неслышно удалилась — мерзкое спаривание кончилось.

Через сад я вернулась к входной двери, отперла ее и проскользнула к себе в спальню. Автоматически разделась, почистила зубы, намазалась ночным кремом и легла. Зубы у меня лязгали, все тело сотрясал озноб. Кровать рядом с моей пустовала.

Спать я не могла, плакать тоже. Ярость и горечь не находили себе выхода, и даже бороться с бессонницей, подсчитывая воображаемых овечек, не было сил. Снова и снова вставала перед глазами только что виденная сцена. По правде сказать, я никогда не страдала комплексом сексуальной неполноценности, плотская любовь всегда доставляла мне радость, да и моим партнерам тоже. С Левином все обстояло не совсем так: для молодого здорового мужчины он был, мягко говоря, не слишком пылок. Похоже, моих нежностей и ласк ему явно недостаточно, он нуждается в куда более сильных стимуляторах.

В том, что вытворяла с ним Марго, совсем не было чувства, только сноровка, правда недюжинная. Во всех ее ухватках сквозило что-то профессиональное, приобретенное то ли натужным трудом на панели, то ли приработками в стриптиз-барах и на пип-шоу. С другой стороны, она казалась при этом почти роботом, существом безвольным и как бы запрограммированным. Может, колоться она и перестала, но услуги ее Левин, похоже, все-таки оплачивал какими-то наркотиками.

Как ни странно, размышления эти меня даже немного успокоили; поведение Левина можно было расценить примерно так же, как привычку его деда Германа Грабера посещать бордель. Но мой зимний сад не бордель! Я только-только вышла замуж за Левина, Марго — жена его друга! Этим грехопадением она испохабила мой зеленый рай точно так же, как прежде изгадила мою кухню. Придется дезинфицировать весь дом, в ярости думала я, а Левин пусть убирается и при разводе не получит ни гроша!

Ближе к утру мне понадобилось в туалет. Я не удержалась, чтобы не зайти в гостиную, а оттуда заглянула в зимний сад. Левин спал в гамаке как

убитый под моим же ирландским шерстяным пледом. Мне вспомнилась старая пословица: кто не грешит – спит хорошо, кто согрешил – еще лучше.

Госпожа Хирте исторгла злобный смешок.

Левин ждал меня лишь к вечеру следующего дня, после ночного дежурства я обычно отрабатывала еще и полный день за прилавком. Неужели Марго после всего этого как ни в чем не бывало залезла к Дитеру в постель? И вообще – здесь ли Дитер? Может, в мое отсутствие здесь всегда устраиваются подобные оргии? И не объясняется ли недавний синяк под глазом у Марго тем, что Дитер кое-что об этих развлечениях проведал?

А мертвый ребенок Марго – уж не от Левина ли он был? Меня всю передернуло от озноба и отвращения. Вся дрожа, я отправилась на кухню приготовить себе ромашковый чай. Прислонясь к кухонной колонке, я дожидалась, когда закипит вода. Медленно раскрылась притворенная дверь, и на кухню бесшумно проскользнул мой кот Тамерлан. Подняв хвост трубой, он терся об мои ноги, требуя участия и ласки. Сколько же всего, наверно, он бы мог мне поведать, умей он говорить!

Сосредоточенно прихлебывая чай, я решила сделать вид, будто ничего не знаю. Но на кухню вслед за Тамерланом пожаловал вовсе не Левин, а Дитер.

9

Павел совсем не всегда может оставлять детей у Дорит, так что вскоре он снова появляется в нашей палате в сопровождении всей троицы. Значит, пробудет недолго.

– Где мой кукольный сыр? – интересуется Лена.

Коля – тот большой охотник до джема.

– А огненную колбасу мы все равно не едим, можешь оставить себе, Элла, – великодушно разрешает он.

Но Павел кладет в сумку и упаковки острой салями с бисеринками перца.

– Колбасу мы Альме отнесем.

Когда мы снова остаемся одни, госпожа Хирте вдруг решает полюбопытствовать:

– А кто такая Альма?

– Жена Павла.

– Тогда я вообще ничего не понимаю.

– Со временем поймете, госпожа Хирте.

– Хорошо, тогда только один вопрос: где эта Альма сейчас?

– В психушке.

Госпожа Хирте выкатывает на меня шары, мне приятно насладиться ее изумлением.

– Все-таки интересно, как там дальше с этой Марго, – замечает она. – Завидую вашему терпению, я бы так не смогла.

– Продолжение в двадцать ноль-ноль, – обещаю я.

Дитер удивился, застав меня на кухне.

– У тебя разве не ночное дежурство? – неуверенно спросил он.

Запинаясь, я поведала о ночном нападении, и он даже пожалел меня.

— Да, досталось тебе, — приговаривал он, подливая мне чая.

В конце концов я как бы невзначай все-таки поинтересовалась, не знает ли он, куда запропастился Левин.

Дитер удивился. Он видел Левина за ужином, тот не говорил, что собирается уходить.

— Может, в гамаке дрыхнет? — предположил он шутливо. — Это же его любимое место, пойду взгляну.

— Только не буди, — попросила я.

Кот помчался следом за ним. Дитер вскоре вернулся, на лице его было написано неподдельное изумление.

— Этот чудик и вправду дрыхнет в зимнем саду, — доложил он мне, посоветовав на прощанье и самой как следует выспаться.

До самого обеда в доме царила мертвая тишина, потом я услышала звук спускаемой воды в туалете. Еще через минуту Левин возник на пороге спальни, он явно не верил своим глазам. Мне пришлось снова рассказывать про наркомана и демонстрировать рану на голове.

— Когда ты вернулась? — Это было единственное, что его интересовало.

— Не помню точно.

В лице его читалась легкая тревога, он пристально в меня всматривался.

— А я в зимнем саду лежал и заснул, — сообщил он, — ты меня не искала?

— Я приняла обезболивающее и сразу рухнула в постель.

Вид моей повязки отчасти его успокоил, и все же ему казалось странным, что я не известила его о перенесенном потрясении.

— Почему ты не позвонила из Хайдельберга? — спросил он. — Я бы за тобой приехал.

— Да что ты, это заняло бы вдвое больше времени. К тому же не хотелось там бросать машину. А теперь дай мне немного поспать.

Левин оставил меня в покое, и я продолжала размышлять, как быть дальше. Припереть его к стенке? Мстить? Разводиться? Я не могла ни на что решиться. Да и стоит ли необдуманно разрушать то, что потом уже не восстановишь?

Когда я, уже во второй половине дня, наконец поднялась, Левин поспешил сделать мне тосты. "Хоть совесть заговорила", — отметила я про себя. Но, видимо, заговорила не так уж громко: узнав, что мне уже лучше, он тут же куда-то умчался на своем "порше".

Я все еще сидела на кухне в халате, когда ко мне пожаловала Марго. Не иначе она сделала это по чьему-то наущению, потому что сразу спросила, не нужно ли чего сделать.

— Нужно, и даже очень, — ответила я.

Отныне я решила ею помыкать. Прежде я избегала отдавать ей прямые приказания. Лишь изредка, да и то пряча глаза, отваживалась пробормотать, что неплохо бы, мол, почистить столовые приборы или еще что-нибудь в том же роде. А она иногда даже соизволяла принять мое робкое пожелание к сведению. Теперь же я коротко и ясно объяснила, что холодильник надо тщательно промыть водой с уксусом, что духовка давно нуждается в основательной чистке, что ванну и унитаз, даже если

они новые, тем не менее следует мыть, ибо на них уже появился налет, что дорожку к дому надо вымести, а палую листву у ворот собрать и отнести на помойку.

— Ни за что ни про что никто тебе платить не будет, — отчеканила я.

Красная как рак, Марго пробормотала, что она и так без конца убирает и моет.

— Да, но как, — холодно бросила я и напомнила, что она и за жилье ничего не платит.

— Левин всегда был доволен, — оправдывалась она.

— Как будто мужчина хоть что-то понимает в таких вещах, — фыркнула я, — к тому же это мой дом, а не его.

Марго вытаращила на меня глаза.

— Элла, этот дом Левинового дедушки, — наставительно изрекла она.

Ни слова не говоря, я достала из ящика стола завещание и сунула ей под нос.

Она и в самом деле взялась его изучать, а потом, прочитав, только головой покачала.

— Неправильно это все, — буркнула она.

Несколько дней спустя, направляясь утром к гаражу, я в сердцах пнула ногой большую плетеную корзину, — та опрокинулась, и из нее посыпались увядшие лепестки и листья магнолии. "Вот и цветочки для Марго!" — не без злорадства подумала я. И тут же обнаружила у себя за спиной Дитера, который, должно быть, шел следом.

— Правильно, лишь бы злость выместить, — шутливо прокомментировал он. — Ничего страшного, я после все подмету.

Немало смутившись, я пробормотала, что сделаю это сама. Однако, садясь в машину, увидела в зеркальце, что он не пошел к "мерседесу", а берет в руки грабли и метлу.

Вообще-то видела я Дитера скорее редко. Когда это случалось, мы улыбались друг другу. Пока я вдруг не поймала себя на том, что невольно ищу поводов для таких случайных встреч. Интересно, я ему нравлюсь? Однажды он оставил мне в зимнем саду книгу, вложив в нее записку: "Для Эллы". То ли в подарок, то ли просто дал почитать? Научно-фантастический роман о химических чудесах и утопиях. Я была тронута: Левин-то делал мне подарки скорее для своего же собственного удовольствия.

Разумеется, после того знаменательного ночного сеанса спать я с Левином не могла. Но он, похоже, вообще этого не замечал, прежде-то инициатива всегда исходила только от меня, так что от неприятной необходимости ему отказывать он меня избавил. "Должен же он когда-нибудь заметить, что пауза затянулась?" — думала я. Но пока что он, похоже, ни в чем не испытывал лишений.

Неужели Дитер не в курсе? А что если он всего-навсего сутенер при Марго? Но мне не хотелось думать о нем плохо. Ну да, оступился один раз, но это еще не значит, что он совсем никчемный человек. Наоборот, в нем чувствовалась какая-то рыцарская сдержанность, которая очень мне нравилась.

Приглашения на новоселье были разосланы еще до всех этих событий, так что отменить намеченное я уже не могла. В пятницу накануне званого вечера я взяла отгул и первым делом отправилась по самым дорогим продовольственным магазинам и овощным лавкам. Вскоре моя машина благоухала деликатесами и волшебным ароматом базилика.

Потом всю вторую половину дня я священнодействовала на кухне. Левин уехал в Пфальц за вином, точнее, это я его туда отправила. Марго оставалась у меня на подхвате, и я нещадно использовала ее на самых немудрящих и тяжелых работах.

Внезапно раздался резкий звонок, и в дом, как всегда ураганом, ворвалась Дорит. Было приятно посидеть вместе с ней на кухне за чисткой овощей и просто поболтать.

— Для новобрачной у тебя вид не слишком-то счастливый, — с ходу подметила она.

Я попыталась все свалить на Марго.

— Не могу жить под одной крышей с этой девкой, — призналась я. — Кстати, что ты о ней думаешь, ты же видела ее на свадьбе?

— Отвратительная, вульгарная, глупая и помешана на мужиках, — отчеканила Дорит. — А вот муж у нее, по-моему, очень даже ничего.

Она читала мои мысли.

— Послушай, ну объясни ты мне, почему такой мужчина женится на такой лахудре? — спросила я.

Дорит рассмеялась своим громким, с легкой хрипотцой смехом.

— Элла, это ж сплошь и рядом бывает. Среди моих знакомых почти нет такой пары, чтобы мне нравились оба. И каждый раз я себя спрашиваю: ну что такого они друг в друге нашли? Но одно я знаю точно: иногда подобные браки куда прочнее многих других, а почему — никто объяснить не может.

Так ли уж прочен брак Дитера и Марго? А может, это вообще только фиктивное соглашение?

— Дорит, посоветуй, как мне избавиться от этой твари?

Подруга призадумалась.

— Трудно сказать. Без поддержки Левина это, наверно, вообще невозможно. В этом деле он обязан на все сто быть на твоей стороне. Но так уж устроены мужики — не успеешь оглянуться, а они уже заодно. Слушай, а ничего более отрадного ты не хочешь мне сообщить?

— Ты прекрасно знаешь, тебе я первой скажу, но пока что я не беременна, — проронила я удрученно.

Дорит меня обняла.

— Всему свое время, потерпи немного. Выходит, ты из-за этого так переживаешь?

Я покачала головой, и некоторое время мы молча лущили фасоль. При нынешнем-то нашем образе жизни я наверняка не забеременею, хотя, может, оно и лучше, чем связываться до конца дней с таким прохвостом.

Дорит и на сей раз отчасти угадала мои мысли.

— Тебя уже на свадьбе от этой Марго тошнило, когда она на всех мужиков вешалась, а на твоего Левина в особенности, верно?

Я промолчала. Мое молчание она расценила как знак своей правоты. Похоже, она и вправду догадывается, в чем дело.

— Знаешь, Элла, — снова начала она, — я тут недавно вычитала фразу: "Сексуальность — это власть, а власть по самой природе своей агрессивна". Неглупо сказано, правда?

— И что же из этого следует? — усмехнулась я.

— А дальше там вот что говорится, — продолжала Дорит. — "Добрая воля, надежность, верность, мораль и тому подобные вещи ничего не стоят, как только на арену выходит секс, ибо наша природа намного сильнее всех наших гуманистических и христианских заповедей".

— Я что, радоваться должна этой твоей философии?

— Совсем нет, — сказала Дорит. — Но ты должна проанализировать эту Марго. У нее есть власть над Левином, да и над тобой, похоже, иначе не переживала бы ты так из-за этой безмозглой шлюхи. Так вот, если она не начнет вести себя прилично, просто вышвырни ее на улицу.

На новоселье к нам народу заявилось не так много, как на свадьбу, — не было на сей раз ни родственников, ни особо почетных гостей. Но шефиня моя пришла, и мне это было очень приятно. Она привела с собой застенчивого соломенного вдовца, постоянного клиента нашей аптеки, звали его Павел Зиберт.

До самой последней минуты я была в хлопотах: стряпала, убирала, протирала бокалы. Когда звонок в дверь возвестил о приходе первого гостя, я бросилась переодеваться. Я купила себе новое платье — как-никак я теперь женщина обеспеченная, чтобы не сказать богатая. Вот и вышла к гостям в кашемире и шелке, с прабабушкиным, в шесть ниток, гранатовым ожерельем и в итальянских туфельках на высоченных каблуках, чтобы казаться повыше ростом. Поначалу мне было ужасно неудобно на них цокать, прежде-то я, хоть и коротышка, убежденно носила только практичные туфли на плоской подошве.

Вообще-то мой супруг мог бы обратить внимание на мой новый прикид — но он ничего не заметил. Вместо этого он приветствовал гостей, наливал шампанское и болтал со всеми подряд, покуда мы с Дорит расставляли по вазам цветы.

Выход Марго последовал лишь после того, как все собрались. Я была готова увидеть ее в том же неподражаемом черном ансамбле, в котором она отравила мне свадьбу. Однако на сей раз на ней оказался золотой бюстгальтер, собачий ошейник вокруг шеи и обтягивающие кожаные брюки. На тыльной их стороне, на уровне ягодиц, из специально прорезанных дыр проглядывала нагота. Она безусловно добилась желаемого: вокруг все мигом притихли, не сводя глаз с этих художественных прорех — кто с отвращением, кто с вожделением. Я поискала глазами Дитера и нашла его наконец в самом дальнем углу зала. Прислонясь к стене, он с непроницаемой миной наблюдал за реакцией присутствовавших. В другой дальний угол ретировался Павел Зиберт, с головой уйдя в старую рецептурную тетрадь моего деда.

Ко мне уже спешила Дорит.

— Геро мне заявил, что она ужасна, но ты погляди, как он при этом на нее глазеет!

Я и сама заметила, что спутники моих подруг, украдкой обмениваясь друг с другом непристойными шуточками насчет Марго, тем не менее таращатся на нее точно так же, как Геро, дружно запуская глаза — а некоторые, особо рисковые, так даже и пальцы — в художественные прорехи

на ее заднице. Лицо Левина сияло гордостью собственника. Хотелось прямо здесь, при всех, залепить ему пощечину.

Моя шефиня тоже оценила драматизм ситуации. С бокалом в руке она подошла к нам с Дорит.

— Похоже, кое-кто решил нас затмить, верно? — заметила она. — Элла, мне ужасно хочется осмотреть весь дом. Зимний сад у вас просто очарователен...

Показать весь дом я не могла, ограничилась собственными апартаментами. Но, улучив момент, когда Марго была поблизости, громко сказала:

— А через месяц начнем ремонт на втором этаже, там будут спальни, комнаты для гостей и детские.

— Очень похвально, Элла, что вы заблаговременно подумали о детских, — сказала шефиня. — Я вот в свое время это упустила.

Шефиня была разведена, детей у нее не было, но она всегда — быть может, из-за своего увлечения верховой ездой — производила впечатление человека, довольного жизнью.

С глубочайшим удовлетворением я отметила, что Марго меня услышала. Оскорбленная гримаска исказила ее лицо. "Вот и отлично, — подумала я, — тем скорее ты сама отсюда уберешься".

Однако Марго совсем не такая дурочка, как нам с Дорит того бы хотелось. Это в домашнем кругу она несла что в голову взбредет, зато сейчас, окруженная гурьбой незнакомых мужчин, она, хоть и не без труда, старательно поддерживала светскую беседу. Рассуждала о местных властях и политике ("Все одним миром мазаны"), о школе и автомобилях ("Общество получило по заслугам"), о телевидении ("Опять лажа одна"). Мужчины, впрочем, ее и не слушали, только пялились во все ее вырезы.

Я бесцеремонно прервала этот светский раут, хозяйским тоном приказав Марго немедленно помыть рюмки и бокалы.

— А как же мой костюм? — запротестовала Марго.

— Вряд ли можно это назвать костюмом, дорогая, — холодно заметила я, вызвав одобрительные смешки в женской части публики. — Кроме того, займись пирогом с сыром, его надо сунуть на четверть часа в духовку, потом можешь подавать. Но сперва принеси из подвала десяток бутылок красного.

Марго немедленно перепоручила доставку вина Левину, Дитера послала на кухню заниматься пирогом, а лощеного Геро определила протирать посуду.

Завидя это, Дорит не выдержала и расхохоталась.

— Вот это я понимаю! — восхитилась она. — У меня Геро ни разу в жизни...

После пирога, который был съеден еще стоя, часам к девяти появился мясник, торжественно внесший заказанного жареного молочного поросенка, которого он при всех элегантно разделал на кухонном столе и разложил по тарелкам. На гарнир у меня было приготовлено множество разных салатов, овощи, картофель, по всему дому — на кухне, в гостиной, в зимнем саду — я оборудовала уголки, где можно присесть, посуду и еду гости брали сами. Угощение удалось на славу, я гордилась собой.

Надо сказать, что в самые ответственные минуты, когда надо было помочь гостям получить и наполнить тарелки и всех рассадить, Марго палец о палец не ударила. Вместо того чтобы помочь мне, она затеяла

флирт с мясником, молодым парнем, и ежеминутно отвлекала его от дела. А тот, нанизав на большую разделочную вилку "самый смак" — солидную порцию поджаристой поросячьей кожи, — вложил ей сие подношение прямо в рот. Я вошла на кухню как раз в ту секунду, когда Марго, не оценившую, видимо, прелести такого угощения, фонтаном вырвало прямо на пол, а устроившиеся в кухне гости в панике повскакали с мест и, чертыхаясь, бросились вон.

— Мне плохо, — простонала Марго, и ее стошнило еще раз.

Кто, спрашивается, должен теперь за ней убирать? Левин и Дитер, когда я попыталась призвать их на помощь, дружески помахали мне издали — мол, сейчас, сейчас. И вот я в шелковом платье корячусь на кафельном полу, подтирая чужую блевотину, и сама едва не теряю сознание от мерзкой вони. Моя ненависть к Марго приобретала патологические формы.

Когда пол был вымыт, вытерт и блестел, на кухню заявился Дитер.

— В чем дело, Элла, — спросил он, — чем я могу помочь?

И хотя к случившемуся он не имел ни малейшего отношения, вся сила моего гнева обрушилась именно на него.

— Избавь мой дом от присутствия этой бабы! — заорала я. — Она заблевала мне всю кухню, а я должна за ней подтирать!

Дитер, святая простота, только поинтересовался, почему же Марго сама за собой не уберет. Тут на кухне появился мясник, которому Марго обделала брюки, а за ним, желая вновь наполнить тарелки, робко потянулись и другие изгнанные. Я не стала закатывать Дитеру сцену при всех, но при виде жареного поросенка с хрустящей корочкой меня и по сей день подташнивает.

10

— В молодости у меня был парень, который потом довольно подло меня бросил, — ни с того ни с сего изречет госпожа Хирте.

Интересненько.

— Вообще-то я сама виновата, слишком доверчивая была, — продолжает она.

— Но вы же сами сказали, что были молоды...

— Молодость не оправдание. Кстати, известно ли вам, что вы тоже постоянно совершаете одну и ту же ошибку?

— Это какую же?

— У вас искаженное представление о действительности.

— Разве у одной меня? По-моему, у всех.

Госпожа Хирте качает головой. Однако она больше не порывается меня критиковать и учить, любопытство берет в ней верх.

— Ну и что там дальше было с Марго?

Что ж, в эту ночь я попотчую ее ужастиком.

Наутро после новоселья я чувствовала себя прескверно. На неделю раньше срока и с жуткими болями у меня начались месячные. К счастью, было воскресенье, и я решила остаться в постели. Гости разошлись уже за полночь, и уборку и мытье решено было отложить. Вот и пускай этим займутся другие.

Ближе к полудню меня — почти нежно — растолкал Левин.

— Не помешало бы выпить кофейку, — заметил он.

Я ответила страдальческой гримаской. Вздохнув, он отправился варить кофе сам, потом принес в постель чашку и мне — явно чтобы меня задобрить.

— Дел невпроворот, — посетовал он. — Схожу за Марго и Дитером.

Вот и правильно.

Весь день я провела в кровати, обдумывая свое положение. Все было неладно. Правда, у меня теперь много денег и свой дом, но самое заветное мое желание по-прежнему ни на йоту не приблизилось к своему воплощению, и надеяться на это при нынешнем уровне нашей супружеской активности не приходилось. Муж у меня, правда, имеется, но лентяй, шалопут и бабник. Единственное, что остается предпринять, это бросить его и начать искать нового — в конце концов, я ведь не молодею. Но как отнесутся к такому финту мои родители? "Я так и знала", — скажет мать. У отца начнется хандра. Может, все-таки попробовать еще раз с Левином? Он ведь еще так молод, наверно, можно внушить ему побольше серьезности и ответственности. В конце концов, Герман Грабер доверил его мне, разве я не обязана уважить последнюю волю покойного? Кроме того, для радикальных решений я сегодня слишком слаба и разбита.

Я пролежала в полудреме часа два, как вдруг в дверь спальни постучали. Это был Дитер. Хотел узнать, как я себя чувствую и не нужно ли чего.

— Мы скоро заканчиваем, все уже снова в лучшем виде, — доложил он. — Вот только голова немного гудит. Пройтись не хочешь?

Часок прогуляться в бодрящем ноябрьском тумане, разумеется, куда полезнее, чем трутнем валяться в постели. И все же я отказалась; сама мысль о том, что Марго с Левином останутся в доме наедине, была мне непереносима, хотя не далее как в понедельник это все равно неминуемо произойдет.

— Марго здесь не место! — вдруг громко заявила я самой себе. Письменное уведомление о выселении — это будет мой первый шаг. Завтра же, решила я.

Слава богу, у Марго хватало ума не появляться у моего одра, зато пришел Левин, спросил, не нужно ли еще чаю или, может, сварить суп из пакета.

— Марго тоже неважно себя чувствует, — заметил он более чем некстати.

Я продолжала смотреть в окно.

— Ты в отпуске в этом году еще не была? — начал он снова.

Даже в самом скверном настроении я все равно любопытна.

Левин извлек из кармана свадебное приглашение. Изабель Бётхер, стоматолог и доктор медицины, объявляла о предстоящей свадьбе с коллегой-медиком, чьи бесконечные испанские имена вкупе с фамилией и титулом едва уместились на карточке. Это его однокурсница, пояснил Левин, она была в Гранаде и там влюбилась в молодого человека из семьи испанских грандов. Свадьба в Андалусии — ради этого стоит прошвырнуться.

Даже в самом мерзком настроении кто же станет против такого возражать? Свадьба, правда, уже в субботу.

— А билеты на самолет еще есть? — спросила я.

Левин рассмеялся. В самолете с тоски сдохнешь, нет уж, он, разумеется, поедет на "порше".

Я недовольно промолчала. Больше чем на пять дней меня с работы не отпустят, на машине это слишком утомительно.

— Езжай один, — едва слышно выдохнула я.

Левин покачал головой.

— На такие расстояния хорошо ездить с напарником, сменяя друг дружку за рулем. Ну почему ты не хочешь? Ты еще совсем не такая старая.

Разумеется, он хотел пошутить, но меня его шутка задела.

— Ты хоть представляешь себе, что значит иметь постоянную работу? Подобные эскапады только для бездельников-студентов хороши, да и то в каникулы.

— Да ладно тебе, я же не настаиваю, — легко уступил он. — Спрошу Дитера и Марго.

— Если ты поедешь с Марго, я завтра же подаю на развод.

Левин уставился на меня.

— Да ты никак ревнуешь?

— К этой? Я просто не выношу ее, и ты это знаешь. Но ревновать к ней — слишком много чести.

Видимо, Левин почуял неладное. Он ретировался.

Вечером я узнала, что он выезжает завтра спозаранку и один, Дитер с ним поехать не может.

— Не волнуйся, я время от времени буду делать привал, — сказал он мне.

Я приняла пять таблеток валерианки, чтобы утром по привычке не встать и не сварить ему кофе. Левин упаковал вещи в дорогу, потом, должно быть, поспал около меня часа два-три, хотя я этого уже не заметила. Когда я проснулась, и Левина, и его "порше" уже и след простыл.

На выходные мы с Марго оставались в доме одни, и я вознамерилась нагрузить ее работой, как последнюю батрачку. Несколько раз она с тоской спрашивала меня, на что мне сдались эти мансарды. Допустим, для гостей, неумолимо отвечала я, или под библиотеку, а может, мастерскую оборудую.

Эти комнаты под крышей все еще были не отремонтированы. Я надумала постелить там ковровые дорожки, а стены оклеить светлыми обоями. Марго стонала. Какой толк все убирать и чистить, коли все равно делать ремонт? В каком-то смысле она была даже права, но вековую грязь и паутину я в принципе в доме не терплю, это рассадник паразитов и всяческой нечисти.

Мы драили и мыли все сообща.

— Вот уж не думала, — заметила Марго заискивающе-свойским тоном, — что в такой малявке такая сила.

Надо понимать, это был комплимент. Я промолчала, но ее это ничуть не смутило.

— Левин наверняка уже едет домой, наверно, в Барселоне уже, потому как спать-то он любит дома, — рассуждала она.

Меня аж всю передернуло.

Было как-то неловко именно сейчас, когда мы так дружно вместе трудились, снова напоминать Марго о том, что ей придется съехать. Одна-

ко, когда она в очередной раз что-то вякнула про "нашего" Левина, я не сдержалась.

— Тебя вообще не должно волновать, когда возвращается мой муж, — отчеканила я. — Побеспокойся лучше о том, чтобы срочно подыскать себе квартиру. Если не съедешь сама, мне придется подключить адвоката. Договором об аренде, если помнишь, мы не связаны.

Марго принялась униженно меня умолять. Они могут освободить квартиру на втором этаже и перебраться с Дитером сюда, в мансарду, тогда наверху, на втором этаже, у меня появятся целых четыре свободных комнаты.

— Как ты это себе представляешь? — не соглашалась я. — Здесь наверху ни ванной, ни кухни, водопровод только до второго этажа доходит.

— Так ведь можно, наверно, провести, — пролепетала она, глядя на меня глазами загнанного кролика.

— Вот как? А платить кто будет? Может, ты?

В моей мансарде мне особенно нравились большие окна, врезанные в скаты крыши. Да, здесь будет мой приют, мое укромное царство, куда всем домочадцам будет заказан доступ. Но пока что окна просто черны от грязи.

Тем временем Марго в приступе внезапного трудолюбия принесла свежей воды и свои вонючие тряпки. Видимо, хочет таким образом меня задобрить. Вообще-то эти окна только покрасить, добротная старая работа, ничего им не делается. Сидя на подоконнике, я пыталась дотянуться до ставен — попробовать закрыть и понять, во что они превратились. Ставни тоже сработаны на славу, но, конечно, краска и тут пооблупилась. Марго с ведром направилась к другому окну.

— Ставни надо снять, пусть Дитер обожжет их и покрасит, — сказала я.

— Он обязательно это сделает, — поторопилась заверить меня Марго.

Я тем временем влезла на подоконник и попыталась сама снять ставни с петель, но мне это не удалось.

— Разве это про нас работа, это только для мужиков, — неодобрительно бурчала Марго. Но я уже вошла в раж.

— Ну-ка, Марго, подержи меня, — распорядилась я.

Марго обхватила мои ноги железной хваткой. Запах ее пота ударил мне в нос. Увы, моих рук не хватало — я не дотягивалась до конца створки, ставня не поддавалась.

— По капле масла в петли, и пойдет как миленькая, — пропыхтела я и помчалась вниз за машинным маслом.

Вернувшись наверх, я застала Марго на подоконнике. Она сидела на корточках с красным от натуги лицом.

— Элла, подержи-ка меня, — прокряхтела она, — у меня руки подлиннее.

Я подошла и, преодолевая брезгливость, крепко ухватила ее за лодыжки. Прямо у меня перед глазами оказались ее икры в сеточке красновато-голубых прожилок, с мелкой черной щетинкой плохо подбритых волос. Истрепанные легинсы задрались до самых колен. Из зеленых шлепанцев глядели неухоженные, мертвенно-белесые, ороговевшие пятки. Меня стало подташнивать. И уж совсем доконала меня струйка пота из-под легинсов, медленно подбиравшаяся прямо к моей руке.

Вдруг она выпрямилась, одним рывком сняла ставню с петель и от внезапной тяжести покачнулась.

В ту же секунду липкая струйка ее пота лизнула мою кожу, и в приступе гадливости я непроизвольно разжала руки. Вместе со ставней Марго рухнула вниз. Я в ужасе посмотрела ей вслед. Двумя этажами ниже она распласталась на земле совершенно неподвижная, возможно, даже и неживая. Споткнувшись о швабру и опрокинув ведро с грязной водой, упав и тут же вскочив, я кубарем помчалась вниз.

Через считанные секунды я уже была подле Марго, распластавшейся на каменных плитах террасы. Она дышала, но была без сознания. Я проверила пульс, он почти не прощупывался. Что делать? Кроме меня, в доме никого.

Разумеется, я вызвала "скорую помощь". Двое санитаров и врач увезли Марго в больницу. Почти ничего уже не соображая, я все же попыталась дозвониться до транспортного агентства, где работал Дитер, и выяснить, могут ли ему сообщить о случившемся. Однако в воскресенье там никого не было, работал только автоответчик. Может, Левина в Испании разыскать через службу авторадио?

Я позвонила Дорит и голосом автомата сообщила, что Марго разбилась, выпав из окна мансарды.

— Насмерть? — ужаснулась Дорит.

— Нет, но мне не сказали, выживет она или нет.

— Господи, да ты сама там едва жива, — волновалась Дорит. — Ты что, видела, как все произошло?

— Не совсем, но я была с ней в одной комнате. А потом вдруг увидела, что она уже внизу, это было просто ужасно.

— Как можно ни с того ни с сего выпасть из окна? — удивилась сообразительная Дорит. — Такое только с детьми бывает...

— Она хотела снять ставни, их надо покрасить.

Дорит присвистнула.

— Конечно, нехорошо ругать пострадавших, но ведь это сущее безумие — браться за такую работу в одиночку!

Я не стала Дорит поправлять.

— Ну ничего, как-нибудь образуется, — утешила она меня, — а ей будет урок. Ты сама-то успокойся. А хочешь — приезжай ко мне.

Я бы с удовольствием поехала в Хайдельберг, дабы вверить себя материнским заботам Дорит. Но в таком состоянии я не могу вести машину, да и Дитера надо дождаться.

Чтобы как-то прийти в себя, я сварила крепкий кофе, но меня тут же вырвало. Потом поднялась наверх и изучила место происшествия. Вооружившись биноклем, осмотрела дома, примыкающие к нашему участку. Там, кстати, живут и знакомые Геро. Можно ли было что-то оттуда видеть? Нет, ненавистные мне ели стоят стеной. Даже с биноклем я не взялась бы определить, моет ли кто-нибудь в тех домах окна или нет. Меня это немного успокоило. К тому же сбежались бы соседи, просто прохожие, а тут даже приезд "скорой помощи" никого не всполошил.

Оставалась сама Марго. Она-то знает, что я расцепила руки. Что мне сказать в свое оправдание? Брезгливость не оправдание. А если меня оса ужалила? Чушь, громко сказала я самой себе, какие в ноябре осы? Может, паук, какой-нибудь особенно страшный? Даже это куда убедительнее, чем обыкновенная капля пота.

Час спустя я позвонила в больницу. "Вы родственница?" — спросили у меня. Нет, просто знакомая. Знакомым они справок не дают, но нужно

немедленно оповестить ближайших родственников и попросить их срочно приехать в больницу. Я пообещала, что сейчас же этим займусь. Только есть ли у Марго родители? Я даже девичьей фамилии ее не знаю. Кого спросить? Я позвонила одному из друзей Левина, но тот ничем не мог мне помочь.

Когда наконец приехал Дитер, я просто кинулась к воротам. По моему лицу он сразу понял, что что-то стряслось.

— Я провожу тебя к Марго в больницу, — пробормотала я без всяких объяснений и, сообразив, что забыла пальто, побежала обратно. В прихожей я увидела в зеркало, что на мне все еще та же косынка, в которой я мыла окна.

По дороге я рассказала Дитеру то же самое, что уже рассказывала Дорит.

Нас провели в реанимационное отделение. Подключенная к аппаратам, опутанная шлангами, Марго лежала в глубокой коме. Один из врачей вывел нас из палаты, подозвал к себе Дитера и рассказал ему о состоянии пациентки. Как я потом узнала, он сообщил, что надежды никакой. Дитеру разрешили посидеть у ее постели, я осталась ждать в коридоре. Два часа спустя Марго умерла.

Дитер безмолвно позволил мне сесть за руль. Дома я сразу повела его на кухню, заварила ему чай, поставила на стол бутылку коньяка. Он пил только чай.

Я не знала, чем и как мне его утешить.

— Она наверняка совсем не мучилась, — сказала я наконец, — она сразу потеряла сознание.

— Господи, она такая неудачница! — почти простонал Дитер. — Ей всю жизнь не везло. Только здесь, в этом доме, она зажила по-человечески, и вот на́ тебе. Она так наслаждалась, что благодаря вашей щедрости наконец-то живет в настоящей квартире, с ванной, отоплением...

Это было уже слишком. Я разрыдалась и рыдала без удержу. Дитер только гладил меня по голове. О своих чувствах он ничего не говорил.

Наутро в понедельник мне надо было снова выходить на работу. Это оказалось для меня наилучшим лекарством. После обеда в аптеку позвонил Дитер, чего он прежде никогда не делал. Нет, Левин еще не приехал, сообщил он, зато в доме побывала полиция. Обычное расследование при несчастных случаях с тяжелыми ранениями или со смертельным исходом. И поскольку я единственная свидетельница, просили сразу после работы заехать к ним в отделение.

Я перепугалась.

— А что они хотели узнать? — спросила я.

— Первым делом мансарду осмотрели, особенно окна, и замерили высоту падения. Сфотографировали разбитую ставню и ее плюшевые шлепанцы.

Ну конечно же, я совершила глупость, сказав, что находилась в той же комнате. Но когда я рассказывала о несчастье Дорит и Дитеру, мне еще следовало считаться с возможностью, что Марго останется в живых и изложит свою версию случившегося. На худой конец я и сейчас еще могу приплести паука. А так обнаружились бы расхождения в показаниях.

В фирнхаймской полиции меня заставили ждать, чем нагнали еще большего страха. Однако когда мои показания были наконец запротоколированы, все предстало уже не в таком мрачном свете.

— Госпожа Кросмански — ваша приятельница? — спросили меня.

Я отвечала сдержанно.

— Мы жили в одном доме.

Откуда и с каких пор я ее знаю, не было ли в доме еще кого-нибудь, кроме нас двоих. Эти вопросы мне не понравились.

Затем я выслушала от следователя мягкий упрек: известно ведь, что большинство несчастных случаев происходит как раз в домашней обстановке. Как же можно в такую пасмурную, влажную погоду лезть в шлепанцах на подоконник и пытаться самой снимать ставни?

— Все случилось так быстро, — бормотала я, — нам вздумалось навести порядок в мансардах, решили все сделать в эти выходные своими силами, без мужчин. Я мыла правое окно и даже не смотрела, что там госпожа Кросмански делает. И вдруг этот жуткий крик, гляжу, а она уже внизу лежит.

Я все продумала заранее: наши с Марго отпечатки пальцев наверняка можно найти повсюду, на обоих окнах, так что показания мои ни в одном пункте опровергнуть нельзя. Я подписала протокол и собралась уходить.

— Еще только один вопрос, — сказал полицейский, когда я была уже в дверях. — Как получилось, что супруги Кросмански въехали в дом Германа Грабера — я имею в виду, в ваш дом?

— Так они же знакомые моего мужа, — ответила я как можно непринужденнее.

Оба полицейских обменялись взглядами.

— Опять наш дружок Левин, — многозначительно изрек тот, что постарше.

Дитер ждал меня за накрытым столом, чайник уютно посвистывал, из духовки тянуло чем-то вкусным.

Выпить чаю — какое блаженство!

— Вероятно, они тебе сказали, что у нас обоих есть судимость? — осторожно начал Дитер.

— У вас обоих — это у кого? — поинтересовалась я. Оказалось, у него и у Марго. Нет, у полиции, по-видимому, свой кодекс неразглашения, о прошлом супругов Кросмански они ни словом не обмолвились.

— Они наверняка удивляются, как это ты живешь с нами в одном доме, — заметил Дитер.

Об этом я как-то еще не успела подумать.

Дитер тем временем уже извлекал из духовки ароматную овощную запеканку, предоставив мне приятную возможность побыть наедине с моими мыслями.

11

Краем глаза я поглядываю на госпожу Хирте. Интересно, этой ночью она слушала или спала? И как отнеслась к смерти Марго?

Кажется, положительно. Когда наши взгляды встречаются, она удивительно приветливо произносит "Доброе утро!", а потом, чуть смущаясь, к полному моему изумлению, предлагает перейти на ты.

– Меня зовут Розмари, – сообщает она, будто выдавая страшный секрет. Потом спрашивает: – А Левин как, еще жив?

Она, видимо, ждет, что теперь в моей истории трупы пойдут сыпаться один за другим, как десять негритят.

Левин не вернулся и на следующий день. Дитер был настолько любезен, что даже дозвонился в Гранаду – он немного говорит по-испански. Молодожены отправились в свадебное путешествие, гости разъехались – вот и все, что он сумел узнать.

Сама-то я, вопреки заботам Дитера, о Левине ничуть не беспокоилась. Если с моим драгоценным супругом что-то случится – что совсем неудивительно при его манере езды, – я узнаю об этом достаточно быстро. Покой, воцарившийся в доме в отсутствие Левина и Марго, был мне словно бальзам на душу. Хотелось насладиться этой передышкой, подаренной судьбой. Удивительная манера Дитера оставаться незаметным даже рядом со мной на кухне была мне приятна и почти не мешала.

На следующий день пришла телеграмма. Я МАРОККО ВСЕ ПОРЯДКЕ ЦЕЛУЮ ЛЕВИН. Дитер тоже прочел телеграмму и покачал головой.

– На уход по-английски это, пожалуй, не похоже.

Мне было все равно. Без этих баламутов мне жилось тут как в раю. Даже возникло желание себя побаловать. Я теперь каждый день привозила из Хайдельберга какое-нибудь украшение для дома – роскошный букет цветов, ароматизированные свечи, шелковые подушки и даже дорогой ковер.

Каждый вечер мы с Дитером ужинали вместе, по очереди мыли посуду и убирали на кухне. Я поймала себя на том, что теперь перед каждым ужином прихорашиваюсь и бываю слегка огорчена, когда Дитера не оказывается дома.

Временами мне очень хотелось купить новые обои для мансарды, но я не решалась – даже зайти в эти комнаты мне было трудно и страшно. Дитер теперь жил на верхнем этаже один, и, если честно, мысль о его отъезде была мне уже неприятна.

Потом меня навестила Дорит с детьми. День был по-осеннему ласковый, дети носились в саду, пытаясь ловить дроздов. А мы спокойно наблюдали за ними из зимнего сада.

– Ну как, оправилась от потрясения? – спросила меня подруга.

– С грехом пополам, – отвечала я. – Зато теперь Левин пропал.

– То есть как? Не успели свадьбу сыграть, а он уже смылся?

Похоже, Дорит не верила своим ушам.

– Да нет, не совсем так. Поехал навестить друзей в Андалусии, оттуда зачем-то в Марокко, и с тех пор не дает о себе знать. Думаешь, мне надо беспокоиться?

– Ну, если бы это был Геро, я бы страшно волновалась, – сказала Дорит. – А Левин, наверно, еще не отвык от своей привольной студенческой жизни. Но в любом случае это, конечно, свинство.

– Дорит, а как ты думаешь, из Левина выйдет хороший отец?

– Заранее этого никогда знать нельзя. Но кто сказал "а", тот должен сказать и "б" – ты же сама этого хотела.

– Дорит, у меня еще нет детей, и все можно раскрутить обратно.

— Да ты просто брачная аферистка! Прикарманила состояние и шикарную виллу, а мужа теперь на улицу? Как это прикажешь понимать?

Она, конечно, права. Если я подам на развод, то придется отказаться и от унаследованного имущества, иначе нельзя, это против моих моральных принципов. Или все-таки?

— Мне дорог этот дом, — сказала я.

— Очень тебя понимаю, — согласилась Дорит.— Я бы тоже ни за что такой дом не отдала. Вообще-то многие мужчины сильно меняются, когда у них появляются дети. Часто они только тогда и взрослеют.

Когда стало смеркаться, мы зазвали Франца и Сару к себе в зимний сад; я выставила им какао и печенье. "Как бы я мечтала угощать своих детей, — думала я, — вытирать их красные носики, вязать им шерстяные пуловеры, а теперь, в канун праздников, печь вместе с ними песочное рождественское печенье".

Вскоре после этого Дорит с детьми заторопилась домой. Она забыла у меня свой шелковый платок с морским узором. Сама не знаю зачем, я приложила его к лицу, вдыхая аромат дорогих духов.

Подойдя к окну, я еще увидела красные огоньки ее автомобиля и взглянула на часы. Куда это Дитер запропастился?

И тут вдруг осознала, сколько времени на моем веку потрачено зазря в ожидании мужчин. В этой изматывающей нервотрепке, когда ничем толковым и полезным заняться все равно нельзя. Не счесть, сколько раз за свою жизнь я подогревала еду, снова снимала с плиты и снова ставила, пока любовно приготовленное блюдо не разваривалось вконец. И моя мать точно так же.

Раз так, я решила покамест за готовку не браться, но ждать совсем без дела оказалось еще хуже. Тогда я принялась отчищать свой голубой свитер от кошачьих волос. Но при этом то и дело поглядывала в окно, не покажется ли там свет фар Дитерова "мерседеса". Он приехал, когда я была уже на грани истерики, и первым делом извинился.

— Как, ты разве опоздал? — спросила я с деланным удивлением. — А я и не заметила.

Но я плохо умею прикидываться, а у Дитера хватило такта и проницательности, чтобы сразу все понять. Он нежно обнял меня и поцеловал. Мы вместе приготовили себе сырную запеканку, а потом и ложе на диване. Супружеские постели наверху и внизу так и остались нетронутыми.

Если бы каждую ночь мне не являлась во сне Марго, эти дни были бы самыми счастливыми в моей жизни. О Левине я и думать забыла. К сожалению, у него наверняка скоро кончатся деньги...

Это чудесное парение в невесомости, когда не хочется ни о чем думать, разумеется, не могло продолжаться бесконечно. Уже через неделю стали сгущаться тучи. Однажды после работы, когда я на крыльях любви примчалась домой, по лицу Дитера я уже с порога поняла: что-то не так.

Левин звонил, из Марокко. Он арестован, сидит в предварительном заключении за наезд на старушку. По его словам, она сама чуть ли не бросилась ему под колеса. Выпустить его могут только под залог, а еще, конечно, ему нужны деньги на адвоката.

— Ради бога, — вскричала я, — скажи мне, что со старушкой?

— По счастью, все не так страшно, только перелом руки, заживет, — сказал Дитер. — Но Левин просил срочно доставить ему деньги. По правде сказать, это деньги на взятку, и вручить их кому надо я могу только лично.

Я кивнула: сколько?

Он назвал чудовищную сумму. Я, конечно, тут же согласилась и на следующий же день собралась идти в банк, но на душе у меня все равно кошки скребли. Почему нельзя перевести деньги хотя бы на адрес немецкого посольства?

Впрочем, по грустному лицу Дитера я видела, что он сам предпочел бы остаться со мной. Ехать черт знает в какую даль ему совсем не хотелось. Так что я безропотно сняла со счета деньги, обменяла их на доллары и проводила Дитера в дорогу.

Марго похоронили уже без него.

Поскольку я осталась совсем одна, Дорит и Геро пригласили меня на ужин. Дети спали, Геро курил сигару, распространяя вокруг себя табачное благоухание. На окне уже висело рождественское украшение, на десерт подали печеные яблоки. Пока мы с Дорит болтали, Геро краем уха слушал последние известия. Когда передали сообщение о розыске преступника, он вдруг что-то вспомнил.

— Элла, ты, конечно, можешь считать меня старым сплетником, — сказал он, — но, по-моему, тебе не худо будет узнать, что принесли мне на хвосте фирнхаймские сороки.

Меня всегда интересовало, что под большим секретом сообщают Геро его друзья-приятели и собутыльники по фирнхаймской пивнушке.

— Про семейку Граберов в Фирнхайме всю жизнь судачили, так что теперь вот и про внука не забывают. Но не думай, ничего плохого я про Левина не узнал, правда, вот дружки у него могли бы быть и получше.

Я навострила уши. Речь о Дитере.

— Я знаю, что у него судимость, — сказала я.

— А за что, знаешь?

— Наркотики?

— И это тоже, — сказал Геро, явно наслаждаясь производимым эффектом. — Но главное, за что твой постоялец сидел, это нанесение тяжких телесных повреждений.

Значит, какая-то доля правды в словах Левина была. Хотя со мной лично Дитер всегда был сама кротость и любезность.

— Это, наверно, давно было, — вступилась я за своего любовника. — Человек меняется, но дражайшие сограждане ничего не забывают и не желают прощать.

Геро этот упрек не принял.

— Элла, я только повторяю то, что слышал. Может, он и вправду стал вполне достойным членом общества, но немного осторожности тебе не помешает.

Дорит буквально буравила меня глазами. Своим женским чутьем она мгновенно уловила, что при одном упоминании имени Дитера я начинаю нервничать и краснеть. Меня же слова Геро больно задели.

— Как славно, что ты снова с нами, как в былые времена, — добавил Геро. А на прощание сказал: — Замужество тебе на пользу. Ты прекрасно выглядишь.

Да, подумала я, несколько дней я была счастлива, но не с мужем, а с другом дома. Теперь уже Дитера не прогонишь ко всем чертям; я влюбилась в него по уши, гораздо сильнее, чем это было с Левином.

Но какие у меня аргументы для развода с Левином? В сущности, только его связь с Марго. Но могу ли я публично объявить о своем унижении и о своей ненависти? Полиция в таком случае, чего доброго, снова заинтересуется обстоятельствами гибели Марго. Я ведь даже не знаю, закрыто это дело или нет. Да и Левину лучше не знать, что я воочию наблюдала за его с Марго шалостями. Надеюсь, кстати, и у Дитера хватит ума не рассказывать ему, что он стал моим любовником. Иначе само собой напрашивается предположение, что наша связь более продолжительна, и тогда у меня появляется еще один мотив сбросить Марго с подоконника. Да нет, не такой Дитер дурак, чтобы нас выдать.

И все же — недоверие закралось в мою душу. Дитер вот уже четыре дня в пути. И позвонил только раз, но слышно было отвратительно, я почти ничего не разобрала.

Однажды вечером я поднялась в квартиру на верхнем этаже, куда я — из-за Марго — почти не заглядывала. Вот тут, значит, они вместе жили. В комнатах еще частично сохранилась уродливая обстановка времен Германа Грабера, остальная мебель была явно подобрана на улице — из тех вещей, что выставляют у подъезда, перед тем как отнести на свалку.

Все, что связано с Марго, вызывало во мне только отвращение. В ванной все еще стоял ее замусоленный флакон шампуня, ее помада и краски, ее лак для ногтей. Дитер все оставил так, будто она просто уехала и скоро должна вернуться. А его вещи? Я нерешительно открыла громоздкий шкаф в спальне. Изрядно поношенные болотного цвета твидовые брюки Дитера и маленькое черное платье Марго висели рядышком, как два голубка.

В пыльной гостиной красовалось два старых кресла, допотопный торшер с рюшечками, дряхлый комод с раззявленными дверками, телевизором и радиоприемником на стойке, а также огромный дубовый письменный стол Германа Грабера. Я осторожно стала тянуть за ручки ящиков. Только один оказался заперт. В остальных — ничего особенного: сигареты, старые каталоги и квитанции, фотографии, ножницы, папки, конверты и бумага — все еще от Левинова деда — и коробка конфет, из тех, какие мне иногда приносил Левин.

Меня, конечно, интересовал запертый ящик. Как и на свадьбе, мне вспомнилась последняя жена Синей Бороды, которой тоже приспичило проникнуть в запретную комнату, хотя она, как и я сейчас, ничего хорошего там увидеть не ждала. Именно здесь, в этом ящике, кроется разгадка характера Дитера! А у меня всего лишь нет какого-то жалкого ключа!

Не взламывать же, в самом деле, замок ножом? Неужели Дитер забрал ключ с собой? Вообще-то логичнее было бы припрятать его где-нибудь в комнате. Я опустилась в одно из продавленных кресел и стала размышлять, куда можно спрятать ключ. Может, вот за этой отвратительной картиной?

Как же я возликовала, когда, отодвинув от стены уже почти почерневший степной пейзаж, обнаружила за ним ключ. Вот так, ничего не обыскивая и не переворачивая вверх дном, я, словно заправский детектив, раскрыла чужую тайну одной только силой своего воображения.

Не без страха отпирала я этот ящик. Вообще-то мне уже почти не хотелось его открывать, весь азарт разоблачения вражеского агента давно прошел. Но я открыла.

Первым, на что упал мой взгляд, оказалась открытая коробка из-под сигар. А в ней деньги. Доллары. Ровно половина той суммы, которую я обменяла в банке.

12

Бывают в больнице дни, когда вся изведешься от одиночества, ни посетителей тебе, ни почты. Но бывают и такие, когда от посетителей отбоя нет и к вечеру ты уже не человек.

Госпожа Рёмер, Павел, Коля, Дорит и Гёро в тот день набились в нашу палату просто битком. Плюс к тому мою соседку впервые за все время навестил мужчина. Оказалось, тоже аптекарь, по фамилии Шрёдер.

Кончилось тем, что весь этот табор безжалостно выпроводил доктор Кайзер. А я так устала, что даже не знаю, смогу ли рассказывать.

Эти деньги в ящике письменного стола напрочь выбили меня из колеи. Снова и снова я подыскивала объяснения своему открытию. Самым невероятным казалось предположение, что это его, Дитера, личные деньги. Куда больше похоже на то, что он меня попросту облапошил. С Левином говорил только он, жуткая криминальная история, которую он мне поведал, может оказаться просто туфтой. С другой стороны, если мой дражайший возлюбленный надумал смыться с денежками, то почему не прикарманил всю сумму? И какой тогда смысл мне врать, если Левин вернется и ложь откроется?

Отгадка тут возможна, пожалуй, только одна: видимо, оба действуют заодно. История со старушкой, кстати, вполне похожа на правду, вернее, на то, как Левин ездит, и тогда даже в то, что Дитер повез ему в Марокко залог, тоже еще как-то можно поверить. Но доллары-то в письменном столе уж никуда не вписываются, это чистой воды обман!

Ну что за судьба! Я кляла себя на чем свет стоит. Почему мне так везет на распоследних мошенников? Хорошо еще, что я не дала Левину доверенность на распоряжение моим банковским счетом, — легальным путем ему до моих денежек не добраться.

Ну нет! Так просто вам меня не взять! думала я. Мы тоже не лыком шиты! Однако мысль, что кто-то, возможно, уже замышляет лишить меня жизни, была, не скрою, не слишком приятна. Бороться с ними в открытую мне слабо, это ясно, так что лучше прикинуться миленькой наивной дурочкой. Или уж сделать благородный жест и отдать Левину дом и состояние?

Деньги меняют человека, размышляла я. Прежде материальная сторона жизни мало меня волновала и я была очень скромна в своих запросах. Но стоило мне почувствовать вкус больших денег, и я сразу поняла, как сильно я заблуждалась на свой счет.

На следующий день позвонил Дитер. Все прошло замечательно, они уже в Сеуте, это самый север Африки, и завтра на пароме переправляются в Испанию, в городок Альхесирас.

Трубку перехватил Левин и голосом беззаветно любящего мужа засюсюкал:

— Послушай, радость моя, я понимаю, ты сердишься. Но если б ты знала, что мне пришлось пережить... Дорогая, ты не очень обидишься, если мы с Дитером отдохнем здесь на юге еще пару деньков?

Я сделала вид, что ужасно взволнована, что, конечно, обижусь, но не очень, и буквально услышала, с каким облегчением Левин вздохнул и закурил сигарету.

Итак, у меня есть еще несколько дней, чтобы выработать план действий. Я снова поднялась наверх. Может, есть еще какие-нибудь улики, а я их проглядела? Тамерлан помчался за мной и немедленно по-царски расположился в одном из кресел, зеленая обивка которого давно уже превратилась под его когтями в этакий мшистый лужок.

Я еще раз внимательно просмотрела бумаги в столе. Ни метрик, ни аттестатов, ни страхового полиса. Не иначе у Дитера еще где-то есть тайник. Да и прочий его скарб столь скромен, что легко уместится в двух чемоданах. Правда, нашлась тут и фотография, на которой он запечатлен с родителями, братьями и сестрами, короче, со всем своим большим семейством, принаряженным и напряженно уставившимся в объектив. Не похоже, что у его родителей имелся свой фотоаппарат, чтобы щелкать детей когда ни попадя, как это было у меня дома. Люди бедные, сразу видно.

Трудное детство, трудная юность... Да какое у меня право осуждать Дитера? Я вдруг почувствовала, что мне плевать на мои доллары. Я люблю этого человека, и он, что бы он там ни замышлял, тоже меня любит. Не может мое чутье настолько меня обманывать!

Снова и снова я раздумывала над тем, не сходить ли к адвокату. Если Левину ничего не обломится, он, конечно же, ни за что не согласится на развод, но сможет ли он мне в этом воспрепятствовать?

Еще как сможет, тем паче что я его сообщница. Значит, надо применить тактику Германа Грабера: составить завещание, по которому в случае моей смерти все мое состояние отходит в пользу Красного Креста. Я решила завтра же оформить этот документ и, заплатив пошлину, оставить его на хранении в магистрате. А копию вручить Левину.

Когда, покончив с этой тягостной формальностью, я вечером следующего дня подъехала к дому, за воротами бок о бок стояли "порше" и "мерседес". Стало быть, они оба вернулись. Чувствуя легкую дрожь в коленках, я некоторое время оставалась в машине. Кого мне теперь обнимать — Дитера, Левина, вообще никого?

Впрочем, какой прок рассиживаться — рано или поздно войти в дом все равно придется. Дверь отворилась прежде, чем я достала ключ, и Левин с неожиданной пылкостью заключил меня в объятия.

Стол был накрыт празднично, горели свечи, пахло чем-то вкусным. Он должен многое загладить, сказал Левин, наливая мне рюмку шерри.

После трудного рабочего дня и утомительной езды сквозь серую пелену ноябрьского тумана так приятно очутиться в жилом тепле, за накрытым столом. Часто принимая гостей, я так редко удостаиваюсь приема сама. На голодный желудок шерри подействовал мгновенно, теплой волной он разливался по всему телу, и я уже смотрела на Левина совсем иными глазами. Его бронзовый загар возбуждал во мне не меньший голод, чем головокружительные ароматы из духовки.

— Дитер еще в ванной, впрочем, вообще-то он не собирался ужинать с нами, но я пригласил, думаю, ты не будешь возражать? — осведомился Левин.

Пряча глаза, я покачала головой и позволила налить себе вторую рюмку шерри. На моем стуле горкой лежали красиво упакованные подарки. "Сейчас я окажусь за одним столом с любовником и мужем, — подумала я. — Левин, похоже, ни о чем не догадывается."

Не успела я толком вообразить себе эту сцену, как вошел Дитер, почти столь же загорелый и соблазнительный, как и Левин. Оба были в отличном настроении. Дитер поцеловал меня в щечку и помчался к духовке, смотреть, как там запекается свинина.

— Скоро будет готова, — объявил он, — надеюсь, ты хоть немного проголодалась.

Интересно, что они замышляют?

Мы ели и пили, шутили и смеялись, — короче, вечер получился просто упоительный. Было огромное удовольствие сидеть между двумя мужчинами, которые наперебой делают тебе комплименты и вдобавок рассказывают всякие жуткие истории. Я распаковала подарки. Восточные сладости, розовое масло, испанские сапожки, которые, к сожалению, мне явно узковаты, и даже старинный серебряный подсвечник. Левин любит сорить деньгами.

От Дитера я получила марокканскую ковровую подушку, как нельзя лучше подошедшую к кожаному креслу моего деда. Ну просто как на Рождество! У меня чуть не начались угрызения совести.

Столько замечательных подарков, и все на мои деньги! Уже слегка под хмельком, я готова была растрогаться. Пожалуй, самое время идти спать, пока никто не успел испортить прекрасный вечер.

Ух, как все кружится! Уж не подмешали ли галантные кавалеры какого-нибудь зелья мне в шампанское? Да вроде бы нет, ибо уже очень скоро в спальне появился Левин и поистине с небывалой страстью привлек меня к своей загорелой груди. Признаюсь: мое твердое намерение спать отныне только с Дитером в ту же секунду было забыто...

Наутро у меня было похмелье, но это, к сожалению, еще не основание для того, чтобы не ходить на работу. Мужчины спали. С чугунной головой я сидела на кухне и отпаивала себя крепким кофе. Опять я совсем запуталась. Передо мной призраком в похмельном дурмане сидела Марго, объясняя мне, что вот раньше-то дружки ее промежду собой делили, а теперь и мой черед настал.

В полном душевном раздрызге я села в машину. Сейчас, зимой, в семь утра еще темно, и повсюду в палисадниках переливаются разноцветными огоньками елки. В детстве радостным напоминанием о скором Рождестве они так скрашивали мне унылую дорогу в школу. С тех пор много воды утекло, я теперь на праздники домой почти не езжу, передоверив исполнение этой повинности брату, — тот хоть может предъявить родителям внука. Вот и в этом году мне не суждено было создать семью, и Рождество я буду праздновать в обществе двух уголовников. Опять мне в личной жизни не удалось продвинуться ни на шаг.

И на следующий вечер Левин был со мною мил и предупредителен; на сей раз мы были одни. Я невзначай поинтересовалась, хватило ли ему денег.

Он глянул на меня почти испытующе.

— К счастью, нам не все пришлось отдать на выкуп, иначе не хватило бы ни на обратную дорогу, ни на пару дней отдыха.

Как ни в чем не бывало я поинтересовалась, каково ему было в следственной тюрьме, ибо мне все меньше верилось, что из-за дорожно-транспортного происшествия он попал в предварительное заключение.

Левин на это стал мне рассказывать, что родственники пострадавшей чуть его не линчевали, полиция едва-едва успела вырвать его из лап разъяренной толпы.

— Сколько же ей лет? — поинтересовалась я.

— Лет тридцать, наверно.

Дитер рассказывал мне о старушке, вот и первая неувязочка. А вторая у них на коже: загар у Левина гораздо темнее, чем у Дитера. Но вслух я ничего не сказала. И вообще, быть может, все это только пустые страхи. Ведь ведут себя оба просто очаровательно. А с тех пор как с нами нет Марго, о которой мы, кстати, почему-то никогда не заговаривали, и сексуальные запросы Левина существенно возросли. Значит, прежде он весь свой пыл на Марго расходовал. Дитер всячески избегал оставаться со мной наедине. Так что не было больше между нами ни объяснений, ни нежностей.

Раз уж я работаю в аптеке, у меня еще задолго до замужества вошло в привычку скорее на всякий случай делать себе тест на беременность. Незадолго до Рождества настало время для очередного. Впервые в жизни он оказался положительным.

Конечно, я знаю, что на ранней стадии вероятность ошибки достаточно велика, так что полную определенность может дать только ультразвуковое исследование. Но и по самочувствию я понимала, что на сей раз и вправду беременна. По утрам меня тошнило, я даже смотреть не могла на еду; зато к полудню меня одолевало столь непреодолимое желание немедленно съесть свежую булочку с заварным кремом и тремя вишенками сверху, что я прямо без пальто, в одном белом халате, мчалась в булочную напротив и покупала аж четыре штуки.

Если прежде я была всего лишь растеряна, то теперь просто сходила с ума. От кого ребенок? Однако даже эта абсолютно аморальная беременность, достойная какой-нибудь потаскушки вроде Марго, но никак не благопристойной госпожи Эллы Морман-Грабер, наполняла ликованием все мое существо. Я то хихикала без причины, то ревела за рулем, хотела кричать об этом всему свету и в то же время никому ничего не хотела рассказывать.

Первым делом надо было решить вопрос, намерена ли я сохранить этого ребенка от двух во всех смыслах столь сомнительных отцов. У меня и раньше была возможность забеременеть без всякого брака, но я старалась до этого не доводить (впрочем, не столь уж педантично, иначе и тесты делать не пришлось бы) из чувства ответственности перед ребенком, чтобы тот не рос без отца. А теперь вот у него на одного отца больше, чем следует, опять не слава богу.

Как бы мне хотелось рассказать о своей беременности хотя бы Дорит, но я решила, что пока еще рано. Один только Тамерлан исправно предлагал себя в качестве психиатра, и я часто прибегала к его услугам. Разумеется, я теперь не брала в рот ни капли спиртного, давила себе сок из апельсинов (меня, случалось, тут же рвало), подолгу гуляла на свежем воздухе.

13

Собственно, Розмари совсем не такая уж плохая соседка; стоит вспомнить плаксивых баб, с которыми я ежедневно встречаюсь в коридоре, чтобы понять, насколько мне с ней повезло. Даже неловко, что поначалу я относилась к ней чуточку свысока.

Наутро при виде неприбранной кухни мне опять стало дурно. Может, Левин подсыпал мне какой-нибудь порошок в еду? На всякий случай я достала копию моего завещания и демонстративно положила на заляпанный кухонный стол.

На работе времени на размышление не остается. Помимо торопливых клиентов, которым лишь бы лекарство схватить и убежать, есть и словоохотливые завсегдатаи. Это, как правило, пожилые и одинокие люди, для которых выход к врачу или в аптеку — единственное развлечение в жизни. И я прекрасно знаю, что в моей профессии есть четко выраженный компонент социальной помощи: покупатель ждет от аптекаря не только дельного совета, но и умения слушать. Я и не избегаю таких клиентов, а вот шефиня, едва завидев в дверях очередного говоруна или нытика, мгновенно исчезает. Да и Ортруд, наша спортсменка, спасается бегством, не без злорадства шепнув мне:

— Элла, это твой кадр.

Регулярно ходят в аптеку матери, эти берут лекарства на всю семью — для больных детей, бабушек, мужей, а уж заодно и противозачаточные пилюли для себя. На их фоне исключением смотрелся Павел Зиберт, понурый мужчина средних лет, он живет неподалеку и все покупки для семьи делает сам. Именно его привела тогда к нам на новоселье моя шефиня — хотела поднять ему настроение.

Это тихий, симпатичный человек, никогда не пристававший с разговорами. Однако со временем и по характеру его рецептов мы догадались, что жена у него, видимо, находится в психиатрической лечебнице. Любопытная шефиня разузнала от Дорит, что у несчастной психоз, она страдает параноидальными галлюцинациями.

Я была в аптеке одна, когда уже перед самым закрытием зашел этот милый, такой несчастный человек. На сей раз он, похоже, был не столь замкнут, как обычно.

— Как дела у вашей жены? — отважилась спросить я.

Он стрельнул в меня глазами.

— В данный момент она в больнице.

"Есть люди, которым еще хуже, чем мне", — подумала я. Как же это он успевает и на работу ходить, и за детьми присматривать, спросила я, не отрывая глаз от рецепта, на котором рядом с его фамилией была указана докторская степень.

Он работает редактором в научном журнале, часть работы может брать домой.

— С хозяйством-то я вполне справляюсь, — сказал он не без гордости, — тут трудностей почти нет.

Кстати, он должен извиниться, но он напрочь запамятовал мою фамилию, хотя однажды даже побывал у меня в гостях.

Что ж, это я вполне понимаю.

— Морман, Элла Морман, — представилась я, — вернее, теперь уже Элла Морман-Грабер.

Он тут же припомнил мое свадебное объявление в газете.

— Да-да, моя жена еще пошутила: "Ничего себе парочка — грабарь и мормон!"

Я даже пожалела, что он прочел мое свадебное объявление. А на жену его просто рассердилась: сидит в психушке, бросила мужа на произвол судьбы и на домашнее хозяйство, да еще и отпускает идиотские шуточки...

Я стала закрывать аптеку.

— А то грабарь-муж ждет не дождется свою женушку-мормонку, — сказала я все еще сердито.

Павел Зиберт понял, что его шутка не пришлась мне по вкусу. И взглянул на меня с таким огорчением, что я сразу поняла: мы друг другу нравимся.

Но по пути домой меня обуял такой дикий страх, что хоть разворачивайся и езжай обратно, под спасительный кров моей родной аптеки. Что скажет Левин, увидев мое завещание?

Мой супруг ждал меня на кухне с каменным и оскорбленным лицом. Завещание лежало перед ним на столе.

— Это что — шутка? Если шутка, то очень неудачная.

— У деда твоего научилась, — парировала я. — Теперь нет смысла меня убивать, останешься ни с чем.

Левин уставился на меня раскрыв рот. Только теперь он все понял и был просто потрясен.

— Ты совсем сбрендила? Я тут пляшу вокруг тебя, окружаю любовью, заботой и лаской, а ты на полном серьезе полагаешь, что у меня на уме одна мысль — тебя укокошить? Нет, так мы не сможем жить вместе.

Мне даже стало его жалко, и я уже начала раскаиваться. После своей поездки он и вправду стал со мной куда милей, чем прежде. Но я не сдавалась.

— Вы провернули на мои деньги какую-то грязную сделку,— распалялась я. — Губите молодые жизни, наживаетесь на чужом горе!

Тут уже Левин рассвирепел.

— То есть как это на твои деньги? — заорал он. — Да там ни гроша твоего нет, это деньги моей семьи! Будь я и вправду такой злодей, я бы тебя сейчас истязал до потери сознания, пока ты сама у меня на глазах это завещание не перепишешь! А значит, и подпишешь себе смертный приговор.

— Я пока что не старуха, ничем не болею, и зубы у меня еще свои. Так что придется тебе придумать что-нибудь пооригинальнее, чтобы за убийство не сесть.

На лице Левина отразилась напряженная работа мысли.

— Ты можешь выброситься из окна мансарды: самоубийство вследствие тяжелой депрессии.

— Так тебе и поверили, — съязвила я. — У меня в жизни не было депрессий, все мои друзья это подтвердят.

— Я бы заставил тебя написать прощальное письмо, — сказал Левин, — оно бы твоих друзей убедило.

Лютыми врагами смотрели мы друг на друга. Я была на пределе. Не зная, чем бы еще его уязвить, я вдруг разревелась.

— У меня будет ребенок, — всхлипывая, пролепетала я.

— Что-что у тебя будет? Менструация у тебя будет, это уж точно, у тебя перед этим делом всегда истерика.

Я убежала в спальню, чтобы выплакаться в подушку. Вскоре я услышала грохот захлопнувшейся входной двери, а минутой позже — рев удаляющегося "порше".

Домой этой ночью Левин так и не вернулся.

И наутро ни коня, ни всадника не было видно. В ночном халатике я отправилась на кухню ставить чайник. За неимением публики желание плакать прошло. Как раз в тот миг, когда я с омерзением выплевывала ромашковый чай в раковину, вошел Дитер. Отерев рот салфеткой и тяжело дыша, я присела к столу. Дитер бросил на меня пытливый взгляд. Нам обоим было слегка неловко.

— Я не первый раз слышу, что тебе по утрам нехорошо, — озабоченно и почти с нажимом сказал Дитер.

Он молча выдавил лимон и дал мне понюхать. Потом пошел к холодильнику, достал банку с колой и налил мне в стакан.

— Секрет фирмы, — проговорил он, подавая мне напиток.

Я выпила, и, к моему удивлению, это ледяное и довольно противное на вкус пойло действительно мне помогло. Непередаваемо ласковым жестом Дитер погладил меня по голове и удалился.

Мой муж, как-никак все-таки проводивший рядом со мной все ночи (сегодняшняя не в счет), так и не удосужился заметить, как я давлюсь по утрам. А Дитер расслышал даже с другого этажа. Однако если у Дитера появились мысли насчет моей беременности, значит, он должен принять в расчет и вероятность своего отцовства. Или мужчины вообще не умеют считать?

В этот день я была записана на прием к гинекологу. С лихорадочным нетерпением я ожидала результата.

Потом помчалась к Дорит.

— А что говорит будущий отец? — выслушав меня, поинтересовалась она.

— Он еще не подозревает о своем счастье, я же обещала тебе первой сказать.

— Я польщена такой честью, но ему ты все-таки скажи, что первый — он.

В тот день мы вдоволь наговорились о самочувствии и странных прихотях организма во время беременности — тема, которую Дорит любила и раньше, но из чувства такта обсуждала со мной лишь изредка.

В конце концов я все-таки отправилась восвояси. Ждет ли меня дома Левин? И если да, то с каким лицом?

Они оба ждали меня как миленькие: сидели на кухне и дружно готовили.

— Сегодня я купил нам на Рождество мороженого польского гуся, — отрапортовал Дитер.

— А я была у врача, — объявила я бодрым тоном. — Я на втором месяце.

Левин посмотрел на меня без всякого восторга.

Дитер немедленно принес бутылку противопоказанного мне шампанского. Вопреки всем моим новым принципам я все же выпила глоток, наслаждаясь тем, что снова оказалась в центре всеобщего внимания.

Второй отъезд Левина оказался не добровольным и был вызван печальной необходимостью. Ему позвонили из Вены — его мать попала в автомобильную катастрофу. По убитому виду Левина я сразу поняла, что это не выдумки. Он и не заикнулся о деньгах, но я, разумеется, сама тут же купила ему билет на самолет и поменяла марки на шиллинги.

Лететь ли мне с ним? Мысль о перелете меня, по правде сказать, не слишком-то привлекала. О матери Левина я знала только одно: она пламенная поклонница Аннетты Дросте-Хюльсхофф[1], именем которой мечтала назвать дочь. Когда же, к немалому ее разочарованию, у нее родился сын, ему досталось имя Левина Шюккинга[2], друга юности Аннетты.

До Сочельника оставалось всего пять дней, и я взяла две недели отпуска. Не без смущения думала я о том, что остаюсь с Дитером в доме одна. Не иначе он захочет со мной объясниться.

Уже за ужином, который, как и положено перед Рождеством, мы вкушали при трех свечах, Дитер глубоко и так многозначительно вздохнул, что мне поневоле пришлось спросить:

— В чем дело?

— Думаешь, мне легко смотреть, — начал Дитер своим приятным, но сейчас чуть сдавленным от боли и волнения голосом, — как ты счастлива с Левином, а все, что было со мной, напрочь забыла.

Я уверила его, что это совсем не так.

Однако дело уже не столько в его личных чувствах, сказал Дитер, теперь главное — счастье будущего ребенка. И посмотрел на меня с такой мукой в глазах, что я тут же бросилась к нему на шею.

— Эти несколько дней мы одни, — сказала я, — у меня отпуск...

Надо сказать, что даже в собственных глазах я выглядела в эту минуту довольно блудливой особой.

— Ты беременна, — напомнил Дитер.

А меня как будто черт за язык тянул.

— Это твой ребенок, — шепнула я.

Дитер повел себя безупречно: он обнимал меня, целовал и буквально лучился от неподдельной радости.

— А когда ты скажешь об этом Левину? — не столько спросил, сколько потребовал он.

— Ну сейчас-то никак нельзя, — возразила я. — Некрасиво как-то, у него мама, наверно, при смерти.

В этот вечер я отправилась в постель с Дитером и ревнивцем Тамерланом. Я сама себе удивлялась, но это было просто восхитительно.

14

Все-таки Розмари кое-чего не понимает. Что это за дети, которые время от времени вваливаются в нашу тихую палату и устраивают гвалт, кто из них чей?

У Дорит двое детей, объясняю я, Франц и Сара, они почти ровесники детям Павла – Коле и Лене.

– Ничего себе имена, – бормочет Розмари,– ну да ладно, не в этом дело. Значит, Коля и Лена – дети Павла и этой сумасшедшей Альмы, так?

1. Аннетта Дросте-Хюльсхофф, (1797–1848) — немецкая поэтесса.
2. Левин Шюккинг (1814–1883) — немецкий писатель и публицист.

Я киваю.

– А самый младший, этот буян?

– Его зовут Никлас.

Она ворчит:

– Просто абракадабра какая-то. Хочешь побрызгаться моими духами? Ну давай же, рассказывай дальше.

Левин позвонил из Вены, он всхлипывал. Мать без сознания, прогноз неутешительный. К ней в реанимацию его пустили лишь на несколько минут. Я как могла пыталась утешить его и подбодрить, но понимала, что смысл моих слов вряд ли вообще до него доходит.

На заре наших с Левином отношений, когда мне надо было что-то из него выудить, мне удавалось это без труда: в сущности, он еще ребенок и любит делиться своими секретами. Только о мужских своих подвигах он никогда ничего не рассказывал. Дитер не такой, он — законченный молчун. О его семье, к примеру, мне так почти ничего и не удалось выведать.

— Так сколько у тебя братьев и сестер? — допытывалась я.

— Слишком много.

— А родители твои еще живы?

— Если еще не умерли...

Но я не оставляла своих попыток, особенно когда мы, нежно прильнув друг к другу, лежали с ним на диване.

— Я слышала, ты сидел за рукоприкладство, — осторожно заметила я, прижимаясь к нему еще нежней.

— Гм, — отозвался Дитер. Потом все-таки добавил: — Два раза всего рукам волю дал.

С деланным ужасом я содрогнулась.

В первый раз, как выяснилось, его надул торговец наркотиками. Тем самым Дитер признавался, что и сам промышлял этим бизнесом. Судя по всему, его жертва не отделалась одним только расквашенным носом. Рассказ о втором случае давался ему мучительно. Хотя про то, что они с Марго поженились и что та была беременна, я и без него уже знала. Он, оказывается, этому будущему ребенку был совсем не рад, потому что пришлось запереть Марго в комнате и следить, чтобы никто не притащил ей героин. Но однажды ночью она сбежала — по веревке с третьего этажа — и как в воду канула. Он несколько дней ее искал, пока не нашел во Франкфурте, в Вест-энде, на панели. Дитер подобрал ее, доставил домой и избил чуть не до смерти.

— Но по животу ни разу не ударил, — оправдывался он, — я следил.

Этого я никак не понимала.

— Если ты был до такой степени вне себя, что бил беременную женщину, как ты мог помнить о ее животе?

— Сам не знаю, — кротко отвечал Дитер.

Она, как я постепенно выяснила, после этого колоться бросила, а вот он торговать не перестал.

Когда в это дело с головой влезешь, потом так просто не вылезешь.

— А что вы купили в Марокко?

— Только гашиша чуть-чуть, нет, честно. Ни грамма героина, его там и не достать.

Мне все-таки удалось разузнать, что в самой отчаянной его афере Марго действительно обеспечила ему алиби, а в виде платы за лжесвидетельство потребовала не денег, а женитьбы.

А еще мне очень хотелось спросить про вторую половину моих долларов, но я не осмелилась.

Минуло два совершенно упоительных дня. Мы с Дитером слушали рождественскую ораторию в вайнхаймской церкви Святого Марка, а потом, уже почти на ночь, пекли нюрнбергские пряники. Наконец-то у меня появился верный спутник для пеших прогулок по Оденвальду и Пфальцу. Красивей всего в этой гористой местности извилистые тропы, вьющиеся через густые виноградники; к северу они ведут в Хеппенхайм, к югу — в Шрисхайм. Из зарослей ежевики тут и там вспархивали вспугнутые фазаны, айва, буйно произрастающая в палисадниках, наполняла воздух дурманным ароматом своей падалицы, стволы фруктовых деревьев обвивал хмель, — мглистые, пасмурные осенние дни здесь настолько сказочно-волшебны, что никакое летнее великолепие не может с ними тягаться. Разок мы прошлись в Хайдельберге по рождественской ярмарке, потом жарили дома каштаны и играли в шахматы.

В какой-то момент я вдруг поняла, что больше так не выдержу.

— Вы же потратили только половину денег, — выпалила я. — Почему ты мне лгал?

Дитер побледнел.

— Это Левин тебе сказал? — неуверенно спросил он.

— Да, — соврала я.

— Половину долларов я приберег для тебя, — сказал Дитер.

— Зачем ты их вообще у меня брал?

— Левин так хотел, он же мне должен.

— У Левина своя доля наследства!

Дитер был в крайнем замешательстве.

— Обещаю тебе, Элла, больше я никогда в жизни его не послушаю, я с самого начала был против того, чтобы брать с тебя эти деньги.

Он стремительно вышел и минуту спустя почти подобострастно принес мне мои доллары.

— Деньги — это не вопрос, — сказала я, для порядка пересчитав всю сумму, — но я ненавижу, когда меня надувают.

Дитер кивнул.

— Все, начинаю новую жизнь, — сказал он. — Я тоже за деньгами не гонюсь, по мне, так можешь при разводе все до гроша отдать Левину.

— И не подумаю, — возразила я. — Но как бы там ни было, сейчас, когда он явится сюда прямо от смертного одра своей матери, я не могу с порога огорошить его сообщением, дескать, вот мой новый муж, да еще и отец ребенка. Этак он, не дай бог, еще сотворит над собой что-нибудь.

Левин, легок на помине, тут же позвонил сам. Его отчаянье могло бы размягчить и камень.

— Но самое страшное, — выдавил он под конец сквозь всхлипы, — я уже не смогу сказать маме, что я счастлив в браке и что мы ждем ребенка!

Через два дня наступало Рождество. Дитер купил небольшую елку и очень радовался приближению праздника. Никогда еще ему не было так хорошо, сказал он мне, — уютный домашний очаг, милая жена, ожида-

ние ребенка. С прежними дружками и с торговлей наркотиками покончено навсегда. Благодаря мне он стал другим человеком.

24 декабря, возвратясь домой после утомительного пробега по магазинам, я нашла на столе записку. Левин просил встретить его во франкфуртском аэропорту, мать его прошлой ночью умерла. Дитер поехал его встречать. В тот день я в супермаркете отбила себе щиколотку тележкой для покупок, крышкой багажника прищемила палец и вот, еле живая, с тяжеленными сумками стояла перед холодильником. Оба красавца, видимо, рассчитывают, что к приезду их будет ждать накрытый стол и готовый обед.

Исхудавший, совершенно подавленный Левин вернулся домой и, как ребенок, хотел, чтобы его утешили, приласкали, взяли на ручки. Выпив немного чаю и шмыгая носом, он улегся в гамак, покуда Дитер устанавливал на крестовине елку, а я пылесосом собирала осыпавшиеся иголки. Потом, наконец, я принесла мои заветные елочные игрушки и начала украшать елку. Пахло хвоей. Левин принес проигрыватель, не забыл и свою любимую пластинку — "Орфей и Эвридика".

"*Как горька моя утрата! Было счастье – нет его!*" – ревели динамики на полную громкость. Прежде, слушая вместе с Левином эти слова, я мысленно относила их к себе, мне казалось, это меня, возлюбленную, он утратил и меня оплакивает. А теперь получается, это все о мамочке, уж не попахивает ли тут инцестом?

Дитер, казалось, ни о чем таком не думал: он сосредоточенно укреплял звезду на макушке елки.

В этот час я бы с куда большим удовольствием включила радио и послушала американские рождественские песенки, вместо этого меня глушили таким вот текстом: *"Все напрасно! Нет надежды! Сладкой неги и покоя мне вовеки не вернуть!"*

Левин, слушая пластинку, громко подвывал, так что я и слов-то уже почти не разбирала. Ну как в такую минуту заговорить о разводе?

Затем последовало мелодраматическое кофепитие.

— Если и дано человеку утешение, — рассуждал Левин, — то только в детях. Любимый человек уходит из жизни, но появляется на свет новый. Если у нас будет девочка, мы назовем ее именем мамы.

Сколько я знаю, маму звали Августой.

— А второго имени у нее не было? — осторожно поинтересовалась я, вдруг впервые отчетливо осознав, что хочу сына.

— Разумеется, — откликнулся Левин, — Августа Фридерика. Дома ее, кстати, Густель звали — мило, правда?

— На Фридерику я согласна, — ответила я уклончиво, краем глаза успев заметить, что теперь передернуло уже Дитера.

После кофе мы зажгли свечи и в некотором смущении уселись вокруг елки. Дитер принес вина, и Левин после каких-нибудь пяти бокалов впал в эйфорию.

— Через год нас будет уже не двое, — мечтал он, не замечая, что рядом со мной уже сидит Дитер, — наша малышка будет в восторге, когда увидит все эти свечи и пестрые шары.

Дитер сглотнул, потом сказал:

— А через два года наш ребенок будет уже вовсю бегать.

Однако Левину было не до притяжательных местоимений. Он продолжал пить, лез ко мне обниматься, то уверяя, что это Рождество — самое прекрасное в его жизни, то, минут через пять, — что такого грустного Рождества у него отродясь не бывало.

Дитер не произнес больше ни слова, только пил. Я начала тревожиться не на шутку, они оба переставали мне нравиться. На улице пошел дождь, а не снег, о котором в рождественскую ночь все так мечтают. По радио пение детского хора перемежалось звоном колоколов.

— Наш ребенок будет обучаться музыке, — распинался Левин. — Фортепьяно. Элла, как ты думаешь, получится у нас музыкант? В конце концов, папа был органистом.

Я отшатнулась от Дитера, который цапнул с елки первый попавшийся шар и запустил его в стеклянную стену моего зимнего сада.

Левин замер, у меня выпал пряник изо рта.

А Дитер и не думал останавливаться. Один за другим он срывал с елки шары и запускал в стену: осколки с радостным звоном разлетались тысячью сверкающих брызг.

Я хотела было его остановить, но Левин схватил меня за руку.

— Сейчас нам лучше всего уйти, — шепнул он мне. — Он бывает невменяемым.

Мне тем более не захотелось оставлять Дитера в таком состоянии одного возле зажженной елки, но Левин силой затащил меня в спальню и замкнул дверь. Мало того, для надежности он еще и припер дверь шкафом, соорудив настоящую баррикаду. Я аж похолодела от страха.

— Он не посмеет, не посмеет, — шептала я.

Похоже, однако, Левин даже не задумывается, с какой это стати Дитер так разбушевался, зато я-то прекрасно все понимала. До нас доносились чудовищные проклятья, потом тяжелый удар, треск разбитого стекла и бесконечно долгий минорный звон осыпающихся осколков. Видимо, он расколошматил одно из стекол зимнего сада. Когда наконец на некоторое время установилась тишина, мы крадучись выбрались из своего укрытия. Дитера не было. Но зимний сад воистину был как после побоища.

— Надо немедленно перенести растения в тепло, — распорядилась я, — они погибнут при такой температуре.

Остаток рождественской ночи мы провели за перетаскиванием цветочных кадок и горшков, при этом Левин ни разу даже не задумался, полезно ли мне в моем состоянии таскать такие тяжести. Потом мы сгребли и вымели осколки, а Левин кое-как заделал дыру кусками картона и пластиковыми пакетами. От ветра и дождя мы худо-бедно отгородились, однако любому взломщику дорога была открыта. Но где найдешь стекольщика в ночь на 25 декабря? Мы плюнули на все и отправились спать. Левин уснул как убитый, а я от гнева и изнеможения даже плакать не могла, только всхлипывала без слез.

Забрезжило утро, а вместе с ним и в моем сознании забрезжила мысль, что я не так уж неповинна в случившемся. Никуда не денешься — пора выбирать ребенку отца. После буйства, которое учинил Дитер, я всерьез сомневалась, стоит ли оставлять его в числе соискателей, практически он сам себя вычеркнул. Но как он воспримет отказ? Даже вообразить страшно.

В это первое праздничное утро Тамерлан встретил меня укоризненным взглядом: в доме полный разгром, повсюду на дороге пальмы и фикусы, кадки и горшки. Поскольку поговорить больше было не с кем, я обратилась с речью к коту:

— Вот если бы ты был собакой, — так я ему сказала, — я бы взяла тебя сейчас на большую прогулку, а ты по ночам караулил бы дом, чтобы к нам не забрались воры. На наших мужчин все равно надежды никакой.

Они оба еще спали. Я выпила чаю, съела пару бутербродов, даже не испытав, вопреки ожиданиям, приступов тошноты. Потом оделась потеплее и села в машину. Отъехала несколько километров в сторону Оденвальда и в полном одиночестве пустилась в зимний пеший поход — проветрить мозги. Но даже и на свежую голову никаких судьбоносных решений я принять не смогла, только ругала на чем свет стоит Дитера, а Левина обзывала маменькиным сынком. "Важен лишь ты", — говорила я, обращаясь к своему ребенку.

Когда наконец, с румянцем на щеках, но не успев отморозить ноги, я вернулась домой, на столе меня ждала записка от Дитера: "В три часа придет стекольщик сделать замеры". Кроме того, он — не Левин же — успел вынуть из оконной рамы торчавшие в ней стеклянные клинки, а также убрать все осколки шаров в мусорный контейнер.

Только теперь соизволил подняться Левин.

— Извини, дорогая, — сказал он мне, — был большой недосып, пришлось добирать.

— Да ничего страшного.

— Ты не помнишь, из-за чего, собственно, Дитер так разъярился? — спросил он.

Я покачала головой.

Левин попросил кофе. Ставя кипятить воду, я заметила, что Дитер вынул из морозилки гуся и определил поближе к плите, но поскольку размораживаться этой птице минимум полсуток, то сегодня на праздничный обед, видимо, рассчитывать не приходилось.

— А куда вообще Дитер подевался?

Этого я тоже не знала.

Пришел стекольщик, неодобрительно качал головой, набивал цену.

— Чтобы в первый день праздников, это ж надо, — ворчал он. — Как такое вообще могло случиться, это ж какую силищу надо иметь!

15

Наконец-то удалось найти молодого человека для работы в саду, сообщает Павел, пришедший навестить меня уже под вечер. Правда, с грамотой у него неважно, зато смышленый и работящий.

– Он не виноват, что безграмотный, имей он побольше времени...

— Как он выглядит? — интересуюсь я.

– Красивый парень, – отвечает Павел.

Со сладостным замиранием сердца я тут же начинаю соображать, в какой школе можно раздобыть для него учебники и подходящую программу.

– Опомнись! – предостерегает меня Розмари, когда мы остаемся с ней наедине. – Опять за старое!

Праздничными рождественскими голосами позвонили мои родители.

— Ты давно не звонила! — уверяли они.

Я не стала спорить и пожелала им веселого Рождества. "Знали б вы только..." — подумала я.

Позвонила шефиня, долго мялась, потом все-таки выложила: не смогу ли я на пару дней заменить заболевшую сотрудницу.

— А то я совсем одна за прилавком, а вы же сами знаете, Элла, что́ у нас после праздников начнется.

Как не знать. Народ обожрется, перепьет, накурится до одури, а потом, понятное дело, болеет. Другие сограждане, как вот Дорит, не выдержав непомерных праздничных запросов своих чад и домочадцев, бегут за валиумом. К величайшему изумлению шефини, я безропотно соглашаюсь. В надежном мирке родной аптеки мне будет куда уютнее, чем в четырех стенах собственного дома.

Но на второй день Рождества я была еще дома. Снова появился Дитер, почти не разговаривал, строго по рецепту, с красной капустой и клецками, приготовил гуся. Настроение было паршивое. Если уж Левин не думает спрашивать своего дружка, с чего это тот так разбушевался, с какой стати мне лезть с расспросами? С 27 по 30 декабря мне предстояло дежурить в аптеке, зато в новогоднюю ночь я снова оставалась дома — как на беду.

На аптеку и впрямь обрушилось форменное нашествие, будто у нас ликвидационная распродажа. В конце дня объявился и Павел Зиберт.

— Ну, что на сей раз подхватили ваши детки? — спросила я, подбирая по рецепту жаропонижающие свечи.

— У обоих корь, и как раз на Рождество!

Я посочувствовала. Это еще полбеды, пожаловался он, тронутый моим участием. Главная же беда — торт ко дню рождения его дочурки.

— Рецепт-то у меня есть, — кисло сказал он, — только вот печь я совсем не умею.

Тут-то и пробил мой час. Меня охватил порыв великодушия. Тем же вечером — то есть в канун дня рождения его веснушчатой дочурки — я стояла на чужой кухне и вдохновенно пекла шоколадный торт, коронным украшением которого должны были стать марципановые Микки-Маусы.

Обычно печальный и задумчивый Павел выказал себя замечательным и милым помощником, непременно пожелавшим по завершении трудов со мной чокнуться, что мы и сделали, он — бокалом красного вина, я — яблочным соком. Дети в ночных рубашонках и шлепанцах время от времени пытались взять кухню штурмом, но отец решительно вставал у них на пути.

— Это сюрприз, — пробасил он и как ни в чем не бывало схарчил мышонка с черными шоколадными ушами. Не загляну ли я завтра к ним на огонек отведать своего изумительного торта, спросил он.

— Вы же понимаете, корь, друзей они пригласить не могут. А у вас прививки...

— Посмотрим, — сказала я.

В доме стояла гробовая тишина. Меня встретил только Тамерлан. Правда, стекольщики тем временем успели все застеклить, а кто-то из моих мужчин уже перенес растения на прежние места, прибрал в комнатах и

даже поставил на стол букет желтых роз. Поскольку отопление в зимнем саду работало в экономном режиме (Левин обычно врубает его на полную мощность), я решила, что это дело рук Дитера.

"Кому вообще я здесь нужна?" – в унынии спрашивала я себя. Потом позвонила Дорит.

– Испекла сегодня шоколадный торт на ребячий день рождения, – поведала я.

Дорит тут же навострила уши.

– Ах, это тот Зиберт, – протянула она, выслушав мой ответ. – Эта его Лена с нашей Сарой в детский сад ходит. Очень милая девочка и совершенно нормальная, несмотря на полоумную мать.

– А почему его Павлом зовут? – поинтересовалась я.

Выяснилось, что вся его семья родом из Праги. А дочку из детского сада он всегда забирает сам.

– И вообще он мне нравится, – сказала Дорит, – у меня слабость к ученым, особенно с окладистой бородой, как у Карла Маркса.

Я поневоле расхохоталась, мне борода Павла тоже очень нравилась.

– Жалко, что мы обе уже пристроены, да и Павел тоже. К тому же скоро у меня округлится животик, и никакой чужой бородач уже не захочет печь со мной шоколадные торты.

– Знаешь что, – загорелась вдруг Дорит, – давайте вместе Новый год встречать, мои родители наверняка не откажутся посидеть с детьми.

Я сидела на кухне и без всякого удовольствия хлебала только что сваренный диетический супчик, когда явился Дитер.

– Мне очень жаль, – заявил он с порога, – но дальше так продолжаться не может. Ты должна сказать Левину, что я – отец ребенка.

Я молчала.

– Нет никакого смысла дальше его щадить, – продолжал Дитер, – сейчас он так и так в трауре, пусть уж одно к одному.

Я пялилась на него тупо, он на меня – злобно.

Тогда он решил прибегнуть к испытанной тактике – устранить соперника, очернив его.

– Вообще-то не хотелось тебя огорчать, но у тебя в корне неверное представление о Левине. Я только что побывал у своего брата в Пфальце. Так я там такое услышал...

Я покраснела. Ничего хорошего это не предвещало.

– Не тяни, – сказала я.

– Левин путался с Марго, – сказал он бесцветным голосом и выжидательно на меня уставился.

Я чуть было не кивнула со знанием дела.

– И не только когда я сидел, – продолжал Дитер, – но, видимо, и здесь, в этом доме, пока я баранку крутил, а ты на работе была.

Откуда брату Дитера известны все эти интимные подробности?

– Так у нее и с Клаусом было...

Тут я стала слабо припоминать, что Левин давным-давно мне тоже что-то в этом роде рассказывал: дескать, Марго обманывала мужа с лучшим его другом и даже с его родным братом.

– Ребенок у Марго был от тебя? – спросила я.

– Ребенок? Откуда мне знать? Хорошо, что про шашни с Левином я только сейчас узнал, я бы эту тварь своими руками из окна выкинул.

Тут я во второй раз пунцово покраснела, и Дитер это заметил.

— Элла, что с тобой?.. — спросил он, заподозрив неладное.

Я тут же разревелась, демонстративно прижимая руки к животу: мол, беременных полагается щадить...

Дитер нервно забегал по кухне.

— Неужели ты?.. — спросил он, обняв меня за плечи.

Я неуверенно покачала головой.

Он взял мое лицо в ладони и посмотрел мне прямо в заплаканные глаза.

— Левин твоего сочувствия не заслуживает, — сказал он, — он о тебе не слишком-то беспокоится.

Сущая правда. Но я продолжала гнуть свое:

— Нехорошо за зло отплачивать злом. Я поговорю с ним, но тогда, когда сама посчитаю нужным.

— Если зуб надо рвать, тянуть незачем! — возражал Дитер.

— Не всегда! — решительно заявила я. — Если у пациента инфекция и высокая температура, приходится ждать.

На следующий день я навестила больную именинницу. Лена, все еще с сыпью на мордашке, вместо того чтобы лежать в постели, отчаянно сражалась с братом из-за новых качелей, подвешенных в дверном проеме. Павел был рад моему приходу, Лена — большой упаковке "Лего". Поскольку дети сразу же перешли со мной на "ты", мы с Павлом последовали их примеру.

Торт удался мне на славу, я хотела остаться только на четверть часика — посмотреть, как его распробуют. Потом Павел убирал со стола, а я читала детям книжку. Время летело стремглав. Когда, закончив читать, я подняла глаза и встретилась с открытым, таким близким взглядом Павла, мне захотелось оказаться в его объятиях и потереться щекой о его густую, с проседью бороду. "Мы проморгали друг друга, — подумала я, — но еще не поздно стать друзьями..."

Дети включили телевизор. Мы же с Павлом тихо беседовали. После рождения Лены, рассказывал он, жена заболела, стала слышать голоса и сама себе наносить увечья. Пришлось ее изолировать, отлучить от детей, он думал, у него у самого сердце не выдержит. Бывает, что она возвращается домой на побывку, но нужно давать ей очень много лекарств.

— Как жестоко это ни звучит, — сказал он, — но я почти рад, когда ее снова забирают в больницу. Слишком большое напряжение для меня, да и за детей боюсь.

Он взял меня за руку. Недолго думая я пригласила его к нам на новогодний вечер.

— Лучше не надо, — сказал Павел. — Когда кругом все взрывают петарды, я не рискую оставлять детей одних. Не говоря уж о том, что они еще не вполне здоровы.

Я не настаивала. Но, видимо, не смогла скрыть и своего огорчения. Ну, если дети к полуночи крепко уснут, уступил он, пожалуй, он заглянет. Если, конечно, не стрясется чего-то совсем невероятного. Только вот удобно ли будет, если он, так сказать, к шапочному разбору заявится?

— Приходи, когда получится, — сказала я. — Ничего особенного у меня не будет, только несколько друзей, музыка, вкусный ужин, посидим среди своих.

— Как раз то, что я люблю, — обрадовался Павел. На том мы и распрощались.

Утром 31 декабря позвонила Дорит и дала отбой. Теперь корью заболели ее дети.

— О господи, — огорчилась я, — а я уже пригласила Павла Зиберта! Хотя он, наверно, все равно не придет. Ты, кстати, его больную жену когда-нибудь видела?

— А как же. Настоящая красавица была, но теперь! Вялая, пришибленная какая-то, живет на транквилизаторах, опухла вся, бедняжка. Однажды она за Леной в детский сад пришла, картина была, скажу я тебе! Девчушка живая как ртуть, а ее за руку ведет этакая кулема!

Со студенческих времен мы с Дорит называли этим словцом людей медлительных, неповоротливых, сонных, а поскольку сами были совсем не из таких, то и посматривали на них чуть свысока. Наверное, в глазах Павла я выгляжу привлекательнее, чем его больная кулема, думала я, но красавицей я никогда не была.

Левин тем временем понемногу приходил в себя. С грустным видом он слонялся вокруг меня, как брошенный котенок, но по крайней мере плакал уже не так часто. Скоро придется сказать ему что-то не слишком утешительное. Только вот что? "Каждый из вас для меня совсем не идеальная пара, — думала я. — Но мой ребенок не будет расти безотцовщиной!"

Поскольку Дорит и Геро не придут, получалось, что я закупила слишком много продуктов. На Павла я тем более не рассчитывала — кому охота тащиться среди ночи из Хайдельберга в Фирнхайм?

На кухне появился Дитер.

— Что у нас будет вкусненького? — спросил он.

— Ростбиф, совсем розовый.

— Значит, с кровью, — огорчился Дитер. — Пожалуйста, только не это, я сырого мяса не ем.

Жаль мяса — дорогой кусок, вырезка. Оно куда вкуснее, если не прожаривать его до конца.

— Но Левин больше любит, когда оно розовое, — сказала я наобум, хотя вовсе не была в этом уверена.

Дитер помрачнел.

— Ну конечно, как же обидеть бедного сиротку! Что ж, коли так, я могу и в городе поужинать.

Ну уж нет, тогда еще больше еды останется!

— Тоже мне проблема! — успокоила я его. — Просто твою порцию мы подержим в гриле на десять минут дольше.

Дитер был доволен. Тихий и кроткий, как ягненок, он чистил картошку на гарнир к мясу и резал ее на тонкие ломтики.

Потом на кухне появился Левин со свежими персиками.

— Из дальних стран. Всех угощаю десертом: фруктовый салат из дыни, персиков и черного винограда.

Левин хотя и признавал, что готовить совсем не умеет, но продукты для своих любимых блюд закупал азартно и всегда невпопад. Я потрогала персики. Они были как камень, о том, чтобы снять с них кожицу, нечего было и думать.

16

— Не понимаю, как можно все время нарываться на таких прохвостов? – удивляется Розмари Хирте. – Хотя если кому и бросать в тебя камень, то только не мне.

– Да ты не стесняйся, – подбадриваю я ее, – просто скажи свое мнение: кого бы ты выбрала – Левина или Дитера?

Она морщит нос. Потом бормочет:

– Я бы обоих сделала хорошими индейцами. – А поскольку смысл ее туманного изречения до меня не доходит, некоторое время спустя добавляет: – Хороший индеец – это мертвый индеец.

Из растолченного чеснока, горчицы, оливкового масла, соли, свежемолотого перца и томатной пасты я сделала густой соус. Говяжью вырезку разрезала на две части и обе нанизала на вертел гриля. Густо обмазала оба куска соусом, тонкими кольцами порезала лук и положила в соусное корытце, после чего включила гриль. Ростбиф вращался не вполне симметрично, но я по опыту знала, что в конце концов он пропечется как миленький. Дитер уложил тонко нарезанный картофель на противень. Он посыпал его солью и розмарином, а сверху смазал сметаной. Левин тем временем маялся с персиковым салатом.

Спорая совместная работа в уютном кухонном тепле понемногу восстановила между нами прежнюю доверительность. Левин поставил пластинку с популярными мелодиями тридцатых годов и даже стал изображать что-то похожее на степ. Но когда очередь дошла до песенки "Именно бананы", он поскользнулся на обрезке сала из тех, которыми Дитер натирал противень.

— Извини, — сказал Дитер с искренним сожалением в голосе, — случайно уронил.

Но Левин и не думал обижаться. А я дивилась его добродушию.

Спустя сорок пять минут я вынула половину ростбифа из печи, плотно завернула его в алюминиевую фольгу и поставила в теплое место. Порция Дитера пусть еще с четверть часа повертится.

Наконец мы уселись за красиво накрытый стол в зимнем саду и только тут заметили, что на часах уже одиннадцать.

— Вот и прекрасно, — сказал Левин, — встретим Новый год с набитым ртом, говорят, это лучший способ задобрить злых духов.

Главное блюдо смотрелось превосходно, Дитер и Левин были довольны каждый своим куском — у кого с кровью, у кого без. Даже у меня прорезался аппетит, хотя резкие запахи стряпни я все еще переносила неважно и после кухонного смрада с наслаждением вдыхала сейчас живительную прохладу зимнего сада.

Левин забрал у меня из рук нож и вилку.

— Священный долг хозяина, — пояснил он. — Даже мой дедушка, уж на что старенький был, а жаркое всегда резал собственноручно.

Едва взяв нож в руки, он неодобрительно покачал головой — слишком тупой. Даже неоконченное образование стоматолога приучило его к любым инструментам относиться с уважением. Он достал точильный брусок, и я убедилась, что орудует он им мастерски.

— Ростбиф следует нарезать тонкими ломтиками, — учил он.

Я была рада, что он нашел себе занятие.

Левин начал с нашей, розовой части, искусно отрезал первый ломтик и положил мне его на тарелку.

Дитер брезгливо отвернулся: красноватый мясной сок растекался по блюду, норовя подтопить и его прожаренную долю.

— Вот каннибалы, — неодобрительно буркнул он.

Потом мы приступили к еде, восхваляя кулинарное искусство друг друга, любезно чокаясь и стараясь не дать выход подступающему раздражению.

— Вы посмотрите! — воскликнула я, указывая за окно. — Снег!

Все, что недодало нам Рождество, теперь с лихвой восполнял Новый год. Из зеленых джунглей зимнего сада мы смотрели на деревья и кусты за окнами, где все застилала белая пелена мерно и неостановимо падающих на землю снежинок.

Левин, этот большой ребенок, ликовал.

— Это знак, — объявил он. — Новый год приходит в белизне невинности, как новорожденное дитя в белоснежных пеленах. Теперь вся грязь на земле исчезнет под белым покрывалом.

— Идиотская трепотня, — рявкнул Дитер.

Мы испуганно замерли.

— Но уж коли Новому году суждено стать новым началом, — процедил он, — то сейчас, без четверти двенадцать, самое время обеспечить табула раза, то бишь чистый стол.

О чем это он? Неужели обо мне?

Левин предпочел обратить все в шутку.

— Ладно, со стола я уберу, но не раньше, чем мы отведаем моего фруктового салата. А уж потом будет и табула раза.

Никто не улыбнулся.

Я попыталась под столом схватить Дитера за руку, но он резким движением ее отдернул.

— Ты прекрасно знаешь, о чем я, — сказал он.

— Не знаю я, — неуверенно ответил Левин.

Тут я перетрусила и начала убирать тарелки.

— Погоди, — сказал мне Левин, — я хотел съесть еще кусочек ростбифа.

Он взял в руки нож.

Дитера, однако, это не остановило.

— Ты спал с Марго.

Ответа не последовало. Левин с сосредоточенным видом отрезал себе почти прозрачный ломтик мяса, но его тонкие руки дрожали.

— Будь любезен ответить! — гаркнул Дитер.

Левин отрезал наконец кусочек мяса и большой вилкой направил его себе прямо в рот. Я поневоле вспомнила Марго и того повара, который с этой же вилки скармливал ей кусок поросячьей кожи.

— Чего ты от меня хочешь? — спросил он.

— Ты должен сознаться, — наседал Дитер.

— В чем? — все еще увиливал Левин.

— Брат все мне сказал.

Левин передернул плечами.

— Мы же все знаем Марго, — сказал он, — это она захотела, не я.

Возможно, это даже была правда, но Дитера это нисколько не успокоило.

— Пункт два. Ты должен развестись.

Вот теперь я ударилась в панику; прежде-то я еще могла делать вид, что мое дело сторона.

Тут уже Левин начал возмущаться: в конце концов, его жена ждет ребенка, Дитер должен спасибо сказать, что все эти его идиотские обвинения я пока что выслушала без истерики.

— Это мой ребенок, — отрезал Дитер. — Вот тот, выкидыш, тот наверняка был твой. Уступи мне Эллу, и мы будем квиты.

Нож выпал у Левина из рук. Он ждал от меня немедленного опровержения. Но я только заикалась от страха. Меньше всего мне улыбалось доставаться этому необузданному Дитеру, так сказать, в замену Марго. Чтобы избежать допроса, я взвыла что было мочи.

— Ты совсем спятил, — мужественно заявил Левин, — ребенок мой на все сто процентов. Элла, скажи ему!

— Если Элла скажет тебе правду, тебе останется только поджать хвост и заткнуться! — орал Дитер. — Она пожалела тебя, и если бы не смерть твоей матери, она бы давно тебе все выложила.

Левин схватил меня за плечи и начал трясти, как куль.

— Ты будешь говорить или нет! Скажи же ему, что он спятил!

Но он не вытряс из меня ни единого путного слова.

— Пошел вон, гнида! — крикнул Левин с ненавистью. — От тебя одни несчастья! Вылез из дерьма, туда и катись, тебе там самое место!

Дитер размахнулся. Он уложил моего высокого, но хлипкого супруга одним ударом. Кровь хлынула у Левина изо рта, отчего Дитеру тут же стало дурно. Я кинулась к телефону вызывать полицию, но после того как Левин, выплевывая вместе с кровью зубы, успел прошамкать "только врача", я вызвала "скорую помощь".

Дитера тем временем вырвало прямо в мою сияющую чистотой мойку из нержавеющей стали. Больше из кухни он не выходил.

Я принесла из ванной теплую воду и полотенца. Левин громко стонал. В этот момент колокола возвестили приход Нового года.

Сидя на полу, я держала голову Левина на коленях, чтобы он не захлебнулся кровью, и мокрыми полотенцами пыталась остановить кровотечение. К счастью, вскоре вдалеке уже завыла сирена "скорой помощи".

Весь зеленый, к нам вошел Дитер.

— Они уже едут, — сказал он. — Я исчезаю. Не вздумай рассказывать, что тут произошло.

Я попыталась протестовать.

— Я должна сказать правду...

— Раньше надо было правду говорить, — отрезал Дитер. — Скажешь им, что он поскользнулся на куске сала и ударился о плиту.

Как был, без пальто, он выскользнул в дверь зимнего сада и исчез в снежной круговерти. Мне пришлось бросить Левина, чтобы открыть врачам. Но я успела схватить со стола прибор Дитера и, забежав по пути на кухню, сунуть его в кладовку.

Дюжие санитары недолго думая сделали Левину временную повязку и уложили его на носилки. Невзирая на спешку, они все же поинтересовались, что произошло.

— Несчастный случай, — покорно повторила я. — Поскользнулся на кухне и ударился головой о плиту.

Один из санитаров глянул на меня пристально.

— Почему в таком случае он лежит здесь, а не на кухне?

— Да он вскочил, зачем-то сюда добежал, а уж тут опять на колени рухнул, — объяснила я. — А кровь я всю подтерла.

— Ох уж эти мне домохозяйки, — пробурчал санитар. — Муж кровью будет истекать, а ей лишь бы пол блестел!

Бледное как мел, перепачканное кровью лицо Левина все еще стояло у меня перед глазами. Какое оно было маленькое, и какой огромный у Дитера кулачище! Чтобы как-то отвлечься, я и вправду принялась мыть пол, убирать со стола, приводить кухню в порядок. Поставила в холодильник фруктовый салат, убрала и другие остатки нашей трапезы.

Когда кухня и зимний сад кое-как были прибраны, я набрала полную ванну, брызнула туда несколько капель успокоительного экстракта и с наслаждением опустилась в теплую воду.

Наконец-то можно собраться с мыслями. "Главное, с ребенком все в порядке", — думала я, стараясь ободрить себя вопреки всему.

В конце концов, надев ночную сорочку и купальный халат, я снова отправилась в зимний сад. Тамерлан исчез; ясное дело, животные пугаются, когда хозяева так дерутся.

Я высунулась из окошка.

— Тамерлан! Тамерлан! — ласково позвала я.

И смотри-ка — из мельтешения снежинок и вправду возник кот и нерешительно ко мне приблизился. "До-ре-ми-фа-соль-ля-си — кошка едет на такси" — вспомнила я детскую считалочку, и мне вдруг показалось, что все это происходит не со мной, а в каком-то несуразном фильме.

Потом с котом на руках я лежала в гамаке и мерзла, несмотря на принятую горячую ванну. Мысли в голове путались, спать я тоже не могла, а до утра было еще не скоро.

В половине второго зазвонил телефон. Конечно, это Дорит, хочет пожелать мне счастливого Нового года, подумала я, мне сейчас только этого недоставало. Но звонки не умолкали, пришлось плестись. А вдруг это из больницы и мне сейчас скажут, что Левин умер?

Звонили действительно из клиники, но Левину было уже лучше. Кровотечение из носа остановлено, верхнюю губу зашили. Правда, четыре верхних зуба выбиты. Но если привезти их сейчас, их еще не поздно законсервировать, и тогда в университетской стоматологической клинике в Хайдельберге можно будет произвести имплантацию.

Один зуб я уже подобрала и успела выбросить в мусорное ведро. Остальные, как я подозревала, валяются где-то в снегу, Левин, уже на носилках в саду, что-то сплевывал.

— Они, должно быть, под снегом, — промямлила я, — завтра, когда будет светло, попробую поискать.

Это может быть слишком поздно, сказали мне. Пошатываясь от усталости, я побрела обратно к гамаку, и тут моему взору предстало нечто вроде огромной живой сосульки. Из темноты сада, совсем как недавно Тамерлан, возник Дитер и проскользнул ко мне в зимний сад.

— Это все твоя вина, Элла! — накинулся он на меня с порога.

От такой наглости я пришла в ярость.

— Это я, что ли, избила Левина до полусмерти?

— Ничего бы этого не случилось, если бы ты прямо и честно сказала ему, кто отец ребенка. А ты струсила.

Тамерлан, эта мохнатая грелка, спрыгнул с моих колен. И принялся азартно гонять по гладким плиткам пола какой-то мелкий предмет: лучшего времени для игры и забавы придумать, конечно, нельзя.

— С чем это он? — спросила я, чтобы как-то отвлечь Дитера.

Дитер посмотрел — это был зуб.

— Что с Левином? — спросил он.

— Ты выбил ему четыре верхних зуба.

Не похоже, чтобы Дитер сильно раскаивался.

— Так ему и надо. Слишком все с ним носятся.

— Ах, Дитер, — вздохнула я, от усталости потеряв на миг всякую бдительность. — А вдруг отец все-таки он? Откуда мне знать?

Дитер окаменел.

— А ну-ка повтори еще раз!

— Да оставьте вы меня наконец в покое! — взревела я, точно раненая львица. — Не знаю я! Может, это вообще ни один из вас, придурков несчастных!

Все дальнейшее произошло столь молниеносно, что я просто не помню, каким образом я из гамака переместилась на пол, а Дитер оказался на мне — он меня душил.

— Шлюха! — снова и снова кричал он мне в лицо.

Я отбивалась, брыкалась — все бесполезно, силища у него как у медведя. Никогда мне не забыть этот смертый страх. Но потом в голове у меня помутилось, и страх прошел. Я вдруг совершенно успокоилась. Сквозь мглу облаков передо мной, как лик Господень, вдруг проступило лицо Павла с широкой окладистой бородой. И - о чудо! — я снова смогла дышать. Железная хватка на моем горле вдруг ослабла, тело Дитера больше не давило на меня своей медвежьей тушей. Плохо соображая, я с трудом села. Подле меня, сцепившись в неистовой схватке, катались по полу Павел и Дитер.

Да где же полиция! Я попыталась подняться на ноги. Павел уже весь посинел и тщетно хватал ртом воздух. Дитер орал:

— Значит, этот козел шастает к тебе по ночам, это он тебя обрюхатил!

Надо срочно что-то делать. Недолго думая я расколошматила о голову Дитера свой любимый цветочный горшок с петушиными гребешками, — никакого эффекта! Но что это там блеснуло под кадкой с филодендроном? Разделочный нож. Левин, наверно, уронил.

Я неплохая аптекарша, и домохозяйка ничего, да и сил у меня побольше, чем кажется, но в метании ножей я полный ноль. Нож полетел без всякого свиста и не вонзился Дитеру в спину, а скорее скользнул по плечу. Однако даже этого оказалось достаточно: Дитер что-то почувствовал, он оглянулся и на секунду отпустил Павла. Тут он увидел кровавую царапину у себя на плече, и ему снова стало дурно.

Освободившейся рукой Павел схватился за нож. Он не успел ничего больше сделать — теряя сознание, Дитер всей своей тяжестью сам навалился на выставленное лезвие.

С трудом поднявшись на ноги, Павел тут же пропыхтел:

— Полицию!

Я помчалась к телефону.

Потом, вся дрожа, вернулась в зимний сад, и Павел обнял меня. Так мы и стояли, словно Гензель и Гретель, обнявшись и стараясь успокоить друг друга. И оба боялись взглянуть на тяжело раненного Дитера.

Когда прибыла полиция и "скорая помощь", мы все еще не в состоянии были давать показания. Мне сделали успокаивающий укол, Павел отказался.

Санитары, совсем недавно забиравшие Левина, оказались важными свидетелями — они-то знали, что в доме в этот вечер уже имело место какое-то скандальное выяснение отношений; к сожалению, это обстоятельство скорее работало против нас, ведь о происшедшем я рассказала неправду.

После того как в зимнем саду был произведен осмотр места происшествия, сделаны фотографии, собраны вещественные доказательства, нас с Павлом доставили в отделение и дали подписать протокол. Следы удушения на наших шеях были освидетельствованы и задокументированы врачом.

Наконец мы могли идти. Я просила Павла побыть со мной до утра, ибо ни за что на свете не хотела оставаться одна. Но Павел не смог — у него и так уже было неспокойно на душе из-за детей.

— Завтра утром я тебе позвоню, — пообещал он, — тогда и посмотрим, как нам быть дальше.

Чтобы хоть чем-то занять голову и руки, я провела остаток ночи, поливая цветы в зимнем саду.

17

— Сыплет снег в Сочельник густо, знать, в карманах будет пусто, – со злорадным смешком каркает моя соседка по палате.

Терпеть не могу всякие дурацкие поговорки, а эта и вообще невпопад: при чем тут Сочельник, когда дело под Новый год было?

– Нам года не беда, жаль, головушка худа, – парирую я.

Розмари не обижается.

– Сбрызнешься? – спрашивает она, протягивая мне духи.

– У нас что, сегодня главный врач на обходе? – любопытствую я, вспомнив, как обильно она поливала себя сегодня духами.

Но ее кумир так и не появляется. Вместо него нас удостаивает визитом господин доктор Кайзер. Мы встречаем его не слишком милостиво, ведь это он недавно вычеркнул из нашего рациона кофе. Нас заложила ночная сестра – дескать, они столько болтают, что не успевают спать. Доктор Кайзер и на сей раз, даже не выслушав, заранее отметает все мои доводы и возражения: ему лучше знать, что мне полезно, а что нет.

– От вашего внимания, вероятно, ускользнуло, что по профессии я аптекарь, – надменно замечаю я.

Господин Герхард Кайзер из тех смельчаков, которые, когда их ставишь на место, тушуются мгновенно.

Розмари, как мне кажется, не без удовольствия наблюдает за его посрамлением.

Немного погодя она припоминает еще одну народную мудрость:

– Снег и лед на Новый год – значит, горе у ворот!

– Это, в порядке исключения, даже правда, – вздыхаю я. – Кому охота после бессонной ночи еще и снег расчищать. А мне пришлось – мужиков-то под рукой не осталось.

Выполнив с метлой и лопатой в руках малоприятную гражданскую повинность, я твердо решила снова забраться с Тамерланом под одеяло. Телефон я отставила как можно дальше, дабы оградить себя от непременных новогодних поздравлений со стороны моего семейства. О самочувствии Дитера и Левина я тоже ничего не желала знать.

Говорят, сон сродни смерти. Если так, то и мое пристрастие к постели отнюдь не свидетельство моей жизнестойкости, а скорее терапия для души. Как бы там ни было, но после такого врачевания у меня появляется новый вкус к жизни.

Мне многое еще предстоит осилить. При разводе Левин непременно выдвинет финансовые требования. По мне, так пусть прибирает к рукам часть акций и других ценных бумаг; дома и половины денег мне хватит за глаза. Не открыть ли мне свое дело? Поселиться с ребенком в двух верхних этажах, а внизу оборудовать аптеку. По карману ли мне будет нанять для ребенка няню? А родители мои, конечно же, опять страшно всполошатся из-за очередных перемен в моей жизни.

Как всегда, планы на будущее меня взбодрили. Конечно, не стоит мучить Левина требованиями немедленного развода. Ругаться с ним из-за этого сейчас, когда он лишился передних зубов, как-то нехорошо. И все же я не удержалась от злорадной улыбки: есть все-таки высшая справедливость, пусть теперь его искусственные зубы напоминают ему кое о каких колбочках.

О Дитере теперь, после того как он меня чуть не удавил, я нисколько не печалилась. Конечно, он не ничтожество и в иных условиях мог бы... Хотя, признаюсь, притягивало меня в нем именно его бурное и сомнительное прошлое.

И вот теперь на моем горизонте внезапно появился третий мужчина — Павел. Ужасно милый — такому так и хочется протереть очки или выщипать из бороды пятнышко желтка, оставшееся там еще от завтрака. Но каковы мои шансы? Пока что у меня складывалось впечатление, что хотя я Павлу и нравлюсь, но он по-прежнему предан матери своих детей.

Когда уже ближе к вечеру меня выгнал из постели голод, я по-прежнему решила к телефону не подходить. Вскипятила чайник и принялась жадно уписывать холодный ростбиф. Однако голод не утихал, и даже Тамерлан, поглядывая на меня, не удовлетворился обычной своей порцией кошачьих консервов. На пару с ним мы играючи прикончили банку тунца. Свою половину я сдобрила каперсами, кетчупом, репчатым луком и лимонным соком.

Вечером позвонили в дверь. Я крадучись подошла к окну и выглянула на улицу. На меня испуганно смотрел Павел — наверно, вид у меня был тот еще.

— Ты не больна? — спросил он, заметив, что я еще в халате.

— Слегка, все никак в себя не приду.

— Как там наш душитель? — спросил он.

Я пожала плечами.

— Может, уже умер.

Павел удивленно вскинул брови. Потом позвонил в больницу. Справки о состоянии здоровья больница дает только родственникам, услышал он ответ. Я-то знала об этом еще по Марго.

— Из этого, однако, слéдует заключить, что он жив, — заявил Павел. — А как дела у твоего мужа?

Пришлось мне заявить (Павел и тут меня не понял), что Левином в качестве мужа я сыта по горло и совсем не горю желанием таскаться к нему в больницу.

— Ехать-то туда уже поздно, — сказал Павел. — В больнице известно какая жизнь: в пять ужин, в восемь отбой, зато в шесть утра подъем. Но можно ведь позвонить в отделение.

Я не хотела.

Мы вместе выпили кофе.

— А на кого ты оставил детей?

— Соседка с ними сидит, читает им "Хайди", — ответил он, и я ощутила легкий укол тревоги.

— И что, симпатичная соседка? — спросила я, попытавшись изобразить иронию.

Павел только усмехнулся.

И все-таки он обо мне беспокоится, правда, у него, многодетного отца-одиночки, времени совсем нет, так что скоро ему опять бежать. Но он мне очень помог, от него исходит какая-то положительная энергия, которой так недоставало всем прежним моим мужчинам.

На следующий день я поняла, что в силах навестить Левина. Его поместили в палату на двоих. Первым делом мне бросился в глаза его очень странный профиль, поразительно напоминающий муравьеда. Нос и рот, практически сшитые вместе, были перевязаны, все это донельзя распухло и цвет имело фиолетово-синюшный. Говорить он не мог, пил только через трубочку.

— Ну, как ты? — задала я вполне бессмысленный вопрос.

Он только в отчаянии закатил глаза к небу.

— Что ж, надо стиснуть зубы и терпеть, — сказала я, прекрасно осознавая, что, с учетом нанесенных увечий, совет этот звучит довольно подло.

Рассказать ему, что потом натворил Дитер? Левин дал понять, что и так знает. На клочке бумаги он написал, что к нему в больницу приходил полицейский, хотел его допросить, но понял, что Левин пока не способен давать показания. Но все-таки рассказал Левину, что Дитер с тяжелым ранением лежит в реанимации, в этой же больнице.

— Он выкарабкается? — спросила я.

Левин пожал плечами.

Я показала ему синяки на шее, Левин кивнул: он в курсе. Мы с ним товарищи по несчастью. Ни о разводе, ни об отцовстве речи не было.

— Что тебе принести? Книги, сок, детское питание? — спросила я.

Левин написал: "Путеводители, комиксы, питье, только не кислое, можно банановый сок".

Я пообещала в следующий раз принести.

Потом подалась к реанимации. Дежурная медсестра о прогнозах предпочла не распространяться, а лишь уведомила меня, что посещение больных сразу после операции у них запрещено.

Только я пришла домой, позвонил Павел.

— Что лучше — нам к тебе зайти или ты к нам забежишь? — спросил он.

Вообще-то детям у меня нравится, дома всегда есть в запасе молоко и какао, а в это время года еще и горы рождественского печенья.

Леночка и ее братец Коля не без отцовской помощи соорудили у меня в саду снеговика, вокруг которого теперь опасливо расхаживал Тамерлан.

— У тебя санки есть? — поинтересовался Коля.

Санки у меня нашлись, но вот горки не было.

Это навело Павла на мысль выехать с детьми на пару дней в горы.

— Поедешь с нами? — спросил он вдруг.

Я бы с удовольствием, но изнурительные автопробеги к альпийским красотам, в Австрию или Швейцарию, нет, это не для меня.

— От тебя никто этого и не требует, — сказал Павел. — Я не горнолыжный ас, меня вполне устроит катание на санках с гор, а это доступно и у нас в Оденвальде. И ребятам после кори хорошо побыть на воздухе.

Раз так, мы решили не тянуть, ведь школьные каникулы скоро заканчивались.

Павел повез нас на местный курорт. На автостоянке снег отнюдь не сиял белизной, выхлопные газы множества машин оставили на нем свои следы, крупинками гари черневшие на сахаристом насте, из-под которого островками пористого шоколада кое-где проглядывала перепаханная под зиму земля. Сгорая от нетерпения и спортивного азарта, мы выскочили из машины, но тут же замерли, пораженные красотой открывшихся далей. Ближе к горизонту горы как бы светлели, их холмистые цепи, укрытые снежной пеленой, убегали вдаль нежной зыбью. На белом фоне пологих склонов контрастно темнели серые яблоневые стволы, а зеленые заросли ежевики и красновато-коричневые кроны буков оживляли зимний пейзаж пятнами осенне-летней раскраски. Угрюмые ели, черные вороны, стена погоста.

Потом мы пустились в путь по отлогим полям, перелезая через изгороди загонов, позволяя детям взбираться на охотничьи вышки и качаться на покосившихся стволах, по-братски разделив в замшелой охотничьей хижине запас мармеладных мишек. Павел объяснял сыну (зевавшему от этих объяснений), как по мху и лишайникам на коре деревьев определять север и юг, показывал прихваченный из дома иллюстрированный каталог местных видов певчих птиц, с тем же, что и дети, азартом крушил каблуками хрупкий лед на замерзших лужах. Довольно долго нас преследовала любопытная сойка.

Оглядываясь, я не без удовольствия созерцала наши прихотливо переплетающиеся следы: любой следопыт определил бы их как следы небольшой семьи, дружной и веселой.

В конце нашего довольно длинного пешего перехода ленивцы-дети потребовали, чтобы мы везли их на санках. Потом мы все сидели в теплом ресторанчике и играли в игру под названием “Я вижу, а ты не видишь”.

— Теперь решайте, — сказал Павел детям, — кто ночует в моей комнате, а кто с Эллой?

Ну конечно, так я и думала.

Дети посматривали в мою сторону и застенчиво молчали. Потом Лена заявила:

— Я хочу к папе.

Коля в свои шесть лет был уже слишком вежлив, чтобы просто так отклонить мое общество. Поэтому он сказал:

– Пусть лучше взрослые спят в одной комнате, а дети – в другой.

Мы с Павлом переглянулись. И я кивнула – боюсь, что слишком поспешно.

В ту ночь мы хотя и спали в одной комнате, но не спали друг с другом. Сперва, как любящая супружеская чета, мы долго беседовали, потом Павел погасил свет. Среди ночи я вдруг почувствовала, что кто-то лезет ко мне в постель. Это была Лена. Я включила ночник и увидела, что Коля притулился рядом с отцом.

Левину я попросила передать, что на несколько дней уеду. Пусть он на меня обидится, но я предпочла заботиться о своем еще не рожденном ребенке. И правда, эти три дня на свежем зимнем воздухе, длинные пешие прогулки и послеобеденный сон пошли мне на пользу.

Зато вечером после первого же рабочего дня, когда я снова сидела у койки Левина, он уже смог кое-как прогнусавить мне свои упреки. Он даже не спросил, где я была, только жаловался на свое горькое беззубое существование. Через два дня он уже будет дома, но потом ему предстоят мучения у протезистов.

– А как Дитер? – осторожно поинтересовалась я.

Как ни удивительно, Левин даже сподобился его навестить. Дитер уже переведен из реанимации и явно идет на поправку, но ужасно подавлен. Короче, выяснять отношения ни с одним из моих мужчин пока что невозможно.

Когда Левин приехал домой из больницы, у меня язык не повернулся гнать его на все четыре стороны; однако постель его я перенесла в его рабочий кабинет. Несколько дней спустя, как я и предполагала, зашел разговор об отце ребенка.

Никакого соломонова решения мне в голову не пришло. Я просто не стала отрицать, что спала с Дитером. Но поскольку сам Левин с Марго...

– Думаю, нам лучше сразу подать на развод.

Он не ответил и несколько дней на эту тему не заговаривал – наверно, обдумывал, как ему быть.

Теперь каждый день после работы я ехала к своему новому другу. Мы сердечно обнимались, но не более того. Дети начинали меня любить.

Развитием своих музыкальных вкусов я во многом обязана своим мужчинам. Один приобщил меня к Моцарту, другой к джазу. Левин обожал старые шлягеры и битлов. У Павла было фортепьяно, и он часто на пару с Леной пел детские песенки. У него оказался красивый баритон. Иногда он и для меня давал маленький концерт, пел что-нибудь из Малера или Брамса, немного стесняясь и громко, радостно смеясь, когда ему случалось сбиться или сфальшивить.

Я была в полном восторге.

Однажды он показал мне старые фотографии жены. Писаная красавица, или как там Дорит говорила. Но сейчас, уже зная о ее душевной болезни, я без труда разглядела приметы недуга и на этих снимках. У меня мурашки побежали по спине, словно я вижу существо из другого мира, всплывшее из неведомых и жутких глубин.

– Очень красивая, – осторожно заметила я.

— Красивая, но скрытная, — проронил Павел. — Болезнь впервые проявилась у нее еще в юности, но она мне об этом не сказала. Впрочем, кто про такое расскажет...

Мы доверяли друг другу. Павел был первым и единственным сторонним человеком, которого я посвятила в ужасную тайну двойного отцовства. Он совсем не смеялся, и я очень благодарна ему за это.

Но однажды я и его застала в мрачном настроении. Он показал мне заказное письмо: владелица дома предлагала освободить занимаемую площадь.

— Опять искать жилье, — вздохнул Павел.— Ненавижу переезды! Если услышишь, что где-нибудь квартира освобождается, дай мне знать.

Когда работаешь в аптеке, и правда много чего слышишь, впрочем, как-то все больше о смертях. Но ходить по родственникам умерших и расспрашивать насчет их освободившихся квартир Павел ни за что не соглашался.

Несколько дней я провела в раздумьях. Конечно, мне очень хотелось жить с Павлом под одной крышей. Места в доме достаточно, но как распределить комнаты? Я уж совсем было собралась сделать Павлу соответствующее предложение, когда из больницы выписали Дитера. Он еще нуждался в постельном режиме, но уже мог находиться дома.

Вероятно, сама я сумела бы сразу дать Дитеру от ворот поворот, но его принял Левин и даже оплатил такси. Теперь выздоравливающий, но все еще слабый Дитер лежал в своей спальне, а Левин с кислой миной носил ему туда еду. Все возвращалось на круги своя.

Терпение мое лопнуло, я решительно направилась наверх. Дитера я не видела почти месяц, с того злополучного новогоднего вечера, и хотя синюшные следы его пальцев на моей шее исчезли, душевные раны продолжали болеть.

Бледный исхудавший Дитер смотрел на меня глубоко несчастными глазами. У него был взгляд умирающего. У меня язык не повернулся ни упрекать его в чем-либо, ни выставить на улицу. Пришлось скрепя сердце смириться с его присутствием.

На следующий день я обрисовала Павлу создавшееся положение: оба гипотетических отца моего ребенка снова дома, оба больны, обижены и пребывают в хандре.

— А как они друг с другом-то уживаются? — поинтересовался Павел. — Они же друг друга ненавидеть должны.

— Может, и должны, но пока что вместо этого трогательно помогают друг другу переносить недуги и страдания.

— И который же из них считает себя настоящим отцом? — изумлялся Павел.

— Оба. Но я выбираю отцом тебя, а тех двоих лишаю отцовства — за недостойное поведение.

Павел рассмеялся.

18

– Между прочим, Павел вполне мог бы контрабандой протащить сюда банку растворимого кофе, – замечает Розмари. – Как-никак мы в изобилии снабжаем его маслом.

– А кипяток?

– Добуду у нас на кухне, нужен только термос.

Я кивнула, все это только вопрос организации.

Тут вдруг объявился главный врач, да еще без свиты. Розмари просияла, хотя сегодня она еще не успела полить себя духами и надеть свежую ночную рубашку.

У главного для нее хорошие новости: в последнем анализе никаких раковых клеток.

– Я так и знала, – торжествует она.

– Завтра вынимаем катетер, а в субботу можете отправляться домой, – улыбается главный.

Ну и дела.

– Да и у вас срок приближается, – говорит он мне. – Будем переводить вас во второе отделение.

Значит, скоро нам расставаться.

После травматических событий новогоднего вечера Дорит уже несколько раз мне звонила, и мне под разными предлогами приходилось от нее отделываться. То у меня убегал суп, то я устала до смерти, то в дверь позвонили, то я от шефини жду звонка. Заподозрив неладное, Дорит решительно вызвала меня к себе.

— И брось мне эти отговорки, — заявила она.

Оказалось, ей и так уже известно слишком много. Лена играла с дочкой Дорит и рассказала ей, что я прихожу в гости к Зибертам каждый день. Словно строгая гувернантка, Дорит потребовала объяснений.

— Просто мы нравимся друг другу, — сказала я как можно непринужденнее. — Но если ты что-то подозреваешь, то это не так.

— Да какие подозрения, ведь ты же беременна, — деланно отмахнулась Дорит. — Известное дело, дети в этом возрасте любят пофантазировать. Эта Лена рассказывает, что ты будто бы спала с Павлом в одной комнате — в гостинице — и они, дети, все при этом присутствовали. Сразу видно: самовнушение ребенка, растущего без матери...

И мы пристально посмотрели друг другу в глаза.

— А как Левин к этой вашей дружбе относится? — продолжала она свой допрос.

— Так он в больнице лежал, — брякнула я не подумав.

Но именно этот отвлекающий маневр неожиданно сработал.

— А что с ним такое? — всполошилась Дорит.

— Дитер выбил ему четыре передних зуба.

Дорит вытаращила на меня глазищи.

— А за что?

— По пьянке, — объяснила я.

— Хотелось бы надеяться, что ты в тот же день вышвырнула этого Дитера из дома, хотя с тебя станется...

Она говорила со мной как с больной. Послушать ее, так я если не совсем святая, то уж не от мира сего, это точно. Она поговорит с Левином, чтобы тот выставил Дитера, причем сегодня же...

Впервые за нашу многолетнюю дружбу мы всерьез разругались. Она обозвала меня дурехой и обвинила в том, что у меня сдвиг на почве благотворительности.

Тогда, собравшись с духом, я выпалила:

– Да может, ребенок у меня от Дитера!

Но Дорит мне просто не поверила. Безнадежный случай, сказала она.

Когда Дитеру стало лучше, я призвала Левина к постели болящего для решающей беседы. У Левина уже были искусственные зубы, он их люто ненавидел, но свою ярость по этому поводу почему-то вымещал не на обидчике, а на мне.

– Она хочет, чтобы мы бросили жребий, кому быть отцом, – сказал Левин.

Дитер вперил в меня скорбный взгляд.

"Сейчас оба начнут реветь", – подумала я.

– Нет, – сказала я, – я совсем не этого хочу, я хочу, чтобы вы оба подыскали себе новое пристанище. Не желаю больше жить с вами под одной крышей.

– Что мы тебе сделали? – плаксиво заныл Левин.

– Дитер меня чуть не убил, а ты с самого начала обманывал меня с Марго.

– Допустим, но теперь-то мы квиты.

Дитер, который теперь вообще почти все время молчал, на этот раз тоже решил высказаться.

– Если вы меня выкинете на улицу, я покончу с собой, – сказал он таким загробным голосом, что не поверить ему было нельзя.

– Что значит "вы", – взвился Левин,– меня она тоже хочет...

– Ладно, – сказала я, – не такая уж я бессердечная, чтобы сегодня же отправлять вас в ночлежку. Но отныне я буду жить на первом этаже одна, а вы можете располагаться на втором, пока не найдете себе что-нибудь подходящее.

Они оба не проронили ни слова.

Уже к следующему вечеру нижняя квартира была освобождена. Пока я была на работе, Левин перетащил наверх свои пожитки, чтобы разделить с Дитером скорбную юдоль отверженных.

Я предложила Павлу переехать ко мне, но он отказался.

– Не могу же я поселить детей рядом с этим сумасшедшим... – Тут он осекся, видимо вспомнив о своей жене. – Ну, я имею в виду – с этим дебоширом, – поправился он.

Мало-помалу дело шло к весне. В наших местах, в распадке между гор, ее приближение чувствуется раньше, чем в остальной округе. В марте дети устроили праздник солнцеворота и сожгли на рыночной площади огромного ватного снеговика. В начале апреля распустила бутоны моя магнолия, но ее красивые розоватые лепестки из-за частых дождей приобрели буроватый оттенок и уже вскоре легли на землю. Когда огромными белокипящими шарами зацвели вишни, мне показалось, что я почувствовала первые движения ребенка. Беременность моя протекала безукоризненно, врач был доволен.

Дитер, несмотря на благоприятные показания Левина, был приговорен к тюремному заключению, которое было отложено до его полного выздоровления. Изредка мы сталкивались в дверях. Ему было ужасно стыдно, и меня это даже слегка трогало. Иногда, сидя в саду, я чувствовала на себе его взгляд, устремленный на меня сверху. По-моему, он главным образом изучал мой живот, проверяя, насколько он еще успел округлиться.

Левин тоже меня избегал. Вначале я опасалась, что оба в мое отсутствие будут пользоваться зимним садом и хуже того — кухней. Но поскольку руки у обоих приделаны неплохо, они уже вскоре соорудили себе наверху нечто вроде кухонного уголка. Спали они в разных комнатах, образовав нечто вроде коммуны двух одиноких мужчин.

Левин хоть и осведомился пару раз о моем самочувствии, но не просил ни денег, ни каких-либо иных одолжений с моей стороны.

Не будь я твердо уверена, что в лице Павла у меня есть по меньшей мере надежный друг, я бы, наверно, чувствовала себя немного одинокой. С другой стороны, я постоянно уставала, рано ложилась спать и радовалась, что после работы и визита к Павлу мне больше ни о ком не надо заботиться.

Но в какой-то из дней я, видно, так истосковалась по крепкому мужскому плечу, что, придя к Павлу и обняв его, просто не захотела, не смогла выпустить.

— Что с тобой? — испугался он.

В этом мужчине мне нравилось почти все. (От привычки иногда надевать бриджи и ежедневно слушать "Прекрасную мельничиху" его, наверно, все-таки можно будет отучить.) Страстное желание спать с ним переполняло меня всю, я не знала, как избавиться от этого наваждения. Но он, казалось, совсем этого не замечает; придется мне отважиться на лобовую атаку.

Только я с сожалением выпустила Павла из своих объятий, ко мне с очень важным видом подошел Коля и сообщил:

— А в субботу мама приезжает.

Я понимала, что рано или поздно это должно будет случиться, но как-то незаметно вытеснила эту мысль из своего сознания.

— Ты рад? — спросила я малыша.

Он посмотрел на меня очень серьезно и ответил:

— Нет.

Тут вмешалась и Лена:

— Мама у нас больна.

Павел объяснил мне, что это часть программы экспериментальной терапии: его жена будет проводить выходные дни дома и постепенно привыкать к нормальной жизни.

— Дети расскажут ей обо мне, — сказала я, когда Леночка и Коля выбежали на улицу.

— Давно рассказали, — хмыкнул Павел.

Я ощутила укол совести. Эта женщина, наверно, меня ненавидит. Все-таки я отчасти занимаю в семье ее место.

— И как она к этому относится? — спросила я.

— Господи, да она слишком больна, чтобы задумываться о последствиях нашей с тобой дружбы. Она благодарна тебе, что ты занимаешься нашими детьми.

Я не совсем ему поверила, но все же мне стало чуть-чуть легче. В конце концов, Павел ведь не изменяет со мной своей жене, как мне этого ни хочется. Наверно, рассказал ей что-нибудь о замужней беременной даме, которая слегка подружилась с детьми.

— Мне заглянуть к вам в субботу-воскресенье? — спросила я.

Павел покачал головой.

— Для нее это и так большая нагрузка. — Голос его звучал невесело. — Еще предстоит объяснить ей, почему мы переезжаем, — удрученно сказал он. — Придется прямо сейчас сказать, что нас выселяют.

Горе было написано на его лице.

Столь неожиданно оставшись в одиночестве в эти выходные, я пошла в гости к Дорит. Та все еще сердилась на меня, решительно не понимая, почему я до сих пор не выселила Дитера.

— Ты только представь себе на минуточку — с ним опять случится припадок и он сбросит тебя с лестницы, — кипятилась она.

— Да нет же, Дорит, в глубине души он...

Дорит решительно отказывалась меня понимать.

— Я постепенно прихожу к мысли, что тебе надо раз и навсегда с мужчинами завязать. У тебя рука несчастливая. А коли так, расти ребенка сама, ничего лучшего ты не заслуживаешь.

— Я могла бы быть счастлива с Павлом...

— Павел женат, и ты, между прочим, замужем.

На этот счет у Дорит очень старомодные взгляды: о других браках она судит только по своему собственному...

Навестив Дорит, я решила немного побродить в одиночестве. Был теплый весенний день, и я неспешно прогуливалась вдоль Неккара. Сюда в былые времена заманивала я почти всех своих любовников, здесь целовалась с ними под луной и здесь же намерена прогуливать в детской коляске свое будущее чадо. Утки тоже вывели на прогулку свои беспокойные семейства, а сердитые лебеди угрожающе вытягивали шеи, оберегая свои гнезда в прибрежных кустах.

Навстречу мне, впрочем, шла и человеческая семья — это был Павел с женой и двумя детьми, которые, завидев меня издали, уже неслись ко мне со всех ног. Я занервничала: чего доброго в этой случайной встрече Павел еще усмотрит умысел.

Альма протянула мне свою тонкую руку — ее ладонь на ощупь напоминала дохлую мышь.

— Дети много о вас рассказывали, — произнесла она безупречно вежливым тоном.

Павел смотрел на меня как-то странно. В глазах его застыл страх.

Как описать внешность Альмы? Первое, что приходит на ум, это полотна романтиков и прерафаэлитов. Она как будто пришла из сказки. Свободно ниспадающее шелковое платье ностальгического покроя оттеняло почти бескровное лицо; соломенная шляпка с розовыми лентами защищала ее глаза от солнца (хотя об эту пору люди обычно радуются каждому солнечному лучику), а светло-серые туфли на высоких каблуках были, надо прямо сказать, отнюдь не самой пригодной обувью для прогулок по болотистым прибрежным лугам вдоль Неккара. Цвета пастельные, голос тихий, глаза красивые, но ненормальные. “Не хватает толь-

ко, чтобы она тут в обморок брякнулась", — подумала я угрюмо. Ясно, что это эфемерное создание с одутловатым лицом унитаз дома мыть не станет.

— Пойдем с нами, Элла, будет веселее, — требовала Лена. — Сейчас будем бегать наперегонки.

Я вежливо и с достоинством отказалась. Не с моим животом наперегонки бегать.

Отныне Альма, словно призрак, стала навещать меня в снах. Нескольких минут встречи ей хватило, чтобы произвести на меня поистине неизгладимое впечатление. Кстати, она совсем не выглядела больной — ни физически, ни душевно, — скорее походила на утонченного и хитрого ребенка, переодевшегося взрослой женщиной. Да, встреть я Павла лет на десять пораньше, мы оба от многого оказались бы избавлены, но что проку теперь причитать?

А Павел все никак не мог подыскать себе квартиру. Поскольку Дитеру в ближайшее время предстояло переместиться в тюрьму, Павел все же не исключал возможности переехать в мой дом. Я чувствовала, ему этот вариант не слишком по душе, но в конце концов он согласился — как на временное решение. Большую часть мебели и домашнего скарба ему пришлось сдать на хранение на склад.

Несмотря на шарообразный живот, я, презрев хроническую усталость, помогала упаковывать вещи и убирать квартиру. К выходным, когда приедет Альма, вся грубая хозяйственная работа должна быть закончена — ее эта возня с переездом может вывести из равновесия. Я уже начинала завидовать этой женщине, она неплохо умеет устраиваться.

В день переезда Павел препоручил детей заботам Дорит, а я взяла отгул и руководила грузчиками — что брать и в какую комнату ставить. Павел все это время доблестно стоял у меня на пути и мешался под ногами. Детям досталось по комнате в мансарде, Павел поселился в бывшем "кабинетике" Левина.

Только поздним вечером я поняла, что просто падаю от усталости. Я уснула прямо на диване и спала как убитая. А на следующий день мне надо было спозаранку идти на работу, так что об уютном завтраке, да еще без детей, заночевавших у Дорит, нечего было и думать.

19

— У меня есть на примете очень красивое имя, – интригует меня Розмари Хирте.

А ведь я строго-настрого запретила ей любые разговоры, касающиеся моего живота. Видно, догадывается, что своими россказнями я только силюсь заглушить в себе собственные страхи.

– Но ведь последнее УЗИ показало, что все в порядке, – успокаивает она меня.

Она все равно будет нарушать мой запрет – не мытьем, так катаньем. Она, конечно, уже знает, – спасибо горластому доктору Кайзеру, – что из-за аномалии в плаценте плод у меня испытывает недостаток кровоснабжения, для своих недель он слишком мал. Придется стимулировать преждевременные роды, дабы наладить нормальное кормление ребенка уже вне моего тела.

– Так какое там имя ты придумала?
Розмари улыбается.
– Как тебе нравится Витольд?
– Да у меня наверняка будет девочка! И вообще, пусть сначала...
– Хорошо-хорошо. Тогда продолжай свою сагу.

Павел навестил Альму в клинике; она настаивала на своем праве снова провести выходные в семье, с детьми.

— Но я не могу подвергнуть тебя еще и этому, — вздохнул Павел.

Хотя я действительно отнюдь не жаждала принимать у себя дома еще и полоумную Альму, но в порыве великодушия, как водится, сказала:

— Да почему нет, если ей так хочется...

Тем временем стало совсем тепло, в саду все цвело. Дети предпочитали играть на улице. Может, и Павел будет подольше гулять с Альмой в саду, а я побуду одна, отдохну немного, полежу — так я думала. Мне ведь нужен отдых. Но вышло все совсем иначе.

Я сидела с детьми в зимнем саду и читала им "Гадкого утенка". Павел уехал за Альмой. Но уже минут через пять Лена воскликнула:

— Машина! Папа приехал!

Подойдя к окну, мы увидели во дворе "порше": Левин и некий незнакомец выгружали из авто свои чемоданы. Оба — загорелые, оба в пижонских белых костюмах, словно два хлыща из рекламных проспектов фешенебельного курорта. Оба — в раскосых темных очках и залихватских шляпах. Левину шляпа совсем уж не шла. По его лицу блуждала какая-то скользкая, сутенерская ухмылочка, какой я прежде никогда за ним не замечала. Я со вздохом увела детей от окна, чтобы мой супруг не возомнил, будто его здесь ждут не дождутся.

Немного погодя приехал и Павел с Альмой. К счастью, наши путешественники не показывались, но на верхнем этаже шла своя жизнь, там слышались шаги и шум воды — видимо, они распаковывались и принимали душ.

Едва увидев "порше", Павел все понял, но вопросов не задавал — только вопросительным кивком из-за спины Альмы указал наверх. Я кивнула.

Альму поездка на машине явно утомила. Она незамедлительно улеглась в гамак, дети послушно стали ее раскачивать, Тамерлан тут же на нее взобрался. Я с отвращением наблюдала за этой идиллией. Мне было милостиво дозволено подать Альме слабительный чай. Павел попросил меня предложить Альме перейти на "ты".

Когда мы сидели за обеденным столом, раздался стук в дверь, которая тут же и распахнулась. Левин вместе с незнакомцем ввалились в комнату. Бросив всем фамильярное "Привет!", они жадно уставились на горячие котлеты и гуляш. Обращаясь ко мне, Левин спросил:

— У тебя не найдется немного хлеба?

Наготовлено у меня, как всегда, было с запасом. Без особого восторга я уже собралась изобразить гостеприимство, но Павел бросил на меня предостерегающий взгляд. Тогда я встала, намереваясь сходить в кладовку за хлебом.

В эту секунду Альма светским тоном любезной хозяйки произнесла:

— Да вы присаживайтесь, еды хватит на всех. Павел, будь добр, принеси еще два прибора и тарелки.

Не успела я снова сесть, как Левин уже придвинул к столу два стула и достал из шкафа тарелки, поскольку Павел ни малейшего желания исполнять просьбу жены не проявил.

Левин и его спутник были голодны и в превосходном расположении духа. Вялая, сонная Альма расцветала на глазах, дети стали дурачиться и свинячить на мою белую скатерть.

Со смесью любопытства и тоски во взгляде Левин то и дело обводил глазами зимний сад. Мой живот он, казалось, не замечает вовсе, присутствию новых квартирантов не удивлен, а демонстративную немногословность Павла воспринимает как должное.

Не успели мы проглотить последний кусок, как Павел вскочил и почти тоном приказа отправил меня и Альму спать — дескать, нам нужен послеобеденный отдых, а со стола он с детьми уберет сам. Гости поняли, что их вежливо выпроваживают.

Ни слова не говоря, я отправилась к себе, препирательства — не важно, между кем и кем — меня нисколько не привлекали.

— "Сияют очи и луга", — пропел Павел, когда мы позже уселись пить кофе в саду.

Альма взглянула на мой живот и спросила:

— Который же из двух кавалеров отец ребенка?

Мы с Павлом весело переглянулись.

— Тот, что повыше, его зовут Левин, — ответил за меня Павел.

Интерес Альмы к окружающему миру, по счастью, тем и ограничился; то, что мой муж живет от меня отдельно, ее, похоже, нисколько не удивляло. Утомленными глазами она обводила цветущую лужайку (в которую превратился некогда столь ухоженный газон Германа Грабера) и, казалось, тихо наслаждалась кофе, солнцем и свободой. Ее белая рука обессиленно лежала на руке Павла, я старалась в их сторону не смотреть. Вдобавок ко всему и мой коварный кот, похоже, души в ней не чаял, он уютно устроился у нее на коленях, но не мурлыкал, а бдительно посматривал на окружающих.

Внезапно вся в слезах прибежала Лена.

— Коля! — только и смогла выговорить она.

Мы с Павлом вскочили и кинулись туда, куда она указывала своей ручонкой. Невозмутимая Альма даже не шелохнулась.

Коля свалился с дерева. Ушиб на голове хотя и кровоточил, но выглядел не слишком опасным.

— Надо наложить пластырь, — деловито твердил мужественный ребенок.

Павел отнес его в дом, я выстригла волосы вокруг раны и прижала к ней чистое посудное полотенце.

Но Павел считал, что рану надо обязательно зашить. Я наложила временную повязку, и он повез сына в больницу.

Лена с громким плачем наблюдала за перевязкой, так что теперь, чтобы как-то утешить ее и успокоить, я взяла ее на руки и отправилась к нашему столику в саду. Меня несколько озадачило, что Альму происшествие с Колей ничуть не взволновало. Однако, когда мы с Леной вернулись, она, вопреки моим ожиданиям, уже не сидела с невозмутимым ви-

дом в плетеном кресле — ее вообще не было, исчезла, и все. Я тотчас же отправилась на поиски, но не нашла ее ни в саду, ни в доме.

Может, она успела юркнуть к Павлу в машину?

В раздумье я присела на ступеньки лестницы. Лена только-только успокоилась, мне не хотелось вновь ее нервировать — теперь уже паническими поисками. Но она сама спросила:

— А мама уехала с ними?

— Да, — решила ответить я.

Интересно, скоро ли вернется Павел? В выходные у хирурга "скорой помощи" на приеме, известное дело, народу полно: горе-футболисты, садоводы-любители, незадачливые отцы семейств, исхитрявшиеся вывихнуть конечности своим чадам на домашнем уроке физкультуры...

Все-таки исчезновение Альмы не давало мне покоя. Держа Лену за ручку, я снова обошла все кусты на участке, выглянула и на улицу, обследовала подвал и комнаты в доме. Мы ищем кота, объясняла я Лене. Наконец скрепя сердце решилась обратиться за помощью к Левину и постучала в его дверь. Едва он мне открыл, как до меня, к невероятному моему облегчению, донесся женский голос. В обществе двух кавалеров Альма сидела перед телевизором.

— Я просто хотела узнать... — начала было я.

— Да садись с нами, — пригласил Левин. — Мы теннис смотрим.

Я покачала головой и вышла. Но, уже спустившись вниз, стала укорять себя. Левин с приятелем даже не подозревают о том, что Альма душевнобольная, хоть бы они не вздумали предлагать ей спиртное. Не держал ли Левин стакан виски? Альме алкоголь категорически нельзя — она же принимает психотропные препараты.

Часа через полтора вернулся Павел. Коля добровольно облачился в пижаму и жаждал похвал за проявленное геройство. О матери он даже не спросил.

— Альма наверху смотрит телевизор, — сообщила я Павлу.

Он подарил меня не слишком любезным взглядом и тут же отправился наверх.

Когда он привел Альму, я сразу поняла, что та изрядно навеселе. Лена — хотя ее никто об этом не просил — стала рассказывать, как Коля свалился с дерева. Как ни странно, маму этот рассказ весьма позабавил, и она от души смеялась. Мы с Павлом тревожно переглянулись.

— Когда будем ужинать? — спросила Альма. В больнице она привыкла рано ужинать и рано ложиться.

Павел отправился на кухню, я стала накрывать на стол.

— Непорядок, — сказала Альма. — Двух приборов не хватает.

— Левин с приятелем ужинают у себя, — твердо сказала я, отчего на глазах у нее тут же навернулись слезы.

Павел, как зверька, гладил ее по головке, потом дал ей три разных таблетки, которые она послушно проглотила. После ужина она паинькой отправилась спать, а мы вместе с детьми остались еще немного посидеть, уже в пятый раз выслушав героическую историю Колиного падения.

Когда пришло время ложиться, снова началось перераспределение спальных мест. Я отправилась в "кабинетик", поскольку мою двойную супружескую постель заняла Альма. Теперь к ней присоединились и дети.

Они вообще не особенно жаловали далекую мансарду, которая в эту ночь досталась Павлу.

Среди ночи я проснулась как от толчка. В комнате горел свет, и передо мной стояла она. Это было как продолжение сна. Она явилась мне, как сильфида из восточной сказки, — принцесса, которую холят, лелеют и укладывают спать под необъятный паланкин чернокожие рабыни, неземное, флегматичное, белолицее создание с пышной гривой ниспадающих волос, тщательно расчесанных все теми же рабынями.

— Где Павел? — спросила она, не сводя глаз с моей постели, будто он прячется у меня под одеялом. Впервые я заметила выражение хитроватой подозрительности в ее полубезумном лице.

— Он в Колиной комнате спит, в мансарде.

Она села ко мне на кровать.

— А где спит твой муж?

Сонным движением я указала наверх, остальное ее не касается.

— Гомик? — плутовато осведомилась она.

Я помотала головой и демонстративно закрыла глаза.

Она поняла, встала и направилась к двери.

— А оба кавалера, кстати, очень даже милы, — произнесла она на пороге с каким-то задорным упрямством.

Засыпая, я подумала, что ей бы очень подошло имя Дезире или какая-нибудь Лавиния.

Спали мы все довольно долго. Первыми встали дети и начали во дворе играть в футбол. А ведь врач строго-настрого предписал Коле щадящий режим и спокойное поведение. Я с трудом поднялась, свистнула детей в дом, потом пошла под душ и, стоя под струями теплой воды, раздумывала, прилично ли ограничиться на завтрак вареными яйцами.

Ничего, завтра утром в это же время я от нее уже отделаюсь, утешала я себя. Обслуживать мужчину и двух детей — это еще куда ни шло, но чтобы и сумасшедшую бабу в придачу? К тому же, как мне почему-то кажется, насквозь порочную и патологически ленивую. Похоже, она наловчилась замечательно пользоваться своей болезнью — никакой ответственности, никакой работы, живи себе избалованным ребенком и радуйся.

Наконец встал и Павел, он тут же принялся мне помогать.

— Надеюсь, эти выходные — первые и последние, когда она здесь,— сказал он. — Надо будет найти какое-то другое решение.

Вместе с детьми Альма попила какао. Потом ни с того ни с сего взялась изводить еле оправившегося от вчерашнего шока сына задачами на устный счет; тот поначалу неохотно их решал, а потом наотрез отказался.

— Оставь его, воскресенье как-никак, — вступился за мальчика Павел.

Тогда она вместе с Тамерланом снова улеглась в гамак, спокойно наблюдая, как мы убираем со стола. Потом уснула. Мне очень хотелось прогуляться в одиночку, но за мной увязалась Лена.

Вернувшись домой, мы застали Павла и Колю перед телевизором, они смотрели мультфильм. Лена расстроилась, она половину пропустила.

— А где Альма?

— Спит.

Я с недоверием покосилась на гамак, потом осмотрела все кровати в комнатах. Альмы нигде не было. Наверно, опять наверху. Я сказала об этом Павлу.

Тот нахмурился.

— Пожалуйста, сходи за ней сама, мне неприятно...

Мне тоже, но я повиновалась. Мне не пришлось ни стучать, ни звонить, все двери наверху были настежь. Веселая троица меня вообще не заметила — силясь перекричать радио, они болтали.

— Так что ребенок не от меня, — услышала я слова Левина.

Все трое покатились от хохота, потом Альма что-то пропищала.

— Точно, он от меня, — радостно подтвердил незнакомец.

Никем не замеченная, я спустилась вниз, прошла к себе в комнату, заперлась на ключ и разревелась, не в силах вытерпеть столько человеческой подлости. Какое мне дело до того, что Альма сидит наверху и преспокойно попивает пиво? По своей воле я больше никогда не зайду к Левину.

Вскоре Павел энергично постучал ко мне в дверь. Я открыла. На лестнице мне стало нехорошо, солгала я. Павел всполошился, расстроился, стал ругать себя и свое семейство, потом ушел наверх за Альмой.

Когда мы собрались к обеду, на лице Альмы читались скрытое возбуждение и обида, от обычной вялости не осталось и следа.

— Может, отвезти тебя уже сегодня? — мягко спросил ее Павел, явно с трудом себя сдерживая. — По-моему, для тебя это все слишком утомительно.

— Избавиться от меня хотите? Нет уж, что обещано — то обещано, — ответила Альма с неожиданной твердостью в голосе.

По отношению ко мне она стала выказывать капризное раздражение — вполне объяснимая реакция на мою роль в ее семье, мне, по крайней мере, она казалась куда более естественной, чем прежнее равнодушие.

Когда Альма под предлогом посещения туалета надолго исчезла, очевидно снова прошмыгнув наверх, Павел махнул рукой.

— Пусть, раз уж ей там так нравится, — сказал он. — У меня уже сил нет все время за нею бегать. Не станут же ее там...

Я ничего не сказала. Беда в том, что Левин ведь не знает, с кем он имеет дело. Поэтому без раздумий предложит ей коктейль или виски. Но почему я должна отвечать за здоровье Альмы?

В больнице, в женском отделении, она, за исключением врачей и санитаров, мужчин почти не видит. Я, кстати, понимала, что она вряд ли хочет таким образом вызвать у Павла ревность или отплатить ему за предполагаемую измену. Скорее она вела себя как пятилетняя девочка, которая без всякой задней мысли инстинктивно тянется к компании веселых мужчин. Для Левина и его приятеля эти визиты были, конечно, чистейшей забавой, тем более веселой, что Павел их явно не одобрял. Интересно, что она им там порассказала?

— Не думаю, что план ее врачей удачен, — сказал Павел. — Они хотят облегчить Альме возвращение к нормальной жизни путем медленного привыкания. Последний приступ у нее действительно был довольно давно, и интервалы между приступами постоянно увеличивались, так что

по идее обострения может вообще больше не быть. Но когда я за ней вот так наблюдаю, мне опять делается не по себе.

Он прав. Мне тоже казалось, что ее нельзя оставлять одну, а уж тем более с детьми. Хотя ничего плохого она вроде не делает и говорит как будто связно. А внешне, не считая, конечно, этого тяжелого, неподвижного взгляда, она вообще еще очень даже ничего.

— Бог ты мой, — вздохнул Павел, — ты бы посмотрела на нее, когда мы женились! Да мне все кругом завидовали — какая красивая, умная, обаятельная, интересная мне досталась жена! Иной раз хочется к чертовой матери выбросить все эти пилюли, которые подавляют в ней личность и превращают ее в марионетку фармакологии.

Вторая половина дня прошла без эксцессов. Альма отправилась с семьей на прогулку, я осталась дома, чтобы немного отдохнуть. "Порше" тоже исчез. Провалявшись на диване добрых два часа, я уже почти с интересом ожидала возвращения своих гостей.

Хотя Альма после прогулки выглядела физически измотанной, но одновременно бросалось в глаза ее нарастающее душевное беспокойство. Нетрудно было догадаться, что она предпримет при первом же удобном случае. И действительно, она вскоре выскользнула из гостиной, но уже через минуту вернулась, явно разочарованная.

Временами я чувствовала, что она пристально за мной наблюдает.

В этом – допускаю, не самом интересном – месте моего повествования меня вдруг самым пошлым образом прервал и даже несколько напугал громкий храп Розмари, после чего я обиженно заткнулась.

20

За завтраком вид у Розмари слегка виноватый.

– Дело совсем не в тебе, – оправдывается она, – это от гормонального укола я вчера уснула.

Может, и вправду от укола. Я несколько смягчаюсь, когда она в знак покаяния аккуратно перебрасывает на мою кровать свою упаковку земляничного джема и брикетик сахара.

– Знаешь что, – говорю я, – наверно, я назову дочурку твоим именем, но только не вторым, Тирья, это, по-моему, как-то уж слишком, а половиной первого имени – Розмари.

– А которой из половин? – воодушевляется она.

– Пусть у нас будет маленькая Мари.

– Вообще-то за это надо бы выпить! – И мы чокаемся толстыми кофейными чашками. Солидная порция горячего больничного молока, изрядно сдобренного нашим растворимым кофе, выплескивается при этом на рукав ее палевого халатика.

– Но сегодня нам надо обязательно закруглиться, – напоминает она. – Ох, чувствую я, будут еще покойнички.

– Потерпи.

На ужин я подала копченую лососину под укропным соусом.

— Мой последний ужин перед казнью, — пошутила Альма, имея в виду, вероятно, свои будущие больничные трапезы.

Она снова первой отправилась в постель, дети последовали ее примеру. Около полуночи я пробудилась от жуткого сна. Всех подробностей я не помнила, а начинался он вполне безобидно: Альма и Тамерлан (правда, как бы в человеческом обличье) стояли передо мной рука об руку и говорили мне: "Мы хотим пожениться!" На Тамерлане, как и положено коту, были высокие сапоги, а к ним — костюм Робин Гуда в духе Уолта Диснея. Альма являла собой Белоснежку с мертвенно-бледным лицом. "Отдай мне в мужья Тамерлана, и тогда Павел — твой!" — заявила она, и я ужасно обрадовалась такому выгодному, такому счастливому обмену.

"Но чтобы все было по справедливости, — добавила она, — я и ребенка твоего возьму в придачу".

В полном ужасе я хватилась своего ребенка и кинулась искать его в мерзлом лесу среди мертвых деревьев.

"Как в страшной сказке!" — простонала я, изо всех сил пытаясь прогнать жуткое наваждение. Потом даже встала, пошла на кухню, выпила молока, глянула, как там дети — они мирно спали в постели с Альмой, — и выглянула в темное окно.

Во двор нашего дома как раз сворачивал "порше". "Поздновато, господа", — подумала я. Потом прошла в зимний сад. Павел лежал в гамаке и читал. Я села рядом, мы прильнули друг к другу и так замерли. Пока перед нами вдруг не оказался Тамерлан, издав слабое "мяу", — смышленый кот давно наловчился сам открывать двери. Я подняла глаза и увидела Альму: в кружевной сорочке она неподвижно стояла в коридоре и смотрела на нас.

Павел тотчас же выпустил меня и спрыгнул с гамака.

— Что случилось, тебе не спится? — спросил он испуганным и виноватым голосом.

Смертельная обида сверкнула в глазах Альмы — и в ту же секунду она исчезла. Я, впрочем, тоже. Но и в постели, уже с закрытыми глазами, я видела перед собой ее силуэт, оскорбленный и горестный.

Несколько часов спустя — часа в три ночи — я снова проснулась. На сей раз меня разбудил кот, всей своей тушей нагло вспрыгнувший мне на грудь, чего он раньше никогда себе не позволял. Я погладила его по шерстке. Вообще-то Тамерлан гостей не любит, к тому же ему всегда передается моя нервозность. Вот и теперь он не успокаивался, а требовательно тыкался в меня носом. Я включила лампу и взглянула на часы. И только тут почуяла слабый запах гари и окончательно проснулась.

В коридоре дыма было гораздо больше. Я кинулась в спальню. Альмы не было. Я растолкала детей.

— Одевайтесь, живо! — скомандовала я и через секунду была у Павла, который так и уснул в гамаке.

Он тотчас проснулся, укутал детей в одеяла, отнес их в машину, а машину отвел подальше от дома. Я тем временем вызывала пожарных.

Еще через минуту я уже барабанила в дверь к Левину, слыша, как бушует в мансарде огонь, уже начавший сверху вниз пожирать деревянную лестницу. Павел громко звал Альму.

Мне показалось, что прошла вечность, прежде чем в дверях показались сонные мужчины в подштанниках. Альмы с ними не было. По счастью, они все поняли сразу и без объяснений.

К моему изумлению, Левин проявил редкостное самообладание.

— Тебе вреден дым, — сказал он, — немедленно на свежий воздух! Мы сами обо всем позаботимся.

Первым делом он отвел свой "порше" и Дитеров "мерседес" подальше от ворот, чтобы не мешать въезду пожарных машин, потом принялся сбрасывать из окон вещи, одежду и обувь.

Спасением же фотоальбомов, драгоценностей и даже кое-чего из книг я обязана попутчику Левина. Это он, с невероятной быстротой и еще большей удачливостью покидав все, что счел нужным и ценным, в большой пластмассовый таз и два чемодана, успел вынести все это еще до прибытия пожарных.

Пожарники первым делом поинтересовались, все ли вышли из дома, после чего, тяжело ступая в своих защитных костюмах, вошли в охваченное пламенем здание. Стенные и потолочные панели, паркет, встроенные шкафы, гардины, ковры и кровати весело и с треском горели на всех этажах, лестничный проем превратился в огненную бездну. На улице собрались соседи и вместе со мной наблюдали, как вырываются из-под крыши всполохи огня и огромными горящими мыльными пузырями снова опадают в пекло.

— Ой, как красиво! — восторгалась Лена.

Если Альма действительно в мансарде, говорили пожарные, пытавшиеся проникнуть туда по длинной раздвижной лестнице, то ее уже вряд ли можно спасти.

Павел стоял ни жив ни мертв.

И тут где-то под лапами огромной ели Левин углядел мерцающие во тьме кошачьи глаза. Он кинулся спасать перепуганного кота — и вывел из темноты Альму. Она угорела, у нее были ожоги по всему телу, но она была в сознании. Павел только молча взял ее за руку. Пожарные по рации вызвали "скорую помощь".

— Я хотела себя убить, — повторяла Альма.

Ее отвезли в клинику в Оггерсхайм, мы с Леной отправилась к Дорит, Павел с сыном поехали ночевать к его приятелю. Где провел остаток ночи Левин, понятия не имею. Дом выгорел дотла, его было не спасти. Кто-то разлил бензин в мансарде.

Со временем, возможно, я переживу потерю этого дома, как, возможно, потускнеют и воспоминания о роковых событиях, имевших место под его крышей.

Позднее мы узнали от самой Альмы, что после ее ночного визита в зимний сад она отправилась наверх к мужчинам — попрощаться. Они выпили на троих сливовицы. При этом Левин внушил ей, что ребенок у меня, конечно же, от Павла.

Оставшихся по наследству денег и страховой суммы мне вполне хватило, чтобы купить себе дом в Вайнхайме, это милый небольшой городок, где мы и живем.сейчас с Павлом, Колей, Леной, Никласом и Тамерланом согласно всем бюргерским установлениям. Как и тысячи других матерей, при кормлении ребенка я сама разеваю рот и делаю глотательные движения, сама стригу кудри на Колиной голове, которые, как и у его отца, норовят превратиться в неухоженные лохмы, и слизываю остатки варенья с пальчиков Лены. На диссертацию у меня, наверно, уже никогда времени не найдется. Иногда я получаю открытки из Северной Герма-

нии, где Левин с Дитером занимаются торговлей подержанными автомобилями. Стартовый капитал на это предприятие кредитовала им я.

– Так кто же отец маленького Никласа? – спрашивает Розмари.

– Я не знаю и знать не хочу. Знаю только точно, что Павел – отец малышки Мари.

– Значит, это все? – спрашивает Розмари. – Счастливый конец – делу венец?

– Это как посмотреть. Для моих родителей опять все неладно, они никак не могут пережить, что Павел и я хоть и состоим в браке, но брак по-прежнему у каждого свой.

Розмари молчит. Наверно, думает уже совсем о другом. Через час придет такси и отвезет ее домой. Хотя, зная ее страсть экономить, я думаю, что она еще рассчитывает здесь пообедать – в последний раз.

Приносят обед, она в нетерпении заглядывает под крышку судков: кёнигсбергские тефтели под соусом из каперсов – уже третий раз подряд. Я уныло ковыряюсь в тарелке. Сюда бы чуток соли, лаврового листа и несколько капель лимонного сока – тогда бы еще куда ни шло.

Розмари, которая в отличие от меня дома почти не готовит, не склонна критиковать больничную кормежку, правда, каперсы она не любит. Поэтому тщательнейшим образом выбирает темные шарики из соуса и тефтелей, отодвигая их вилкой к краю тарелки.

– А наследство твоего деда, конечно, тоже вместе с домом сгорело? – спрашивает она как бы невзначай.

Похоже, она все-таки слушала меня даже внимательнее, чем мне бы хотелось.

– Несущие стены дома остались целы. После того как Никлас – кстати, совершенно здоровеньким и без малейших осложнений – появился на свет, я при первой же возможности совершила набег на свои бывшие владения и забрала из подвала кое-какие нужные вещи, в том числе и упомянутый выше цветочный горшок.

– Замечательно, Элла, тогда я позабочусь о том, чтобы у моей крестницы был законный отец...

Вообще-то о крестинах у нас пока что речи не было. К чему она клонит?

– Ты с Левином можешь развестись?

– Конечно, могу, какая ему радость от второго кукушонка, но что толку? Павел ни за что не решится бросить свою больную Альму.

– Так и я про Альму. Кстати, она ведь обожает нашу копченую салями с перцем. – Погрузившись в размышления, Розмари рассеянно водит вилкой, размазывая по тарелке остатки соуса вперемешку с каперсами. – Предлагаю кулинарный рецепт: выдавливаем колбасу из оболочки, два зернышка перца, те, что с дальнего конца, начиняем ядом, потом запихиваем фарш обратно в оболочку...

У меня кусок застревает в горле.

Увлеченная Розмари как ни в чем не бывало продолжает:

– А сами уезжаем. Поскольку у нас уже четверо детей, лучше всего просто снять где-нибудь летний домик... Колбасу Альма доест лишь через несколько дней после того, как мы уедем...

Ингер Эдельфельдт

Прогулка

Рассказ

Перевод с шведского Е. Ермалинской

НАВЕРНО, вы не раз удивлялись, почему я иногда выхожу из дома с таким выражением лица. А может, и не удивлялись. Порой сложно понять, удивляются люди или нет. Даже когда эти люди — твоя семья.

И действительно, почему бы вам удивляться: ведь я всегда говорю, что иду к моей подруге детства. Она такая застенчивая, ее так легко расстроить, и она не хочет знакомиться с вами.

Каждый раз я беру для нее термос с горячим шоколадом и бутерброды. Это вас наверняка удивляет. Ведь когда взрослый человек ждет гостей, он сам готовит угощение.

Но она ничего не готовит, так уж повелось.

Дети просят взять их с собой. Но я объясняю, что моя подруга боится детей. И они всегда смеются: разве можно бояться детей?

Я говорю им, что она боится почти всего на свете, кроме меня. А меня она не боится. Я ее понимаю, я ее люблю — она это знает. И я никогда ее не забуду.

Поэтому не нужно меня отговаривать, я должна идти. Если на дворе зима, я одеваюсь потеплее. Я кладу термос и бутерброды в рюкзак и еду в тот самый пригород.

Если идет перемена, я уже издали слышу детские голоса. Это особенный звук, он напоминает о взбудораженном переменчивом море, закрутившем в водовороте щепки и осколки, или о ветре, пробирающемся сквозь

© Inger Edelfeldt, 1995
© Е. Ермалинская. Перевод, 2001

голый, но говорливый лес, захламленный забытыми вещами: детскими скакалками, резинками для волос, брелоками для ключей, обгрызенными зелеными карандашами, мешками с физкультурной формой. К ветвям и траве этого леса примерзли плевки. Во мху растут сигаретные окурки. Вот такой это лес: там в сапогах хлюпает ледяная вода, а маленькие птички ищут еду заиндевелыми клювами.

Я прохожу между ровными квадратами газона и вижу школьный двор. Я каждый раз удивляюсь, какой он маленький. И все же от него веет необъятным одиночеством и сыростью. Ледяной пустыней и прахом.

Лучше приходить сюда, когда идет урок и во дворе пусто.

Я сажусь в роще, отсюда мне все хорошо видно.

Вот через пустой двор идет девочка, она немного опаздывает. Какая же она маленькая! Ребенок как ребенок, вот что удивительно. Ребенок как ребенок, а внутри ее может быть что угодно. Тайфун, или оползень, увлекающий за собой разоренный мир, или мертвечина, источенная червями. А может, укрепленная для защиты от врагов крепость. Затонувшее в морской пучине сокровище, которое охраняют тысячерукие каракатицы, извергающие черное облако. Корабль, плывущий навстречу непроходимым льдам, потому что птица счастья убита.

А может, это всего лишь бело-рыжая собачонка — нос у нее покраснел, и глаза заплыли. Да, скорее, это собачонка. На одеревенелых негнущихся ногах она семенит маленькими шажками — клик-клак. Зовут собачку Стыд. И стыд этот — ее.

Вот она подходит к дверям школы. Она еще не знает, что шапка у нее не такая, как надо. Шапку связала для нее мама, пока девочка была больна. Чем же она болела? Она не знает. Мама сказала, что это переутомление или что-то вроде простуды.

Но сама она говорит: “Это проклятие” или “Этого не может быть”.

Не может быть; вначале ты просто пыталась думать именно так. Это было почти как игра. Смотришь на что-то и думаешь: этого не может быть.

Но игра завладевает тобой все больше и больше, и вот она тебе уже не подчиняется. Как будто ты в море, ты плывешь и плывешь и вдруг оказалась вдали от берега. Ты одна, тебя уносит все дальше и дальше. Тебе хочется кричать: это не я, я там, я играю на берегу!

Дружок, не спрашивай себя, что может быть, а чего не может. Ты проснешься посреди ночи и поймешь: правда — это пустота. Все остальное — мишура, прах. Время, слова, имена. Цвета и звуки. Твои руки, твой язык.

И ты подумаешь, что все это злая шутка. Той девочки, которая играла у моря, никогда не было, там вообще никого нет.

И вот ты просыпаешься посреди того, что зовется ночью. Ты все понимаешь, и ты совсем одна. Ты дрожишь так, словно твое тело вот-вот рассыплется в прах.

И если ты маленькая девочка, то ты, наверно, видишь, как в другом конце комнаты спит твоя мама. Ты не станешь ее будить. Ведь ты знаешь, ей так хочется верить, что ты та самая девочка, которая играет на берегу, а не та, которая оказалась в море.

Иначе мама испугается.

Девочка пересекает школьный двор. Вот она входит в дверь и поднимается вверх по лестнице, на голове у нее эта самая шапка. Она стучится в

одну из дверей, и ей разрешают войти. В классе становится тихо. Вдруг кто-то начинает смеяться. И вот уже все хохочут так, что их не унять. Ну видел ли кто-нибудь такую уродскую шапку?

Но девочка пока не догадывается, что они сделают с ее шапкой на большой перемене.

Вот такую шапку носит маленькая собачка по кличке Стыд.

Я почти не чувствую холода. Время идет, а я этого не замечаю. Звонок. Дети высыпали во двор. Какие они маленькие! Но я отшатываюсь от них. При этом звуке мое сердце бьется так, словно я запыхалась от бега.

Я знаю, что могу выйти к ним на школьный двор, и они ничего мне не сделают. Они увидят взрослую женщину и решат, что я заменяю учительницу. Они мне едва по плечо. Я для них — начальство, тот, кто может наказать их или нажаловаться на них. Или помочь.

Во мне нет ничего странного. Я не нищенка. На мне фирменная одежда. Ведь я всегда стараюсь следить за модой, хотя это стоит недешево.

Но все-таки во мне дрожит маленькая некрасивая собачонка. Она шмыгает носом и скулит: "Мне холодно, холодно, домой, пойдем домой, там подстилка и собачье лакомство".

Мое тело тут же отзывается: плечи втягиваются, перехватывает дыхание, сводит желудок, живот напрягается так, словно готовится выдержать тот самый удар хоккейной клюшкой.

Но я остаюсь сидеть. Летом, когда за листвой меня совсем не видно, я иногда беру с собой бинокль. Я навожу его на лица детей, то на одно, то на другое, я пытаюсь их разгадать; вот у этого дела пойдут хорошо, а тому нужна помощь, этот проживет размеренную жизнь, а тот будет пылать, как факел, кому-то из них суждено замерзнуть насмерть, а кто-то из них, наверно, такой, как я.

Я знаю, что это занятие бесполезно. Никому от этого не будет лучше. Но я все же сижу на своем месте и дивлюсь тому, какие они маленькие, какие гладкие у них лица, как похожи они друг на друга в своей заброшенности и упрямстве. В моей памяти они не были такими одинаковыми. У каждого из них в лице была какая-то особенность, которая вблизи казалась страшной: веснушки, необычно крутой лоб с царапиной или шрамом от гвоздя, сросшиеся брови, неровная кромка волос. Зрачки, сузившиеся от яркого света, нос с чересчур широкими ноздрями, впитывающими манящий запах страха. Они творили то, что творили, как бы между прочим, так на ходу бросаешь фантик от ириски или проводишь палкой по забору, чтобы поднять шум.

Но сейчас я думаю о себе.

Я пришла сюда, чтобы уйти отсюда. Только когда я вернусь сюда, я могу отсюда уйти.

Я жду, пока прозвенит звонок. И как магнит притягивает железную стружку, как низвергается водопад, так дети устремляются к дверям, словно влекомые силой природного тяготения. Повинуясь всего лишь негромкому звонку.

Звонок сразу отдается в моем теле, внутри меня рождается смятение и готовность встать и идти, заставить себя войти в ту дверь. Это смятение вот-вот выплеснется слезами, но я говорю себе: "Тебе не надо больше идти туда, у тебя своя дорога, и это даже не прогул".

Справившись с дыханием, я чувствую боль в груди. На мои глаза навертываются слезы. Я хочу поблагодарить кого-то, добрую фею или благосклонное божество.

Фея похожа на меня саму. "Ты можешь идти, — говорит она. — Ты уже взрослая. У тебя своя жизнь. Для тебя все обошлось".

И я встаю. Я иду прочь от школы, вхожу в редкую рощицу. Тело еще болит, но оно становится легким, словно меня вот-вот снесет ветром.

Я иду к большому камню, за которым когда-то пряталась. Теперь я не мерзну. Уши уже не прежние тонкие ледяные раковины, которые вот-вот отвалятся. На голове у меня платок. (Шапок я не ношу.)

Я достаю термос и бутерброды. Дышу медленно и глубоко. Пью горячий шоколад. И думаю о том, что у меня есть: дом, семья, работа. Обо всем, на что я никогда не надеялась. Об ощущении полноты своей плоти и той особой мелодии, которая звучит во мне, когда муж обнимает меня, а я обнимаю его. О таинственном взрослении моих детей. О работе, разговорах с коллегами, о простых ритуальных фразах, которыми мы обмениваемся каждый день: "Пойдем сегодня обедать в кафе?", "Почту уже принесли?", "Где ты купила эту кофточку?"

Они смотрят на меня. Наверно, они видят во мне обычного человека, который, наверно, им нравится. И это удивляет меня каждый день.

Я возвратилась домой. Я стою рядом с тобой. Ты обнимаешь меня, целуешь.

И может быть, ты даже очень хорошо понимаешь, что внутри меня живет маленькая бело-рыжая собачка с хлюпающим носом, замерзшими лапами и очень острыми зубами.

Милан Есих

Сонеты

Перевод со словенского Жанны Гилёвой

***

За крупом бронзовой скульптуры конной,
где площадь упирается в тупик,
под вывеской неброской, невелик,
стоит трактир; напротив — лик мадонны.

Она глядит прямехонько на дверь,
как будто караулит терпеливо
Иосифа, забредшего на пиво
и загулявшего в кругу друзей,

забыв о доме, о жене и сыне,
что так знакомо каждому из нас:
сидишь, об кружку кружка звонко бьётся,

и спор кипит, и песня раздается...
Все как всегда, и нет такой причины,
чтоб не прийти сюда в урочный час!

© Milan Jesih, 1989, 1993
© Ж. Гилёва. Перевод, 2001

***

Жара, уселись женщины в тенек,
задрали юбки, ноги заголяя,
ломают хлеб, по кругу бутылек
пустили, мелют вздор не умолкая.

Меня стесняться? Мал еще, поди...
Но их бесстыжей бледной наготой
сражен, я от волненья сам не свой:
бушует кровь, шумит в висках, в груди.

Уже не вызовут той давней дрожи
ни дерзкий сон, ни сладкие мечты,
не обожжет прикосновенье к коже

той, что со мной привычно делит ложе;
лишь близость гулкой смертной пустоты
знакомым чувством грудь на миг встревожит...

***

Повеяло в окно, журнал раскрыло,
и я, казалось, фразу прочитал:
"Уж мертвый — мертвую — ее любил он..."
Но тщетно я впоследствии искал

строку, что огорошила меня:
продравшись через приторное чтиво,
потратил драгоценные полдня —
и вот себе внушаю незлобиво,

что память любит отыскать вовне
нелепицы, живущие во мне,
что это — прах, ничто, останки бренны

любовей — всех и самой незабвенной.
Что было, то прошло — о чем жалеть?
Так думая, успел я протрезветь.

***

Пейзаж был притягателен и смел:
лежала дама; у нее на теле
село теснилось, роща зеленела
и семафор подсказывал в туннель

тенистого межножья верный путь.
Поодаль две горы: крутая грудь.
Будь это ты — пожалуй, я бы мог
жить в подреберье, с видом на лесок,

порой во тьму нырял бы, словно гном,
проверить стрелки, или с рюкзаком
на грозные вершины забирался,

как альпинист, а то бы отправлялся
к озерам глаз твоих за перевал —
под плеск волны душой бы отдыхал.

***

Уж виноград поспел, и день, ленясь,
все раньше на покой уходит... Осень.
Бродя по бездорожью, месишь грязь
и чувствуешь: тебя к одной из сосен

влечет повеситься. Не торопись.
Послушай над откосом каменистым
павлиний крик, взвивающийся ввысь
из-за ограды; посмотри, как листья,

срываясь, в слаломе летят к земле,
и маленькая тучка над деревней
спешит догнать сестер, чтоб скинуть бремя

под ноги надвигающейся мгле...
Постой хоть миг, замри хоть на чуть-чуть...
Помедли, отдышись и снова — в путь!

***

Весь день я жил. Проверил утром рано,
что написал вчера. Умерил страсти
(большую "С" убрал из слова "счастье"),
потом бродил по улицам Любляны.

На барышень, гуляющих толпой,
глазел. Купил сардины, их залил
рассолом, спал и, все еще живой,
проснулся, вдохновенно джем варил...

Жил дальше. Ближе к вечеру, как было
намечено, умыл душистым мылом
лицо и, галстук не забыв надеть,

поехал на премьеру: посмотреть,
что нового в театре. Дребедень.
Утешился винцом. Я жил весь день.

***

Вот если б я во цвете лет почил!..
Все так же зрело бы вино, и ветер
под плачущими звездами под вечер
по скверам листья желтые кружил.

Давно могила поросла б травой,
и метрики поблекшие чернила
(рожденье, смерть – две записи унылых)
звучали б поэтической строфой.

И та, что девочкой меня любила,
с полуулыбкой в грезы погрузясь,
мешала бы некрепкий чай, дивясь,

что сны с годами ярче, теребила
седую прядь артритною рукой
и горевала: "Был бы он живой!.."

***

Уж если помирать, то лучше – в час,
когда покроет все пушистый снег,
окно засыплет и орбиты глаз,
и не поднять отяжелевших век.

Когда, бубенчиками не звеня,
Сама примчится, глянет из саней
и спросит: "Что, старик, не ждал меня?"
Скажу: "Ну, здравствуй, тысяча чертей!"

А внучка мне с дивана: "Слушай, дед!
Улегся – спи! Довольно уж ворчать!"
И я отвечу, завернувшись в плед:

"По-вашему, прикажете молчать?
Как бы не так!" Ехидно усмехнусь
и на санях неслышно вдаль умчусь.

Роберт Пенн Уоррен

Цирк на чердаке

Повесть и рассказы

С английского

Уоррен нечасто обращался к малым прозаическим формам. Сборник "Цирк на чердаке" (1948) — практически единственный его опыт такого рода; две-три новеллы потом промелькнули в периодике, однако сам он, видимо, не придавал им большого значения и не включил в свои книги. На родине Уоррена ценят прежде всего как поэта, у нас он больше известен романами. "Вся королевская рать" — она вышла за два года до книги рассказов, а русский перевод появился в "Новом мире" под самый конец эпохи Твардовского — оставила ясный след в сознании целого поколения, которое именуют шестидесятниками. "Потоп", самим автором явно недооцененный, стал литературным событием на тусклом фоне нашего "застоя".

В силу дурной традиции значение Уоррена преуменьшается, но понятны причины, по которым это происходит. Как всем писателям его поколения, генетически связанным с американским Югом, Уоррену приходится выдерживать сопоставление с Фолкнером. А оно едва ли кому-нибудь по силам.

Между ними двумя и правда много общего. Оба привержены своему клочку земли — только фолкнеровский находится в штате Миссисипи, а владения Уоррена расположились на границе Кентукки и Теннесси, поблизости от городка Гатри, окруженного табачными плантациями. У обоих эти две-три сотни акров, эта глухая провинция становится целой вселенной, где внимательному взгляду откроет-

© А. Зверев. Вступление, 2001

Повесть и рассказы включены в сборник Р. П. Уоррена "Цирк на чердаке", выходящий в издательстве Б.С.Г-ПРЕСС.

ся необычайное разнообразие выразительно и точно обрисованных человеческих типов.

Оба они — и Фолкнер, и Уоррен, который был всего восемью годами младше, а писать начал практически одновременно с будущим мэтром, — мечтали об огромной фреске, сложенной из мозаики фрагментов. Фолкнер даже построил свое "Собрание рассказов" как роман в новеллах, вводя персонажи, известные по другим его произведениям, и дополняя их описание новыми эпизодами. Под пером Уоррена повесть на пятьдесят страниц вмещает несколько десятилетий биографии героев, которых автор заставил соприкоснуться с эпохальными событиями их времени, и становится чем-то вроде конспекта: из него мог бы вырасти многочастный эпос. Однако Уоррен писал и новеллы, которые представляют собой законченные миниатюры — иногда гротескные, иногда лирические. Подобно "Ежевичной зиме" или "Памяти половодья", они сразу дают почувствовать, что это проза поэта.

Было несколько тем, которые притягивали этого писателя на протяжении всего творческого пути, продолжавшегося более полувека, — они постоянно о себе напоминают и в книге "Цирк на чердаке". Уоррен писал о гнетущей бесцветности будней, которой герои тщетно пытаются противодействовать, сочиняя для себя другую — романтичную, но эфемерную — жизнь, и о травмах после первого соприкосновения с жестокостью мира. Он воссоздавал атмосферу южного захолустья, заурядность и мелочность повседневности, в которой словно бы ничего не происходит, но судьбы людей оказываются искалеченными непоправимо. Мотивы несчастья, жизненной неудачи, нежданной беды определяют у него выбор и развитие сюжета. А через перипетии предсказуемых житейских испытаний и потрясений, которыми заполняются его рассказы, через показываемое им "строгое, логичное сочленение факта с фактом" Уоррен стремится увидеть "скелет Времени". Как все писатели-южане начиная с Фолкнера, он верит, что время, собственно, ничего не прибавляет к человеческому опыту, но лишь помогает увидеть за случайным и мелким нечто существенное, повторяющееся век от века. И в этом смысле время неподвижно, словно дерево, живое и прочное. А то, что мы считаем движением времени, — это только шелест листьев, когда спокойный ветер касается его старых, узловатых ветвей.

Для воспитавшихся на новейшей литературе с ее пристрастием к минимализму, то есть к предельной скупости выразительных средств, поскольку изображаемая стандартизация и обезличенность менее всего требуют красочного изображения или нюансировки оттенков, проза Уоррена — явление другого, непривычного художественного ряда. В ней пластичные описания, интонация, которая способна становиться то проникновенной, то ироничной, ритм, отмеченный сложными модуляциями. Пренебрежение этими ее особенностями при переводе убивает весь художественный эффект: так произошло с провальной русской версией романа "Приди в зеленый дол". Почти все переводы, печатаемые в этой книжке журнала, принадлежат участникам семинара В. Голышева (переводчика "Всей королевской рати") в Литературном институте; для большинства из них это дебют в "ИЛ". Хотелось бы надеяться, что после знакомства с их работами несколько ослабнут опасения за судьбу русской переводческой традиции, очень устойчивые — и небеспочвенные — все последние годы.

Алексей Зверев

Цирк на чердаке

ДОПУСТИМ, что сейчас лето. Если идти с севера, то прямо с гребня горы открываются долина и Бардсвилл. Это широкая долина Кадманова ручья, которая двумя милями ниже резко спускается к реке. Справа на западе блестит серебристо-зеленая река, а дальше, в низине, — зеленовато-серебряные поля кукурузы. Облитая солнцем шоссейная дорога вьется по долине, будто брошенная на зеленое сукно размотанная кинопленка. А в конце — стальной мост над ручьем.

За ручьем — длинные, свежего кирпича строения военного завода на вспоротой и кровавой глине; в неподвижном, оцепеневшем от жары воздухе над одной из глянцевых железных труб неколебимо стоит одинокий столб дыма немыслимой высоты. Рядом — остатки мебельной фабрики (в войну здесь делали ящики под боеприпасы); угольные склады на почернелой, блестящей, как слюда, земле; путаница рельсов, стрелок и запасных путей — словно клубок обнаженных нервов, — тоже блестящих и подрагивающих в раскаленном мареве. Каменных развалин старой мельницы, что у другого конца моста, не видно. Зато видно: за ручьем и рельсами беспорядочно разбросаны хибары, трейлеры и сборные дома, куда селили в войну рабочих, а дальше разбрелись по холму хибары негритянского поселка с сумбуром веревок и жалко висящим на них бельем — импровизированные "белые флаги" среди руин. Но это пока не Бардсвилл. Бардсвилл будет еще дальше на обрывистом речном берегу.

Кадманов ручей течет на запад к реке, образуя с ней большую римскую цифру V, и у той ее части, что упирается в реку, берег высокий; подмытый известняк все еще сопротивляется разрушительному действию морозов и паводков и каждой весной гонит вздувшуюся красную реку на запад через кукурузные поля. Когда смотришь с севера, видны шпили, водонапорная башня и лилово-синие, цвета блестящей голубиной грудки, шиферные крыши, укрытые буйной курчавой зеленью; то тут, то там вдруг глянет среди деревьев матово-красный кирпич, белая стена или белый штакетник; и то и дело за много миль, на Растреклятом холме, будто гелиограф, передающий неведомый шифр, вспыхивает на солнце окно. Вот это Бардсвилл. Главный город округа Каррадерс.

Едва доберешься до гребня горы, как долина и Бардсвилл накрепко приковывают взгляд, так что можно и не заметить небольшой памятник слева от шоссе. Гранитный обелиск, футов десять высотой, почти не виден за сплошной стеной пурпурных хохолков вернонии, огненных хохолков молочая и лавровой поросли. Зато с правой стороны дороги бросается в глаза большой рекламный щит гостиницы "Каррадерс-хаус" ("В лучших традициях южного гостеприимства") и столовой, в которую приглашал, до войны 1941–1945-го, Дункан Хайнс ("Деревенский окорок — наша *Specialitée*"). Щит установлен на бывшем участке Сайкса, а полуразвалившийся бревенчатый дом чуть поодаль, под одиноким чахлым кипарисом, покосившийся и безглазый, задушенный цепкими лапами дикого винограда и шиповника и уходящий в землю, — это и есть Сайксов дом, приют полевок, лисицы и пары толстых черных змей, которые

© О. Качанова. Перевод, 2001

любят греться в солнечных лучах на каменной крышке старой цистерны. Даже мальчишки теперь туда не ходят.

Двадцать с лишним лет назад какой-то старик-бродяга забрался туда и умер. Его тело нашли почти через год, к тому времени канюки давно потеряли к нему интерес. Несколько лет после этого мальчишки ходили в жилище Сайкса, шептались в прошитом солнцем сумраке дома с дырявой крышей и, сладко замирая, слушали в тишине звук собственного дыхания. Но история эта, даже приправленная убийством, исчезла из мальчишеского фольклора Бардсвилла, и следующим поколениям мальчишек это место уже не казалось романтичным: слишком близко оно было к шоссе. Заросли и щелястые стены не могли заглушить гул моторов и блеянье гудков, а только ослабляли их.

Но имя Сэта Сайкса осталось на памятнике, рядом с именем Кассиуса Перкинса, — два бардсвилльских героя, которые, как гласит надпись на обелиске, отдали здесь жизни, чтобы спасти жизнь своим товарищам и чтобы нога захватчика никогда не осквернила родную землю. Эти слова можно прочесть, если оторвать повилику от серого гранита (привезенного из Вермонта). Памятник был воздвигнут в 1917 году на волне или всплеске неожиданного воодушевления и патриотизма, пробудившихся в дамах Бардсвилла с наступлением новой войны, войны, в которой уже объединенный народ защищал свою свободу за морями.

Летом 1917 года война по-настоящему пока не ощущалась. От бинтов, изготовляемых на собраниях Красного Креста в подвале у священника церкви Святого Луки и в помещении Баптистской воскресной школы, пользы, казалось, было не больше, чем от приготовляемых здесь же перед Рождеством корзинок для бедных. Матери и зазнобы проливали на вокзале слезы не горше, чем если бы провожали своих мальчиков в школу или колледж. На улицах Бардсвилла еще не появились пустые рукава цвета хаки. Поэтому грудь местных дам бальзаковского возраста щемило от переполнявшего их бурного бессмысленного восторга, воплотившегося наконец в обелиске. Объединенные дочери конфедерации, ревнительницы исконных добродетелей и сосуды исторического невежества, взялись собирать деньги. У Бардсвилла были герои, будут и впредь. Ждать теперь недолго. Обелиск будет вдохновлять новых героев. Вот так появился памятник, и пока на торжественном открытии мэр произносил речь, взвод новобранцев из лагеря под Кентукки, в новехонькой форме, с до блеска отмытыми лицами, стоял не шелохнувшись — с таким деревянным смущением томятся на сцене школьники во время выпускной церемонии.

Кассиус Перкинс и Сэт Сайкс погибли на старом большаке у вершины холма. Была зима 1861—1862-го, войска федералистов надвигались со стороны Кентукки. В руках янки находились уже пограничные кентуккийские города. Но у Бардсвилла имелось собственное ополчение: несколько взрослых мужчин и целая свора мальчишек, умевших гарцевать на лошади не хуже цирковых наездников и стрелять изо всего, в чем только держался порох, — война казалась им развеселым пикником, куда деспотичные мамаши не разрешали им пойти. Позже кто-то из них все-таки пошел на этот пикник. Кто-то набил мозоли на заду, проехав с Форрестом[1] Миссисипи, Теннесси и Алабаму. Кто-то крючился в окопах

1. Натан Бедфорд Форрест (1821—1877) — генерал армии южан во время Гражданской войны 1861—1865 гг. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

под Виксбургом, злой июньский пот жег глаза и росой оседал на мягких мальчишеских бородках, и плечи ныли от непрерывной ружейной отдачи. Но единственным из бардсвилльского ополчения, кто в декабре 1861-го пошел на пикник и пробыл там до самого конца, был Кассиус Перкинс.

Пятнадцать или двадцать ополченцев, и среди них Кассиус, вечером 16 декабря 1861 года стали лагерем на холме к северу от Бардсвилла. Они подстерегали конные разъезды янки, пару раз уже наезжавшие из Кентукки. Бивак их располагался в дубовой рощице, теперь не существующей. Лошадей привязали в ряд под деревьями. Развели небольшие костры, с собой у них имелся бочонок виски. Все походило скорее на рыбалку или охотничью вылазку, и воздух уже пах Рождеством. Они казались себе настоящими мужчинами. Ощущали себя в полной безопасности. Ведь они послали на вершину двух ребят. "Дозорных", как они их гордо именовали. Сонный, полупьяный и растерянный лагерь был внезапно атакован на рассвете. Дозорных захватили врасплох, они даже не успели сделать предупредительного выстрела. Ополченцы кое-как сумели добраться до своих лошадей, вскочить на них, помотаться по холму, а затем, после краткой перестрелки, ринулись обратно в Бардсвилл. Днем, когда разъезд уже убрался в Кентукки, на холме нашли тело Кассиуса. Жена Сэта Сайкса еще раньше приволокла тело мужа домой. Никто толком не знал, что произошло, но решено было, что они спасли Бардсвилл.

Однако, когда открывали памятник, старик по имени Джейк Вели, один из тех мальчишек, пустился в воспоминания. Теперь это был старик лет за семьдесят, а на вид еще старше: засаленный рваный комбинезон, усы и подбородок перепачканы табаком, обрубок правой руки торчит из плеча, как ощипанное куриное крылышко (руку он потерял двадцать пять лет назад, когда работал тормозным кондуктором), — отброс и укор обществу, он сидел на корточках под кленом на судебном дворе, распространяя вонь давнишнего пота и дешевого виски.

— Да, — произнес он и сплюнул на жиденький дерн, вытолкнув слюну быстрым, как у змеи, движением жилистой грязной шеи, — соорудили вот памятничек Кэшу Перкинсу. Я знал его. Я там был. Был в ополчении, как все те недоноски. Солдаты, нечего сказать. Легли вон там меж дубов на холме. Теперь тех дубов нету, тридцать годков как нету. Разлеглись себе, как на охоту пришли, жрали мясо, виски пили, думали: вот мы этим янки покажем. Да уж, показали, — сказал он и на минуту замолчал, опять погрузившись в воспоминания и сивушную вонь.

Потом сказал:

— Ага, показали, держи карман шире. Валялись все пьяные, а на другой день пришли янки. Из тех недоносков половина о ружьях и не вспомнили даже. Про лошадей зато не забыли. Иначе сказать, подались в родные края. Рванули по домам. Один Кэш остался. Пьяный был. По пьяни сел на чужую лошадь. А с Майка Стаффорда норовистой гнедой кобылой справиться никто не мог, разве что сам Майк. Кэш был пьяный, но это ж как надобно напиться, чтоб в одиночку на целую шайку янки поскакать. И генерал Ли[1], и все эти хваленые генералы навряд ли б так смогли. И Кэш не смог. Просто гнедая кобыла понесла.

1. Роберт Эдуард Ли (1807–1870) — командующий армией конфедератов во время Гражданской войны.

Потом сказал:

— Они ему показали. Не стали рассусоливать. Ухлопали его, да и все тут. И ни единый недоносок городской не остановился, чтоб выслушать его последние слова. Их и след простыл. Мой тоже.

Сидя под сенью кленовых, в серых воробьиных отметинах листьев, он сплюнул и произнес:

— Кэшу Перкинсу памятничек. А ведь он случайно. С тем же успехом и мне можно памятник поставить, за то, что у меня вот тут оттяпано.

Он помахал обрубком руки в обрезанном рукаве синей рубашки.

Потом сказал:

— Кэш ни одного янки не прикончил. Он приканчивал выпивку. Смелый был только пробки вытаскивать. Прикончил тогда вечером выпивки без счету и сел на чужую лошадь. На норовистую гнедую кобылу. Так что можно было б наверху памятника вырезать бутылку кукурузного виски — вроде ангела над могилой.

Но здесь, под кленом, слушать его было некому. По случаю торжественного открытия весь Бардсвилл собрался на вершине холма. Не ушли только два темнокожих мальчугана, колли, осклабленной пастью хватающая раскаленный воздух, и другой такой же, как Джейк Вели, отброс общества, который дремал на траве, укрыв лицо соломенной шляпой. Да и будь тут целый Бардсвилл, Бардсвилл не поверил бы любой правде, в порыве искренности и старческого сарказма исходящей из уст Джейка Вели. Даже когда тот нагнулся и трижды яростно хлопнул ладонью по жиденькому дерну, прохрипев: "Это правда. Ей-богу, правда! Я там был. Это правда!"

Люди не поверили бы ему и его правде, они вынужденно верили лишь тому, что не сбивало их с выбранного пути.

Но всей правды Джейк Вели не знал. Все ее знавшие — знавшие, как погиб Сэт Сайкс, — давно умерли. Правду знали янки из того разъезда и Сайксова жена, но они умерли.

У Сэта Сайкса было сто акров земли на холме; каждый год ливни срывали с вершины почву и уносили ее вдоль борозд вниз, а солнце круглое лето прокаливало известняк. Он жил в бревенчатом доме с женой и двумя детьми, и весь мир кругом ограничивался его участком. До происходящего за пределами этого мирка в огромном враждебном мире ему не было дела. На бардсвилльских улицах мужчины рассказывали ему о войне.

— Что мне за дело до вашего откола? — отвечал он и пожимал худыми плечами. — Что мне ниггеры? Да пропади они вовсе, мне-то что?

Они стращали его приходом янки.

— Янки, — говорил он, — а мне что за дело? Янки, ниггеры — один черт.

У него даже случилась драка не на живот, а на смерть с кем-то на улице в Бардсвилле, он был сильно избит и вернулся домой весь в крови.

Потом настала зима, и Сэт больше не ходил в Бардсвилл, он засел в своем бревенчатом доме на холме, как медведь или какой-нибудь суслик, ел наструганную ломтиками свинину от своих тощих хрюшек, которых зарезал по первому морозу, и сплюснутые кукурузные лепешки и подбрасывал в огонь охапки дров.

Потом пришли янки. Сэт Сайкс, склонившись на рассвете над очагом, чтобы раздуть огонь, услыхал выстрелы на большаке. Когда он спустился по тропинке, ополченцы уже удирали во все лопатки по склону в

город, а на большаке лежало тело Кассиуса Перкинса. Кассиус Перкинс был тот человек, с кем он подрался в Бардсвилле.

Сэт вышел на большак к одетым в синее кавалеристам на неспокойных лошадях, кивнул, поздоровался. Стал над телом Кассиуса Перкинса — тот лежал растянувшись во весь рост, ничком, раскинутыми руками подгребая большак под грудь, — поковырял башмаком гравий и сказал:

— Откололись. Чего я им говорил.

Он глянул вверх на молодого мужчину со светлыми шелковистыми усиками и спросил:

— Ты капитан?

— Я лейтенант Виггинс, — ответил мужчина; его длиннополая синяя шинель казалась слишком большой для него и тяжелой, будто наброшенное на детские плечи одеяло. Когда он говорил, над желтыми усиками в тихом воздухе поднимался пар.

— Ты главный над этими ребятами?

— Я командир, — ответил молодой мужчина.

Сэт Сайкс поглядел на тело, распластанное на шоссе. Пальцем потрогал свежий шрам на подбородке: этот человек пнул его лежачего. Отвел взгляд от тела и поднял глаза на лейтенанта.

— Вы тут голодные, — не спросил, а утверждающе сказал он. — Потом прибавил: — Я дам вам мяса. Пожарите на костре. — Он кивнул в сторону рощицы, где слабо дымился последний лагерный костер.

Неловко, враскачку ступая по мерзлой щербатой земле, он свернул на тропинку. За Сэтом шагом поехал лейтенант, следом двинулись остальные. Поднялись во двор. Сэт Сайкс ушел в коптильню. Кто-то из мужчин спешился и посмотрел на деревянную кормушку возле хлева. Не успел Сэт Сайкс вернуться, как тот уже сообщал лейтенанту:

— У них кукуруза.

— Отлично, — сказал лейтенант. — Возьмите ту повозку. — Он кивнул на повозку, стоявшую возле хлева.

Когда Сэт Сайкс, с копченой свиной лопаткой в руках, вышел из коптильни, он увидел, что они запрягают в повозку его мулов.

— Что вы делаете? — воскликнул он.

Лейтенант объяснил и сказал, что ему заплатят.

— Это моя кукуруза, — ровным голосом уточнил Сэт Сайкс.

— Тебе заплатят. Я выпишу ордер.

Сэт Сайкс оглядел лейтенанта с головы до кончиков шпор. Затем не спеша повернулся, бросил копченую лопатку и направился к людям возле повозки. Он подошел к кавалеристу, державшему за узду ближайшего мула.

— Отпусти его, — сказал он.

Сэт Сайкс взял кавалериста за руку и развернул к себе. Тот махом сбил его на землю. Другой кавалерист встал над ним с карабином. Сэт Сайкс лежал на мерзлой земле и глядел, как они впрягают мулов и нагружают повозку. На шум из дома выбежала Сайксова жена. Ее схватил один из кавалеристов.

Когда повозку загрузили, лейтенант распорядился:

— Пусть поднимется.

Процессия двинулась по тропинке; лейтенант ехал впереди, рядом с ним кавалерист вел в поводу лошадь своего товарища, который теперь управлял повозкой. Два кавалериста ехали сзади. Колеса повозки поскрипывали на ухабах.

Они почти добрались до большака, как вдруг из-под земли вырос Сэт Сайкс. Он прибежал за ними по тропинке.

— Сэт! — звала его жена. — Сэт!

Ее голос тонул в чистом сером небе над огромным холмом.

Он настиг их в тот момент, когда повозка только выезжала на большак. По канаве забежал в голову колонны, кавалеристы безразлично провожали его глазами. Лейтенант повернулся в седле.

— Иди домой, — сурово приказал он.

— Это моя кукуруза! — выкрикнул Сэт Сайкс и выскочил из канавы на дорогу перед лейтенантом.

— Ступай назад! — властно и уже раздраженно прикрикнул лейтенант.

Под взглядом кавалеристов Сэт Сайкс придвинулся ближе. Вцепившись лейтенанту в ногу, он кричал:

— Это моя кукуруза!

Лейтенант нагнулся и затянутым в перчатку кулаком ударил его по голове. Лошадь отпрянула, лейтенант едва не вылетел из седла.

Но к ним уже подскочил соседний кавалерист. Свесившись с седла, он ухватил Сэта Сайкса за длинные нечесаные космы, оттянул голову назад и, аккуратно приставив к ней пистолетное дуло, нажал на спусковой крючок.

Тело обмякло и повалилось на землю между лошадьми, как мешок с кукурузными початками.

Лошади шарахнулись в сторону и стали. Глаза стрелявшего кавалериста, тускло светящиеся на мясистом бородатом лице, встретились со светлыми изумленными глазами лейтенанта.

— Я не давал команды, — неуверенно произнес лейтенант.

Бородатый кавалерист не ответил. Он взглянул на тело и угрюмо спрятал оружие в кобуру.

— Смотри! — вскрикнул лейтенант, обнаружив, что его сапоги с брюками забрызганы мозгами и кровью. — Смотри! — в его голосе смешались боль, отчаяние, ярость, он указывал на испачканные ткань и кожу. — Смотри, ты это все на меня!

Пустым утром, под взглядами пустых глаз, он перегнулся через луку седла; его рвало.

Когда разъезд уехал, жена Сэта Сайкса вышла и отволокла тело в дом.

Вот какова была правда и как Сэт Сайкс стал героем.

Опять, как в случае с Кассиусом Перкинсом, здесь оказалась замешана кукуруза, так что, возможно, в ее-то честь и следовало поставить памятник, причем не только вырезать на нем бутылку кукурузного виски Кэша, как предлагал Джейк Вели, но и окружить бутылку на вершине обелиска венком из кукурузных листьев и молодых початков, вроде тех, что выращивал у себя на холме Сэт Сайкс. Обелиск этот, с бутылкой и венком из кукурузы, никоим образом не оскорбил бы память Сэта Сайкса и Кассиуса Перкинса, равно как вообще любого когда-либо погибшего героя. Ибо вполне вероятно, что Сэт и Кэш мало чем отличались от других героев, мужчин, которые напились виски или чего-нибудь столь же крепкого, а лошадь понесла их в самую гущу неприятеля, либо тех, что пали, отстаивая кормушку с кукурузой или чем-нибудь другим, выращенным в поте лица.

Но обелиск у обочины слепящего глаза бетонного шоссе — простой столб, без бутылки и венка, только два имени и надпись, возле которых

и шага не замедлишь. Вполне возможно, вы вообще его не заметите: дорога переваливает через вершину холма, и шины шипя плавно скользят в долину по мосту над Кадмановым ручьем, мимо призывной вывески клуба "Ротари"[1], мимо разрушенной мельницы; позади остаются военный завод, мебельная фабрика, табачные склады и угольные дворы, потом заурчавший мотор проносит вас через негритянский поселок, где по обеим сторонам бетонного полотна ветвятся между хибарами грязные дорожки и большеглазый полуголый шоколадный негритенок под кустом красных роз отнесется к вашему мимолетному появлению с философской невозмутимостью.

По холму вы выедете на площадь с бензоколонкой и пообедаете в ресторанчике с видом на реку — в январе 1862 года туда залетел снаряд с федералистской канонерки и перевернул все вверх дном. (Дальше канонерки поднялись по реке, наткнулись на ружейную пальбу местного ополчения, дали три залпа по береговым обрывам и взяли Бардсвилл.) Обед вам подаст белая девушка в зеленой форме, с кроваво-красными губами и неизменно презрительной миной: прежних ловких, проницательных, седовласых пожилых официантов-негров больше нет, приходите еще, сэр. После обеда вы подниметесь с Чилтон авеню на Растреклятый холм, а там доберетесь до шоссе 83 и повернете на юг к сердцу Южных штатов.

Растреклятый холм — самый высокий обрыв над обегающей Бардсвилл западной частью цифры V. Когда-то его покрывали леса: могучие дубы и тюльпанные деревья, а на западном уступе — над пытливо ощупывающими известняковое лицо кедрами, над широкой рекой и гущей сахарного тростника на другом берегу — разместилась заросшая травой поляна. Однажды в июне 1778 или 1779 года, под вечер, на поляну вышел человек по имени Лем Лавхарт и, опершись на длинную винтовку, устремил взгляд за реку. На нем были кожаные штаны, куртка из оленьей кожи с бахромой, какие носили переселенцы, и енотовая шапка. На боку висели нож и рог для пороха, а на спине — завернутый в кожу и перетянутый ремнями тюк. Этот человек родился тридцать пять лет назад в лачуге в предгорьях Северной Каролины, пятнадцати лет убежал из дома с охотниками, торговал с индейцами чероки и спустился в большие долины за горами, гонимый каким-то жгучим смутным беспокойством, которое он не умел назвать. Зимовал он в хижине где-то на юге теперешнего Теннесси, один, а с весной двинулся на северо-запад, медленно и бесцельно петляя, словно странствуя во сне. Это был невысокий коренастый мужчина, мускулистый, но с жирком, легко и обильно потеющий. От его кожаной одежды исходил смрад зимнего лежбища, и теперь, утомленный подъемом на обрыв, он стоял на краю поляны и потел медвежьим жиром и олениной, из которых нарастил мякоть на своих широких костях.

Под обрывом он нашел ручей, подстрелил двух белок, изжарил их на костерке и поужинал; близился закат, пламенеющее светило садилось на западе за поля сахарного тростника. Он лег в траву посреди глубокого безмолвия, изредка нарушаемого плавным, убаюкивающим журчанием малиновки или самочинным взрывом птичьих трелей на соседнем кедре; и отчего-то кожаное сердце вдруг набухло и размякло у него в груди, и он заплакал.

1. Клуб "Ротари" — местное отделение элитарной общественной организации "Ротари интернэшнл", объединяющей представителей деловых кругов.

Он заплакал не потому, что вспомнил дом и недолгую пору ласки и любви, за которой последовали годы одиночества и непоседливости, невзгод и жестокости, смерти. По правде говоря, в тот миг он ни о чем не вспоминал и ни о чем не думал. Его немного удивляло то, что он вообще мог плакать. Но слезы текли. Он почувствовал себя легким и счастливым; настала ночь, и он уснул, как ребенок.

Спустя три года он привел на обрыв партию поселенцев. Выстроил хижину и женился на пятнадцатилетней девушке, дочери одного из поселенцев. У них родилось трое детей, два мальчика и девочка, а когда старшему сравнялось семь, отца за семьдесят пять миль к югу от дома, где он разведывал местность, убил и оскальпировал чикасо.

Его праправнук, Болтон Лавхарт, живет сейчас на склоне Растреклятого холма в старом кирпичном доме, на полпути к площади. Все большие дома в Бардсвилле, за исключением нескольких новых, построенных в благодатные 1920-е на "Чилтонском перевале" — пятачке возле местного клуба, — находятся на Растреклятом холме. Постройка больших домов на холме началась более ста лет назад, когда самые удачливые сыновья пионеров постепенно превратились в земельных спекулянтов и табачных плантаторов, переправлявших лист вниз по реке. Первый дом выстроил в 1811 году Толливер Скаггс: подростком он пришел с партией Лавхарта, молодым парнем прославился тем, что лихо управлялся с бутылкой, конем и ножом, покуда не ударился в религию и не сделался ярым пресвитерианцем, процветающим и почти бессмертным; в старости, когда ему перевалило за девяносто, он сказал:

— Я пришел сюда рано. Я пришел одним из первых. Я снял скальп с первого индейца. Убил последнего медведя. Опустошил первую бутылку виски и сбыл первую бочку табака, и я, ей-богу, думаю, что я принес цивилизацию в округ Каррадерс.

Он говорил правду, даже насчет первого индейца, и он к тому же построил первый кирпичный дом на холме — небольшое, но прочное прямоугольное сооружение среди дубов.

Остальные дома появлялись в течение последующих сорока-пятидесяти лет, по мере того как удачливые внуки пионеров выживали своих неудачливых ровесников с хороших табачных земель либо становились банкирами и выживали с насиженных хороших земель удачливых собратьев. Но дворцов среди этих домов не было. Они представляли собой большие прочные здания с высокими потолками; в белых портиках летом нежились собаки, а на скамьях валялись седла и сапоги. В годы тридцатые-сороковые, когда социальная структура Бардсвилла стала усложняться, люди, жившие у площади, со смесью иронии и зависти прозвали холм "Аристократовым". В устах тех, кто жил не у площади, а внизу у ручья, название это сменилось на "Растикратов холм", а потом, без зависти и иронии, но с бородатой, желтозубой, кривой ухмылкой — на "Растреклятый". И "Растреклятый холм" прижился среди всех, кроме разве агентов по продаже недвижимости и дам, обитающих в этих старых кирпичных домах и по утрам провожающих мужей в конторы, банки, аптеки, страховые компании, на фабрики или склады.

Болтон Лавхарт, праправнук Лема Лавхарта, живет в доме пусть не самом лучшем, зато тоже расположенном на склоне холма. Возможно, вы даже не обратите внимания на этот дом, ничем не замечательный, если не считать заглохшего газона и отсутствующих ворот кованой железной ограды. И уж вряд ли увидите Болтона Лавхарта, высокого худоща-

вого мужчину шестидесяти семи лет в мятом пиджаке без пуговиц, лысого, с седыми обвисшими усами над мягким ртом; неугомонные ловкие руки с длинными пальцами и тонкой кожей испещрены голубыми жилками и коричневыми пятнами. Не увидите вы его потому, что он, по всей вероятности, будет на чердаке, с цирком.

Болтон Лавхарт родился в этом доме в семье майора конфедератской армии, а к моменту рождения сына — епископального священника; мать его, разочаровавшись в брачном ложе, нашла себя в страстной привязанности к епископальной церкви, своему позднему болезненному ребенку и имени "Болтон". В действительности первые две страсти являлись продолжением третьей — ибо епископальная церковь (ее отец был приходским священником) и сын обретали святость исключительно в силу своей кровной связи с Болтоном.

Было бы неверно назвать ее чувство к своему ребенку любовью — предельно эгоистичное по сути, оно превратилось в бескорыстную и всепоглощающую страсть. Но раз уж нет иного названия и раз уж любовью именуются многие другие, столь же темные и глубокие, страсти, обозначим этим словом то, что управляло ею и управляло ее ребенком, посредством тысячи невидимых нитей контролируя малейшее движение его конечностей, губ и мысли — будто умной марионеткой с красивыми каштановыми кудрями и в бархатной куртке с кружевным воротничком.

По утрам в весенние воскресные дни соседи видели маленького мальчика, между рядами нарциссов бредущего по дубовой аллее к железным воротам, рядом с которыми находились каменная подножка для экипажей и увенчанная лошадиной головой коновязь; его сопровождали высокий, одетый в черное мужчина и худая, одетая в черное женщина с костистым лицом. Мальчик с такой придирчивой аккуратностью и трогательной немощью переставлял по мшистым кирпичам свои изящные ножки в маленьких ботиночках (черные ботиночки с красными пуговицами), будто каждый шаг заключал в себе задачу, обдуманную и решенную. Мужчина и женщина приноравливались к его шагу, и тридцать ярдов от портика до ворот казались бесконечными. Глядя на них с расстояния шестидесяти лет, мы видим их почти застывшими на месте, как на фотографии в альбоме, — милое и непреложное свидетельство былого. Наконец они добираются до ворот со скрипучими петлями и с той же скоростью движутся по кирпичному тротуару к церкви Святого Луки.

Мужчина, Саймон Лавхарт, идет не поднимая глаз, словно не замечает ни своих спутников, ни улицы. Иногда он их все же замечает — посреди ночи или весенней улицы, видит плотную, вибрирующую гигантскую паутину жизни, связывающую друг с другом женщину и ребенка, жреца и жертву (но кто из них кто? спрашивает он себя: разве настоящее не есть жертва прошлого, а прошлое — настоящего?), и когда он видит эту паутину, эти бесчисленные темные, пульсирующие щупальца — ему кажется, что он одиноко стоит у самого края, на уступе, и где-то за спиной далеко в ночи неистовствует ветер. Там он ни о чем не жалеет. Он выше сожалений. Ветер накинется на него — он только плотнее запахнет пальто и застегнется на все пуговицы. Случись ему у себя дома задеть хотя бы одну, тончайшую, нить паутины — и он замирает на месте, трепеща каждой клеточкой.

Свое нездоровье он списывает на старую рану: засевшую в бедре шрапнель, из-за которой появилась заметная, но почти не беспокоящая его хромота. По ночам в левой ноге бешено толкается кровь, часами не

давая ему уснуть. Когда погода хмурится или подходит зима, нога дает о себе знать. Шрапнель, размером с ноготь большого пальца, давно уже любовно омытая его кровью, ценным грузом лежит в своем теплом тайном кармашке в недрах его плоти, как драгоценность или талисман, и сообщает все, что нужно. Шрапнель отпускает ему грехи и делает счастливым. Он принадлежит к тем счастливчикам, которые все могут объяснить. Не каждый способен проникнуть в собственное бедро и осознать правду — не больше ореха, но тяжелую, как свинец. Это соображение приглушает ужас, что вышвырнул Саймона Лавхарта из седла на исходе битвы при Франклине[1]: он лежал, а над ним с чудовищной скоростью несся хаотичный поток. Человек хочет знать правду, тогда он становится выше всех страстей, а Саймон Лавхарт знал правду. В бедре — шрапнель, в руке — молитвенник, он идет по улице с женой и сыном и знает все, что ему нужно знать. Шрапнель и книга — его жезл и его посох, и они успокаивают его.

Соседи видели маленького Болтона Лавхарта, с отцом и матерью бредущего между нарциссов. Видели его постарше, лет, скажем, девяти, в погожий осенний день гуляющим по широкому двору: кудри теперь вьются чуть меньше, узкие голубые брючки из саржи едва доходят до колен, и по бокам, над отворотами, красуются пуговицы — по три на каждой ноге. Он медленно ходит по двору, пристально вглядываясь в землю, словно что-то потерял в хрустком ковре охряных дубовых листьев. Он шуршит листвой, но так тихо, так мягко.

— Нет, — говорит ему мать, — тебе нельзя играть с Олстонами.

— Почему?

— Не твое дело допрашивать мать. Но я скажу тебе. Олстоны вульгарны.

— Что такое "вульгарны"?

— То, каким ты никогда не должен быть.

Соседи видели, как он гуляет по опавшей листве, но не видели его в те мгновения, когда миссис Лавхарт вдруг бросалась на колени, впивалась пальцами в худенькую спину и притискивала мальчика к своей груди — в этой рабской позе она на несколько минут замирала посреди одной из пустых комнат, где с высокого потолка черной вуалью свисали тени. Он привык к этому и стоит терпеливо; наконец она отталкивает его и, охнув, как от боли, быстро встает с колен; ее желтоватое стянутое лицо уплывает в другую, почти такую же, комнату.

Он был хорошим ребенком, послушным и прилежным. Много читал. Читал Библию и книги по истории, которые давал отец или он сам брал в отцовском кабинете. На обрыве за домом он собрал коллекцию кремневых наконечников для стрел. Собирал он также марки и знал столицы всех стран мира на большой карте и все цвета, которыми эти страны обозначались. Иногда представлял себя высоко в небе — как Бог, он обозревает целый мир; тогда страны представали перед ним в лучах солнца, раскрашенные каждая в свой цвет. Его сокровища хранились в большой комнате на чердаке вместе с кавалерийской саблей, которой когда-то давно вроде бы размахивал отец, и полковым красно-синим знаменем, местами вылинявшим. Мать думала, что он станет священником.

Хорошим ребенком он был до лета 1892-го; ему скоро исполнялось двенадцать. Тогда он неожиданно даже для себя совершил проступок,

1. Битва при Франклине (Центральный Теннесси) произошла 30 ноября 1864 года.

вызвавший в городе пересуды и чрезвычайно смутивший родителей. В одной из баптистских сект в поселке у Кадманова ручья происходило молельное собрание. Тихими августовскими вечерами до Растреклятого холма доносилось оттуда пение — неслышнее шепота, просто ритмическая пульсация воздуха. В последнее воскресенье августа собрание завершилось многолюдным крещением в ручье, выше поселка, где вода не загрязнялась общественными отходами.

Тем воскресным днем Болтон Лавхарт вышел из ворот и пошел через город к ручью. Он говорил себе, что идет к ручью искать наконечники для стрел. Джон Сандерс, его одноклассник, нашел там кремневый топор. Дойдя до Гаптоновой мельницы, уже тогда, в девяностые годы, всего-навсего груды камней, чуть выше по течению он услышал хор. Но густой сахарный тростник и большие косматые ивы, заполонившие берег, а также росший поодаль, на ровной земле, орешник с шершавой корой мешали ему что-либо увидеть. Он пошел вдоль ручья по заброшенному, поросшему бурьяном полю, которое открывалось за тростником и деревьями. Старая сука, по виду гончая, с желтой, словно отслаивающейся от реберных дуг шкурой, увязалась за ним у самых хижин внизу холма и теперь бежала следом на почтительном расстоянии. Когда он понял, что она не отстает, он повернулся и крикнул, чтобы она уходила. Она остановилась шагах в десяти и смотрела на него скорбно и испытующе, будто была в чем-то виновата. Он снова крикнул ей и прошел еще немного. Собака за ним. Он нагнулся и подобрал горсть камней. Один за другим швырнул их в собаку. Та не отвернулась, не уклонилась, лишь припала на передние лапы и стояла под камнями, поджав хвост и опустив морду. Последний камень с тупым деревянным звуком стукнулся ей о морду. Собака не шевельнулась, не заскулила. Символом средневекового голода, шелудивой дряблососочной кротости и скорбного вселенского всепрощения стояла собака перед мальчиком, дрожа в сверкании августовского дня.

Мальчик, бледный от ярости и злобы, стоял под взглядом устремленных на него глаз и вдруг ощутил себя потерянным и одиноким. Он ощутил, что никто его не знает и что в целом огромном мире для него не найдется местечка. Потом он снова зашагал на звук голосов и нарочно не оборачивался. Собака за ним не пошла.

В излучине ручья ивы расступились, и он увидел поющих. Песчаная отмель вклинивалась здесь в поток, воде приходилось пробираться в теснине, и выше ее образовалась широкая заводь. На берегу и на отмели стояли люди и пели. На незнакомого мальчика никто не обратил внимания. Остановись на нем хоть пара глаз — он ушел бы бродить по миру, так велико было его чувство растерянности и одиночества. Никто, однако, его не заметил. Он подошел ближе и, бесшумный, как мысль, стороной двинулся к отмели, откуда было лучше видно.

В заводи по пояс в зеленой воде стоял высокий проповедник; мелкие волны легко толкались в дальний берег, омывая никлые ивовые ветви и мягко качая уплывшие на простор мелкие сучки и желтые листья. С черного сюртука проповедника стекали блескучие капли, и кое-где к этой сверкающей черной одежде прилипли золотые ивовые листья. Когда Болтон Лавхарт вышел на отмель, какой-то мужчина вел в воду одну из спасенных, худенькую девочку лет четырнадцати в белом мешковатом платье. Девочка робела; вода доходила ей до бедер, и белое платье вздувалось, как у танцовщицы. Мужчина нетерпеливо потянул ее за руку.

Она неуверенно шагнула вперед, потом обернулась и обвела поле, небо и ряды обращенных ввысь поющих лиц испуганным, ищущим, умоляющим взглядом. Но лица людей, поглощенных пением, были бесстрастны. Рука мужчины неумолимо тянула ее дальше; внезапно она перестала сопротивляться, тело качнулось вперед, и под пение толпы "Пусть приступят к нам воды..." — девочка стала заходить на глубину.

Свободной рукой она тщетно пыталась прибить пузырящийся подол белого платья.

Проповедник развернул ее к людям. Во внезапно наставшей тишине он, воздев руку к небесам, выкликнул ее имя и произнес слова обряда. Затем, поддерживая под спину, стал ее опрокидывать. Какое-то мгновение она не поддавалась, а когда он протянул было другую руку — положить на лицо, чтобы она не захлебнулась, — она порывисто ухватилась за нее обеими руками и прижала к груди. И тут же сдалась и, прогнувшись в спине — голова запрокинута, широко раскрытые глаза неотрывно глядят в небо, — ушла под воду.

Проповедник быстро вытолкнул ее обратно. Тот же мужчина повел девочку к насыпи. Там, едва слышно повизгивая, ей раскрывала объятия литая женщина в добротном черном платье. Вновь грянуло пение. Женщина ступила в воду, не заботясь о туфлях и платье, и обняла девочку; пятясь, она увлекла ее за собой и, прижавшись к ней, опустилась на колени:

— Моя малышка спасена! Моя малышка спасена! Хвала Иисусу, да святится Его имя! — закричала женщина, перекрывая поющие голоса. Девочка смущенно стояла рядом, белое платье облепляло костлявое тельце, мокрые волосы сосульками свисали на щеки и шею, по озадаченному сморщенному лицу стекала вода.

Следующим повели высокого нескладного парня лет восемнадцати-двадцати, он смело шагал за своим проводником. Затем настал черед других: старика, двух женщин и четырех или пяти больших детей. А затем в ожидании своей очереди у кромки воды стал Болтон Лавхарт, и под звуки песнопений мужчина взял его за руку и повел на глубину.

Сразу после крещения Болтон Лавхарт ушел от людей у ручья. Но домой направился не сразу. Он побрел по полю к роще возле старой мельницы. Еще насквозь мокрый, он спрятался в зарослях, среди шершавой коры, и ждал, сам не зная чего. Ему не хотелось думать о том, что пора домой и что скоро наступит ночь. Ему была невыносима мысль провести здесь всю ночь одному, среди деревьев, во тьме-тьмущей. Он хотел умереть.

Но он не умер, и ночь наступила. Незадолго до полной темноты, мокрый, растрепанный, по колено в дорожной пыли, прилипшей к сырым ногам, он свернул в ворота своего дома. Матери сказал, что упал в ручей у старой мельницы. Отмытому и переодетому, отец прочел ему наставление, а мать с неподвижным лицом стояла рядом, стиснув руки. Когда отец уходил в церковь на вечернюю службу, у мальчика поднялась температура. Саймон Лавхарт был вынужден идти в церковь, а миссис Лавхарт и доктор Джордан остались у постели больного.

На следующий день миссис Лавхарт узнала правду. Об этом шумел весь Бардсвилл: за утренним чаем, в магазинах, по гудящим телефонным проводам. Но болезнь избавила мальчика от наказания, он лежал в постели — слабый, невинный, лукавый — и наблюдал, как наливается утренняя заря и гаснет день. Он больше не хотел умереть; выздороветь,

впрочем, тоже. Ему хотелось всегда лежать вот так, а день и ночь в неспешном плавном ритме пусть сменяют друг друга, как морские приливы и отливы.

Но он выздоровел и вернулся в мир, где жили люди.

Перед самым Рождеством, надев черный костюм с белым крахмальным воротничком, он отправился на конфирмацию в церковь Святого Луки.

— Слыхали, — говорил старый Айк Спэкмен, склонившись над горном в кузнице, — слыхали, как того мальчонку взяли в епископальную церковь? Его мамаша сама пошла и купила самый большущий котел в округе Каррадерс и целую неделю варила этого выродка, покуда из него вся баптистская водичка не повыходила, — тогда уж они ему дали малость тела и крови епископального Иисуса.

Он бросил зажатую в щипцах раскаленную подкову на наковальню и для начала пару раз ударил по ней молотом.

— Но, клянусь, толку от этого мало. Коль кто окрестился в баптисты — ничем того не вываришь. Сошла благодать — другой не видать. Вот вам крест. Клянусь, этот пацан нынче такой точно баптист, как любой малек в ручье.

Был ли он таким же баптистом, как любой пескарь в Кадмановом ручье, Болтон Лавхарт не знал. Жизнь его потекла по прежнему руслу. Он читал книги и разглядывал марки и наконечники. Теперь он ходил в мужскую академию[1] профессора Дартера и усердно учился. Особенно ему давался греческий, и он радовался, когда его хвалили.

Когда ему было шестнадцать, в город приехал цирк.

Когда цирк уехал, Болтон Лавхарт отправился с ним. Не в пример скороспелому крещению побег был тщательно продуман. Однажды днем, дождавшись, когда мать вышла, он выволок из чулана чемодан, сложил в него костюм, три рубашки и всякую мелочь вроде носков, лучшие наконечники и бутерброды. Затем отнес чемодан к реке, у которой кончались владения Лавхартов, на пастбище позади заброшенного каретного сарая, и спрятал его в кустах бузины и сумаха. В ту же ночь он написал матери стратегическую записку, что едет в Нашвилл, чтобы начать самостоятельную жизнь, и, когда родители уснули, выбрался из дому (в кармане месячные деньги и десятидолларовый золотой кругляшок, подарок к Рождеству), забрал чемодан и по тропинке вдоль обрыва пошел в город. Ночь выдалась звездная, но он с легкостью мог бы пройти по этой головокружительной козьей тропе среди кедров и трухлявого известняка даже самой темной ночью — настолько привычны к ней были ноги. Недаром так много одиноких одинаковых дней он провел на этом обрыве, глядя на реку.

Пусть побег и был тщательно продуман, однако за этими приготовлениями скрывалась потребность столь же сильная и неизученная, как и та, что толкнула его в воды Кадманова ручья. Либо вовсе не поддающаяся изучению; допустим, ее возможно изучить, проанализировать даже одну за одной ее составляющие, разве не столкнется он тогда, в сокровеннейшей своей глубине, где неважными станут все планы, намерения, суждения, все в мире книги, истории, проповеди и молитвы, понятия "хорошо" и "плохо", "трусость" и "отвага", с каменноликой неизбежностью, которая покоится во тьме, свернувшись туго, как пружина его суще-

1. В США академией называют привилегированное среднее учебное заведение или частную среднюю школу-интернат.

ства; ее круглые немигающие глаза властно мерцают, освещая это потаенное место и с неумолимостью судьбы приковывая его взгляд? Но он не пытался ничего анализировать. Он все продумал, уложил чемодан и под покровом ночи сбежал: по обрыву в город, обогнул площадь и добрался до железнодорожного тупика, где при свете костров и факелов цирковые люди грузили шатры, зверей и разные приспособления.

Он не стал подходить, а остановился в тени, вдыхая запах дыма, прогорклого масла и пыли; крепко пахло большими животными, раздавались приказы, ворчали и огрызались звери; он смотрел на эту кутерьму, такую же, что царила когда-то на огненных дионисийских вакханалиях или среди объятых ужасом варваров, — на буйство красок, бряцание металла, парадный блеск и первобытных символических тварей, — в племени, спасающемся от вселенского огня или потопа. Когда все улеглось и прогорели костры, он спрятался в том вагоне, куда, он видел, сложили парусину и ящики. Спустя час поезд дернулся, лязгнул; сперва он шел рывками, со скрипом, который потом сменился ровным шумом и перестуком колес. Еще через пятнадцать минут далеко впереди глухо засвистел паровоз, и он понял, что они в десяти милях от Бардсвилла, у Беделлова переезда. Почти сразу он уснул на парусине и очнулся, когда день был в разгаре.

Поезд стоял неподвижно. Мальчик выбрался из своего укрытия. На открытом пространстве возле путей не было никого, лишь на ящике сидел старик в комбинезоне, разбитых сапогах и сомбреро и ел бутерброд. Старик не заметил, как он вылезал из вагона. Болтон увидел, что поезд стоит на окраине большого города: на убитой угольной земле выстроились сараи, за ними виднелись крыши и высокие здания. Что это за город, он не знал.

Он подошел к сараям с дальнего от старика угла, будто идет из города. Зайдя под навес к старику, назвался Джо Рэндаллом и сказал, что ищет работу. Сказал, что он сирота.

— Дурень ты набитый, — отозвался старик, глядя из-под сомбреро мутными прищуренными глазами.

— Я ищу работу, — произнес мальчик, ощущая в себе силу и уверенность и совсем не боясь старика. Прежде с ним такого не бывало. — Любую, — добавил он. — Я буду делать все.

— По тебе не скажешь, — заметил старик, оглядывая щуплого рослого мальчика прозорливо и презрительно, как лошадиный барышник негодную клячу.

— Я сильнее, чем кажусь, — ответил мальчик.

— Дурень ты набитый, — повторил старик, — хотя ладно, можешь наносить зверюгам воды. И покормить.

Старик был одним из безымянных, не считая краткого "Тим", рабочих в зверинце — затурканный, покорный. Прикинул он на неделю, от силы на две вперед: погоняет мальчонку, сам малость побездельничает, покуда не случится чего-нибудь с этим дурачком, который такой же сирота, как сам он — архангел Гавриил. Случись чего, он ни при чем. Он ничего не знал. Он не обещал ему платить. В столовом вагоне всегда вдоволь еды, объедков каких-нибудь.

И Болтон Лавхарт под руководством старика носил воду, таскал корзины и ведра с кормом для животных, кровавое мясо и скользкую мешанину, подкидывал сено. В первый же день кто-то украл его чемодан. Он словно и не заметил. Он вообще ничего не замечал — ноющую спину,

боль в руках, тошнотворную усталость. Поужинал объедками, которые принес Тим, и спал на соломе в вагоне.

На второй день, перед началом представления, к нему подошел упитанный мужчина в сером твидовом костюме, с сигарой и бриллиантовым кольцом.

— Как тебя зовут? — осведомился он.

— Джо Рэндалл, — ответил мальчик.

— Врешь, сопляк, — сказал мужчина. — А ну говори, как тебя зовут. Я директор цирка, и, ей-богу, мне не нужны неприятности с полицией из-за какого-то там сопляка. Как тебя зовут?

— Джо Рэндалл, — ответил мальчик, опять ощутив приятные, непривычные силу и уверенность, пробивающиеся сквозь страх.

Директор хотел что-то сказать, но тут подскочил другой мужчина и обратился к нему.

— Я с тобой потом разберусь, — бросил мальчику директор, отворачиваясь.

А после представления, пришли детектив и Саймон Лавхарт. Их появление отсрочила записка, уводящая в Нашвилл, и миссис Лавхарт, которая боялась скандала. Но теперь они стояли в толпе циркового люда, среди шатров, клеток и бедлама, и смотрели на Болтона Лавхарта, которого оставили сила и уверенность. В тот же вечер они сели на поезд из Мемфиса в Бардсвилл.

Дома все пошло по-прежнему. Правда, мальчики в академии постоянно выспрашивали у него про цирк. На время он сделался чем-то вроде героя. Но его это совсем не радовало. Память, как старая болячка, заживала медленно и, как сломанная кость, мешала двигаться, вынуждая быть осторожным в жестах и речи. Но оставались книги. Он читал, выслушивал похвалы учителей и родителей, часами сидел на чердаке с марками, флагом, саблей, наконечниками (лучшие пропали вместе с чемоданом), проводил на обрыве дымчатые осенние дни, молча ходил по дому, осторожно наступая на предательские половицы, и если к нему обращались родители, покорно отвечал: “Да, мама”. Или: “Да, отец”. Или: “Да, мама. Прости, что заставил тебя волноваться. Буду сидеть спокойно”. Он научился сидеть спокойно, разглядывая ее желтоватое лицо в круге света, падающего от лампы.

Окончил академию он первым учеником в классе. В награду профессор Дартер вручил ему на сцене греческое Евангелие. Отец с матерью подумывали отправить его осенью в колледж, в Университет Юга, епископальный университет, который находился в Суони, в горах Теннесси. Он часто думал о горах. Гор он никогда не видел, только на картинках: Гималаи, Маттерхорн, пик Пайка, гора Шаста, Анды; на картинках в книжках: огромные, стеной встающие скалы, черные сосны и над всем — сверкающая, умиротворенная вершина, устремленная к звездам. Он знал, что в Суони будет совсем не так, но картинка засела в голове, в мечтах. Он знал, что горы в Восточном Теннесси совсем не такие — просто большие холмы с деревьями, чуть больше, чем холмы в округе Каррадерс. Суони — тот же Теннесси. Но картинка не исчезала.

Потом умер отец. Однажды утром, в самом начале сентября, Саймон Лавхарт поднимался по кирпичной дорожке к дому, и его хватил удар. Он упал на замшелые кирпичи среди первых хрустких охряных дубовых листьев и пожухлых зеленых стрел нарциссов, окаймлявших дорожку. Миссис Лавхарт видела, как он упал. Она бросилась под дубы, присела

рядом с ним и, запрокинув голову, закричала дико и горестно — а может, дико и торжествующе. Впоследствии стало ясно, что то были крики торжества; ибо никто не ведает, что значит его неистовый крик, которым кричит он, покуда плоть страсти не усохнет и не обнажится строгое, логичное сочленение факта с фактом в скелете Времени.

Соседи услышали крики, помогли отнести упавшего в дом и уложить на кровать. Саймон Лавхарт пришел в себя и лежал, вытянувшись и закрыв глаза. Он испытал все это раньше, гораздо раньше, на поле под Франклином: его вырвало из седла и швырнуло наземь; вокруг грохотало, в клочья разлетался дым и как подкошенные падали знамена. И он снова испытал, в укороченном и слитом времени, настоящее, истинное потрясение: неистовую ярость вдруг разом сменил покой. *Все очень просто*, думал он, *все что ни есть*. Но он давным-давно это знал. И он лежал еще два дня и две ночи, умирая с благопристойной неуловимой стремительностью — так убегает разлитая ртуть в черную крысиную нору.

Перед смертью вернулись силы и речь, и к нему пустили Болтона Лавхарта. Мальчик стоял у кровати и ждал, прислушиваясь к трудному и хриплому дыханию в сумерках. Потом позвал:

— Отец.

Еще:

— Отец.

— Все-хо-ро-шо-сы-нок, — отозвался голос с кровати, голос из дали и из давности.

Он опустился на колени, взял отцову руку — холодная и восковая. Ему казалось, что разорвется сердце, и горе мешалось с чувством открытия, открытия человека, который лежал сейчас на кровати. В голове завертелись сотни вопросов. Он чувствовал, их надо задать сейчас, сейчас, пока не поздно: *Отец, как звали того старого охотничьего пса, что был у тебя в детстве... я забыл, Отец... Отец, как звали мальчика Уилкоксов, того, с кем ты играл, когда был маленький... Отец, а больно, когда тебя ранят, Отец... Отец, когда ты рос, какую книгу ты больше всего любил... Отец, а ты хоть раз разговаривал с генералом Форрестом... Отец, ты в детстве искал наконечники... Отец...* Но он понимал: поздно, он никогда уже об этом не узнает, все утекает сквозь пальцы, как вода из пригоршни на сухой песок, — и вновь донесся далекий голос:

— Веди себя... хорошо... не обижай маму... сынок. Она добрая... она желает... тебе... только добра... сынок...

Голос как будто устало оправдывался; мальчик выслушал, пообещал вести себя хорошо и вышел из комнаты. Через час Саймон Лавхарт умер.

Той осенью мальчик не поехал в Суони. Он жил прежней жизнью, разве что теперь не нужно было ходить в академию. Запоем читал книги, которые, как он предполагал, изучают в Суони первокурсники. Гулял по обрыву. Вечера просиживал в гостиной — он, мать и между ними лампа на большом столе.

В июне в Бардсвилл вернулся Сэм Джексон, приятель по академии, прошлой осенью поступивший в университет. Дни напролет просиживали они с Болтоном на веранде, и Сэм отвечал на бесконечные вопросы о Суони. Потом забирались на чердак или шли к обрыву. Миссис Лавхарт, сидя в темной гостиной у раскрытого окна, ловила каждое слово, и от этих слов в груди каменело сердце. Однако, когда они поднимались на чердак или уходили к обрыву, было еще хуже: там она не могла их подслушивать.

Однажды за ужином она сказала:

— Сынок, тебе не кажется, что пора начинать готовиться к отъезду?

— К какому отъезду?

— Ну как же, в Суони. Осенью.

Она смотрела на вспыхнувшее мальчишечье лицо, видела, как дрожала рука, положившая вилку на блюдо.

— Мама, — с трудом начал он. — Мама, я не знаю, как же это, я...

Она поспешно отрезала:

— Готовься к отъезду. Напиши опять заявление о приеме. Я соберу твои вещи. Столько всего потребуется. Поезжай.

И, мельком глянув на него, прибавила:

— Обо мне не думай.

— Мама, — начал он.

— Ты молод, — возразила она. — Обо мне не думай.

Ужинать закончили в тишине.

Он поехал в Суони. На Рождество вернулся домой. Мать устроила для него вечеринку: пришли Сэм Джексон и приятели по академии с девушками. Девушкой Болтона считалась Сара Дартер, дочь профессора Дартера. Пили пунш с виноградным соком, заедали бутербродами и пирожными, пели рождественские песни. Болтон ходил на вечеринки к другим парням и девушкам, живущим на холме. Мать всегда дожидалась его, пусть самого позднего, возвращения и расспрашивала о вечере или о Суони и твердила, как она счастлива и как гордится его успехами. В январе он уехал в Суони.

А к первому марта снова вернулся. У матери случился сердечный приступ. С тех пор она так и не поправилась. Ее кровать перенесли на первый этаж, в заднюю комнатку, уставили пузырьками стол, рядом легли Библия и молитвенник. В хорошие дни она усаживалась, опираясь на подушки, в большое плетеное кресло и неотрывно смотрела: летом — в окно, зимой — в огонь. Болтон не отходил от нее. Чаще всего он готовил лекарство.

— Оно не противное, совсем не противное, — говорила она, — когда ты мне его даешь. — И улыбалась из подушек.

После приступа она даже похорошела: моложавая, посвежевшая, ясноглазая, по-девичьи застенчивая, со щек сошел желтый налет — такой, наверное, была она в те времена, когда за ней начал ухаживать майор Саймон Лавхарт, ветеран с изувеченной ногой.

Болтон продолжал заниматься, читал отцовские книги, брал книги у профессора Дартера, выписывал из Нашвилла или Луисвилла. Когда на следующее лето Сэм Джексон приехал из Суони, он подверг его искусному допросу и решил: *Я изучил больше, чем Сэм. Я знаю больше Сэма.* В то лето он ходил на вечеринки, но всегда возвращался домой рано — дать матери лекарство. Потом он уходил читать к себе в комнату или, если было не слишком жарко, на просторный чердак, откуда слышна была из-за деревьев музыка и видны огоньки японских фонариков, развешанных над лужайкой на холме.

В конце лета мать решила, что он должен вернуться в Суони. Не сейчас, а на второй семестр.

— Я хочу, чтобы ты поехал, — сказала она. — Хочу, чтобы ты был счастлив. Ради тебя, сын, я сошла в долину смертной тени, и я хочу, чтобы ты был счастлив.

— Я знаю больше, чем Сэм Джексон, — ответил он, встал и вышел из комнаты.

Прошло еще четыре года; с каждыми летними и рождественскими каникулами он все реже ходил на вечеринки: сплошь новые лица, знакомые парни и девушки женились и остепенялись либо вообще уезжали. Он не находил общего языка с парнями младше себя, а юные девушки казались ему чужестранками. И он им был чужой, долговязый молодой мужчина с редеющими черными волосами, в опрятной старомодной одежде, всегда как-то криво висящей на нервном теле. Чаще других он общался с профессором Дартером. И с Сарой Дартер.

Он думал, что влюблен в Сару – тонкую нервную девушку с напряженным взглядом больших черных глаз и мертвенно-белым лицом. По виду она легко могла сойти за его сестру. Она была на два года старше. С ней ему было легко. Он писал стихи и посылал ей по почте. А оставшись одни в гостиной профессора Дартера, они, пока Болтон не уходил давать матери лекарство, жадно льнули друг к другу и, прислушиваясь, не раздастся ли в коридоре шарканье профессорских шагов, целовались отчаянно и горько.

Он писал книгу. Точнее, собирался писать книгу. Об истории округа Каррадерс.

– Болтон пишет книгу, – доверительно сообщала миссис Лавхарт епископальным дамам, по заведенному порядку навещавшим ее.

И если мужья этих дам заговаривали, что пора бы Лавхартову парню найти работу; пожилая дама наверняка ведь проживает свой капитал; у Саймона деньги водились, но на всю жизнь их не хватит, – то жены отвечали, что Болтон пишет книгу. Это все объясняло. Он начал выступать с сообщениями в бардсвилльском Дамском научном клубе и в Мужском библейском обществе Святого Луки. Бардсвилльская "Гэзет" каждый раз отмечала: "Мистер Болтон Лавхарт, один из наших многообещающих молодых авторов..."

Болтон и работу нашел. Он стал преподавать в академии профессора Дартера. Они с Сарой условились, что поженятся. Когда все наладится. А потом профессор Дартер умер.

Денег он не оставил. Лишь дом и закладную на него да небольшую сумму, чтобы скромно положить его в землю. Оставшуюся часть года академию возглавлял Болтон. Сара теперь часто плакала, и Болтон как мог утешал ее. Но однажды, когда, обняв, он хотел было ее поцеловать, она вдруг злобно, сжатыми кулаками, ударила его в грудь и зашлась в яростном крике – он так и не понял почему.

Месяц потом она была очень спокойна и, когда он ее навещал, позволяла себя ласкать, часто дыша и глядя в пространство. А как-то вечером сказала:

– Пригласи специалиста, пусть осмотрит твою мать.

– Но доктор Джордан, он...

Она оборвала его:

– Если ты этого не сделаешь, я за тебя не выйду.

Он пошел к доктору Джордану.

– Сынок, – сказал доктор, – я не буду против, если ты кого-нибудь пригласишь. Я всего лишь старый провинциальный врач, и я не обижусь. Сердце вообще-то – забавная штука. Не то что аппендицит, столбняк или там огнестрельная рана. Сердце – оно в самой середке у человека, у женщины в данном случае, и оно, так сказать, и есть сам человек. Так сказать.

– Что вы имеете в виду? – поинтересовался Болтон.

Доктор пристально посмотрел на молодого человека. Потом пожал плечами.

— Ничего, — ответил он. — Просто так говорится. В том смысле, что врач мало что понимает. По крайней мере, старый провинциальный врач вроде меня, в городке вроде нашего Бардсвилла.

— Так вы пригласите специалиста?

— Сынок, — отозвался доктор, — я не обижусь. В тот раз я пытался — пытался, насколько помню, два или три раза, — твоя мать и слышать ничего не захотела. Чуть не съела меня. Сказала, что...

— Вы пытались?

— Да, сынок. А ты не знал?

Болтон Лавхарт стоял посреди захламленного кабинета, вдыхал пыль от набитой конским волосом потертой мебели и металлический запах дезинфицирующего средства, а сердце у него в груди подпрыгнуло и затрепыхалось, как окунь, попавшийся на крючок.

— Вы пытались? — переспросил он шепотом.

— Да, сынок.

— Попытайтесь еще раз! — вдруг повелительно сказал Болтон Лавхарт, ощущая тот прилив силы и уверенности, что и двенадцать лет назад, в то утро, когда он стоял перед старым цирковым подсобником и требовал работу.

— Сынок, — ответил доктор Джордан, глядя ему в глаза, — пусть твоя мать даст согласие, и я все сделаю.

— Она его даст, — заявил Болтон.

Знакомой улицей он шел домой, светило солнце, и все было очень просто. Все так просто, и скоро вся жизнь пойдет по-другому. И вечером, когда он дал матери лекарство, а потом стоял и смотрел на нее, все тоже казалось ему простым. Она выглядела такой по-девичьи хрупкой и невинной, такой безвольной и доверчивой. Все будет очень просто. И он обстоятельно рассказал, как беспокоится, что нет улучшения, как ходил к доктору Джордану и тот согласен пригласить специалиста, большого человека из Нашвилла, из тамошнего университета.

Как все просто. Она слушала его рассуждения в полном молчании, не сводя с него глаз, и ему почудилось, что на губах ее заиграла улыбка. Он улыбнулся в ответ и наклонился, чтобы потрепать ее по руке.

Не успел он до нее дотронуться, как она заговорила. Говорила она свистящим шепотом, хотя губы по-прежнему будто улыбались.

— Ты... ты, мой сын... плетешь интриги у меня за спиной. Как это гнусно! Хитришь, словно какой-нибудь вор. А ведь я больна. А ведь я твоя мать, которая родила тебя. Сошла в долину смертной тени. Как это гнусно! А ты хитришь и плетешь интриги...

Слова — дрожащий, свистящий шепот — срывались с губ, все еще словно улыбающихся.

— Мама! — воскликнул он. — Мама!

И попытался взять ее за руку.

Но она вся подобралась на кровати, почти села.

— Не прикасайся ко мне! — закричала она. — Вы все против меня. Все! Все!.. Не прикасайся ко мне! — взвизгнула она, когда он попытался взять ее за руку. — Это иудин поцелуй! Ты хочешь моей смерти, хочешь, чтобы я умерла!

Она отдернула руку, сбив со стола две склянки, и прижалась к спинке кровати так, будто спасалась от насильника.

— Мама! — воскликнул он.

— Ты хочешь, чтобы я умерла... плоть от плоти моей, ты хочешь, чтобы я умерла!

Из груди ее рвались те же дикие, загадочные, непонятные, необъяснимые крики, что и у тела Саймона Лавхарта, лежавшего среди охряных дубовых осенних листьев и нарциссовых стрел.

Наконец, задыхаясь и ловя ртом воздух, она схватилась за грудь и упала на подушки, бледная, как простыня, по-видимому, совершенно невменяемая, все с той же улыбкой на губах.

Послали за доктором Джорданом. Ему понадобилось немало времени, чтобы она пришла в себя. Ее глаза остановились на сыне.

— Вон, — проговорила она прежним шепотом. — Вон, чтоб я тебя не видела!

Он ушел ждать в коридор.

Наконец доктор Джордан вышел, мягко прикрыл дверь и сказал:

— Она плоха.

— Она... — начал Болтон, — она...

Он не мог выговорить слово "умрет".

— Умрет ли? — досказал за него доктор Джордан. Покачал головой. — Не знаю, сынок. Я старый провинциальный врач, и я не знаю. Но я знаю одно: лучше пригласить специалиста.

Болтон Лавхарт онемел. Он не мог объяснить, почему нельзя позвать специалиста. Он шевелил губами, но не произносил ни звука.

Доктор Джордан долго смотрел на него в свете электрической лампочки, висящей в коридоре. (В доме провели электричество несколько лет назад.) Потом пожал плечами.

— Возможно, — сказал он, — возможно, все обойдется.

Он повернулся, вышел в переднюю, взял со стола старую панаму с отвислыми полями.

Дверь захлопнулась, а Болтон Лавхарт все стоял в коридоре под электрической лампочкой.

Долго, почти месяц, миссис Лавхарт серьезно болела. Потом опять пересела в плетеное кресло в гостиной, глядеть на лужайку. Все шло так, словно ничего не случилось, словно та ночь была всего лишь дурным сном, рассеявшимся при ясном свете дня. И они о той ночи больше не говорили.

С Сарой Дартер, однако, Болтону Лавхарту было о чем поговорить. Когда матери стало лучше, он честно рассказал Саре обо всем происшедшем — по крайней мере, столько, на сколько нашел в себе сил, — и попросил прощения за то, что так долго скрывал правду.

— Так что сама понимаешь, Сара, — заключил он.

— Понимаю, — сказала она. И потрепала его по руке.

Когда он пришел к ней на следующий вечер, она принялась соблазнять его с холодной, упрямой, неуклюжей методичностью — основанной на смутных намеках, нашептанных откровениях и куцем опыте — на красной плюшевой софе в тесной гостиной профессора Дартера, под портретом профессора Дартера и буравящими сумрак глазами прадедушек и прабабушек, под едва различимый, размеренный скрип кресла жившей теперь наверху престарелой тети.

На следующий день Сара Дартер покинула Бардсвилл. Она заняла пятьсот долларов у старого друга своего отца, вице-президента банка мистера Доррити. Поехала в Нашвилл, поступила на курсы секретарей,

а потом нашла в городе работу. Дом был продан спустя несколько месяцев после ее отъезда — вся до единого предмета мебель, каждая тарелка и чашка, картины со стен, заботливо перештопанное белье в ящиках комодов, безделушки и сувенирчики с этажерки красного дерева.

— Все, — шептались бардсвилльские дамы, — буквально все. Продала. Даже мамино подвенечное платье. Я видела его на аукционе. Валялось как старая пыльная тряпка. У этой девушки нет сердца.

И еще:

— Выкинула бедную старую тетю на улицу. А ведь та нарочно приехала присматривать за ней. Бедная старушка. Негде и голову преклонить, ничего не скажешь — родная племянница.

Сара Дартер не слышала шепотков, не видела острых, как булавки, косых взглядов. Она окончила курсы, нашла работу и вскоре вышла замуж за страхового агента, вдовца, работавшего с ней в одной конторе. Она уехала из Бардсвилла и никогда не возвращалась. Решение уехать, однако, пришло к ней внезапно, накануне того последнего вечера с Болтоном Лавхартом. Тот последний поединок в ее замыслы не входил. А если и входил, то не качался на поверхности, среди неустанно кружащихся в солнечных лучах обычной мелочевки и сора, а перекатывался в темной толще вод, как старое бревно, черное, напитавшееся водой, поднятое из ила и тайно пригнанное к стремительным перекатам, где с последней своею яростью вскипает вода, перехлестывая в безмятежные заводи, — и последним, отчаянным рывком вздымает громоздкую ношу, черную, тупорылую, большую, брызжущую, как слепая рыба, выброшенная из пещеры на свет.

Случившееся между ними в ее замыслы не входило, но это совершилось, и она не стала ломать голову, как и почему. Однажды произошедшее, оно казалось пребывавшим от века и ожидало не свершения, а узнавания. Дело было сделано, но оно существовало всегда, даже до того, как было совершено, — искупление *или* возмездие либо искупление *и* возмездие, тесно переплетенные, яростный акт, пойманный, как лицо самой жизни, двумя зеркалами и отразившийся в них, зеркало в ответном зеркале, искупление и возмездие, возмездие и искупление, вечно противоположны, вечно устремлены к субъективности "я" и к объективности мира — две бесконечности. Но искупление чего? И возмездие кому? Саре Дартер незачем было задаваться этими вопросами. Ей нужно было жить, и на следующее утро она вытащила из-под кровати заранее собранный чемодан (комната вдруг показалась ей совсем чужой, как случайному постояльцу, проснувшемуся наутро после катастрофы) и уехала поездом десять сорок. Она уехала, а позади остались голоса, которые, если их слышать, скажут что угодно, а если не слышать, то ничего не скажут. Болтон Лавхарт их не слышал. Он ничего не слышал и знал лишь то, что была победа и было предательство. Человеку для жизни достаточно одного из двух, а уж имея оба, тем более можно жить, и он жил. Он жил, как живут все люди, находя жизнь там, где удавалось ее найти. Что всегда легко, потому что у любого поступка есть оправдание, как у цветка, и каждый день, подобно детскому шажку, имеет свою задачу и свое решение. И годы суть вереница дней, идущих один за одним. Сумей прожить день — и проживешь вечность.

В 1913 году в Бардсвилле открылся первый кинотеатр. Кино показывали в городе и раньше, в шатрах, где жужжал проектор и бренчало пианино, как на сектантских сборищах: во всплесках тишины пианино бе-

рет аккорд, ожидая, пока певцы переведут дыхание и хлынувшие голоса затопят музыку, — теперь пианино поджидало момент, когда под грозный бас клавиш, бесшумный, прогремит поезд или когда лошадь со всадником измерит экран беззвучными копытами. Но теперь показывать кино будут в самом настоящем театре. Под кинозал выделили старую "оперу", где заезжие труппы разыгрывали, с вычурными жестами и неумеренным пылом, "Шипы и флердоранж" и "Вдовствующую невесту". Теперь снаружи повесили афиши, намалеванные на холсте, и поставили застекленную спереди билетную будку. За пианино села мисс Люсиль Макинтайр, тридцать лет преподававшая в Бардсвилле музыку. Болтон Лавхарт устроился проверять билеты на входе.

Он проверял билеты две недели, каждый вечер, кроме воскресного, и в субботу днем. Стоял в тесном вестибюле — на костлявых ногах болтаются короткие брюки, руки торчат из коротких рукавов — и наклонялся за билетом с той скрипучей церемонностью, с какой пожилой мужчина любезничает с юной девушкой. (Хотя был не стар, всего тридцать три года.) И если билет предъявлял кто-то знакомый ему с детства, он с видом импресарио важно приветствовал его: "Добрый день, мисс Лайза", или: "Добрый вечер, мистер Лоуренс, надеюсь, фильм вам понравится". Когда все наконец входили и сеанс начинался, он проскальзывал в дверь и, стоя в темноте, глядел сквозь щель в тяжелой красной портьере на экран, где на победоносной колеснице мчался Бен Гур или какая-нибудь темноволосая, пышногрудая красотка в черном платье, вся в бриллиантах и оборках, рыдая металась по роскошным апартаментам или же страстно бросалась на шею задыхающемуся от нетерпения любовнику в белоснежной сорочке, а пианино под руками мисс Люсиль, как машина, фиксировало каждое движение души.

Так прошло две недели.

Вечером после сеанса он вернулся домой и зашел в комнату к матери, чтобы дать ей лекарство. Войдя, он увидел, что она отбросила подушки и сидит, опираясь на жесткую спинку кровати, пристально глядя на него.

— Мама... — встревожился он. — Мама, тебе плохо?

— Да, — ответила она, — мне плохо. От того, что я узнала.

— Я позову доктора Джордана. Почему ты не послала за ним Мэри-белл? Я по...

Она прервала его резким жестом.

— Иди сюда, — приказала она.

А когда он стал в ногах кровати:

— Ближе.

Он зашел со стороны заставленного пузырьками столика.

— Где ты был? — спросила она.

— В кинотеатре, — сказал он.

— Да, — эхом откликнулась она, — в кинотеатре.

Он замер, едва сдерживая безумный порыв броситься вон из комнаты, из дома.

— В кинотеатре, — прошептала она.

И снова шепотом:

— Бессовестный. Лгать мне. Ходить туда тайком от меня. Тайком от собственной матери, которая дала тебе жизнь. Вскормила тебя грудью. Как тебе не стыдно!

— Мама... — заикнулся он.

— Опозорить меня. Ты, мой сын, — и какой-то вульгарный билетер. Да твой отец в гробу бы перевернулся. Билетер.

— Но мне же надо хоть что-нибудь делать, — вырвалось у него. — Мне тридцать три года. Надо чем-нибудь заниматься.

— Но не этим же. Зачем лгать и хитрить? У тебя есть занятие. Твоя книга. Допиши книгу. И тогда я буду гордиться тобой.

— Хорошо, — сказал он, — я допишу книгу.

— Обещай мне, — произнесла она, не сводя с него глаз, — что ты туда больше не пойдешь. Не станешь меня позорить. Дашь мне спокойно дожить свой век и не будешь плевать в меня, несущую свой крест. Не будешь мне на голову возлагать терние.

Он молчал.

— Обещай мне, — сказала она, опять перейдя на шепот.

— Обещаю, — тоже шепотом отозвался он.

— Подойди ближе. Дай мне руку.

Она взяла протянутую руку и потянула вниз. Он опустился на колени.

— Сын мой, — произнесла она, положив руку ему на голову. Рука была легкая, как перышко, но его голова склонилась под ней до самой кровати. Мать тихонько гладила его по голове и играла волосами; когда она касалась лысины, он ощущал холод ее пальцев.

Наконец она сказала:

— Ты прав, сынок. Тебе нужно чем-нибудь заниматься. Я откажусь от услуг мистера Доррити. Мои дела будешь вести ты. И когда я отправлюсь к Другому Берегу, ты будешь к этому готов. Я стану тебе платить. Хорошо платить. Ты будешь вести мои дела. И писать книгу. Тогда я умру счастливой. Я буду гордиться, что ты мой сын.

Голос звучал и звучал, и пальцы играли волосами.

На следующий день он вернулся к своей книге, кипам заметок и страницам рукописи, исписанным неровным, широким мальчишеским почерком, к истории округа Каррадерс — округа, где находился Бардсвилл и где июньским вечером, много-много лет назад, Лем Лавхарт лежал на холме, слушал вечерние птичьи трели и плакал. Но Болтон Лавхарт этого не знал, и в главу, посвященную основанию города, — "Пришествие отцов" — этот эпизод, разумеется, не вошел.

Он не мог работать у себя в комнате. Ничего не выходило. И он перенес стол на чердак.

В ту зиму, сразу после Рождества, он начал делать цирк. Как-то в середине декабря он шел по делам в банк к мистеру Доррити и, проходя по площади, увидел в скобяной лавке Селларса выставку игрушек. Он застыл у витрины. В центре ее, выделяясь из всей композиции, помещался цирк. Разноцветные деревянные звери с лапами на шарнирах. Львы и тигры на маленьких платформах. Слон, взгромоздившийся на тумбу. Кроме них имелись шпрехшталмейстер в черном костюме, девочка-акробатка в стоячей юбочке, с широкой, во весь рот, нарисованной улыбкой и неправдоподобно большими голубыми глазами, и клоун в пятнистом балахоне, балансирующий на вершине лестницы, упасть с которой ему не давала щель в деревянном башмаке. Наконец Болтон оторвался от витрины и направился в Плантерс Фиделити Банк к мистеру Доррити, на дружеские плечи которого с тех пор, как Болтон Лавхарт стал принимать участие в делах, лег двойной груз забот. Теперь мистеру Доррити приходилось ежемесячно уделять ему массу времени.

В тот же день Болтон Лавхарт раздобыл на лесном складе мягкую сосну, купил большой складной нож и набор акварельных красок. Сложил покупки на полку на чердаке и десять дней их не трогал. Он работал над книгой. Но дерево, краски и нож были тут. На следующий день после Рождества, поздно вечером, дав матери лекарство и поцеловав ее на ночь, он выждал какое-то время и в бескрайнем безмолвии ночи наконец приступил.

На тигра ушла неделя. Он получился нелепым, с негнущимися лапами, тупоголовым, почти даже и не тигр. Болтон попробовал раскрасить его, но обнаружил, что дерево впитывает акварельные краски, как промокашка, и контуры размываются. Нужны были масляные краски. Пришлось заказать их в Нашвилле. Он еле дождался, когда придет посылка. И тут чернокожая служанка Мэрибелла вручила ее матери. Пришлось лгать. Сказал, что будет рисовать карту округа Каррадерс. Он солгал с легким сердцем, сам себе удивляясь.

Тигр был жалок, но, раскрасив его и поставив на стол, Болтон на какой-то миг ощутил трепетный отголосок чувства, испытанного очень давно, в ту ночь, когда он стоял в тени и смотрел, как в огненной, первобытной кутерьме грузились цирковые люди.

Следующий зверь, лев, получился гораздо лучше. А слон вышел вообще хорош. После двух недель поисков и труда Болтону удалось-таки заставить лапы гнуться. К лету он сделал человеческую фигуру, шпрехшталмейстера, и одел его, исколов иглой непривычные к шитью пальцы. Он даже приклеил ему свирепые черные усы из обрывков черной пряжи. Потом смастерил голубоглазую девочку-акробатку в шелковой юбочке. Это был его шедевр.

Однако все остальные рядом с этим шедевром казались грустными и нелепыми. И он начал сначала. Ночь за ночью, лето напролет, на жарком, душном чердаке он склонялся над столом, орошая пóтом дерево, ткань, металл. Купленный вентилятор не спасал. Но внизу он не мог работать. Ведь никому было невдомек, что происходит там, за постоянно запертой дверью, в большой комнате, где в углах густеют тени и паутина и свисают с покатого, в разводах сырости потолка, где на прогнувшихся полках аккуратными рядами расположились альбомы с марками и наконечники, давно отмытые от чьей-то горячей крови, где стол завален заметками и книгами, где высоко на торцовой стене висят сабля и полинявшее знамя бывшего полка Саймона Лавхарта. Возвращаясь поздно вечером домой, люди видели свет на чердаке Лавхартов, слабый огонек, пробивающийся сквозь густые ветви дубов, и говорили:

— Это молодой Лавхарт пишет свою книгу. Работящий. Может, из него и выйдет толк.

Болтон Лавхарт действительно работал над книгой. По крайней мере, перечитывал груды заметок, делал новые, порой даже исписывал страницу-другую своим мальчишеским почерком. В то время памятник Кассиусу Перкинсу и Сэту Сайксу еще не поставили, но Болтон дотошно расспросил стариков, и те сообщили ему обрывки официальной версии. И он написал главу “Битва за Бардсвилл”. Но писать быстро не получалось. Гораздо легче было собирать материал. Иногда он целыми днями просиживал в суде, перебирая пыльные, кисло пахнущие бумаги в архиве у секретарей выездного или окружного суда. Или нанимал на конюшне упряжку и ехал за город побеседовать с кем-нибудь из старожилов. Но все это днем. Ночи принадлежали только ему.

Месяцы складывались в год, год плавно переходил в следующий, и его пальцы становились все послушнее. А с мастерством пришла мучительная жажда совершенства. Когда он заканчивал новую фигурку и присоединял ее к небольшой орде, заполонившей пол и полки, или придумывал новый гимнастический снаряд для цирка, он на краткий миг ощущал, воспаряя над землей, покой и ясность духа, наступающие при соразмерности замысла и воплощения. На следующий день он вскакивал пораньше, шел на чердак, чтобы утвердиться в счастье минувшей ночи, но беспощадный дневной свет обнаруживал какой-нибудь изъян, убогость, что ли, — и он почти ненавидел свое создание, и пальцы кололо от желания вновь ощутить холодную твердость ножа или шила, податливость дерева. Он едва дожидался ночи.

Шли годы, вокруг него скапливалось все больше рисованных глаз: звери, девочки-акробатки, наездники, шпрехшталмейстеры, клоуны — и постепенно его мир ограничился этой сферой. Он по-прежнему, правда все реже и реже, выступал с сообщениями в научном клубе, а бардсвилльская "Гэзет" по-прежнему каждый раз отмечала: "Мистер Болтон Лавхарт, один из наших многообещающих молодых авторов..." Он по-прежнему работал над книгой, но слова, написанные на бумаге, равно как и произносимые в клубе, все больше казались ему чужими, все больше походили на епитимью, наложенную за давнее прегрешение, или на плату за новое счастье. По воскресеньям он ходил в церковь. Вел дела матери, писал расписки в получении арендных взносов, нанимал, все реже и реже, маляров и водопроводчиков для ремонта домиков, которые мать сдавала внаем, платил налоги, подбивал счета.

Война 1917—1918-го началась и закончилась. Но она прошла мимо него. Он даже не читал газет. Ему не было дела до фанфар и мундиров, до слез, поцелуев и речей. Когда пришла весть о перемирии, когда засвистели свистки, и зазвонили колокола, и даже здесь, на холме, люди с криками высыпали на улицу, — на чердак донеслись только слабые отголоски. Болтон даже не удосужился пойти узнать, из-за чего такая кутерьма. Вечером, однако, он пошел на площадь посмотреть на костер, послушать музыку и речи (произносимые с наспех сколоченной эстрады у подножия памятника конфедератам перед зданием суда), радостные крики и песни. Толпа пела:

Улыбнись, я тебя обниму на прощанье,
Непогода пройдет — снова будут свиданья...

Там, в толпе, он испытал что-то вроде счастья. Он был счастлив их счастьем, счастлив, как призрак, который из своего нерушимого покоя благословляет зыбкую радость живущих и желает им добра. Он мог себе это позволить. У него была своя победа.

Потом он пошел домой к своей победе, поцеловал на ночь мать и поднялся на чердак. Ночная лихорадка прошла. С площади смели мусор и разобрали эстраду перед памятником. Вернулись домой раненые и уцелевшие, они ходили по улицам Бардсвилла и принимали поздравления, а потом, почти так же скоро, как и остальные, забыли о войне — нарасла новая кожа, и остался лишь небольшой рубец.

С каждым годом он относился к матери все нежнее и заботливей. Казалось, она неподвластна времени: по-прежнему розовощекая, хотя кожа на щеках слегка одрябла, а цвет иногда отдаленно напоминал погре-

бальные румяна, нанесенные с необычайным искусством; по-прежнему ясноглазая, хотя год за годом глаза все глубже уходили под изящную арку бровей. Она как будто сохранялась в сердцевине безграничного покоя: лежала под вышитыми покрывалами (чуть пожелтевшими), откинувшись на кружевные подушки (искусно заштопанные), и умиротворенно улыбалась. Давняя ложь, тайна, запертая на чердаке и неведомая ни единой живой душе, давала ему право наконец-то любить ее совершенной любовью. Ему открылась драгоценная истина: совершенной любви не бывает без великого предательства.

Потом она умерла. Она проснулась посреди ночи от острой боли и внезапного удушья и с изумлением поняла, что это сердце. К изумлению примешался черный ужас, жестокий ужас — словно огромная пасть распахнулась перед ней. А с ужасом в мозгу возникли слова, как будто их говорил кто-то другой: *О нет, ни за что. Я не уйду, меня не заставят уйти, только не теперь, когда я все устроила так, как хотела, когда я так счастлива, о, как я счастлива, и я не уйду. Не уйду, меня не заставят!* Но она знала, что уходит. Клыки огромной черной пасти смыкались на ней, капая холодной слюной. Внезапно страх и протест растворились в обычной злости, бешеной злости на подлое, вероломное маленькое сердце. Как это гнусно! Все эти годы оно покоилось у нее внутри, исполняло ее желания, притворялось, что любит ее, всегда слушалось, а само замышляло вот что, вот что, вот что. В детстве у нее был котенок, как-то раз он, мурлыча, лежал на коленях и вдруг царапнул ее — и она ощутила ту же злость и вышвырнула маленького гаденыша, вышвырнула из окна второго этажа, он с глухим стуком упал на кирпичную дорожку. Теперь же она раздирала ногтями грудь, чтобы вырвать оттуда коварную подлую тварь — сердце — и вышвырнуть его прочь. Нет, она ему покажет! Ей ни к чему такое подлое маленькое сердце. Это было гораздо хуже, чем царапина от кошачьих когтей. Хуже, чем коварство, почти предательство, сына, плоти от плоти ее. Это было хуже чего угодно, потому что это ее собственное, любимое сердце так с ней поступало, поступало так с ней, Луизой Болтон, хорошенькой, миленькой Луизой Болтон. Да она папе пожалуется!

Все.

Это случилось в 1934 году, миссис Лавхарт было восемьдесят семь лет. Но когда сын на следующее утро нашел ее мертвой, даже тогда она не выглядела на свой возраст. В последнее мгновение по ее лицу разлился покой, и если бы не бледность, могло показаться, что эта хорошенькая пожилая дама вот-вот улыбнется.

Пришел доктор, не доктор Джордан (он давно умер), а молодой человек с загорелыми руками, очень самоуверенный.

— Вероятнее всего, она умерла очень быстро, — успокаивающе произнес он, захлопывая свой саквояж.

— Она умерла, — сказал Болтон Лавхарт задумчиво и удивленно, почти шепотом, как бы самому себе. Потом громко обратился к доктору: — Она умерла... слушайте, она умерла здесь, совсем одна, ночью, одна в ночи...

— Скорее всего, это произошло внезапно, — с едва заметным раздражением ответил доктор. — Скорее всего, боли почти не было. К тому же в ее возрасте...

— Она умерла, — шептал Болтон Лавхарт, — ночью... совсем одна...

И он представил свое одиночество. Всегда теперь один, в этом доме. И умрет один, в которой-нибудь из этих темных комнат, ночью, или упа-

дет на чердаке, под ненавидящим взглядом раскрашенных существ, им самим созданных.

Теперь он жил в доме один. Приходила негритянка, готовила еду, медлительно, в каком-то ритуальном трансе, водила пыльной тряпкой по мебели, с первыми сумерками хлопала задней дверью и уходила. Болтон Лавхарт пробовал поначалу заниматься своими обычными делами, но кончалось тем, что он просто сидел у стола на чердаке, сложив руки и уставившись в пустоту. Его занятия потеряли смысл. Исчезло прежнее удовольствие, стимул. Больше не надо было лгать. Ночами он бродил по дому, по комнатам, залитым резким электрическим светом — все лампочки в доме горели. Или сидел в темной гостиной, глядя в окно. Иногда он засыпал в плетеном кресле и проводил в нем всю ночь.

Время от времени дела выгоняли его к людям. Он брел вниз, к сдававшимся внаем домикам, теперь больше похожим на хибары, облезлым и ветшающим, стучал в дверь — его встречало угрюмое мужское или ожесточенное женское лицо, из-за материнских юбок, как зверьки, выглядывали детишки — и просил заплатить за аренду. Иногда ему давали скупое подаяние. Иногда принимались канючить или грубить, он никогда особенно не вникал в то, что ему говорили. Иногда они ничего не говорили — просто смотрели на него и захлопывали дверь или смотрели молча, пока он не уходил прочь, как человек, совершивший что-то постыдное. Мистер Доррити давно уже умер, и некому было подсказать ему, как говорить и что делать. Правда, оставался небольшой банковский вклад, благодаря которому даже в тяжелые тридцатые Болтон мог существовать.

Болтон продолжал существовать благодаря банковскому вкладу и церкви. Вклад давал ему пищу. Церковь — основание для того, чтобы ее принимать. Он не сделался набожнее, но ходил теперь к каждой службе. В последние годы перед смертью матери он посещал церковь нечасто, но на похоронах люди, даже те, чьи имена он забыл, отнеслись к нему очень тепло. Церковь была тем местом, куда он мог уйти от дома, от чердака, от самого себя, от всех этих лет.

Если бы не церковь, он никогда бы не встретил миссис Партон.

Миссис Партон была дочерью бедного фермера, прозябавшего по соседству с округом Каррадерс, на тощих южных землях, где среди голых известняковых глыб росли мерилендские дубы и лавр и еще до сухого закона в кедровых дебрях прятались самогонные аппараты. Совсем девчонкой она вышла за мистера Партона, коммивояжера скобяной компании, работавшего в тех краях. Году примерно в 1920-м мистер Партон открыл в Бардсвилле фирму по продаже дешевых автомобилей, преуспел, родил сына и умер, оставив миссис Партон приличную сумму на счету в банке и тем самым обеспечив ей все доступные в Бардсвилле блага.

Мистер Партон отнюдь не отвечал запросам миссис Партон. Он был безнадежно вульгарен: эта изжеванная сигара, шлепки по спине, эти замашки провинциального коммивояжера. Хорошенькая же блондиночка миссис Партон все схватывала на лету. Краешком безмятежных, ярко-синих глаз она оценивающе посматривала на окружающих, а цепкий умишко подбирал и раскладывал по полочкам каждый обрывок старой сплетни или нового скандала, каждую презрительную или восторженную нотку. В итоге она знала Бардсвилл лучше, чем знал себя сам Бардсвилл. А знание — сила.

Знание — сила, а терпение и гору сдвинет. А уж терпения миссис Партон было не занимать. Ждать она умела. И никому себя не навязывала. Не ступала и шагу, не просчитав дальнейшие ходы. Открытая, необидчивая, приятная в общении, она держалась очень скромно. Она изучила каждую ступеньку лестницы, каждую площадку на пути наверх, но об этом ее знании никто не подозревал. Она состояла в родительском комитете, когда ее сын учился в школе, была активисткой пресвитерианской церкви. Научилась играть в "пятьсот" и вступила в карточный клуб. Каждый месяц получала по подписке от организации, рассылающей по стране печатную продукцию, какую-нибудь хорошую книгу и даже порой ее читала. В одежде отдавала предпочтение ярким цветам, но авторитетные журналы и облик некоторых бардсвилльских дам поколебали ее убеждения. К 1930 году она оказалась прихожанкой епископальной церкви, но переход из пресвитерианства был настолько плавным, что этого почти и не заметили. В 1934 году она уже пила коктейли.

— Мне только один, — говорила она, — только один. Нет-нет, спасибо, одного достаточно.

И на людях действительно выпивала один, от силы два стакана, однако дома по вечерам, когда никто не видел, она опускала шторы, выпивала целый шейкер коктейля и укладывалась в кровать; лежа в темноте, разгоряченная, затуманенная, трепещущая, она чувствовала, как тело с тихим звоном отлетает от нее. Но она отчетливо представляла свою цель. До которой от ее чудесного кирпичного домика — изящно, как в журналах, обставленного домика у подножия Растреклятого холма — было еще очень далеко.

Она вышла замуж за Болтона Лавхарта и переехала жить к нему в дом. В некотором смысле, хотя ни она, ни Болтон Лавхарт об этом не знали, у нее на этот дом прав было не меньше, чем у него. В ее жилах тоже текла кровь Лавхартов. Она тоже вела свой род от Лема Лавхарта, от дочери, оставшейся сиротой, когда его оскальпировал чикасо. Эта дочь вышла замуж за бардсвилльского поселенца, переехавшего затем на южные захудалые земли; там память о Лавхарте стерлась, и лишь его кровь тайно текла по жилам.

Миссис Партон было в то время около сорока; полноватая, но с безмятежными ярко-синими глазами и стройными лодыжками, она выглядела совсем недурно. Болтону Лавхарту исполнилось пятьдесят девять. Шел 1934 год.

Она принесла в дом порядок и чистоту, но ничего особенно менять не стала. Старая мебель и всякие безделицы, ветхие и истертые, остались на своих местах. Она была слишком хитра, чтобы попасться в эту ловушку. Перемены настанут позже, если вообще придется что-либо менять. Она знала, что чердак всегда был заперт на висячий замок, но после первых же расспросов угомонилась. Муж сказал ей, что держит там книги и бумаги, свой "труд", "книгу", и не любит, когда туда заходят. В его отсутствие она пробовала отпереть дверь найденной связкой старых ключей, но безуспешно. Замок оказался надежным. К тому же у нее не было причин не доверять мужу. Иногда он поднимался на чердак и проводил там какое-то время. Она знала, что он с причудами и привык все делать по-своему. Все говорили, что он с причудами. А она могла и подождать. Она выжидала, чтобы потом утолить жажду более сильную, чем любопытство.

Ее сын, Джаспер Партон, тоже переехал жить в дом Болтона. Этому ладно скроенному, мускулистому парню, в будущем, однако, обещавшему располнеть, было лет девятнадцать. У него были вьющиеся черные волосы, крупный рот, отличные зубы, которые он часто показывал, выжидательно улыбаясь после какой-нибудь своей реплики. Он охотно смеялся, особенно собственным шуткам. Скажет что-нибудь — и вращает карими глазами, как дурашливый жеребец, а потом заходится от хохота. Он то и дело потирал руки или щелкал суставами пальцев. Свою мать он звал "старушкой" и "птичкой-синичкой" и частенько, в игривом расположении духа, похлопывал ее по мягкому месту. Скоро он и Болтона стал похлопывать по плечу и звать "папашей" или "стариком". Поначалу его мать это беспокоило, но вскоре она убедилась, что мужу это не только не противно, а, похоже, даже нравится.

Болтону и вправду нравилось. Ему вообще нравилась эта новая жизнь. Нравились друзья, которых приглашала жена (хотя она мало кого приглашала, намереваясь впоследствии от некоторых из них избавиться), и он даже пробовал научиться играть в бридж. А больше других ему нравилась Джени Мэрфи, девушка Джаспера, миловидная и хорошо воспитанная; говорила она мало, но серые глаза ее смотрели открыто и ясно. Болтон Лавхарт купался в новом счастье и никак не мог к нему привыкнуть. Он и не подозревал раньше, что жизнь может быть такой.

Миссис Лавхарт недолюбливала Джени. Вернее, не то что любила или не любила — ей не по вкусу была сама кандидатура Джени Мэрфи. Джени Мэрфи не годилась. Хотя бы потому, что была дочерью такого отца, как старый Том Мэрфи. И католичкой в придачу. Но миссис Лавхарт умела ждать и обладала превосходной выдержкой.

Поэтому она даже обрадовалась, когда осенью 1940 года сына призвали на военную службу. Он о Джени и думать забудет. В этом она не сомневалась. А война была где-то далеко. Далеко за океаном, где ей и подобало быть.

Болтон Лавхарт тоже почти ликовал, когда пришла весть о призыве. Он любил Джаспера, но эта новость взбудоражила его, породила ощущение, что он держит руку на пульсе жизни. Он пошел провожать Джаспера на вокзал.

— Прощай, папаша, — с добродушным презрением сказал Джаспер и повращал глазами. Хлопнул старика по плечу: — Береги себя.

Болтон Лавхарт хотел что-нибудь сказать, только не знал что, но что-то набухало у него в сердце.

— Мальчик мой... — начал он, — мой сын...

И не мог подобрать слова.

— Бывай, папаша, — сказал Джаспер, запрыгнул в тамбур и, широко улыбнувшись Бардсвиллу, исчез из виду.

У Болтона Лавхарта вошло в привычку с раннего утра идти в город за газетой. Он стал читать книги и журналы о Европе и о войне. Останавливался и беседовал с людьми на перекрестках или на почте о том, что происходит.

— Насколько мне стало известно, — начинал он и, откашлявшись, продолжал сообщение.

Ни о чем другом люди не стали бы слушать. Но шла война, и они слушали. А когда Болтон уходил, кто-нибудь из них говорил:

— А у старика Лавхарта, оказывается, есть голова на плечах. Сколько книг прочел.

Другой отвечал:

— Чего б ему не читать. В жизни палец о палец не ударил. А вот мне приходилось надрываться и бегать за всемогущим долларом. Да если б мне не работать, я бы тоже сидел сиднем и читал книжки.

И все же они его слушали. Один раз Болтона попросили доложить о европейской ситуации в клубе "Киванис"[1]. В городе он стал признанным экспертом. Произносил речи во всех городских клубах и даже в школе. Казалось, то, чего он ждал всю жизнь, исполнилось. Он был счастлив.

С началом войны прежнее счастье переросло в какое-то блаженное возбуждение, самым сумрачным днем согревавшее душу. Иногда он удивлялся своей внутренней легкости и новому смыслу жизни и, оторвавшись от работы или застыв посреди улицы, спрашивал себя: *Да я ли это, я ли это?* Он теперь все время был занят. Приходилось прочитывать ворох книг, журналов, газет и делать заметки. Кто-то должен все узнавать и рассказывать людям, объяснять, что происходит. Кто-то ведь собирает макулатуру и старые покрышки. А кто-то распространяет государственные облигации и заботится о сборе денег для Красного Креста.

Он жил утренними газетами и радионовостями. Поражения, каждая их подробность, разрывали душу, но в этих ранах была острота жизни, несущая обновление и силу духа. Он шел по улице из центра города, куда ходил за утренней почтой, надеясь, что придет письмо от Джаспера, как вдруг услышал о Батаане[2]. Его остановил мистер Салливан, живший чуть ниже на холме:

— Они только что сдались. На Батаане. Только что передали по радио.

— Спасибо, — пробормотал Болтон; мистер Салливан ушел, а он все стоял, мерно вдыхая душистый весенний воздух, не вытирая катящихся по щекам слез, переполняемый чувствами. Потом робко протянул руку и провел по коре старого клена, росшего между тротуаром и мостовой. Шероховатая кора приятно бугрилась под пальцами. Он благоговейно погладил ее. Посмотрел на дерево, на сочные восковые наклевки почек, обвел взглядом улицу, дома, деревья, пробуждающиеся газоны, огромное, свежеумытое, сияющее небо. Все было настоящим. Настоящим.

К югу от округа Каррадерс, в поросшей кустарником местности, расположился крупный гарнизон; красную глину и известняки прорезала новая бетонная дорога, прямая, как лезвие ножа, и в непогоду ее белое полотно заливали кровавые струи глины, сочащейся из срезов, известняковые и глиняные прослойки которых казались боком гигантской туши, кем-то грубо распоротой. По вечерам неприкаянные мальчики, выпиравшие из хаки или утопавшие в нем, обутые в большие грубые башмаки, шатались по улицам Бардсвилла, околачивались в ресторанах, закусочных и бильярдных. Они напивались и орали на улицах, или шли к шлюхам, или молчаливыми группками стояли на перекрестках, с тоскливым смирением каторжников глядя из своего непонятного мира в чужой непонятный мир.

1. Клуб "Киванис" — местное отделение международной организации "клубов на службе обществу" ("Киванис интернэшнл"), цель которой — содействие развитию деловой этики, а также благотворительность.
2. Батаан — полуостров на Филиппинах. В начале 1942 г. американские войска под командованием генерала Макартура уступили полуостров японцам. Несколько тысяч американцев попали в плен.

Город должен был о них заботиться, и первое время каждый из них был герой и любимец, пока не сделался проклятьем и обузой. Одно из старых зданий приспособили под рекреационный центр. Прихожане церкви каждое воскресенье звали к обеду солдата. По субботам устраивали для них вечеринки. Болтон Лавхарт без устали трудился в рекреационном комитете Святого Луки. Лавхарты тоже устраивали вечеринки. Большую гостиную заполняли новобранцы, среди них бывало и несколько кадровых сержантов, обветренных, матерых мужчин, которые набрасывались на бутерброды, пирожные, кофе, пиво, сотрясали стены хохотом и на полную громкость включали радио. Иногда в чаду гулянья два-три сержанта удалялись в заднюю комнату, где болтали и пили пиво с миссис Лавхарт. Случалось, она, хихикая и воровато подмигивая, угощала их кое-чем покрепче пива.

Болтона Лавхарта не обременяли траты на бутерброды и пиво для мальчиков. Тяготы тридцатых годов миновали. Он продал за приличную сумму часть своей земли в низине. На ней вырос военный завод. А вечеринки Болтон обожал.

Лучше всего они удавались, когда на побывку приезжал домой Джаспер, сильный и веселый, уже лейтенант. Тогда приглашали девушек и танцевали под радио, дом ходил ходуном, и от дыма кружилась голова. Это были лучшие вечеринки. Болтон Лавхарт сидел у стены, глядя во все глаза, всем своим существом участвуя в веселье, и в груди у него добела раскалялось блаженство, как уголек под кузнечными мехами.

В числе других девушек на вечеринки приходила и Джени Мэрфи. Так хотел Джаспер, и миссис Лавхарт ничего не могла поделать. Но она не отчаивалась. Когда выяснилось, что Джаспера перебрасывают в Европу, она горевала, но в горе была и капелька торжества. Теперь-то уж все пойдет как надо. Он забудет эту Джени.

Джаспер приехал домой на последнюю побывку. И женился на Джени Мэрфи. Посреди ночи они сбежали в Кентукки. Все произошло как-то невзначай. У Джаспера и в мыслях не было жениться на Джени, да и вообще жениться. Но она его обожала. Каждый взгляд, каждый жест, цепляющиеся за него руки тешили самолюбие. Предстоящая поездка в Европу пробудила в душе несвойственную его натуре сентиментальность. Он представлял, как дома будет дожидаться дорогая женушка. А обладать Джени Мэрфи можно было, только женившись на ней. Он это уяснил. Даже возбуждение последней встречи ничего не изменило. Она рыдала и цеплялась за него, но оставалась хорошей католической девочкой. Впрочем, когда поздно вечером, поддавшись порыву, он предложил ей сбежать, хорошая католическая девочка отринула все сомнения. Так уж она его любила. Их поженил невменяемый мировой судья, сонный, полуодетый, вытащенный из кровати. Джаспер пообещал, что потом они обвенчаются.

Трехдневный медовый месяц они провели в Кентукки, побывали на скачках, а в гостиничном номере она даже выпила с ним виски — так сильно она его любила. Они обвенчаются, как только вернутся домой в Бардсвилл, говорил он. А дома совсем не оказалось времени — по крайней мере, его было мало, — потому что Джаспер получил приказ немедленно явиться в часть.

— Ну пожалуйста, это ведь много времени не займет, — умоляла она его.

Но он сказал:

— Малышка, слушай внимательно. Приказ есть приказ. Это армия. А мы с тобой, цыпочка, женаты не хуже других. Никому не позволяй сомневаться.

— Но, Джаспер... ты...

— Ну конечно, малышка. Когда вернусь. Конечно, ты ведь любишь меня?

В поезде он откинулся на спинку и вытянул ноги. Поначалу даже радовался, что уезжает. Глоток свежего воздуха, так сказать. Она, конечно, девочка что надо. Конечно, он любит эту крошку. Она его женушка, и пусть не сомневается, не важно, что там ей наговорили священники. Он из нее выбьет эту дурь.

Он откинулся на спинку и задремал. Представил, как будет рассказывать ребятам о своей женитьбе. Засмеется и с притворной печалью поведает им, как она его заарканила. *Но знаешь*, скажет он, *доложу я тебе, тут было из-за чего пострадать. Она такая... Послушай, я тебе сейчас расскажу, она...* Ему не терпелось поскорее добраться до базы и поделиться с ребятами.

Миссис Лавхарт держалась молодцом. Не пала духом. Событие это прошло в Бардсвилле почти незамеченным. Теперь, в военное время, каждый день происходило столько всего необъяснимого, появлялись новые люди, люди совершали странные поступки, делали то, чего не делали раньше, и вели себя так, как прежде им и в голову бы не пришло. Она сохраняла невозмутимость и старалась не упоминать об этой женитьбе. Но ее муж не мог говорить ни о чем другом. Ему хотелось сообщить о радостном событии каждому прохожему. Она была готова его задушить. Когда она сидела одна и представляла, как он ходит по улице и пристает с рассказами ко всем подряд, она готова была задушить его голыми руками. У нее сжимались кулаки и учащалось дыхание. Она ненавидела его, ненавидела все, что с ним было связано, все, все. Она всегда его ненавидела. Ненависть поднялась в ней. Она это почувствовала. Эта мысль, как свет, заливала комнату.

Однако восторг Болтона Лавхарта по поводу женитьбы быстро прошел. Он снова был увлечен войной, комитетами и обществами, письмами Джаспера. Когда долгожданное письмо наконец приходило, он зачитывал выдержки из него любому, кто готов был слушать.

— Вы знаете моего мальчика, — говорил он, — знаете Джаспера? Он лейтенант. Он сейчас на Сицилии. Вот послушайте, что он пишет. Это очень любопытно. — И зачитывал письмо.

Он часто писал Джасперу и посылал ему много денег, больше, чем мог себе позволить.

Джаспера Партона убили в Италии. Для миссис Лавхарт это было огромным потрясением. Пошатнулась ее вера в мир, в свои убеждения, в саму себя. Болтон Лавхарт поначалу переживал сильнее ее, но даже горе растворилось в жизни, в ежедневных делах, разговорах на улице:

— Мой сын... помните моего мальчика Джаспера, он погиб в Италии...

Оставались и другие мальчики. Они заслуживали самого лучшего. И его осенила отличная идея.

Одна из дамских организаций при церкви Святого Луки устраивала благотворительный базар в пользу Красного Креста. Базар выпадал на пятое декабря, до Рождества оставалось совсем недолго. Рождество-то и натолкнуло его на эту мысль, потому как именно с рождественской вы-

ставки игрушек в скобяной лавке все и началось. Он выставит на базаре свой цирк и распродаст его на игрушки. Жене он ничего не сказал, но целые дни проводил на чердаке. Подкрашивал те фигурки, что нуждались в покраске, заменял им вылинявшие костюмы и укладывал в аккуратные коробки. Потом перенес всё в церковь, а вечером накануне базара долго возился в комнате отдыха, возводя большой цирк, натягивал канаты, ставил турники, подвешивал трапеции, старательно разравнивал опилки на манеже, рассаживал по тумбам зверей. Он работал до двух часов ночи.

Цирк имел оглушительный успех. Он стал гвоздем базара. Дети были от него без ума. Проданный по частям, он собрал почти двести долларов для Красного Креста. И для Джаспера. Бардсвилльская "Гэзет" поместила фотографию мистера Болтона рядом с цирком: "Тайное увлечение нашего знаменитого горожанина. Сбор поступит в Красный Крест". Смерть Джаспера открыла тайный цирк людям, чтобы он принес радость и пользу, а потом его не стало. Болтон Лавхарт видел в этом расплату за свою давнюю ложь, за все свое прошлое и примирился с гибелью Джаспера.

Джаспер Партон погиб на берегах быстрой речки — в родном Теннесси ее назвали бы ручьем, — в тени исхлестанных снегом Апеннинских гор. С двумя ротами он переправился через реку по ненадежному понтонному мосту, наведенному возле взорванного каменного моста, под пулеметным огнем немцев, засевших в скалах над дорогой. Из мглы вынырнули два самолета и расстреляли их позиции. Вовремя: тучи спускались все ниже и ниже. Отряд, растянувшись, продвигался вверх по дороге в горной тишине, потом рассредоточился по гребню, разведывая местность. Было очень тихо, только далеко на западе слышалась канонада. И тут ударили немцы. Еще два пулемета, молчавшие во время переправы, открыли огонь по оставшимся у моста людям. Немцы выросли как из-под земли, возникли из скал и устремились к мосту. Атака была внезапной.

Американцы кинулись по дороге назад, но до моста было слишком далеко. Их отрезали. Мост удерживал Джаспер с двумя солдатами. Им удалось установить за выступом скалы пулемет. Одного солдата убили. Джаспера ранили, но легко. В последнюю минуту он отослал уцелевшего солдата, а сам отстреливался, пока его не достали гранатами. Но товарищи были уже на подходе.

Джаспера Партона наградили медалью Конгресса.

Награду должна была получать в Вашингтоне его жена, Джени Мэрфи Партон.

— Подумать только, — с горечью сказала миссис Лавхарт, — подумать только, он назвал ее ближайшей родственницей. Подумать только... эту девушку... да он женат-то на ней был всего четыре дня. Четыре дня перед отъездом.

Это было жестоко. Чересчур жестоко, решила она.

— Ты тоже поезжай в Вашингтон, — успокаивал ее Болтон. — Поезжай, дорогая.

— Я не поеду! С этой-то девчонкой. Не поеду. Пусть она получает. Она заполучила Джаспера и теперь пусть забирает медаль.

— Ты должна поехать, — убеждал ее муж. — Я тебя отвезу. Ты должна туда поехать ради Джаспера.

Она клялась, что не поедет. Но отправилась в Вашингтон и видела, как этой девчонке вручали медаль. Однако и у нее были свои радости. Большие люди пожимали ей руку, поздравляли ее, бормотали соболезнования. Правда, когда она вернулась в гостиничный номер и увидела в газете фотографию, фотографию этой девчонки с медалью и себя где-то на заднем плане, на душе у нее стало так горько, как никогда и ни от чего раньше. Она изорвала газету и бросилась на кровать. У нее всё отняли.

Гораздо лучше было в Бардсвилле. Граждане Бардсвилла знали, кто такая миссис Лавхарт и кто эта Мэрфи. Поэтому на торжествах в Бардсвилле этой девчонке не удалось ее оттереть. Она сидела на эстраде возле мэра, тут же находились ее муж, которому предстояло выступать, священник церкви Святого Луки и полковник Малькольм из гарнизона, расположенного в позабытом округе ее детства. Девчонка тоже была здесь, но сидела где-то в стороне, перепуганная и потерянная. Миссис Лавхарт видела ее краешком глаза. И радовалась увиденному. *Не умеет держаться,* думала она. *Не знает, что делать с руками, ковыряет ногти.* Незаметно распрямила на коленях собственные, красивой формы, наманикюренные пальчики и, слегка наклонив голову, с характерным для нее скромным видом стала их рассматривать.

Болтон Лавхарт произнес лучшую речь в своей жизни. Вначале слова выходили медленно, с запинками, жесты были неловкими и скованными. Первые несколько минут голос гудел монотонно, Болтон говорил то, чего от него ждали, но люди все равно напрягали слух, чтобы расслышать его среди сдавленных покашливаний и осторожного шарканья подошв. Затем, все еще неуверенно, сухим, наставительным тоном школьного учителя или директора воскресной школы, он произнес:

— Мы собрались здесь сегодня не для того, чтобы прославлять Джаспера Партона. Он не нуждается в почестях. Эта медаль — высочайшее признание страной заслуг своего гражданина — ничего не прибавит его славе. Равно как любого другого, павшего на далекой чужбине. Им не нужны почести. Мы собрались здесь сегодня, потому что это мы прославлены. Им, Джаспером. Потому что однажды утром, на чужбине, он нас прославил. Прославил Бардсвилл и всех нас. Мы скорбим о нем. Я скорблю о нем. Он не был моим сыном. У меня нет сына. Но мне хочется думать о нем как о сыне. Мне хочется думать о нем и обо всех ушедших от нас как о своих сыновьях. Ибо все они наши сыновья... каждый из них — сын каждого из нас... мне хочется думать о нем как о своем сыне... ибо все они... каждого из нас...

Он не мог продолжать. Он не разрыдался. Лицо его не выражало никаких чувств. Он просто замолчал, слова не шли с языка. Какое-то время он смотрел в толпу, потом повернулся и колом опустился на стул.

А после была музыка. Стоя пели национальный гимн.

На последовавшем затем приеме он спокойно, почти как во сне, стоял рядом с миссис Лавхарт, а люди подходили и жали им руки.

Правда, Джени Мэрфи скрылась. Ушла с площади и по темным улицам, не в силах больше сдерживать слезы, добралась до переулка на окраине, где стоял дом старого Тома Мэрфи.

Теперь разговоры были только о победах, о них трубили газеты и радио. Окончательная победа была не за горами. Домохозяйки уже недовольно ворчали в очередях за мясом. Иногда поздно вечером можно было ви-

деть, как солдат из гарнизона голосует на шоссе возле города, а машины со свистом проносятся мимо. Все знали, что эти мальчики не поедут воевать в Европу, сражаться в джунглях, на заснеженных горах или среди городских руин. Не погибнут на чужбине. Их продержат некоторое время в гарнизонах, а потом отпустят по домам. Они стали помехой, обузой и еще чем похуже. От них устали даже лавочники и владельцы кафе. Но не Болтон Лавхарт. Он делал для них все что мог. У Лавхартов по-прежнему устраивали вечеринки, где было вдоволь пива, бутербродов, сигарет и радио включалось на полную громкость.

Он по-прежнему посещал собрания комитетов, пытался организовать солдатский досуг, распространял облигации и собирал деньги для Красного Креста. По-прежнему останавливал прохожих и пересказывал им только что прочитанное, не забывая упомянуть о Джаспере:

— Вы ведь знали Джаспера... моего мальчика, что погиб в Италии... так вот он, бывало, говорил, он предрекал...

Но люди слушали его не так внимательно, как раньше. Они смотрели по сторонам, им не терпелось уйти.

Как-то вечером он отправился за десять миль от Бардсвилла на выездную продажу облигаций в одну деревню. Вернулся поздно, далеко за полночь. Мистер Симмонс, приходской священник, высадил его у ворот и уехал. Болтон Лавхарт увидел, что в гостиной горит свет. Наверно, жена решила его дождаться, предположил он, хотя это было не в ее правилах. Открыв входную дверь, он увидел на столе две мужские шляпы. А уже из коридора увидел, что посреди гостиной стоят двое мужчин и ждут его. В одном из них он узнал Милта Саггса, шерифа. Другой был ему незнаком, однако не вызывало сомнений, что это человек шерифа.

Шериф извинился:

— Мы только что вошли. — Добавил: — Никто не отзывался, дверь была открыта, и мы вошли. Надеюсь, вы не сердитесь.

— Разумеется, нет, — ответил Болтон, но на его лице застыл вопрос.

Шериф неловко переминался с ноги на ногу.

— Мистер Лавхарт, — наконец решился он, — это... это касается миссис Лавхарт.

— Что?

— Это касается миссис Лавхарт, — сказал шериф и снова запнулся.

— Говорите, — приказал Болтон Лавхарт. — Говорите же!

— В общем... — произнес шериф. — В общем... — Потом собрался с духом и сказал: — Она умерла. Погибла.

Миссис Лавхарт погибла в автокатастрофе, произошедшей в тот вечер на шоссе. Она и некий капитан Картрайт, находившийся за рулем, в десяти милях от города на большой скорости врезались в зад стоящего на обочине грузовика. Оба были пьяны. Болтон Лавхарт знал капитана Картрайта, грузного, краснолицего детину, лет пятидесяти с гаком; до войны он служил сержантом, за боевые заслуги был произведен в офицеры и направлен в учебный лагерь. Он изредка захаживал к ним. При столкновении они с миссис Лавхарт погибли мгновенно. Тела были страшно изуродованы.

Отгремели последние победы. На разрушенных улицах Берлина пролилась последняя кровь. Однажды утром, на другом полушарии, американская эскадра подошла к сказочному острову, десантные суда, как водя-

ные пауки, тучами двинулись к берегу, небо усеяли самолеты, и началась бомбежка. В Бардсвилле знали, как это происходит. После фильма обычно пускали хронику. Потом на Хиросиму упала бомба.

Болтону Лавхарту, однако, было все равно. Уже который день он допоздна засиживался на чердаке, у стола, на котором были разложены бруски мягкой сосны, клееварка, проволока, шило, нож, тюбики с краской и кисточки, кусочки ткани, иголки, ножницы. Наконец-то он вернулся к себе.

Несколько дальновидных деловых людей создали в Бардсвилле акционерное общество и выкупили военный завод, производивший патроны для стрелкового оружия. Теперь на нем будут делать пластмассу. После забастовки старая мебельная фабрика работает круглосуточно. На окраинах города, на месте ветхих лачуг, где обитали во время войны рабочие, возводятся новые дома. Сами же рабочие — понаехавшие с красноглиняных холмов на юге, с берегов ленивых, пунктирных, изобилующих змеями речек, что текут в Миссисипи, из придорожных поселков и мемфисских трущоб, — как полагает Торговая палата, в большинстве своем здесь и останутся. В Бардсвилле теперь насчитывается около двадцати тысяч жителей.

Джени Мэрфи недавно вышла замуж. Время невыносимой боли осталось позади. Боль причиняла не только потеря Джаспера Партона, столь ею любимого, но и чувство вины. Она считала себя причиной его гибели. Она согрешила, живя с ним в нецерковном браке, и в наказание за это потеряла его. Долгое время она была на грани самоубийства, особенно после поездки в Вашингтон и медали, публичного свидетельства ее вины. Она изо всех сил боролась с собой, казалось, что она умрет. Нельзя день и ночь испытывать такую боль и жить. Она ничего не могла поделать, увещевания отца Доннелли не приносили ей облегчения.

Но она жила. И вышла замуж за Марри Джеймса, большого спокойного мужчину, очень сильного и доброго, на десять лет ее старше, который работал мастером на мебельной фабрике. Он во всех отношениях удовлетворяет ее гораздо больше, чем Джаспер Партон, и она даже любит его больше, чем когда-то Джаспера. Она сознает это и сознает, что этим окончательно убила бедного, тщеславного, простецкого весельчака, вращавшего глазами, своего героя Джаспера. Иногда она просыпается по ночам и, возвращаясь из новой вины в теперешнее счастье, плачет сладко и беззвучно, а потом сжимает в ладонях большую грубую руку Марри Джеймса и лежит, прислушиваясь к его дыханию.

В последние недели это случается намного реже, и совсем скоро она отпустит Джаспера. Он уйдет туда, где ему надлежит быть, присоединится к цирку на чердаке. Присоединится к Сэту Сайксу и пьяному Кэшу Перкинсу и всем героям, когда-либо погибшим за то, что было им дорого, к старому Лему Лавхарту, который лежал в сумерках и слушал птичьи трели, а потом с него снял скальп чикасо, к Саймону Лавхарту, чья правда заключалась в ране и молитвеннике, к Люси Болтон Лавхарт с ее любимым коварным сердцем и к котенку, вышвырнутому маленькой Люси Болтон из окна на кирпичи, к отмывшимся от крови наконечникам и полинявшему полковому знамени Саймона Лавхарта, к песне “Пусть приступят к нам воды...”, которую пели при крещении, и к той, которую пели на площади в день перемирия в 1918 году, к рас-

крашенным деревянным зверям, зловещему шпрехшталмейстеру, голубоглазой девочке-акробатке в легкомысленной юбочке и всему, чем жил Бардсвилл, в чем он находил смысл жизни и с чем умирал. Там Джаспер будет дома.

Перевод Олеси Качановой

Ежевичная зима

Посвящается Джозефу Уоррену и Дагмар Бич

Был июнь, и уже начало девятого утра, но в гостиной топился большой каменной кладки камин, топился вполсилы — всего несколько чурок. Я стоял у огня, почти влез в дымоход, босые ноги гладили теплый камень. Я смаковал жар — кожа голых ног дубела, стягивалась, зудела — и кричал матери, которая возилась где-то на кухне или в столовой:

— Июнь ведь, зачем их надевать!

— Ты их наденешь, иначе не выйдешь, — откликалась она.

Я пытался определить меру властности и твердости в ее голосе, но на таком расстоянии это было трудно. Я пытался разобраться в ее голосе и думал, как глупо было с моей стороны пойти через заднюю дверь и попасться ей на глаза босым. Пойди я через главную или боковую — она бы ничего не узнала, до обеда по крайней мере, а к тому времени полдня бы уже прошло, я бы и ферму всю успел обследовать — как там, после грозы? — и к ручью сбегать разлив посмотреть. Но я даже представить себе не мог, что мне когда-нибудь запретят ходить босиком в июне, пусть даже холод и половодье.

В июне, сколько я помнил, никогда мне этого не запрещали, а то, что помнится в девять лет, кажется незыблемым: тогда все помнится, все важно, широко и полнокровно и наполняет Время, все прочно, так что можно ходить и ходить, словно вокруг дерева, и смотреть. И хотя осознаешь, что время идет, но не знаешь, что такое Время. Время для тебя не то что уходит, утекает, выветривается, но то, в чем прорастают вещи, и когда что-нибудь случается, это входит в плоть Времени, укореняется в нем и стоит прочно, как дерево, и можно ходить вокруг и смотреть. Движение есть, но это не движение Времени, а только спокойный ветер, и он колышет листья на дереве, живом и прочном. В девять лет ты знаешь, что есть что-то, чего ты не знаешь, но знаешь и то, что уж если ты что-то знаешь — это навсегда. Ты знаешь, откуда это взялось, и знаешь, что в июне можно ходить босиком. И не понимаешь, когда этот голос откуда-то из столовой тебе говорит, что нельзя босиком за дверь — бежать смотреть, как там дела, скользить ступней по мокрой знобкой траве и, впечатав четкий след в мягкое масло краснозема, стоять над ним в раздумье, как будто далеко-далеко, на утреннем сверкающем берегу моря, нечаянно набрел на одинокий след. Морского берега

© А. Власова. Перевод, 2001

ты никогда не видел, но в книге читал и помнишь, как там было про след.

Но голос умолк, а слова остались, и я с ненавистью взглянул на черные носки и стоптанные коричневые ботинки, перекочевавшие из моего шкафа на коврик перед камином.

— Июнь ведь! — крикнул я и выждал.

— Да, июнь, — издалека принес голос, — и ежевичная зима.

Я поднял было голову, чтобы возразить, чтобы еще раз снять пробу с этого голоса, и вдруг увидел человека.

Камин находился в конце гостиной, так как трубы в фермерских домах в Теннесси обычно ставили над щипцом сзади. По обе стороны трубы было по окошку. Из северного окошка я и увидел этого человека. И когда я этого человека увидел, я не крикнул еще раз, как собирался, но, захваченный странностью картины, стал следить, как он идет по тропе вдоль опушки.

Странно было уже само появление там человека. Тропа шла вдоль выгона, между забором и лесом, вплотную подступавшим к выгону, потом огибала курятники, вилась по кромке леса и, наконец, скрывалась из виду там, где он выдавался и заслонял дальнее поле. Там тропа уходила в лес. Я знал, что она поворачивала и вела через лес к болоту и вдоль болота туда, где большие деревья сменялись платанами и черными дубами, ивами и зарослями тростника, потом выводила к реке. Люди по этой тропе не ходили, разве только к болоту за лягушками, или за рыбой к реке, или поохотиться в лесу, и те, у кого постоянного разрешения отца не было, всегда останавливались и просили позволить им пройти через ферму. Но даже издали было видно, что человек, за которым я наблюдал, не охотник. Да и охотнику что там делать после грозы? К тому же шел он с реки, но этим утром туда никто не проходил. Я это знал наверное, потому что, если бы кто-нибудь прошел, то есть чужой кто-нибудь, собаки бы подняли лай и бросились бы к нему. Но этот человек шел с реки и шел через лес. Я вдруг представил, как он движется в лесу по заросшей тропе, в зеленом сумраке под большими деревьями, движется бесшумно, и то здесь, то там с листа или ветки, как с карниза, срываются крупные капли и разбиваются ниже о жесткий лист черного дуба с коротким глухим звуком, похожим на стук капель о жесть. Этот звук в молчаливом лесу полон значения.

В детстве, когда стоишь в тихом лесу и он так тих, что сердце почти не бьется и хочется стоять здесь в зеленом сумраке, пока не ощутишь, как ноги твои погружаются в землю, впиваются в нее, словно корни, и тело через поры медленно дышит, как листья, — когда стоишь вот так и ждешь очередного короткого и глухого удара капли о лист, кажется, что этот удар отмеряет что-то, чему-то кладет предел, чему-то возвещает начало, и не можешь дождаться его и боишься, что его не будет, потом слышишь его и снова ждешь, почти в страхе.

Но человек, которого я мысленно видел идущим по лесу, не останавливался, не медлил, врастая в почву и, подобно листьям, крупно, беззвучно дыша. Нет, в моем воображении он шел сквозь зеленый сумрак так же, как шел сейчас по тропе вдоль леса к нашему дому. Он шагал размеренно, но не быстро, слегка сутулился, и голова его устремлялась вперед, как у тех, кто долго был в пути и кто в пути еще долго пробудет. На несколько мгновений я закрыл глаза и подумал: вот сейчас открою их, и его там не окажется. Ему неоткуда было взяться и нечего было делать там, на этой

тропе, ведущей к нашему дому. Я открыл глаза, но он не исчез, он шел размеренно вдоль леса. До птичьего двора он еще не добрался.

— Мама! — позвал я.

— Ты их наденешь, — ответил голос.

— Там человек позади дома.

Она ничего не сказала, наверное, пошла взглянуть в окно. Теперь, пока она на него смотрит, гадая, как все деревенские, кто он и что ему надо, ей не до моих босых ног и можно пойти на кухню. Что я и сделал.

Она стояла у окна.

— Никогда его раньше не видела, — сказала она не оборачиваясь.

— Откуда он идет? — спросил я.

— Не знаю.

— Что ему там ночью в грозу понадобилось у реки?

Какое-то время она наблюдала за ним, потом сказала:

— Ну, может, он решил пойти напрямик от Данбаров.

Да, это действительно могло все объяснить. Он не был ночью в грозу у реки. Он оказался там нынче утром. Можно было пойти напрямик от фермы Данбаров, пришлось бы, правда, продираться сквозь заросли бузины, сассафраса и ежевики, заглушившие старую, заброшенную дорогу. Это меня успокоило, но ненадолго.

— Мама, — спросил я, — а что ему понадобилось ночью у Данбаров?

Она обернулась, и я понял, что совершил ошибку, — она увидела мои босые ноги.

— Ты так и не обулся, — сказала она.

Меня выручили собаки. Донесся лай, сначала Сэма, колли, потом — внушительный, рокочущий — Булли, и я увидел, как Булли бросился к незнакомцу, белой молнией сверкнув мимо задней веранды. Булли был так называемый фермерский бульдог, таких теперь и не встретишь — большой, белый, грудь и голова массивные, лапы длинные. Через забор он перелетал с легкостью гончей. Вот и сейчас он прыгнул через белый дощатый забор в сторону леса, а мать выбежала на заднюю веранду и закричала: “Назад, Булли, назад!”

Булли замер на тропе, поджидая незнакомца, но не сразу замер его яростный лай, горловой, глубокий, как звук из тьмы каменного колодца. Я с восхищением смотрел на его белую грудь в кровавых брызгах красноземa.

Человек, однако, не остановился, даже когда Булли перепрыгнул забор и помчался к нему. Он шел себе и шел. Просто переложил бумажный сверток в левую руку и полез за чем-то в карман брюк. В глаза мне ударил блеск, и я увидел в его руке нож, хулиганский ножик не длиннее карманного, годный разве что для баловства, у таких обычно кнопка на ручке — нажмешь, и выскочит лезвие. Да, это наверняка был нож с кнопкой — слишком уж быстро появилось лезвие и без помощи другой руки.

Смешно он смотрелся со своим ножом против наших собак — Булли был большой, мощный и стремительный пес, да и Сэм ему под стать. Напади они всерьез, он не успел бы ударить — собаки вмиг бы его сшибли и разорвали. Ему бы толстую палку, что-нибудь, чем на них замахнуться, что они бы заметили и чего, бросаясь на него, могли бы поостеречься. Но он явно не разбирался в собаках. Поэтому шел, держа лезвие у правого колена.

Но тут мать закричала, и Булли остановился. Тогда незнакомец на ходу защелкнул лезвие и сунул нож обратно в карман. Почти всякая жен-

щина испугается человека, про которого знает, что у него нож в кармане. Непременно испугается, если она в доме одна с девятилетним ребенком. А мать была одна, отец уехал, а Делли, кухарке, нездоровилось, и она лежала в своей хижине. Мать, однако, не испугалась. Она была не крупная, но цепкая и спорая во всяком деле женщина, и голубые ее глаза на загорелом лице прямо смотрели на все и всех. Она первой из женщин в округе стала ездить верхом (давно, еще девушкой, задолго до моего рождения), и мне случалось видеть, как, схватив ружье, она выбегала во двор и, словно тарелку, на лету сбивала ястреба, наведавшегося к ней за цыплятами. Она была тверда и независима, и теперь, когда я вспоминаю мать через столько лет после ее смерти, я вспоминаю ее смуглые руки, небольшие, но для женщины какие-то слишком квадратные, с квадратными ногтями. Это были скорее мальчишеские руки, чем руки взрослой женщины. Тогда мне и в голову не приходило, что она когда-нибудь умрет.

Она стояла на задней веранде и смотрела, как этот человек входит в задние ворота, где кружат собаки (Булли прыгнул обратно во двор), ворча и оглядываясь на мать — всерьез ли был отдан приказ? Человек прошел мимо собак, едва не задев их, не обратив на них внимания. Я разглядел теперь, как он одет: старые брюки цвета хаки, темный шерстяной пиджак в полоску и серая фетровая шляпа. Серая в голубую полоску рубашка, галстука нет. Но галстук был, я видел, синий с красным — он торчал из бокового кармана пиджака. Все было не так в его одежде. Ему полагались синие джинсы или комбинезон, соломенная шляпа или старый черный фетр, пиджак, раз уж он носил пиджак, должен был быть без этих полосок. Его одежда, хотя и грязная и вытертая, как подобает одежде бродяги, не вязалась с задворками нашей фермы в центре Теннесси, от которой до ближайшего города мили и мили и даже до шоссе еще целая миля.

Он дошел почти до ступенек, ни слова не говоря, и тогда мать будничнo сказала:

— Доброе утро!

— Доброе утро, — ответил он, остановился и оглядел ее. Шляпы он не снял, из-под шляпы смотрело совершенно незапоминающееся лицо, ни молодое, ни старое, ни худое, ни полное, сероватое, в трехдневной щетине. Глаза его почти невозможно описать, они были какие-то мутно-карие и налиты кровью. Когда он открыл рот, показались кривые желтые зубы. Из них пара была выбита. Именно выбита — под брешью на нижней губе виднелся шрам, еще не очень старый.

— Работу ищете? — спросила мать.

— Да, — ответил он.

Не "Да, мэм", и шляпы опять не снял.

— Не знаю, как муж, он уехал, — сказала она, и не думая скрывать от бродяги, или кого-то вроде бродяги, с хулиганским ножом в кармане, что поблизости нет мужчин, — а я вам кое-какую работу дам. В грозу утонуло порядком цыплят. Три курятника. Соберите их и закопайте. Поглубже закапывайте, чтобы собаки не достали. Вон там, в лесу. И почините курятники, которые сдуло ветром. И еще вон за тем загоном у опушки утонуло несколько курышек. Они вырвались, я не смогла их загнать. Хоть и ливень. Безмозглые эти курышки.

— Курышки — это что? — спросил он и сплюнул на мощеную дорожку. Он растер плевок, и я увидел его черные остроносые туфли, сбитые и растрескавшиеся. Носить такие в провинции дикость.

— А, это молодые индейки, — говорила мать. — Безмозглые совсем. Не стоило их вместе с цыплятами выращивать. Так они плохо растут, даже если держать их отдельно. А цыплята важней для меня. — Она запнулась и поспешила вернуться к делу. — Когда кончите с этим, приведите в порядок клумбы. Туда и песку, и грязи, и мусору намыло. Если постараться, глядишь, и не все цветы погибнут.

— Цветы, — произнес человек глухим бесцветным голосом, с тенью глубокого значения, измерить которое я не мог. Как мне кажется теперь, это не было просто презрением. Скорее отчужденным, сторонним удивлением, что ему предстоит возиться с клумбами. Слово вылетело, взгляд пересек двор.

— Да, цветы, — сказала мать жестко, не допуская против цветов никаких возражений.— В этом году они особенно хороши. — Она умолкла и посмотрела на незнакомца. — Есть хотите? — спросила она.

— Да, — сказал он.

— Подкрепитесь, а потом начнете. — Она повернулась ко мне. — Покажи, где у нас можно умыться, — велела она и ушла в дом.

Я повел его к колонке у веранды, где на низкой полке стояла пара тазов, из которых умывались при входе. Я не спешил уходить, а незнакомец положил свой маленький газетный сверток, снял шляпу и огляделся, ища для нее гвоздя. Потом налил воды и окунул в нее руки. Большие, сильные на вид, эти руки, однако, не были побуревшими и огрубелыми, как у тех, кто работает под открытым небом. Но они были грязные, грязь въелась в кожу, чернела под ногтями. Он вымыл руки, сменил воду, вымыл лицо. Вытерся и с полотенцем в руке шагнул к зеркалу на стене. Провел ладонью по щетине, внимательно осмотрел лицо, туда-сюда поворачивая голову, наконец отступил и поправил на плечах свой полосатый пиджак. Он проделывал это — гляделся в зеркало, поправлял пиджак, разглаживал его, — словно собирался в церковь или на вечеринку. Потом он поймал мой взгляд. С минуту он сверлил меня налитыми кровью глазами, затем спросил глухим грубым голосом:

— Что смотришь?

— Ничего, — выдавил я и отступил на шаг.

Он бросил скомканное полотенце на полку, направился к дверям кухни и без стука вошел. Мать что-то сказала ему, я не расслышал что. Я пошел было в дом, но вспомнил про свои босые ноги и решил повернуть к курятникам, где незнакомец должен был собирать дохлых цыплят. Там я слонялся, пока он не вышел.

Он шел по птичьему двору осторожно, но не то чтобы брезгливо, глядя под ноги на загустевшую грязь в пятнах куриного помета. Земля вспухала вокруг его черных туфель. Он подобрал первого цыпленка — я стоял шагах в трех и наблюдал за ним. Он поднял его за лапку и стал рассматривать.

Нет ничего мертвее утонувшего цыпленка. Для деревенского мальчишки вроде меня ловля лягушек, забой свиньи были делом привычным, но при взгляде на эти лапки, слабо зажавшие пустоту, у меня заныло в животе. Обычно пушистое и круглое, тельце цыпленка теперь обмякло и скукожилось, перышки слиплись, шея вытянулась, стала дряблой, как тряпочка. Глаза затянула голубоватая пленка, как у очень старых, близких к смерти людей.

Незнакомец стоял и рассматривал цыпленка. Потом огляделся, словно не зная, что с ним дальше делать.

— В сарае есть старая большая корзина, — сказал я, кивнув на постройку рядом с курятником.

Он глянул на меня, как будто только что заметил, и двинулся к сараю.

— И лопата там же, — добавил я.

Он принес корзину и стал подбирать цыплят, медленно поднимая их за лапки и грубо, порывисто бросая в корзину. То и дело его налитые кровью глаза устремлялись на меня. Каждый раз казалось, он вот-вот что-то скажет, но он молчал. Возможно, он собирался мне что-то сказать, но я не стал ждать. Мне было не по себе под его взглядом, и я ушел с птичьего двора.

И кроме того, я вспомнил, что ручей разлился, затопило мост и что все пошли туда смотреть. И я отправился через ферму к ручью. Я дошел до большого табачного поля и увидел, что оно не слишком пострадало. Земля была в порядке, грозой смыло не так уж много табака. Но в округе, я знал, его смыло много. Так отец сказал за завтраком.

Отец был у моста. Через дыру в живой изгороди я выбрался на дорогу и увидел, как он на своей кобыле возвышается над головами любующихся на разлив людей. В этом месте ручей был широк и в обычное время — милях в двух отсюда он впадал в реку, — с наступлением же половодья красная вода заливала шоссе там, где оно спускалось к мосту (мост был железный), мост тоже заливала, даже перила. Виднелась только верхняя часть стальной фермы, красная вода вскипала вокруг белой пеной. Ручей в этом месте вспухал сильно и стремительно — в нескольких милях отсюда он спускался с холмов, где овраги мгновенно заполнялись дождевой водой. Там он тек по глубокому руслу между известняковых круч, а за три четверти мили до моста выходил на равнину и разливался, бурля, шипя и дымясь, как вода из брандспойта.

На разлив всегда стекалось посмотреть пол-округи. После ливней все равно делать нечего. В поле не выйдешь, даже если твои посевы целы — тогда у тебя вроде как праздник. А если посевы размыло, тогда — куда деваться? — пытаешься отвлечься от мыслей о процентах по закладной, если мог позволить себе заложить ферму, а если нет, то от мыслей о голодном Рождестве. Вот люди и собирались у моста смотреть разлив. Все же не каждый день такое бывает.

Сначала все обсуждали, насколько вода поднялась в этот раз, потом разговоры стихали. Взрослые и дети просто стояли вокруг, на земле или в повозках, или сидели на лошадях и мулах — кто как. С час или два все смотрели на странную картину разлива, потом кто-нибудь говорил, что пора и домой обедать, и уходил по серой известняковой в пятнах луж дороге или ударял пятками лошадь и уезжал. Всем было известно, что за зрелище ожидает их у моста, но все всегда приходили, как в церковь или на похороны. Всегда приходили, непременно, если дело было летом и разлива не ждали. Зимой на паводок никто не ходил смотреть.

Я пролез в дыру в живой изгороди и увидел толпу: взрослых человек, наверное, двадцать и множество детей — и отца верхом на своей кобыле, Нелли Грэй. Он был высокий, гибкий и хорошо держался в седле. Я всегда им гордился, глядя, как он сидит верхом, такой прямой и спокойный, и, помню, первое, что я ощутил, пробравшись в то утро туда сквозь изгородь, было теплое чувство к отцу, оно всегда возникало, когда я видел его вот таким, на лошади. К нему я не пошел, я обогнул толпу с дальнего края, чтобы увидеть ручей. Прежде всего я не знал, как он отнесется к тому, что я босой. Но тут же я услышал его крик: “Сет!”

Я направился к нему, виновато протискиваясь между людьми, склонявшими ко мне широкие красные или худые желтые лица. Некоторых я знал, знал их имена, но теперь они были в толпе, среди незнакомых лиц, и казались мне чужими и недружелюбными. Я избегал смотреть на отца, пока не приблизился к нему на расстояние вытянутой руки от его каблука. Тогда я поднял глаза, пытаясь по его лицу угадать, сердится ли он, что я босой. Но прежде чем я смог прочесть что-либо на его невозмутимом скуластом лице, он наклонился и протянул ко мне руку. "Ну, хватайся!" — скомандовал он.

Я ухватился, подпрыгнул и — хоп! — взлетел как перышко в его макклелановское седло. "Так тебе будет видней", — сказал он, двигаясь к задней луке, чтобы освободить мне место, и тут же, казалось, забыл обо мне, глядя поверх моей головы на вздувшуюся, бурлящую воду. Но сбоку, чтобы я не упал, он придерживал меня правой рукой.

Я сидел так тихо, как только мог, и лопатками чувствовал, как ходит грудь моего отца — слегка прижимаясь ко мне при вдохе и отстраняясь при выдохе, — потом я увидел корову. Сначала, глядя вверх по течению, я принял ее просто за груду сплавного леса, мчащуюся в потоке воды, но вдруг какой-то довольно большой мальчишка, взобравшийся, чтобы лучше видеть, до середины телефонного столба, крикнул: "Вот черт, гляди-ка, корова!"

Все посмотрели. Точно, корова, но все равно что дерево — мертвую, как бревно ее крутило-вертело потоком, то захлестывало, то выносило на поверхность, над водой мелькали то голова, то копыта — уже не важно что.

Корова оживила разговор. Стали гадать, минует ли она мост, проскочив в свободном пространстве под верхней балкой, или завязнет среди наносов и обломков, скопившихся у стоек и укосин. Вспомнили, как десять лет назад столько леса прибило к мосту, что мост своротило. И тут корова врезалась в мост. Она врезалась в затор у одной из стоек и застряла. Сначала казалось, что она его все-таки протаранит, потом стало ясно, что застряла она окончательно. Она качалась на боку громоздким, ленивым, усталым поплавком. На шее у нее была рогатка, чтобы не прыгала через забор.

— Она, видно, прыгать любила, — сказал кто-то.

— Вот, гляди, и допрыгалась, — подхватил другой.

Потом стали гадать, чья же это корова. Решили, что Милта Элли. У него, говорили, была корова, которая убегала, он пас ее на огороженной земле выше по течению. Милта Элли я никогда не видел, но знал, кто он такой. Он был скваттер[1] и жил в лачуге на клочке земли, далеко, на отшибе, у холмов. Он был, что называется, "белая голь". Имел кучу детей. Как-то я видел их в школе. Остролицые, с прямыми прилизанными волосами тускло-соломенного цвета, они пахли простоквашей — не потому, что ели много простокваши, а потому, что так они, дети из лачуг, обычно пахнут. Старший Элли рисовал мерзкие рисунки и показывал их в школе малышам.

Это была корова Милта Элли. Именно так его корова и должна была выглядеть: костлявая, старая, с провисшей хребтиной и рогаткой на шее. Есть ли у него еще корова? — подумал я.

— Пап, как ты думаешь, есть у Милта Элли еще корова?

1. Фермер, самовольно поселившийся на свободном участке земли.

— Говори "мистера Элли", — сказал отец спокойно.

— Ну есть?

— Кто его знает.

И тут долговязый парень лет пятнадцати с дорожной котомкой — лямка на острых, как зубья пилы, позвонках, — сидевший на чахлом стареньком муле и не сводивший с коровы глаз, спросил, ни к кому в особенности не обращаясь:

— А что, утопших коров едят?

Он вполне мог быть сыном Милта Элли: вытертый залатанный комбинезон с обтрепанными брючинами, голые тощие лодыжки и задубевшие от грязи башмаки, болтающиеся под животом у мула. После этого вопроса все взгляды устремились на него, и тогда он смутился и помрачнел. Теперь я совершенно уверен, что он не собирался этого спрашивать. Пожалуй, для этого он был слишком горд, так же как и Милт Элли. Он просто думал вслух — и слова сорвались с языка.

На дороге стоял старик с белой бородой.

— Поживешь с мое, сынок, — сказал он смущенному хмурому парню на муле, — и увидишь: когда настают черные дни, люди еще не то едят.

— Да, кое для кого они нынче и впрямь настали, — сказал кто-то рядом.

— В свое время, сынок, я ел то, что человеку едва ли по вкусу. Я воевал, я был с генералом Форрестом, а что мне есть доводилось в черные дни, так я тебе расскажу. Я ел мясо, что вскакивало и убегало, когда ты собирался разрезать его и изжарить. Приходилось глушить его прикладом, такое оно было резвое. Это самое мясо прыгало, как лягушка, столько в нем сидело живности.

Но старика никто не слушал. Парень на муле отвернул от него свое хмурое острое лицо, ткнул мула в бок пяткой, и тот двинулся по дороге; при взгляде на него казалось, что вот-вот раздастся лязг костей в этой прилипшей к ребрам золотушной шкуре.

— Сын Сая Данди, — сказал кто-то, кивая в сторону удалявшейся фигуры на муле.

— Да, теперь ребятам Сая Данди, глядишь, и утопшая корова сгодится, — сказал другой.

Бородатый старик обвел их неторопливым усталым взглядом, сначала одного, потом другого.

— Поживешь с мое, — сказал он, — и все что ни есть сгодится.

Снова стало тихо, люди смотрели на красную вспененную воду.

Отец потянул левый повод, кобыла обошла толпу и тронулась по дороге. Мы подъехали к нашим главным воротам, отец спешился, чтобы открыть их и впустить меня с Нелли Грэй. Сотни за две шагов от дома, у боковой дорожки, отец сказал: "Хватайся!", я ухватился, и он спустил меня на землю.

— Поеду кукурузу посмотрю, — сказал он. — А ты домой.

Он свернул, я остался на подъездной дороге и глядел ему вслед. Он носил сапоги из воловьей кожи и старую охотничью куртку — вид совсем как у военного, как на картинках, думал я, глядя на его одежду. На одежду и посадку.

Домой я не пошел. Мимо огорода и конюшен я направился к хижине Делли. Я хотел поиграть с Джеббом, сынишкой Делли, года на два старше меня. Кроме того, я замерз. Я шел и дрожал, тело покрылось мурашками. Вздувавшееся на каждом шагу между пальцами ног месиво бы-

ло ледяным. У Делли можно было погреться и не бояться, что тебя заставят надеть носки и ботинки.

Хижина Делли, стоявшая на склоне и с одной стороны опиравшаяся на известняковые сваи, была бревенчатой, с маленькой верандой, беленым заборчиком и калиткой, где на проволоке висели лемеха, бренчавшие, когда кто-нибудь входил; во дворике росли два больших белых дуба, а позади хижины — цветы, там же под шапкой жимолости стояла чистенькая уборная. Делли и Старый Джебб — отец Джебба, который жил с Делли, жил с ней вот уже двадцать пять лет, хотя женаты они не были, — старались двор держать в чистоте. Они слыли опрятными и толковыми неграми. Делли с Джеббом были то, что называется "ниггеры при белых". Хижины двух других арендаторов не шли с их хижиной ни в какое сравнение. Отец следил, чтобы они не разваливались, но не мог же он и мусор за ними собирать. Они не давали себе труда выращивать овощи, как Делли и Джебб, или варить варенье и желе из диких яблок и слив, как Делли. Они были ленивые, и отец все грозился их согнать. Но не сгонял. Когда они в конце концов ушли, они снялись и ушли сами, просто так, отправились лениться куда-то еще. Потом появились другие. Но пока они здесь жили — Мэтт Роусон с семьей, Сид Тернер со своей, — я гонял с их детьми по всей ферме, когда они не работали. Но когда меня рядом не было, Маленькому Джеббу от них иногда доставалось. Все потому, что другие арендаторы завидовали его родителям.

Я так замерз, что последние полсотни шагов до калитки Делли пробежал. Я вошел во двор и увидел, что гроза не пощадила ее цветы. Место, как я говорил, было покатое, хлынувшая вода залила клумбы и смыла всю хорошую черную землю, принесенную Делли из леса. Травка во дворике, прибитая к земле потоком, так и осталась лежать и казалась редкой. Это напомнило мне слипшиеся перышки утонувших цыплят, которых собирал незнакомец там, на птичьем дворе моей матери.

Я пошел по дорожке к хижине и вдруг увидел, сколько сора и грязи повымыло из-под дома Делли. Земля перед верандой не была больше чистой. Вода вынесла из-под дома ветошь, ржавые банки, обрывки гнилой веревки, собачьи какашки, битое стекло, старую бумагу и тому подобную дрянь — все это теперь усеивало чистый дворик Делли. Теперь он выглядел так же, как и другие дворы, или даже ужаснее. Да, ужаснее, поскольку это было неожиданно. Я никогда не думал, что под домом у Делли скопилось столько грязи. Едва ли весь этот хлам под хижиной порочил Делли. Под любым домом собирается мусор. Но я не думал тогда об этом, глядя на все то, что вода вынесла на уютный и чистенький двор, который Делли, случалось, даже мела веником.

Я осторожно прошел по двору, стараясь не наступить на что-нибудь босой ногой, и поднялся на крыльцо. Я постучал, и Делли сказала: "Войдите".

После дневного света внутри казалось темно, но я различил Делли, лежавшую под одеялом, и Маленького Джебба, присевшего у камина, в котором чуть теплился огонь.

— Здрасьте. Как здоровье? — спросил я Делли.

Ее большие глаза — белки их на черном лице казались странно яркими — нашли меня и замерли, но она не ответила. Она не была похожа на Делли и вела себя не как Делли, которая громко и суматошливо возилась на нашей кухне, бормоча что-то себе под нос, шпыняя меня и Маленького Джебба, брякая кастрюлями, производя весь этот бестолковый ворч-

ливый шум, словно старая паровая молотилка, грохочущая, плюющаяся паром, с судорогой в колесах и тарахтящим регулятором. Эта Делли просто лежала в постели под лоскутным одеялом, повернув ко мне черное лицо, которое я едва узнавал, с ослепительными белками глаз.

— Как здоровье? — спросил я снова.

— Плохо мне, — сказало чужое черное лицо хриплым голосом — приземистому полному телу Делли оно не принадлежало, оно просто торчало из-под вороха белья. — Куда как плохо.

— Жалко, — пробормотал я.

Глаза помедлили на мне, потом ушли, голова на подушке отвернулась. "Жаль", — произнес голос без выражения, не спрашивая, не утверждая. Это была лишь оболочка слова, без красок и наполнения, она проплыла в воздухе, как перо или колечко дыма; большие глаза неподвижно смотрели в потолок, белки их белели, как белки крутых яиц.

— Делли, — сказал я, — там у дома бродяга. С ножом.

Она не слушала. Глаза закрылись.

Я пошел на цыпочках к камину и присел рядом с Джеббом. Мы стали шептаться. Я просил его достать поезд и поиграть в поезд. Старый Джебб прикрепил к трем коробкам от сигар катушки-колеса, соединил коробки проволокой, и Джебб получил свой поезд. Верх коробки-паровоза был закрыт, а трубой служил прутик от метлы. Джебб не хотел доставать поезд, но я сказал, что уйду домой, если он не достанет. Тогда он достал поезд, разноцветные камешки, окаменевшие стебли морских лилий и прочую чепуху, служившую грузом, и мы принялись возить все это по кругу, подражая, как нам казалось, разговору кондукторов, тихонько чухчухая и время от времени испуская приглушенные, осторожные "ту-ту". Мы так увлеклись игрой, что "ту-ту" стали громче. Наконец, забывшись, Джебб выдал полноценное, громкое "ту-ту", сигналя на переезде.

— Поди сюда, — послышалось с кровати.

Джебб подошел к кровати. Делли тяжело оперлась на руку, бормоча: "Ближе!" Джебб приблизился.

— Сил моих нет, — сказала Делли, — но я тебе задам. Сказала ведь, сиди тихо.

И она его ударила. Удар был ужасный и не вязался со слабостью Делли, о которой она говорила. Джебб и раньше получал от нее затрещины, я видел, но то все были несерьезные шлепки, других и не ждешь от добродушной ворчливой негритянки вроде Делли. Сейчас было не то. Сейчас это было ужасно. Так ужасно, что Джебб и не пикнул. Слезы брызнули, потекли по лицу, дыхание прерывалось, он глотал воздух.

Делли откинулась на подушку.

— Попробуй сляг, — сказала она в потолок. — Захворай только, житья не дадут. Изведут вконец. Сляг попробуй.

Она закрыла глаза.

Я вышел из комнаты. Почти бегом добрался до двери, бегом пересек веранду, слетел со ступенек и помчался по двору, не заботясь о том, наступаю ли босой ногой в грязь, которую вымыло из-под дома, или нет. У самого дома я сбавил ход. Я вспомнил, что мать увидит меня босиком. И завернул на конюшню.

Я услышал шум в яслях и открыл дверь. Там на старом бочонке из-под гвоздей сидел Большой Джебб над огромной корзиной и лущил кукурузу. Я вошел, затворив за собой дверь, и устроился рядом с ним на полу. Мы молчали минуты две, я смотрел, как он лущит кукурузу.

У него были очень большие руки, узловатые, с посеревшими костяшками и мозолистыми, словно заржавленными ладонями, эта ржа проступала между пальцами и с другой стороны. Этими руками, необычайно сильными и жесткими, он брал большой початок кукурузы и ладонью вылущивал зерна из гнезд единым махом, как машина. "Поработай с мое, — говорил он, — и руки с Господней помощью будут ровно чугун, а чугун нипочем не сломается". Руки его и впрямь были как чугун, старый, поржавевший чугун.

Большой Джебб был старик, чуть ли не восьмидесятилетний, на тридцать или тридцать с лишним лет старше Делли, но сильный, как бык. Он был коренаст, широкоплеч и на редкость длиннорук, говорят, у туземцев на реке Конго такое сложение, оттого что они вечно на веслах. Круглая крепкая голова сидела на мощных плечах, редкие седые волосы торчали, как старый разлохмаченный ватин. У него была очень черная кожа, маленькие глаза, небольшой приплюснутый нос и самое доброе и мудрое на свете лицо — плоское, печальное лицо старого, мудрого животного, терпеливо глядящего на суету людей, которые всего только люди. Он был хороший человек, после отца и матери я любил его больше всех. Устроившись на полу яслей, я наблюдал, как он лущит кукурузу ржаво-чугунными руками, и с плоского лица на меня глядели его маленькие глаза.

— Делли говорит, ей очень плохо, — начал я.

— Ага, — отозвался он.

— А почему ей плохо?

— Бабья хворь, — сказал он.

— Что за бабья хворь?

— Это у них бывает. Так уж у них бывает, когда пора настает.

— Что это такое?

— Перемена. Перемена в жизни.

— Что меняется?

— Тебе рано знать.

— Ну скажи.

— Вырастешь, все узнаешь.

Спрашивать дальше не имело смысла. Когда он так отвечал на мои вопросы, я знал, что от него ничего не добьешься. Я продолжал сидеть и наблюдать за ним. Пока сидел, снова замерз.

— Ты что дрожишь?— спросил он.

— Мне холодно. Мне холодно, потому что теперь ежевичная зима, — сказал я.

— Может, так, а может, и не так.

— Так моя мама сказала.

— Права миз Салли или нет — не скажу. Только где человеку все знать.

— Разве теперь не ежевичная зима?

— Больно поздно для ежевичной зимы. Цветы давно сошли.

— Но она так сказала.

— Ежевичная зима короткая. Приходит и уходит, и враз наступает лето. А теперешний холод когда уйдет, кто знает.

— Но ведь июнь, — сказал я.

— Июнь, — повторил он с презрением.— Да, так говорят. Ну и что июнь? А холод, глядишь, и не уйдет.

— Почему?

— Потому что земля устала. Эта старая земля устала и не хочет родить. Однажды дождь шел сорок дней и сорок ночей по воле Господа, по-

тому что Он устал от грешников. И может быть, наша старая земля сказала Богу: "Господи, я так устала, дай мне отдохнуть, Господи". И Бог сказал ей: "Земля, ты хорошо потрудилась, ты давала им кукурузу, ты давала им картошку, все, что они хотели, ты давала им, и теперь, земля, ты можешь отдохнуть".

— А дальше что?

— Люди все съедят, и земля больше не даст плодов. Люди срубят все деревья и сожгут их, потому что холодно, и земля больше не даст деревьев. Я говорил им. Говорил. Я сказал: "Придет пора, может быть, в нынешнем году". Но они не слушали меня, что земля устала. Может, в нынешнем году они увидят.

— И все умрет?

— Все умрет и все умрут, так и будет.

— В этом году?

— Как знать, все может быть.

— Мама сказала, это ежевичные холода, — сказал я твердо и встал.

— Миз Салли, верно, знает, что говорит, — ответил он.

Я пошел к двери. Я не на шутку замерз. Я вспотел, пока бежал, и теперь острее чувствовал холод.

Я взялся за дверь и оглянулся на Джебба, который снова принялся за кукурузу.

— К нам пришел бродяга, — сказал я. Я почти забыл о нем.

— Ага.

— Он пришел со стороны болота. Что он там делал в грозу?

— Они приходят и уходят, — сказал он. — Откуда и куда, кто знает.

— У него ножик.

— Хорошие и плохие, они приходят и уходят. В грозу и в солнце, ночью и днем. Они люди, и, как все люди, они приходят и уходят.

Я держался за дверь, дрожа.

С минуту он смотрел на меня, потом сказал:

— Иди домой. А то насмерть простудишься. Что тогда мамка скажет?

Я помедлил.

— Ступай, — сказал он.

Я подошел к заднему двору и увидел отца — он стоял возле задней веранды, и к нему шел бродяга. Я не успел дойти до них, когда они начали говорить, но услышал, как отец сказал: "Сожалею, но работы нет. Сейчас мне больше не нужны работники. Вот начнем молотить, тогда понадобятся".

Незнакомец не отвечал, только смотрел на отца. Отец достал кожаный кошелек и вытащил полдоллара. Протянул их незнакомцу. "Это за полдня", — сказал он.

Незнакомец посмотрел на монету, потом на отца и даже не пошевелился, чтобы взять деньги. Но все было честно. В 1910 году на фермах платили доллар в день. А он и полдня не проработал.

Потом он взял монету. Он опустил ее в правый карман пиджака и сказал, очень медленно и бесстрастно: "Я и не собирался работать на твоей... ферме".

Он произнес слово, за которое меня бы убили на месте.

Я посмотрел на отца, его лицо побледнело под загаром. "Убирайся, — сказал он. — Убирайся, не вводи в грех".

Незнакомец сунул правую руку в карман брюк. У него был нож в этом кармане. Я хотел было крикнуть отцу, что у него там нож, но тут рука не-

знакомца вернулась пустая. Он криво ухмыльнулся, обнажив брешь в зубах над свежим шрамом. Я тогда подумал, что, может быть, зубы ему выбили, когда он полез на кого-то с ножом.

И теперь он лишь скривил, точно его тошнило, свое сероватое, ничем не примечательное лицо и сплюнул на мощеную дорожку. Плевок растекся в нескольких дюймах от правого отцовского сапога. Отец посмотрел вниз, и я тоже. Я подумал, что, попади он на сапог, что-нибудь бы случилось. Я видел четкий плевок и рядом с одной стороны — крепкие отцовские сапоги из воловьей кожи, с медными ушками и кожаными ремнями, тяжелые, заляпанные красноземом, твердо стоящие на плитах дорожки, а с другой — остроносые разбитые черные туфли, земля на которых смотрелась печально и нелепо. Черная туфля шевельнулась, сначала просто дернулась, потом на шаг отступила.

Описав полукруг, незнакомец дошел до колонки, провожаемый пристальным взглядом отца. Здесь, на полке среди тазов для умыванья, он разыскал свой маленький газетный сверток. Потом исчез за углом, а отец поднялся на веранду и молча прошел на кухню.

Я пошел вдоль дома — поглядеть, как поведет себя незнакомец. Теперь я его не боялся, даром что у него нож. Я обогнул дом и увидел, что он уже за калиткой, идет к шоссе. Я побежал, чтобы догнать его. Он успел пройти с полсотни шагов по дороге, когда я его догнал.

Поначалу я шел не вровень с ним, а сзади, в двух-трех шагах, как это делают дети, — то и дело срываясь на бег, чтобы не отстать. Когда я пристроился у него сзади, он обернулся и посмотрел на меня, посмотрел без всякого выражения и пошел дальше, глядя вперед на дорогу.

У опушки, за поворотом, когда дом скрылся из виду, я решил с ним поравняться. Я пробежал несколько шагов и оказался рядом с ним, или почти рядом, чуть поодаль справа. Так я шел какое-то время, и он меня не замечал. Я шел так, пока не показались главные ворота, за которыми было шоссе.

Тогда я спросил:

— Откуда вы пришли?

Тут он посмотрел на меня и как будто удивился, что я рядом. Потом сказал:

— Не твое дело.

Мы прошли шагов двадцать.

Я спросил:

— Куда вы идете?

Он остановился, с минуту бесстрастно разглядывал меня, затем вдруг шагнул ко мне и близко наклонился. Губы раздвинулись, но не в ухмылке, — я увидел брешь в зубах, натянувшаяся кожа высветлила шрам на нижней губе.

Он сказал:

— Отвяжись от меня. Не отвяжешься — глотку тебе перережу, паршивец.

И он пошел к воротам и дальше по шоссе.

Это было тридцать пять лет назад. С тех пор умерли и мать, и отец. Я был еще мальчиком, хотя и не маленьким уже, когда отец попал под нож косилки и умер от столбняка. Мать продала ферму и переехала в город к сестре. Но она так и не оправилась после смерти отца и умерла года через три, не дожив до старости. “Салли умерла от разбитого сердца. Она

была такой преданной", — говорила тетя. Делли тоже не стало, но, как я слышал, она умерла уже спустя годы после продажи фермы.

Что до Маленького Джебба, он превратился в злобного, драчливого негра. Он убил другого негра в драке и попал в тюрьму, он и сейчас там, по последней вести. Может быть, он вырос злобным и драчливым, потому что его вечно задирали дети других арендаторов, завидовавших Джеббу и Делли, тому, что они были неграми при белых, бережливыми и толковыми.

Старый Джебб и не думал умирать. Я видел его десять лет назад, ему было под сто, и он почти не изменился. Он жил тогда в городе, на пособие — это было во время Депрессии, — и я приехал повидаться с ним. Он сказал мне: "Моя сила не дает мне умереть. Вот был я пареньком — просто ходил да смотрел на мир вокруг, — и попросил я раз Бога. Я сказал: "Господи, дай мне силу, сделай меня сильным, чтобы мне работать и терпеть". И Бог меня услышал. Он дал мне силу. Я терпел и гордился, что я сильный и что вышел из меня человек. Бог дал мне молитву и силу. А теперь Он отошел от меня, и забыл меня, и оставил меня одного с моей силой. Не знает человек, о чем просит, смертный он".

Джебб, насколько мне известно, и сейчас, кажется, жив.

Вот что случилось после того, как однажды утром надо мной склонился бродяга и, оскаля щербатые зубы, сказал: "Отвяжись от меня. Не отвяжешься — глотку тебе перережу, паршивец". Он сказал так, чтобы я за ним не шел. Но я все иду за ним и иду, все эти годы.

Перевод А. Власовой

Патентованные ворота или гамбургеры что надо

Вы видели его тысячу раз. Вы видели его в субботу вечером на углу улицы, в центральном городке какого-нибудь округа. Он одет в комбинезон или синие джинсы, застиранные до бледно-голубого цвета, цвета весеннего неба после дождя, но поскольку сегодня суббота, на нем шерстяной пиджак, очень старый, возможно, тот самый пиджак, в котором он давным-давно женился. Из рукавов пиджака высовываются длинные руки, и на костях рук проступают жилы, похожие на сухие изгибы виноградных лоз, еще привязанных к ореховым палочкам, что хранятся у него рядом с печкой, в деревянном ящике, среди эвкалиптовых и дубовых поленьев. Большие кисти с узловатыми, разбитыми суставами и затвердевшими квадратными ногтями висят на запястьях, как неуклюжий самодельный инструмент, повешенный после работы на стену сарая. Летом он носит соломенную шляпу с широкими полями и растрепавшейся по краям соломой. Зимой — фетровую шляпу, когда-то черную, но со временем покрывшуюся разводами: темно-серыми и фиолетовыми на солнце. Лицо у него длинное и костистое; впалые щеки и выступающий подбородок. На подбородке — порезы от непри-

© А. Урубкова. Перевод, 2001

вычной бритвы, в нескольких местах зацепившей дубленую кожу. В этих местах темнеют тоненькие ниточки запекшейся крови. Лицо у него красновато-бурое, цвета красной глины, вязкой глины или пыли, осевшей на его штанинах и прямо-таки чугунных башмаках, или цвета красной кедровой древесины, потускневшей от солнца и дождей. Кажется, что лицо — неживое. Как будто его вылепили из глины или вытесали из кедра. Даже когда челюсть двинется, пережевывая табак, это медленное, внушительное движение вас не убеждает. Торжество хитрого механизма, спрятанного внутри.

И вдруг вы видите глаза. Вы видите, что глаза — живые. Бледно-голубые или серые, глубоко посаженные, они смотрят из-под колючих бровей. Они не открыты широко, но сощурены, как глаза, привыкшие к ветру и солнцу, привыкшие рассчитывать удар топора и смотреть в ружейный прицел. Вы проходите мимо и видите, что глаза — живые, что они пристально и бесстрастно оценивают вас из укрытия колючих бровей. Вы проходите мимо, а он продолжает неподвижно стоять: неподвижность — его дар.

Иногда рядом с ним стоят двое или трое похожих на него мужчин, но и они неподвижны. Они не разговаривают. Молодые люди, которые станут такими же в свои пятьдесят-шестьдесят, сейчас пьют пиво, заливаясь громким, грубым смехом. А для людей на углу это все давно позади. Для них многое давно позади. Они немало вытерпели и будут дальше терпеть безмолвно и мудро. Они будут стоять на углу улицы и отвергать мир, проходящий под их пристальным взглядом, как проходит по неряшливому городку у подножия скалистой цитадели под ее пушками всякий сброд.

Я видел сотни раз, как Джеф Йорк стоит на углу улицы в маленьком городке и толпа проплывает мимо под его холодным, пристальным и бесстрастным взглядом из укрытия. Он поджидает жену с тремя светловолосыми ребятишками, которые гуляют по городу, разглядывая витрины магазинов и прохожих. Потом они возвращаются, и Джеф молча ведет их в магазин, где они всегда делают покупки. Он идет первым, твердой походкой, с чуть согнутыми коленями, медленно опуская на цемент чугунные башмаки; вслед за ним — жена, миниатюрная женщина, украдкой, искоса и с любопытством глядящая на мир, и позади нее — светловолосые ребятишки, сбившиеся в стайку, ошеломленные невиданной роскошью. В магазине, дождавшись очереди, Джеф Йорк подходит к прилавку и, выслушав приветствие продавца, с высоты своего роста наклоняется к жене, чтобы расслышать, какие указания она прошепчет. Затем распрямляется и говорит: “Мешок муки, пожалуйста”. Мешок муки приносят, и он опять нагибается к жене за новыми инструкциями. Когда весь товар куплен и оплачен мятыми, замусоленными долларами из старого кожаного кошелька с металлической защелкой, он берет все в охапку и выносит, уводя за собой жену и светловолосых ребятишек, устремив взгляд куда-то поверх толпы. Он проходит по улице, сворачивает к коновязи, где стоят повозки, кладет в свою повозку товар, накрывает его старым стеганым одеялом и, оставляет так, пока не соберется ехать обратно, к себе домой.

У Джефа Йорка был свой дом и земля. Этим он и отличался от тех людей, с которыми стоял в субботу вечером на углу улицы. Они работали на чужой земле, а Джеф Йорк имел свою. И тем не менее он стоял рядом, потому что его отец стоял рядом с их отцами, дед — рядом с их де-

дами или с такими же, как они, в других городах, горных селениях и тех городах, что дальше, за горами. Они были прапрапраправнуками тех людей, наполовину охотников, наполовину земледельцев, которых занесло в песчаные долины, известняковые горы и пустоши двести или двести пятьдесят лет назад, но которые сумели вырвать жизнь из песка и камня. А когда вся почва превратилась в песок или спеклась в камень, они вновь отправились в путь, на запад, через горы, твердой походкой, с чуть согнутыми коленями, пристально вглядываясь в даль сощуренными глазами, держа на согнутой руке ружье, охотясь за новым пространством.

Но над ними тяготело проклятие. Они не знали другой жизни кроме той, которой жили, а в этой жизни не существовало ни плодородных долин, где растет тростник высотой в человеческий рост, ни сочных травянистых лугов, ни тенистой прохлады. Если они встречали такие земли, то проходили мимо и охотились за другими, где могли бы чувствовать себя как дома и жить прежней жизнью, чтобы их кровь пульсировала в прежнем ритме и на рассвете привычно кричали белки. Долгим оказался их путь до песчаных холмов Алабамы, красных земель северной Миссисипи и Луизианы, пустошей Теннесси, холмов Кентукки, кустарниковых зарослей на западе Кентукки и гор Озарк. Некоторые остановились в Теннесси, в восточной, гористой части округа Кобб, где построили свои хижины и вспахали землю под кукурузу. Но и тут смыло почву, и им пришлось наконец спуститься с высот к плодородным низинам в ту разраставшуюся часть округа Кобб, где росла сочная кукуруза, зеленым бархатом распускались табачные листья и среди кедров, тюльпанных деревьев и кленов виднелись белые домики. Впрочем, жить в белых домиках с известняковыми трубами им не пришлось. Жить им пришлось в лачугах на краю фермы да в хижинах — ничуть не лучше, чем двести лет назад за горами или, позже, на высотах округа Кобб. Но теперь эти лачуги и хижины стояли на чужой земле, и проклятие, которое они несли с собой через горы, которое было им дороже, чем форма для литья пуль и бабушкино стеганое одеяло, проклятие, которое пульсировало в их крови и определяло их привычки, — совершило круг вместе с ними.

Одним из таких людей был Джеф Йорк, но он избавился от проклятия. Для этого ему потребовалось больше тридцати лет, с отрочества и до пятидесяти. И потребовалось работать от зари до зари, из года в год, до седьмого пота, и отказывать себе во всем, пока такое самоограничение не стало для него неким темным, тайным наслаждением, безумным удовольствием, чем-то вроде неодолимого порока. Зато эти годы принесли ему шестьдесят акров земли с домом и сараем.

Земля, которую он купил, вначале была не очень хорошей. Она истощилась за годы невнимательного и небрежного отношения к ней. Но Джеф Йорк посадил в оврагах кусты, чтобы больше не вымывалась почва, и засеял истощенные поля клевером. Починил ограду, жердь за жердью. Залатал на домике крышу и подпер веранду, покупая доски и дранку чуть ли не поштучно, в зависимости от того, на сколько хватало блестящих от пота и скользких от жира четвертаков и полудолларов. Потом покрасил дом. Покрасил в белый цвет, зная, что так надо красить дома, стоящие среди кленов, вдали от дороги, за клеверным полем.

В последнюю очередь он поставил ворота. Патентованные ворота, к которым можно было подъехать и открыть их, просто дернув за верев-

ку, не слезая при этом с лошади или повозки. Они держались на двух высоких столбах, прочно скрепленных перекладиной, и с обеих сторон имели приспособления для запуска механизма. Ворота он тоже покрасил белым. И гордился ими больше, чем самой фермой. А его сосед Льюис Симмонс клялся, что затемно видел Джефа проезжавшим на муле через ворота туда и обратно, просто ради удовольствия дернуть за веревку и привести механизм в действие. Ворота стали чертой, которую Джеф Йорк подвел под всеми годами труда и самоограничения. Теперь, в воскресный летний день, перед тем как идти на дойку, он мог посидеть на своей веранде, и, глядя на холмы, на извилистую грунтовую дорогу, на белые ворота за клевером, он знал все, что ему нужно было знать о прошедших годах.

Между тем Джеф Йорк женился, у него появилось трое ребятишек. Жена была почти на двадцать лет моложе; маленькая, темноволосая женщина, она слегка наклоняла голову при ходьбе и в этой позе смиренного, безобидного человека украдкой поглядывала на мир своими карими или черными глазами — какими, нельзя было определить точно, потому что никто не помнил ее прямого взгляда, — неожиданно яркими, если вам удавалось поймать этот короткий косой взгляд — как у маленькой, хитрой птички, вдруг вылетевшей из кустов. Когда они бывали в городе, она шла по улице с ребенком на руках, а позже уже с тремя, семенившими сзади, и украдкой смотрела на мир. Она носила ситцевое платье мышиного цвета, висевшее на ней и полностью скрывавшее формы ее худого тела, а зимой надевала поверх платья коричневое шерстяное пальто с остатками меха на воротнике, напоминавшими облезлый лишайник на старом дереве. Она ходила в черных туфлях на высоком каблуке, похожих на бальные лодочки, всегда начищенных и довольно странно выглядящих в сочетании с платьем и пальто. В своих бальных туфлях она двигалась прихрамывающей, крадущейся походкой, почти скользя ногами по земле, словно еще не вполне овладела сложным искусством ходьбы в такой обуви. Сразу было заметно, что она надевает их только в городе, а пока повозка не подъедет к первым домам на окраине, держит завернутыми в газету, чтобы потом, на обратной дороге, в том же месте снять их и опять завернуть и везти сверток на коленях до самого дома. А в плохую погоду или зимой под сиденьем повозки стояли ее старые грубые башмаки.

Нет, Джеф Йорк не был жестоким человеком, требовавшим, чтобы его жена одевалась не лучше, чем жены самых нищих издольщиков. Вообще-то некоторые жены издольщиков, бедные и не очень, черные и белые, ухитрялись покупать яркие платья и приличные шляпки и ходить в кино в субботу вечером. Просто Джеф был еще должен кое-какие деньги за свою ферму, чуть меньше двухсот долларов, которые ему пришлось занять на новую постройку сарая, сгоревшего от молнии. Вообще-то он не вылезал из долгов. Сначала он потерял мула, когда тот выскочил на дорогу и его сбил грузовик. Для Джефа это был немалый урон. Потом несколько зим подряд хворал один из его малышей. Долги были небольшими, но после стольких лет самоограничения Джеф не мог забыть о том, что значили для него эти годы. По-своему он любил семью. Никто с этим и не спорил. Но любил так, как может любить человек, переживший многие годы самоограничения. Все, что он мог себе позволить, он делал. Каждый субботний вечер Джеф покупал ребятишкам пакетик разноцветных леденцов за десять центов, чтобы они сосали их по дороге

домой, а перед тем как покинуть город, вел всех в закусочную на колесах, где они брали гамбургеры и апельсиновую газировку.

Его ребятишки обожали гамбургеры. Как, впрочем, и жена. Это было заметно, хоть она ничего и не говорила: стоило тарелке с гамбургером появиться перед ней на прилавке, как ее склоненная голова чуть приподнималась, лицо озарялось радостью и она облизывала губы. Простые люди, такие, как Джеф Йорк и его семья, любят гамбургеры с маринованными огурцами, луком, горчицей и кетчупом. Это нечто совершенно особенное. Дома они едят свинину, когда она есть, овощи, кукурузные лепешки и картофель, чей вкус возможно улучшить разве что солью; и поэтому в городе, где в вашем распоряжении говядина, белый хлеб и любые приправы, возбуждающие аппетит, им все время приходится сглатывать слюну, чтобы рот не переполнился до того, как они успеют откусить первый кусок.

Итак, каждую субботу перед отъездом Джеф Йорк вел свою семью полакомиться в "Каплю росы", закусочную Слика Гардина. Закусочная была построена в виде железнодорожного вагона, но стояла на бетонном основании, рядом с главной улицей города. На бетоне, с обеих сторон, нарисовали колеса. Слик Гардин следил за тем, чтобы трава перед входом была подстрижена, и год или два на этой крохотной лужайке даже красовались цветочные клумбы. Дела у Слика шли хорошо. Несколько лет он подвизался на ринге в Нашвилле как начинающий боксер, и пару раз о нем писали в газетах. Так что теперь он был чуть ли не героем, окруженным романтическим ореолом. Но родился он здесь, в городе, и как только понял, что никогда не сможет стать классным боксером, вернулся домой и открыл закусочную, первую во всем городе. Это был молодой человек с гладкой кожей, лет тридцати пяти, рано облысевший, с совершенно голой головой. Его большие блестящие светло-голубые глаза напоминали агаты. Сказав нечто, по его мнению, остроумное, он обводил публику глазами, похожими на блестящие шарики, чтобы посмотреть, кто смеется. И потом подмигивал. Дело он вел успешно и, хотя приобрел городские привычки и городскую манеру речи, все еще помнил, как следует общаться с деревенскими, и именно они несли в закусочную свои десятицентовики. Городские здесь почти не бывали, если не считать школьников после занятий, юных хулиганов из бильярдной и железнодорожников, работавших в ночную смену.

Наверное, Слик Гардин хотел показаться остроумным, когда заговорил с миссис Йорк. Наверное, он забыл, вдруг вылетело из головы, что такие люди, как Джеф Йорк и его жена, не любят, чтобы с ними шутили, по крайней мере так. Произнеся свою шутку и ухмыльнувшись, Слик обвел взглядом присутствующих — посмотреть, как ее оценили.

Миссис Йорк сидела за стойкой между Джефом Йорком и тремя ребятишками. Она ждала, пока им приготовят гамбургеры — до них были еще другие заказы, — и искоса наблюдала за каждым движением рук Слика Гардина: как он шлепал розовый фарш на горячую плиту и смазывал разрезанные булочки жиром, чтобы положить в них котлету. Она всегда за ним наблюдала, а когда ей подавали гамбургер, облизывала губы.

На этот раз Слик подал ей гамбургер и сказал:

— Кто любит гамбургеры, как вы, миссис Йорк, должен купить себе закусочную.

Миссис Йорк покраснела и уставилась в тарелку, не ответив ни слова. Слик обвел всех взглядом — дошла ли до них шутка, и кто-то за стой-

кой фыркнул. Он посмотрел на Йорков, и если бы его не воодушевил так сильно этот смех, то Слик поостерегся бы продолжать, увидев лицо Джефа Йорка. Такие люди, как Джеф Йорк, очень чувствительны, особенно когда дело касается их женщин, и ни в коем случае нельзя шутить над их женщинами, если только не очевидно, что эта шутка — лишь милое проявление дружбы. После смеха за стойкой шутку трудно было счесть вполне дружеской. Джеф смотрел на Слика, и что-то медленно проступало в его лице, словно вытесанном из кедра, и в глубине серых глаз, укрытых под колючими бровями.

Но Слик не обратил внимания. Смех воодушевил его, и он сказал:

— Да, люби я гамбургеры так же сильно, как вы, то сам купил бы себе закусочную. Кстати, я свою продаю. Не желаете приобрести?

Кто-то засмеялся уже громче, и Джеф Йорк, не донеся гамбургера до рта, неторопливо положил его на тарелку. Но того, что могло бы произойти, не произошло. И не произошло потому, что миссис Йорк подняла вспыхнувшее лицо, посмотрела в глаза Слику Гардину и, сглотнув, — то ли чтобы не говорить с полным ртом, то ли чтобы совладать с нервами, — произнесла резким, напряженным голосом:

— Вы продаете закусочную?

Наступила полная тишина. Никто не ожидал, что она заговорит. Она сотни раз бывала в этой закусочной, но, кажется, никто не слышал от нее ни слова. Она приходила сюда с Джефом Йорком и, когда освобождалось место, садилась, а Джеф говорил:

— Мне пять гамбургеров, только самых вкусных, пожалуйста, и пять бутылок газировки. — А когда все было съедено, он клал на стойку семьдесят пять центов — если они пришли впятером — и выходил, медленно ступая в тяжелых башмаках, а за ним молчаливо следовали жена и дети. И вдруг она заговорила, она задала вопрос напряженным, неестественным голосом, и все присутствовавшие, включая мужа, посмотрели на нее с удивлением.

Наконец, опомнившись от удивления, Слик Гардин ответил:

— Да, продаю.

Она опять с трудом сглотнула, хотя гамбургера во рту точно не было, и спросила:

— И сколько вы хотите?

Вновь наступила тишина, Слик посмотрел на нее и, чуть презрительно пожав плечами, ответил:

— Тысяча четыреста пятьдесят долларов.

Миссис Йорк взглянула на него и побледнела.

— Многовато, — сказала она равнодушно и опять уставилась в тарелку с гамбургером.

— Леди, — стал оправдываться Слик, — именно столько я сюда и вложил. Посмотрите на плиту. Это "Хит-мастер", — они не дешевые. А кофеварки? Лучше вы не найдете. Плюс еще земля, на которой стоит закусочная. Любому понятно, что я вложил сюда не меньше. Даже больше. Этот участок мне обошелся дороже, чем... — Вдруг он понял, что она не слушает. И понял, наверное, что за душой у нее нет ни цента, купить закусочную она не может, и он просто выглядит дураком, оправдывая свою цену. Он осекся, пожал плечами и обвел взглядом всех сидящих за стойкой, ища, кому бы подмигнуть.

Но прежде чем он успел подмигнуть, Джеф Йорк произнес:

— Мистер Гардин...

— Да? — ответил он, посмотрев на Джефа.

— Она не хотела вас обидеть, — сказал Джеф Йорк. — Она не хотела соваться в ваши дела.

Слик пожал плечами:

— Мне все равно. Я не скрывал, что продаю закусочную. Из цены тоже секрета не делаю.

Миссис Йорк склонилась над тарелкой. Медленно, задумчиво она жевала гамбургер, и было видно, что для нее он стал безвкусным.

Все это, конечно, случилось в субботу. На следующей неделе, в четверг, после обеда, Слик был в закусочной один. После обеда наступало затишье. Слик, как он рассказывал позже, протирал плиту и ничего не заметил. Он рассказывал, что просто насвистывал. У него такая манера — насвистывать сквозь зубы. Но насвистывал негромко — не так громко, чтобы не услышать открывающуюся дверь или чьи-то шаги. Она вошла бесшумно и встала посередине, и когда он повернулся, его чуть удар не хватил от неожиданности. Он думал, что один в закусочной, а она, нате вам, — стоит и наблюдает за каждым его движением, как кошка за рыбкой в аквариуме.

— Здравствуйте, — сказал он, когда пришел в себя.

— Закусочная еще продается? — спросила она.

— Да, леди.

— Сколько вы за нее хотите?

— Леди, я вам уже говорил, — ответил Слик, — тысяча четыреста пятьдесят долларов.

— Уйма денег, — сказала она.

Слик начал объяснять, сколько денег вложил в закусочную, но почти ничего сказать не успел — она развернулась и выскользнула в дверь.

— Ну да, — рассказывал он позже посетителям, — я, как дурак, начал объяснять ей, сколько денег вложил в дело, хотя знал, что у нее нет ни цента. Она сумасшедшая. Прошла, наверное, пять или шесть миль, просто чтобы задать мне вопрос, на который сама знает ответ. А потом развернулась и ушла. Но я все равно продаю закусочную. Надоело подавать жратву всякой деревенщине. У меня связи в Нашвилле, открою там новое дело. Сигары, пара бильярдных столов, может быть, пиво. Там же устрою клуб. Такой, с членскими билетами, чтобы ребятам было где перекинуться в картишки. Клуб для общения. У меня в Нашвилле хорошие связи. Так что закусочную я продаю. А эта женщина — у нее ни цента. Закусочную она не купит.

Но она купила.

В субботу Джеф Йорк привел семью снова. Они молча съели гамбургеры и ушли. Когда они ушли, Слик сказал:

— Похоже, вкладывать сюда деньги она не собирается. Наверное, передумала, решила прикупить пакет акций какого-нибудь банка. — Он обвел всех взглядом, нашел братскую душу и подмигнул.

Это случилось в конце следующей недели. Никто не знал и так и не узнал, что происходило в белом домике, на ферме Джефа Йорка. Может, она морила его голодом, не готовила еду или все подгорало. Может, перестала ухаживать за детьми и он, вернувшись домой усталым, должен был заниматься ими сам. Может, ночью, лежа в постели, она говорила и говорила и упрашивала его купить закусочную, изводила его всю ночь, а он проваливался в сон и просыпался, чтобы опять слышать ее голос. Может, она просто отворачивалась и не позволяла до себя дотронуться.

Джеф был намного старше, и, возможно, она была его первой и единственной женщиной. Все прежние годы он слишком сильно зависел от своей мечты и страсти самоограничения, чтобы хоть пальцем дотронуться до женщины. Этим она его и взяла. Тем, что он был намного старше и не знал других женщин. А может, она не воспользовалась ни одним из этих приемов. Маленькая, темноволосая, хитрая женщина с вечно опущенным лицом и косым взглядом, она могла придумать свой собственный метод, и не сомневайтесь.

Что бы она там ни придумала, это сработало. В пятницу утром Джеф Йорк пошел в банк. Решил заложить свою ферму, сказал он президенту банка, Тоду Салливану. Ему нужно за нее тысячу четыреста пятьдесят долларов, сказал он. Тод Салливан отказал. Джеф задолжал банку сто шестьдесят долларов, и лучшее, на что он мог рассчитывать, отдавая ферму в залог, — это тысяча сто долларов. Шел 1935 год, фермерские угодья стоили мало, и половина из них уже была заложена. Джеф Йорк сидел в кресле перед столом Тода Салливана и молчал. Тысяча сто долларов его не спасут. Если вычесть из них сто шестьдесят долларов, которые он задолжал, останется чистыми чуть больше девятисот. Минуту он сидел не шевелясь — видимо, обдумывал цифры. Потом Тод Салливан спросил:

— Так сколько, вы сказали, вам нужно?

Джеф ответил.

— А для чего вам деньги?

Джеф объяснил.

— Ну вот что, — сказал Тод Салливан, — я не буду становиться на пути у того, кто хочет улучшить свое положение. Это не в моих правилах. Насчет закусочной — мысль хорошая, это уж точно, и я не буду стоять на пути у того, кто решил перебраться в город и улучшить свое положение. По сравнению с фермой закусочная — шаг вперед, и мне нравится ваша целеустремленность. Банк не может дать вам денег в залог под такую собственность. Но вот что я сделаю. Я куплю вашу землю. У меня есть лошади, я держу их на отцовской ферме. Но мне лучше держать их на собственной земле. Я заплачу тысячу семьсот. Наличными.

Джеф Йорк ничего не ответил. Он смотрел на Тода Салливана, как будто не понимая его.

— Тысячу семьсот, — повторил банкир. — Это хорошая цена. По нашим временам.

Теперь Джеф не смотрел на него. Он смотрел в окно, в переулок, куда выходил кабинет Тода Салливана, расположенный в глубине банка. Позже, когда Джеф Йорк на какое-то время оказался в центре внимания, банкир рассказывал:

— Я подумал, что он меня даже не слышит. Сидел, как в полусне. Я кашлянул, чтобы вроде как разбудить его. Как это обычно делают. Торопить я его не хотел. Таких людей не стоит торопить. Но не мог же я сидеть с ним целый день. Я предложил хорошую цену.

По тем временам, когда народ едва сводил концы с концами, это действительно была хорошая цена.

Джеф Йорк согласился. Он согласился на тысячу семьсот долларов, купил на них закусочную, снял маленький дом на окраине и переехал туда с женой и детьми. На следующий день после того, как они устроились, Джеф Йорк с женой пришли в закусочную выслушать советы Слика насчет того, как вести дело. Он показал миссис Йорк, как пользоваться кофеваркой и плитой, как готовить сандвичи и убирать за

собой после работы. Чтобы потренироваться, она поджарила для всех гамбургеры – для себя, мужа и Слика, и они съели их на глазах каких-то зевак.

– Леди, – сказал Слик, зная, что деньги у него уже в кармане, что он сегодня же уедет в Нашвилл на семичасовом поезде, и от этого придя в хорошее расположение духа, – скажу я вам, леди, гамбургеры у вас выходят что надо.

Он стер с губ крошки и горчицу, вынес из-за двери чемодан и добавил:

– Ну что ж, леди, оставайтесь и принимайтесь за дело. Желаю вам приготовить миллион гамбургеров.

После этого он шагнул навстречу яркому осеннему солнцу и пошел по улице, насвистывая сквозь зубы и глядя по сторонам, словно искал, кому бы подмигнуть. С тех пор Слика Гардина никто в городе не видел.

Весь следующий день Джеф Йорк работал в закусочной. Он вычистил все внутри и собрал мусор, скопившийся на задворках. Сжег весь мусор. Снаружи тщательно покрасил заведение белой краской. На это ушло два дня. Потом покрыл лаком стойку. Поправил слегка покосившуюся вывеску на улице. И теперь, благодаря его трудам, в закусочной все сияло и блестело.

На пятый день после переезда, в воскресенье, он пошел прогуляться за город. Он отправился в путь под вечер, но не поздно, потому что в октябре дни становятся короче. Вышел из города по Куртсвилльскому шоссе и свернул на дорогу, ведущую к ферме. Он свернул за милю до своего дома, когда было еще достаточно светло, и Боудены, хозяева бензоколонки на углу, ясно видели, как он проходил мимо.

В следующий раз его увидели в понедельник, около шести часов утра. Увидел мужчина, который вез в город молоко. Джеф Йорк висел на перекладине белых патентованных ворот. Он с них спрыгнул. Он подстраховался, оставив их открытыми, чтобы не было возможности забраться назад, если шея при прыжке не сломается и он передумает.

Впрочем, как выяснилось, предосторожность оказалась излишней. Доктор Стаффер сказал, что шейные позвонки были переломаны очень аккуратно.

– Кто умеет так аккуратно ломать шею, мог бы этим и деньги зарабатывать, – сказал доктор Стаффер. И добавил: – Только чтобы шея всегда была чужая.

Миссис Йорк была сильно опечалена смертью мужа. Люди отнеслись к ней с сочувствием, старались помочь, и благодаря их сочувствию и любопытству торговля в закусочной пошла успешно. И продолжала идти успешно. Миссис Йорк даже перестала наклонять голову и смотреть на вас и на мир искоса. Она смотрела прямо в глаза. Она научилась ходить на высоких каблуках, и у вас больше не возникало ощущения, что она осваивает какое-то хитрое дело. Вообще-то она оказалась привлекательной женщиной, когда научилась следить за собой. Путевые рабочие и юные хулиганы из бильярдной с удовольствием торчали в закусочной и шутили с ней. Тем более, говорили они, гамбургеры у нее выходят что надо.

Перевод А. Урубковой

Память половодья

До того высохшей, до того блеклой казалась она, проходя по улице, что при встречах мальчик с трудом признавал в ней героиню тех вечно неконченных повестей, которые складывались из перешептываний приходивших к его матери дам. Как это у них говорилось? Говорилось так: *Ни стыда, ни совести, жить здесь как ни в чем не бывало. Она его не любила. Зачем ей понадобилось за него выходить? Зачем все прочее ей понадобилось? Она его не любила – десять лет как умер, и хоть бы цветочек на могилу. Вот увидите — и у дочки кровь скажется.* Говорилось так: *Хоть бы цветочек.* При встречах на улице он вспоминал то, что говорилось. Высохшая, она была похожа на ту солому и сор, которые памятью давно спавшего половодья невинно ютятся в ветвях пойменных платанов — будто живая отметка былого разлива страстей в городке.

Высохшая, но мальчик все-таки верил в историю о ней и гадал, не надеясь узнать, о ее деталях — ведь имелся и более убедительный, чем идущая по улице миссис Бомонт, залог ее истинности. Залогом была девушка. Торопясь зимним вечером в бакалею, быстрыми ровными шажками рассекая холодный воздух; летом в гурьбе подруг плетясь за мороженым в аптеку; или летом, зимой ли идя на почту с письмом в руке.

На руке, сжимавшей белый прямоугольник, не было перчатки; по крайней мере, никогда не было в его воспоминаниях. На бумаге одиноким пятном краснела марка. Когда она плечом распахивала дверь почты, по-детски спадавшие на шею темные локоны вздрагивали. Хоть и ни разу не оказавшись рядом, когда она вверяла письмо прорези, он словно сам это видел: легкое движение пальцев — и письмо, ею самой, наверно, написанное, отправляется в путь к кому-то, кого он никогда не узнает; звякает ящик.

У нее в пальцах письмо было ее частью, ее продолжением. Когда оно ныряло в черную полость, когда за ним звякала крышка, записанные чувства от нее отделялись, теперь связанные с нею лишь подписью — эту подпись он ясно представлял по отчетливым, с левым наклоном буквам "Элен Бомонт" на ее тетрадях и учебниках. Письмо с подписью "Элен" ей уже не принадлежало; оно принадлежало миру, чуть ли не кому угодно, тому, кого он никогда не узнает. Кому угодно, только не ему. В его памяти тем не менее она всегда несла на почту письмо, а не сидела, например, на уроке, где он с тех пор, как перескочил через класс, видел ее чуть не ежедневно.

— Элен Бомонт, — говорил мистер Гриффин, постукивая мелом по чертежу из прямых и треугольников на доске, — не скажете ли вы, почему эти два треугольника пропорциональны?

Пальцы мистера Гриффина вертели мел, постукивали по доске. Это был молодой человек, очень высокий, подносивший ко рту, когда сконфуженно и виновато кашлял, костлявую руку. Он старался заработать, чтобы вернуться в колледж или, если получится, переехать на Запад. Иногда, по вечерам, мальчик с приятелем заходили к мистеру Гриффину в его комнату в пансионе. На столе под зеленой лампой рядом с учебником геометрии и "Галльскими войнами" Цезаря были навалены бумаги. Мистер Гриффин рассказывал о Теннессийском университете. На блоках у стены висели старые атлетические гири. Он показывал, как с

© Г. Дашевский. Перевод, 2001

ними упражняться. Мальчики смотрели, как он сосредоточенно двигает рукоятки взад-вперед — раз-два, раз-два-три. Крылья его большого заостренного носа подергивались в такт счету, на лбу выступал мелкий, почти невидимый пот. "Я вам голоски-то сломаю, — говорил мистер Гриффин. — Я из вас сделаю мужчин". И, глубоко вдохнув, тянул на себя рукояти.

— Элен Бомонт, — говорил мистер Гриффин, — так что вы нам скажете?

Она смотрела на него, на вертящийся в пальцах мел, словно укоряя существо из прямых линий и холодных углов за вторжение в иной мир, где все линии томно изогнуты в сторону какого-то цветения, которого ему никогда не понять.

— Не знаете, — произносил мистер Гриффин раздраженным тоном.

— Не знаю, — говорила она.

Так повторялось из раза в раз. Когда мистер Гриффин ее спрашивал, мальчик смотрел не на нее, а в окно, поверх полей, на зимний дождь, сеявший с высоты на размокшие стебли кукурузы. На горизонте за полями виднелся лес — размытая, без объема и глубины, полоска, такая же далекая, как небо, серое и беззвучное, будто провисшая кожа барабана. Под черневшими вдали ветвями, ступая по набухшему лиственному настилу, можно было бы пройти совершенно бесшумно.

Так повторялось из раза в раз. На вопрос отвечал кто-нибудь другой. Все к этому привыкли — она была известная тупица. Если мистер Гриффин обращался к нему: "Ну а вы, Стив Адамс, можете нам ответить?" — он отвечал. Но однажды, уже открыв рот для ответа, он встретил ее взгляд, спокойный и насмешливый. "Я не знаю", — сказал он.

Пузатая печка круглый день краснела от жара. Окна запотевали, буквы учебников таяли в полутьме. На большой перемене старшеклассницы ели завтраки, усевшись у печки. От жара щеки румянились, в голосах слышалось возбуждение. Стив иногда съедал завтрак за партой — он ел сосредоточенно, после каждого откуса разглядывая выгрызенное в хлебе полукружье. Он слышал девические голоса и обдумывал какую-нибудь из фраз так же сосредоточенно, как рассматривал след зубов на хлебе. Слышал голос Элен Бомонт: "...а я Фрэнку говорю: "Мне это безразлично". Тщательно сминал замасленную бумагу.

— Стив, — окликнула его Сибил Барнс, — хочешь торта? — Худая, смуглая, она становилась злой и недовольной, когда делала что-нибудь приятное, точно стыдясь, что поддается такой пошлой слабости. — Бери, — сказала она резко, — хороший, шоколадный.

Он подошел и, протянув руку за тортом, правой оперся на ее парту.

— Господи, — сказала она, — какая у тебя гадкая бородавка.

Левая рука застыла на полпути, он посмотрел на свою распластанную по парте кисть. Бородавка, толстая, в коросте, мерзко торчала у ногтя на указательном пальце. Он медленно подогнул палец, пряча ноготь в укрытие ладони, оставив на виду только сустав — тупой, как обрубок на руке Люка Смита, работавшего на отцовской лесопилке.

— Покажи, — приказала Сибил.

— Пустяки, — ответил он.

Она осторожно взяла палец.

— Такую не сведешь, — сказала она.

— Пустяки, — повторил он.

Он выдернул руку и вернулся за свою парту. От шоколада стало сухо, горько. Он слышал голоса, голос Элен Бомонт: "...а я Фрэнку говорю: "Мне это безразлично".

Этим вечером, голый, он встал перед умывальным зеркалом и поднял руку к груди. Рука в зеркале на фоне белой кожи была серой и скрюченной, будто огромный паук, бородавка — чудовищной. Лицо в зеркало не попадало. Он быстро натянул ночную рубашку, присел на изразцы перед камином и уставился на разваливающиеся золотые угли. Из соседней комнаты донесся голос матери.

— Ложись спать, сынок, — сказал голос.

Круглый день жарко пылала печка. Оконницы слезились, будто от тающего инея, скрывая поля в стеблях прошлогодней кукурузы. К трем часам накал печного корпуса слабел, по нему расползалась, проступая сквозь меркнущую красноту, дремотная серость железа. На железе проступали застарелые плевки, налипшая апельсинная мякоть. Минутная стрелка судорожно ползла вверх, и в мертвой тишине между фразами мистера Гриффина класс заполняло тиканье часов, отсчитывавших свою несомненность.

В три выходили во двор: сперва дети помладше гуськом за учителями, потом, вразброд, старшеклассники. Старшеклассницы, стесняясь носить ботики, боязливо пробирались между луж, будто курицы по скотному двору. Мальчики вязли в лысом хлюпающем дерне; когда бывало морозно и ясно, они громко топали по мерзлому грунту, окликая друг друга пустыми и пронзительными, как у ржанки, голосами.

Было морозно, ясно, и мальчики окликали друг друга, когда большой новый "гудзон" в первый раз поднялся по склону, точно гравием хрустя и плюясь наледью, намерзшей в колеях. Он остановился на углу школьного двора. Фрэнк Барбер опустил стекло и высунул голову, приоткрыв рот в улыбке, похожей на ломкий, неверный ледок. В восемнадцатом году Фрэнк Барбер с армией побывал во Франции, а теперь служил детективом на железной дороге — но говорили, что свою самую большую в городе машину он вряд ли купил на жалованье. Днем он болтался в привокзальной гостинице; поздно вечером бывало слышно, как стук его мотора удаляется из города. Поворачиваясь на звук, люди говорили: "Фрэнк Барбер снова укатил".

Когда мимо шли малыши — сопливые, неуклюжие, — он улыбался, высунувшись из окна. За ними тесными стайками прошли старшеклассницы. Элен Бомонт остановилась, что-то сказала остальным и подошла к "гудзону". Она села в машину рядом с Фрэнком Барбером, и он поднял стекло. Машина съехала по склону, сверкая на солнце, ревя мотором.

Весна выдалась поздняя — дождливая, бессолнечная. Мальчик смотрел на раскаленные бока печки - краснота ее тускнела с каждым днем, и с каждым днем сгущалась над раскисшей землей новая листва. Смотрел в окно, в раме которого уходили вдаль стебли прошлогодней кукурузы, дугами нависшие над длинными лужами между рядов. Цветовые пятна текли, таяли, контуры расплывались, точно на упавшем в воду журнале. Только в воронах, сомнамбулически метавшихся над полями, была жизнь. Он и не слыша знал, как желтые клювы, разеваясь навстречу ветру, выкаркивают свое издевательское "вряд ли". Слабое эхо карканья реяло в мозгу поверх классных голосов, пока он ждал, когда стрелка дойдет до трех и большая черная машина затормозит на склоне. Раз или два

она не приехала, и он побрел домой в тоске, от разочарования оцепенев и потяжелев. Но, дожидаясь трех, он надеялся, что она не приедет.

По дороге домой, сделав небольшой крюк по Фронт-стрит, он иногда заставал машину перед фуражным магазином мистера Аллена, у которого миссис Бомонт служила счетоводом. Фрэнк Барбер, перевалившись через приспущенное стекло, говорил со стоявшим на мостовой человеком — всегда слишком тихо, чтобы разобрать хоть слово. Если рядом никого не было, Фрэнк Барбер сидел за запотевшим стеклом, положив обе руки на руль, и глядел прямо перед собой, держа в зубах сигарету, из которой тянулся вертикальный дымок. Однажды девушка выбежала из дверей и укатила в "гудзоне" за мгновение до того, как Стив поравнялся с магазином. В сумраке за дверным стеклом виднелось лицо миссис Бомонт. Она смотрела в ту сторону, где скрылась машина, и его не видела. С минуту он раздумывал, не войти ли, не заговорить ли с ней, хотя за всю жизнь не сказал ей ничего кроме "Доброе утро, миссис Бомонт".

Печка в классе потухла. В окне человек шел за плугом, из-за оптической иллюзии скорее подымаясь по стеклу, чем удаляясь к зеленой дымке лесов. За человеком земля раскалывалась, будто спелая дыня. Вороны торжественно стояли вдоль борозды. "Поздняя какая весна выдалась", — сказал Джек Майлс, добродушный деревенский парень, каждое утро приезжавший в школу на злобно косящей лошади с бельмом. "Никто еще не вспахал, — сказал Джек Майлс, — кроме этого Фрэнка Барбера. Приучу вот Укуса брать двоих, тоже к весне буду с пахотой управляться". Стив посмотрел на Джека Майлса, нависшего крупным телом над партой, на его губы, напряженно шевелившиеся, когда он читал. Отвернулся и увидел в окне удаляющегося к лесу человека, увидел землю, темную, распахнутую.

Он уставился на страницу. "После Шекспира возникла драматургия, которая, в сравнении со всеобъемлющим сердцеведением и гуманностью великого барда, по справедливости заслуживает имени упадочнической. Но Джон Уэбстер порою способен если и не на подлинную поэтическую высоту, то на подлинное поэтическое чувство, какое мы находим, например, в той сцене "Герцогини Мальфи" (1616), где брат смотрит на сестру, убитую ради восстановления семейной чести: *Покрыть лицо: слепит: мертва до срока*".

Его губы, двигаясь так же напряженно, как губы Джека Майлса, повторили слова. *Покрыть лицо: слепит: мертва до срока.* Не произнес ли он их вслух — он так и не понял. В животе похолодело. В шейных жилах застучало, в ушах послышался гул вздымающейся крови и понемногу затих, как затихает, когда от него уезжаешь, море. И в наступившей внутри тишине он понял, что он далеко от нее и намного ее старше; старше, чем Фрэнк Барбер; старше, чем мистер Гриффин; старше даже, чем лицо ее матери за дверным стеклом. Он украдкой повернулся на стуле, чтобы взглянуть на девушку, — и понял, что она, настолько моложе, чем он, уже вступила во владение неотчуждаемой и недоступной территорией.

Перевод Г. Дашевского

Признание брата Граймза

ВОПРОС, что понимать под преступлением. Говорят, Господь по преступлению отмеривает наказание, но, возможно, Его понятие о преступлении отличается от моего. Совсем не хочу сказать, что отличие тут коренное. Но это, если уж на то пошло, только одна сторона дела. Другой вопрос — кто несет наказание и за чье преступление он его несет. В ночь, когда Арчи Манн, едучи на новехоньком "форде" по новому шоссе в сторону Моргансвилла, с тыла попытался прорваться сквозь стоящий на обочине грузовик с погашенными огнями, раздача наказания была свободной и щедрой.

Жена Арчи, вышедшая за него шесть месяцев назад, а до этого звавшаяся Сью Граймз, была особо отмечена при распределении наказания. Из кузова грузовика торчала жердь, и она проткнула "форд" насквозь, а заодно и Сью Граймз, как зубочистка протыкает тартинку. Но Сью приняла на себя не все наказание — там осталось и для других. Когда Арчи нашли в поле свернувшегося клубком и с торчащими во все стороны костями, он напоминал, по словам очевидцев, безумного дикобраза. Узнавшая обо всем миссис Граймз так и не смогла оправиться от потрясения и вскоре умерла: сердце у нее всегда пошаливало, да и всякие там печенки с селезенками давали о себе знать, судя по тому, сколько времени она проводила в постели, жалуясь на здоровье. Был еще отец Сью — брат Граймз, праведник каких поискать и к тому же священник, поседевший после всех этих событий и обреченный на одинокую старость. Наказание, как видите, затронуло многих, не говоря уже о негре, который вылетел из кузова на дорогу и по инерции изрядный путь проехал на том, что прежде, по утверждению некоторых, было его лицом. Если бы с негра, как с Наполеона, сняли посмертную маску, она смахивала бы на статую упавшей яичницы.

"Неисповедимы пути Господни, — сказал брат Граймз в своей первой после автокатастрофы проповеди еще до того, как угасла его жена. — Но преисполнены высшей справедливости". Народу в церкви набилось уйма: люди хотели знать, что он скажет, получив такой удар, и жалели его. Он прекрасно выглядел и на седьмом десятке: большой сильный старик с горящими глазами и длинной черной шевелюрой без единого седого волоса. Он обладал чудесным голосом. Говорят, у него был такой прекрасный голос, что можно было прослезиться, слушая, как он читает благодарственную молитву перед блюдом с тремя жареными цыплятами. Выступая с проповедью, он встряхивал своей черной прекрасной гривой, словно лев, голос его звучал зычно, а руки работали, как у плывущего брассом. Каждый воскресный день он становился похож на "Великого обывателя" Уильяма Дженнингса Брайана, готового разразиться своей знаменитой "Речью о золотом кресте"[1]. "Пути Господни преисполнены справедливости", — сказал брат Граймз, это была одна из его излюбленных фраз, и если он повторил ее в то воскресенье, значит, действительно в это верил. Никто из его прихожан не мог сдержать слез.

© Л. Мотылева. Перевод, 2001

1. Уильям Дженнингс Брайан (1860—1925) — американский политический деятель, популист, сторонник неограниченной чеканки серебряных денег, свою речь в 1896 г. закончил словами: "Не смейте распинать человечество на золотом кресте!"; трижды выдвигался кандидатом в президенты от демократической партии, издавал еженедельник "Обыватель".

Но тут возникает вопрос. Нет, я нисколько не сомневаюсь, что Арчи Манн получил поделом: он был горазд на любое бесчинство, кроме разве убийства и разбоя. Он был страшная пьянь, и ни одна женщина, которой ее доброе имя дороже, чем все сокровища мира, не стала бы иметь с ним дело, и никто, кроме желающих попасть на больничную койку, не согласился бы прокатиться с ним на машине — такой он был водитель. Когда в каком-нибудь из десяти округов открывали движение по новой дороге, Арчи ехал туда, чтобы устроить этой дороге, так сказать, крещение, как кораблю при спуске на воду. Он не разбивал о бетон бутылку шампанского — тратить спиртное впустую было не в его правилах. Вместо этого он разбивал машину и ломал чьи-нибудь кости — свои или чужие. Для торговцев спиртным, Генри Форда и медицины он был просто кладом. Правда, медицине везло с ним меньше, чем торговцам спиртным и Генри Форду: хоть сам Арчи и валялся подолгу в больницах, в живых, кроме него, обычно никого не оставалось. Отправив на тот свет Сью Граймз, он провалялся в больнице четыре месяца, но за лечение до сих пор не заплатил. Вот за какого человека вышла Сью Граймз. Наверно, в замужестве и заключалось ее преступление, если уж обязательно надо докапываться, где именно оно зарыто. Никаких других до сих пор раскопать не удалось: раньше ни у кого язык бы не повернулся отозваться о ней дурно. Незначительность преступления и молодость Сью наводят на мысль, что наказание было отмерено с большим запасом и свисало по краям. Наказание миссис Граймз тоже отмерялось не тютелька в тютельку и немного свисало по краям: все в один голос говорили, что она была хорошей женщиной, хоть и любила пожаловаться на свои болячки, — и наказание брату Граймзу было отмерено с походом, пусть даже он докопался, в чем его вина, и признал ее перед Богом и людьми. Кто знает, возможно, наказание за преступление негра тоже отмерялось не впритык: его частная жизнь — вещь совершенно никому не известная.

В конце концов брат Граймз сообразил, в чем же состоит его преступление. На этом он успокоился и заметил, что таким образом еще раз подтверждается правота его слов: "Пути Господни преисполнены высшей справедливости, и наказание отмеривается по преступлению". Но он никогда не пытался докопаться, в чем состояло преступление Сью. Проявив непоследовательность и назвав ее в проповеди своей безгрешной дочерью, он осекся и тут же добавил: "Господи, прости нас, ибо все мы, чада Твои, грешны перед Тобой". Все видели, как его ум спотыкается о ее безгрешность и как дает трещину его железная схема. Но он не стал углубляться в этот вопрос и заявил, что справедливый и милосердный Господь использовал ее смерть для того, чтобы чешуя отпала от наших глаз. Слова эти прозвучали довольно-таки внушительно, но до поры до времени непонятно было, какое это имеет отношение к делу.

Тем не менее он чуть не каждое воскресенье, кстати или некстати, продолжал повторять: "Пути Господни преисполнены высшей справедливости". Потом умерла миссис Граймз — впрочем, "умерла", возможно, слишком сильно сказано, поскольку она, считай, и не жила те десять лет, что прошли с их приезда в наши края. Брат Граймз сам произнес надгробное слово, хотя вид у него был такой, что возникали опасения, как бы он не рухнул у могилы. Стояли последние жаркие дни уходящего лета, притом засуха, и по лицу брата Граймза струился пот. Он был бледен как полотно, и его длинные черные волосы липли к потной голове. "Господи, — сказал он, — мы верим в Твою справедливость".

В тот полдень он возвращался домой с кладбища в полном одиночестве под палящим солнцем. Он закрылся у себя дома и не желал никого видеть. Он рассчитал кухарку. В первые день-два его пытались навестить несколько прихожанок, но он не впустил их, сказав, что будет бороться с ангелом один. Люди знали, что он не умер, потому что он регулярно звонил в магазин и просил доставить продукты к нему на заднюю веранду. Поговаривали, будто он свихнулся. Никто его в глаза не видел. И вот как-то в субботу он сообщил по телефону дьякону Бродбенту, что в воскресенье будет читать проповедь. Когда он вошел в церковь, его волосы были белы как снег.

Арчи Манн переехал жить к брату Граймзу. По вечерам они сидели на передней веранде — Арчи с костылем, без которого он все еще не мог обходиться, — и разговаривали. О чем, никому не известно, зато все узнали, что Арчи исправился, потому что он пообещал исправиться своей жене как раз перед тем, как угробил ее в "форде". Брат Граймз заявил, что все случившееся было необходимо для спасения души Арчи, для того чтобы он образумился, и что теперь он, брат Граймз, может положиться на Арчи, а Сью Граймз и миссис Граймз обрадовались бы, узнай они об этом. Про негра он то ли позабыл, то ли сомневался, что негр разделяет их чувства.

Что произойдет дальше, угадать было нетрудно. Арчи избавился от костыля, раздобыл бутылку виски и машину, сел за руль и при ясном свете дня лишил жизни двух белых мужчин и лошадь. Лошадь была впряжена в повозку, где сидели эти мужчины, — до того момента, разумеется, как в них врезался Арчи. Потом повозка, мужчины, лошадь — всё разлетелось в разные стороны. На этот раз Арчи повезло и он не получил ни одной царапины. Его, правда, посадили за решетку.

Видно было, что для брата Граймза это оказалось последней каплей, но после того как Арчи осудили, он до самого воскресенья хранил молчание. В воскресенье он сказал в своей проповеди, что наказание было отмерено по преступлению. "Я не имею в виду, — продолжал он, — наказание несчастного заблудшего парня. Я говорю о своем наказании, потому что чувствую себя виноватым. Я жил во лжи, а Господь — источник великой справедливости. Когда умерла моя бедная жена, я перестал жить во лжи, но мне не хватало смелости встать и признаться во всем перед Богом и людьми. Моим преступлением была гордыня, гордыня и греховная суетность, а за гордыню ангелов изгнали из Рая. Но теперь я хочу признаться во всем перед Богом и людьми. Двадцать лет я чернил свои седые волосы".

Перевод Л. Мотылевой

Свои люди

ОН бездумно глядел на высокий серый потолок в давних пятнах сырости, до сих пор погруженный в сумрак, хотя яркие солнечные лучи уже вовсю рвались в комнату сквозь просвет между синими шторами. Маленькие блестящие листья заглядывали в щель, поглаживая оконное стекло.

— Вставай, — без особого дружелюбия произнес рядом голос.

© Д. Крупская. Перевод. 2001

— Голова, — пожаловался он, продолжая глядеть в потолок. Одинокая вялая муха уселась на серую штукатурку прямо над ним, на нее он и смотрел.

— Вчера вечером ты утверждал, что это лучшая кукурузная водка, какую нам довелось пить.

— Неужели? — Он откинул одеяло и спустил ноги на пол, но сам остался лежать, глядя в потолок. — Значит, я ошибся. И сегодня воскресенье.

— Раз я теперь готовлю сама, — сказал голос, — придется тебе помогать.

— Помогу, — сказал он и встал. Постоял в центре большой комнаты, беспомощно оглядел спальню и, не найдя того, что искал, стянул пижаму. Он был невысокий, но плотный. Красноватый шрам пересекал по диагонали мягкий живот со следом резинки от пижамных штанов и терялся в черных курчавых волосах. Он задумчиво провел указательным пальцем по шраму.

— Шов вроде стал получше. По крайней мере, уже не так похож на след дешевой синей копирки.

— Шов-то, может, получше, — на кровати завозились, — а вот брюшко намечается. Смотри, обзаведешься пузом — можешь собирать вещи. Никаких животов в моем доме.

— Это потому что мышцы еще не завязались, — сказал он, дотрагиваясь до шрама. — Никакой в тебе жалости. — Он подошел к гардеробу и осмотрел себя в зеркале. — Я запросто от него избавлюсь, — сказал он, хлопая по животу.

— Самое простое средство от живота — это докопать в саду то, что начал.

— Сегодня мне не до того. Мне платят в "Адвокате" за то, чтобы я перемывал косточки политикам и выбалтывал сплетни, а не за то, чтобы я махал лопатой. Копать для меня непозволительная роскошь.

— Часок мог бы и покопать, — сказала она.

— Ты только посмотри на мои глаза. — Он наклонился к зеркалу. — Сразу видно, что у меня болит голова.

— Покопаешь — и голова пройдет.

Он нашел в углу большого орехового гардероба пару вельветовых штанов и фуфайку, оделся. С минуту разглядывал ворох постельного белья, из которого выпростались на подушку пряди светлых волос.

— А ты вставать не собираешься? — спросил он. — Я бы не прочь позавтракать.

— Разожги плиту.

Он неторопливо огляделся, стоя посреди комнаты, потом опустился на колени и заглянул под кровать. Случайно дотронулся до голубого платья, которое валялось у кровати, и поднял его. Под ним оказались домашние тапочки.

— Ты мои тапочки накрыла, — сказал он, протягивая ей большой волосатой рукой небесно-голубое платье. — Вечно пилишь меня, когда я вещи не вешаю, а сама на пол бросаешь. На мои тапочки.

— Хм, — сказал голос, — а кто виноват, что я его вчера ночью сбросила?

— Хм, — сказал он, сунул ноги в тапочки и вышел из комнаты.

Когда он вернулся из сада с пучком свежих, влажных листьев салата, она стояла у плиты и бросала на сковороду ломтики ветчины. На ней было зеленое хлопчатобумажное платье. Нечесаные волосы, желтые в све-

те солнечных лучей, врывающихся в окна кухни, беспорядочно рассыпались по жесткой после крахмала зеленой ткани. На босых ногах – грязные полуботинки из оленьей кожи, за которыми волочились развязанные шнурки. Он нагнулся над раковиной, перемыл один за другим листья и разложил на полотенце сохнуть. Она немного постояла рядом, наблюдая, – худая, даже тощая, ростом почти с него; потом обернулась к плите, держа в руке миску с яйцами.

Когда все было готово, они разложили еду на блюда и отнесли в столовую; из открытых окон лилось яркое солнце, освещая полнейший разгром. Стулья разбрелись по всей комнате, один валялся на боку. На тарелках сохли остатки сандвичей с анчоусами, над ними без особого интереса жужжала муха. Стаканы всех форм и размеров загромождали буфет, каминную полку и шероховатую каменную плиту перед погасшим камином.

– О боже! – выдохнула она, держа в руке блюдо с ветчиной. – Господи, и зачем только люди устраивают вечеринки?

Нервными, угловатыми движениями она опустила блюдо, отодвинула с одного края стола грязную посуду и поставила две тарелки.

Она ела с жадностью, он – медленно, с вялой неохотой. Во время еды она то и дело окидывала комнату обиженным, возмущенным взглядом.

– Больше никаких вечеринок, – наконец произнесла она.

– Я только за, – сказал он.

– Такой бардак наутро.

Он посмотрел вокруг с некоторым удивлением.

– Можно каких-нибудь новых друзей завести. Каких-нибудь благородных леди и джентльменов, которые, хоть и пьют, не станут устраивать бардак. Я мог бы дать объявление в "Адвокат".

– Друг, который мне сегодня нужен, – сказала она, свирепо взглянув на вчерашний сандвич с анчоусами, – это Виола. Боже, ну почему ей приспичило срываться и бросать нас именно сейчас?

– Если у негра портится характер, то это безнадежно. Я тебя предупреждал.

– Наверное, ты прав. Мне осточертели наши с ней любовные размолвки.

– Через неделю она захочет вернуться, – сказал он. Потом, критически оглядывая комнату, добавил: – И ты примешь ее с распростертыми объятиями.

– Я ей сказала: если она уйдет, это будет последний раз.

– Не надо было тащить ее сюда из Алабамы, – угрюмо сказал он. – Я ведь и тогда тебе говорил.

Он встал из-за стола и подошел к камину. Среди стаканов на каминной полке отыскал трубку и поджег наполовину сгоревший остаток табака. Дым, выпущенный из короткого, мясистого носа, пошел кружить в луче солнца.

Она мрачно взглянула на него.

– Я не встречала негритянки чистоплотней, – сказала она с упреком. – Еще в детстве она отказывалась сидеть на земле, как остальные негритянские дети, и садилась на тарелку.

– В Алабаме она была на своем месте, но в Теннесси она гроша ломаного не стоит. Пусть возвращается в Алабаму и сидит на тарелке.

— Она и собирается домой. Она не может остаться, эта наглая жена Джейка драла с нее по девять долларов в неделю за стол и постель, пока нас не было, а больше ей жить негде. Девять долларов, когда мы платим ей шесть! Господи, я просто в ярость пришла. Так и сказала мальчишке-молочнику, что я в ярости, чтобы он передал это жене Джейка.

— На мне-то зачем зло срывать, — сказал он, глядя, как нервно забегали ее пальцы и разгорелись щеки. — Можно подумать, ты на меня злишься.

— Я злюсь на эту стерву, — сказала она, вдруг успокоившись. — Она мечтает выжить Виолу, потому что ревнует к ней своего распрекрасного Джейка. Она ее просто не любит. И меня не любит. Виола рассказывала, что́ она обо мне говорила — жаль, ты не слышал.

Не ответив, он повернулся к открытому окну. За редкой изгородью из жердей, окружавшей двор, за кустами медвежьей ягоды в легкой, ажурной дымке зелени сразу открывалась небольшая долина. Вдоль нее тянулась тропинка, с одного бока окаймленная деревьями; молодые, гладкие листья висели на ветках почти неподвижно.

— Проблема в том, — наконец проговорил он, — что Виола привыкла жить при белых.

— Она стыдится своей негритянской крови, в этом дело.

— В ней течет не так много негритянской крови, чтобы ее стыдиться. Могу поспорить, что у нее в роду длинный список пьяных алабамских государственных мужей.

— Она говорит, что негры грязные.

— А разве нет? — спросил он беззлобно.

Она резко поднялась, с отчаянием поглядела на беспорядок, на широкую, почти квадратную спину мужа и сама выпрямилась.

— Какой-нибудь грязный негр был бы мне сейчас очень кстати. — Она взяла в каждую руку по тарелке и пошла к кухне. — Идем, — приказала она, — помогай.

Он забрал две тарелки и поплелся следом.

— Эй, Аннабелла, — крикнул он, — сюда Джейк идет! Гляди-ка, выходной костюм надел.

— Пусть идет.

Было слышно, как на кухне бежит вода. Он стоял у окна, держа тарелки, и смотрел на долину. По тропе медленно поднималась фигура в черном сюртуке, двигаясь с неторопливым достоинством вдоль зеленеющих деревьев. Он смотрел, пока фигура не скрылась из виду, затем прошел к задней двери, ведущей во двор из кухни, где жена склонилась над раковиной в клубах пара.

— Привет, Джейк, — сказал он с верхней ступеньки.

— Доброе утро, мистер Аллен, — сказал негр и подошел к крыльцу неспешной, величавой походкой. Остановившись у подножия лестницы, снял черную фетровую шляпу и степенно улыбнулся. — Могу я поговорить с миз Аллен?

— Сейчас спрошу, — он зашел в дом.

— Что ему надо? — спросила она.

— Сказал, что хочет поговорить с тобой.

— Веди его в столовую.

Он выглянул из кухни и крикнул:

— Джейк, заходи.

Негр прошел через кухню, наклонив голову в дверном проеме, и осторожно ступил на потертый голубой ковер столовой.

— Доброе утро, Джейк, — она села за стол и положила на скатерть худые мокрые руки.

— Доброе утро, миз Аллен, — сказал он.

Она смотрела на негра и ждала продолжения. Он стоял точно посередине между столом и буфетом, учтиво сняв шляпу. Его синие джинсы полиняли от многих стирок, а черный длиннополый сюртук болтался на угловатых плечах. Большая золотая цепь от часов пересекала черный жилет, который был ему широк и коротковат.

— Миз Аллен, — проговорил он с выражением. Потом улыбнулся — все той же степенной, но не виноватой улыбкой. — Миз Аллен, я не вмешиваюсь обычно в дела женщин, но кое-что я должен вам сказать.

— Слушаю, Джейк, — сказала она.

— Я об этой девушке, Виоле. Она сказала неправду обо мне и моей жене. Сказала, что мы брали с нее девять долларов в неделю, пока вы с мистером Алленом были в отъезде и она у нас столовалась.

— Именно так она и говорила, — сказала она устало. — И я ее пожалела, заплатила ей лишних три доллара.

— Эта девушка, Виола, она сказала неправду. Никаких девяти долларов моя жена с нее не брала, никогда, — сказал он печально. — Она нам платит семьдесят пять центов в неделю за комнату, миз Аллен, боже упаси требовать с нее больше. И когда она у нас ела, моя жена сказала, что за это тридцати центов в день хватит. — Он терпеливо стоял посреди комнаты, коричневое лицо его с обвислыми шелковистыми усами было почтительным и спокойным.

— Значит, она мне солгала, — помолчав, сказала женщина за столом.

— Да, мэм, — сказал он, — солгала. По-другому никак не назовешь.

— Она хотела, чтобы я дала ей эти три доллара, и я их дала.

— Да, мэм, скорее всего, она хотела эти три доллара. — Джейк помолчал, кашлянул. — Миз Аллен, — он переложил шляпу в другую руку, — я, кажется, знаю, для чего они ей занадобились.

— Да?

— Она купила себе новый жакет. На днях приносит его домой и давай моей жене показывать. Серый такой жакет, с мехом.

— Новый жакет! — Она вскочила, громыхнув стоящей на столе посудой. — Боже правый, новый жакет. Ей не нужен был новый жакет. Значит, она солгала, чтобы выманить у меня три доллара. И это после того, как я столько одежды ей надавала в этом году. Джейк, ты же видел эти вещи, скажи?

— Видел, — сказал он. — Она принесла их домой.

— Там и жакет был.

— Да, мэм, на что ей больше одежды. Она ведь никуда не ходит. Возвращается каждый вечер домой, наряжается в те одежки, что вы ей подарили, и расчесывает волосы. Никуда не ходит, сидит в своей комнате, посидит-посидит и спать ложится.

— У нее, кажется, и друзей нет, — сказала она.

— Да, похоже, ей вообще друзья без надобности, — сказал Джейк.

Белый молодой человек, стоявший у двери кухни, вынул изо рта трубку и помахал ею в воздухе.

— Не надо было увозить ее из Алабамы, отрывать от своих, — мрачно сказал он. — Вот в чем беда.

Негр размышлял, поглаживая указательным пальцем длинные шелковистые усы.

— Может, оно и так, — согласился он. — Может, со своими она ладила. Но нам она не своя. Она не такая, как я и моя жена. Кого угодно спросите вокруг. Бог свидетель, мы со всеми стараемся по-честному, независимо, белые или черные. Любого спросите.

— Я рада слышать, что вы не брали с нее девять долларов, — сказала она.

— Нет, мэм. Нам и не нужно было, чтобы она у нас жила. У нас и дом собственный, и земля, и я много работаю, и плотничаю, и каменщиком, так что на жизнь хватает. Она нам и не нужна была никогда. Но я сказал жене, девушка, мол, за сотни миль от дома, среди чужих людей, в чужих краях. А так, чтобы она нам сильно нужна, такого не было. — Он повторял эти слова, будто заучил их наизусть, и, держа в руке черную фетровую шляпу, с высоты своего роста глядел поверх головы стоящей перед ним женщины. — Пусть съезжает тогда, коли врет.

— Джейк, она вчера от меня ушла. Причем именно в тот момент, когда собрались гости, — сказала она с обидой. — И больше я назад ее не приму, как в прошлые разы.

— У меня она тоже не может больше оставаться. Наверно, ей лучше уехать.

— Наверное, — сказала она.

— Пусть лучше возвращается к своим, откуда приехала. — Он попятился к двери кухни, беззвучно шаркая по ковру туфлями на стертой подошве. В кухне остановился, вертя в руках шляпу, будто припоминая, что же еще хотел добавить.

— Джейк, — сказала женщина; лицо ее стало вдруг жестким и решительным. — Скажи Виоле, чтобы зашла. Нынче же утром, немедленно.

— Да, мэм.

— Ничего ей не объясняй, просто пришли сюда.

— Да, мэм.

— Спасибо, Джейк.

Он еще немного помедлил, будто колеблясь. Потом сказал:

— Всего доброго, миз Аллен, — и вышел с черного хода, осторожно прикрыв за собой дверь.

Когда дверь едва слышно закрылась, женщина немного успокоилась и снова села на стул у стола.

— Господи, — сказала она, — только подумать: эта дура идет и тратит все свои сбережения на жакет. Причем один жакет у нее уже есть, а я всю зиму уговаривала ее откладывать деньги.

— Негры, — произнес он почти с благоговением. Он стоял около буфета, широко расставив ноги. — Негры, — он помолчал, раскуривая трубку, — жить умеют. Как говорит одна умная книга: "Не хлебом единым жив человек". Так и Виола — всю зиму вкалывает, ты учишь ее экономить, а когда набегает приличная сумма, она знает, как с ней поступить.

— Ой, Билл, заткнись. — Она сидела за столом растерянная и расстроенная, водя по грубой скатерти худыми пальцами.

— Ну, купила она новый жакет. Теперь у нее есть чем гордиться.

— Еще бы ей не гордиться. Выманила у меня три доллара.

— Моя маленькая благодетельница, — сказал он и, подхватив со стола тарелку со сморщенными, засохшими сандвичами, зашагал к кухне.

— Твоя маленькая доверчивая идиотка, — сказала она и пошла следом за ним.

Когда негритянка появилась на тропинке, он сидел на веранде за пишущей машинкой, облокотившись на большой некрашеный стол. Она прошла прямо под ним, ее тощие, кривые ноги равномерно ступали по бугристой земле, тело наклонилось вперед, а руки у груди будто сжимали невидимую муфту, но он сделал вид, что не заметил ее. Жена вышла на веранду с сигаретой.

— Вон, идет, — сказала она.

— Я видел, — сказал он. — В новом жакете.

— Что мне ей сказать?

— Черт, да ведь это ты ее сюда зазвала, не я.

— И что я ей скажу?

— Скажи, что она воришка и лгунья, но ты любишь ее как сестру и хочешь, чтобы она вымыла посуду.

Захлопнувшись, калитка лязгнула старыми лемехами, которые служили ей противовесом. Негритянка остановилась и с немым вопросом глядела на веранду.

— Подойди сюда, Виола, — сказала с веранды женщина, и та медленно подошла.

Остановилась у крыльца, продолжая смотреть на нее безмолвно и вопросительно, по-прежнему сжимая у груди руки.

— Поднимись, Виола.

Негритянка поднялась на веранду.

— Доброе утро, миз Аллен, — сказала она, рассеянно перебирая пальцами серый мех на открытом вороте.

— У тебя новый жакет, Виола.

— Да, мэм. — Она безвольно и вяло уронила руки.

— Красивый жакет, Виола.

— Мне тоже понравился, — сказала негритянка. — Я видела такой однажды из окна, на одной девушке, у нее было серое платье, и туфли серые, и жакет, и шляпка... все серое... — Она подняла светлое, медного оттенка лицо и уставилась на женщину желтоватыми, как у животного, глазами, и хотя не было в этих глазах глубины, во взгляде сквозила доброта и какая-то покорность.

Женщина встретилась с ней взглядом, поднесла к губам сигарету, без удовольствия затянулась и выдохнула дым прямо перед собой. Внезапно она отвела глаза и боком прислонилась к перилам веранды.

— Виола, — решительно начала она и запнулась. Резким, напряженным жестом отшвырнула горящую сигарету в сад, и там, среди юной травы и прошлогодних стеблей шалфея, от нее потянулся еле заметный дымок. Женщина обернулась к негритянке: — Виола, ты говорила, что жена Джейка брала с тебя девять долларов, пока нас не было.

— Да, мэм.

— Твои слова, верно?

— Да, мэм, мои.

— Джейк заходил, — сказала женщина, встретившись взглядом с кроткими желтыми глазами, — и говорил, что никаких девяти долларов они с тебя не берут.

В лице, в желтых глазах, не произошло никакой видимой перемены, сплошная апатия и покорность.

— Он говорил, что комната стоит тебе семьдесят пять центов в неделю, а когда ты у них ешь, еще тридцать центов в день. Это верно?

— Да, мэм.

— "Дамэм"? — От негодования лицо женщины стало жестким и обиженным. — Ты мне солгала! Почему? Зачем?

— Это не была ложь, миз Аллен.

— А что же это было, если не ложь? Ложь — это когда говорят неправду, — вдруг объяснила она спокойно. Потом резко, с укором бросила: — Ты солгала.

— Это не была ложь, миз Аллен.

— Не перечь мне, Виола!

Мужчина громко отодвинул стул, поднялся, стукнувшись о стол, и ушел в дом.

— Ты солгала, — продолжала она сурово, — потому что хотела выманить у меня деньги. Три доллара. Чтобы купить жакет. Ты украла три доллара.

Негритянка принялась из стороны в сторону качать головой, не явно, а каким-то почти неприметным движением, как больное, обессиленное животное, которому досаждают мухи.

— Я никогда ничего не крала.

— А у меня украла, — сказала женщина, несколько утрачивая решимость и облокачиваясь на перила веранды. — После всего, что я для тебя сделала. Подарила столько нарядов. Это ведь мое платье на тебе. Хорошее платье.

— Да, мэм. — Она поглядела вниз, на зеленый шелк, спадающий складками с плоской груди, — платье было ей велико. — Я могу все вернуть.

— Не надо мне ничего возвращать. Мне надо, чтобы ты уяснила: к тебе со всей душой, а ты врешь и воруешь, вот и вся твоя благодарность за доброе отношение.

— Не вся, — сказала негритянка.

Женщина вынула из кармана новую сигарету и попыталась прикурить, тыкая ею в дрожащее пламя спички; спичка погасла. Она отняла от губ почерневшую сигарету, рука слегка подрагивала.

— Я не могу найти голубую кулинарную книгу, Виола, — сказала она. — Зайди в дом и разыщи ее. — Теперь голос у нее был ровный и уверенный.

Негритянка прошла через веранду в дом, с какой-то болезненной осторожностью ступая по половицам кривыми ногами, так что пятки при каждом шаге выворачивались наружу. Женщина проводила ее взглядом, потом зажгла сигарету и нервно, с усилием выдохнула дым.

Негритянка вернулась. Рука, державшая голубую книгу, повисла как плеть, будто груз был слишком велик для нее.

— Вот, — сказала она. — Лежала там, где я ее оставила. На своем месте, — добавила она, и мелкие черты ее лица сложились в подобие робкой, примирительной улыбки. Затем улыбка растаяла, и вернулось прежнее кроткое выражение.

Женщина забрала книгу.

— А теперь, Виола, я хочу, чтобы ты ушла. Ты нехорошо со мной поступила, и нехорошо поступила с этими неграми, которые хотели тебе помочь, пустили в дом, приглашали на вечеринки и куда там еще. — От-

вернувшись и глядя на долину, она говорила быстро и резко. — Так что уходи. Возвращайся лучше в Алабаму, к своим.

— Ладно, мэм, — проговорила негритянка без всякого выражения и стала спускаться с крыльца.

Женщина подошла к краю веранды.

— Уезжай, — сказала она. — Не желаю тебя больше видеть, никогда.

Негритянка медленно шла по неровной кирпичной дорожке. У калитки она остановилась, провела пальцами по серому штакетнику. Потом обернулась.

— Я бы про вас такого никогда не сказала, миз Аллен, — сказала она. — Я хочу вас видеть, — и выйдя из ворот, стала спускаться по склону холма.

Женщина села на верхнюю ступеньку, жадно затянулась и выдохнула дым. Из двери вышел ее муж.

— Уволь ты ее, — сказал он с неприязнью.

— Уже. Хитрый ты, — взгляд у нее был укоризненный, — уходишь, а всю грязную работу оставляешь мне. Вечно ты так.

— Присутствовать при этом было выше моих сил, — миролюбиво сказал он. — У меня чувствительная натура. — Он бесцельно стукнул несколько раз по клавишам машинки. — И что ты ей наговорила?

— Это было ужасно, — сказала она. — Просто отвратительно. — Она поднялась и направилась к открытой двери. — Я вела себя как ханжа, как какая-нибудь ретивая дура-христианка.

— Ну правильно, ты же посещала воскресную школу, скажешь — нет?

Она докурила сигарету до конца, оторвала прилипший к губе окурок и погасила о дверной косяк.

— А под конец я сказала, что больше не желаю ее видеть.

Он перевел каретку, чтобы начать новый абзац, и откинулся на стуле.

— А тебя никто и не заставляет.

Большая старая машина жалобно стонала, спускаясь с холма и скользя по песчаной колее с бегущей под гору желтой водой в ошметках белесой пены. Дождь никак не унимался, крупные капли падали почти отвесно, потому что в долине было безветренно. Молодые листья на деревьях вдоль тропы вздрагивали под ритмичными ударами.

— Я прихожу домой, — с горечью сказал он, — и ты меня снова в это втягиваешь.

— Ты, наверное, думаешь, что мне это доставляет удовольствие.

Сидя за рулем машины, грохочущей по неплотным доскам моста, под которым кипела и бурлила вокруг каменных опор небольшая речка, он сказал:

— Я уже по горло сыт этими неграми.

— Джейк прислал за нами мальчишку по такому ливню, в такую даль, сказал, что это важно.

— Ну хорошо, хорошо, — сказал он, — мы же едем.

Они свернули на черное, тускло блестевшее асфальтовое шоссе. Дождь немного утих. В двухстах ярдах от поворота, под двумя дубами, которые до сих пор не дали листьев, стоял обветшалый дом с мокрой черной крышей, похожий на ящик, на высоком каменном фундаменте. Мужчина и женщина пересекли двор — голый, без единой травинки, с

утрамбованной землей, где вода скучно стояла в лужах без бликов и отражений.

Он постучал в дверь и отступил, пропуская жену вперед. Открыл им высокий негр, теперь он был в рабочем комбинезоне и босой, в одних носках.

— Добрый вечер, миз Аллен, — сказал он. — Вот спасибо, что приехали, да еще в такой дождь.

— Зачем ты звал нас, Джейк?

— Из-за этой девушки, Виолы, — сказал он и попятился в дом; они вошли за ним.

Женщина-негритянка с черным, худым лицом поднялась со стула у плиты в центре комнаты, натянуто кивнула и сдвинула на лоб очки в стальной оправе.

— Из-за этой девушки, — сказала она.

— А что с ней? — спросила женщина.

— Валяется в постели и не встает. Я говорю ей, чтоб уезжала, а она не отвечает. Лежит и молчит. Три дня уже. — Она сердито запыхтела, потом продолжала более сдержанно: — Сами пойдите поглядите.

— Я поговорю с ней.

Взявшись за ручку двери в другую комнату, негритянка повторила:

— Вы скажите ей, миз Аллен, пусть уезжает.

Шторы были задернуты, сквозь щель проникал скудный свет, выхватывая из сумрака кресло-качалку с наваленной одеждой и серым жакетом сверху, стол у стены и кровать. Она лежала на спине, натянув до подбородка простыню. Когда они вошли, она скосила на них глаза, всего на секунду, и медленно отвела, снова уставясь в потолок.

— Виола, — сказала женщина.

Женщина на кровати не отзывалась, и лицо ее не изменило выражения.

— Виола, ну-ка отвечай немедленно. — Она подошла ближе и положила руку на спинку стула у кровати. На стуле стоял ковш с водой, кусок сыра и открытая пачка печенья. — Ты меня слышишь? Ответь мне!

— Я вас слышу.

— Давай-ка, Виола, вставай. Так и заболеть недолго. — Она нетерпеливо тряхнула спинку стула. — Три дня — на одном сыре с печеньем.

Старая негритянка подошла ближе, ее бугристое черное лицо в полумраке казалось лицом оракула.

— Вы ей скажите, чтоб уезжала, — сказала она.

— Слышала, Виола? Ты нехорошо поступаешь с этими людьми. Тебе надо уехать.

— Я слышу, — сказала женщина на кровати, все так же глядя в потолок.

— Я куплю тебе билет до дома. На автобус. Но тебе надо уехать.

— У меня есть деньги, — сказала она.

Белая женщина с минуту глядела вниз, на тело под простыней.

— Ты не можешь здесь оставаться, — добавила она.

— Да, мэм, — прозвучало с кровати.

— Так вставай и отправляйся, сейчас же. Слышишь меня?

— Да, мэм.

— До свиданья, Виола, — сказала она, но ответа не получила. И вышла в другую комнату, где ждали хозяева.

— Она уедет, миз Аллен? — спросил негр.

— Думаю, да Джейк. Сказала, что уедет.

— Никуда она не собирается ехать, — яростно перебила негритянка. — Ничего кроме "Да, мэм" от нее не добьешься. Вы ей скажите, чтоб уезжала. Я никому не позволю вот так валяться на постели в моем доме. Вы должны сказать ей...

— Замолчи, Джози, — приказал негр.

— Я сделала что могла, — сказала женщина. Она достала из сумочки банкноту и положила на стол. — Это ей на автобус, — сказала она и направилась к выходу, где на веранде ее поджидал муж. Она взяла его под руку. Негр вышел за ними следом и плотно прикрыл за спиной дверь.

— Миз Аллен, — проговорил он и помолчал, но не от смущения, — моя жена не хотела вас обидеть, когда так говорила. Она просто беспокоится. Эта девушка лежит там...

— Все в порядке, Джейк.

Они спустились во двор и сели в машину. Дождь перестал, и справа от шоссе лучи заходящего солнца легли на поле молодой пшеницы. Они свернули на свою дорогу, проехали по деревянному мосту, миновали дерево, на верхушке которого в косых лучах солнца блестели листья.

— Жалко ее, — сказала наконец она. — Как подумаю, что она лежит там на кровати...

На подъеме он перешел на вторую скорость.

— Я сыт по горло, — сказал он.

— А я, по-твоему, нет, что ли? — сказала она.

Перевод Д. Крупской

Гао Синцзянь

Обоснование литературы

Нобелевская лекция 2000 года

Не знаю, подтолкнула ли меня к этой трибуне Судьба, но подобную случайность, явленную благодаря разным счастливым обстоятельствам, можно в любом случае вполне назвать Судьбою. Не рискну утверждать, что на свете существует Всевышний Создатель, однако в душе я всегда испытывал трепет почтения перед тем, что было для меня непостижимо, хотя я и считал себя атеистом.

Человек не может стать духом, тем более ему не дано занять место Верховного божества. Вообще говоря, если над миром будет властвовать сверхчеловек, он повергнет его в еще больший хаос и сделает мир еще более отвратительным. В век, наступивший после Ницше, беды, порожденные человеком, составили самый мрачный список в истории. Но никакие безумные бредни в высшей степени самовлюбленных философов не могут сравниться с преступлениями тех, кто, величая себя вождями народа, лидерами государства или полководцами нации, сполна освоили все методы насилия при совершении своих преступлений. Впрочем, я не собираюсь занимать эту трибуну для рассуждений о политике или истории, я хочу использовать нынешнюю возможность лишь для того, чтобы высказаться как писатель, донести до вас голос одной человеческой личности.

Писатель, будучи самым обыкновенным человеком, возможно, обладает лишь более обостренным чувством восприятия. Хотя тонко чувствующий человек обычно бывает и более хрупким. Писатель говорит вовсе не потому, что является рупором народа, он не воплощает собой некую истину, и его голос может звучать очень слабо. Но, поскольку это голос конкретной личности, ему присуща большая правдивость и искренность.

Должен заметить, что и литература может быть лишь голосом отдельной личности, что она всегда им была. Но как только литература становится государственным гимном, знаменем нации, рупором партии и глашатаем какой-то партийной и политической группировки, такая литература тут же теряет свою исконную сущность, при этом безразлично, к каким методам пропаганды она прибегает, какой всеохватной силой и мощью обладает. Она перестает быть литературой, превратившись в продукт власти и средство извлечения выгоды. В уходящем веке литература столкнулась именно с такой бедой. Клеймо политики и власти пристало к ней прочнее, чем в любые другие эпохи. Более ощутимыми оказались и те лишения, которые испытали на себе писатели.

© The Nobel Foundation, 2000
© Д. Воскресенский. Перевод, 2001

Литература должна защитить обоснованность своего собственного существования, не превращаясь при этом в орудие политики, а потому ей необходимо возвратиться к голосу отдельного индивидуума. Но поскольку литература обращается прежде всего к чувствам человека, она и является порождением человеческих чувств. Впрочем, это вовсе не означает, что литература непременно должна быть оторвана от политики или, наоборот, как-то воздействовать на нее. Так называемая тенденциозность литературы и политическая ориентированность писателя, его причастность к идеологическим схваткам — тяжелый недуг, который в уходящем веке нанес огромный вред литературе. Поэтому идеи традиционализма и обновления, принявшие форму консерватизма и революционности, в конце концов обернулись битвой между передовым и реакционным, что в свою очередь породило безудержное господство идеологии. Но как только идеология соединяется с государственной властью и становится реальной силой, литература и отдельная личность неизбежно погибают.

Причиной нескончаемых и непрерывных бед, которые обрушились в XX веке на китайскую литературу, в результате чего она подошла к последней черте своего существования, было то, что над литературой господствовала политика. Литературная революция, равно как и революционная литература, подвели литературу и саму человеческую личность к гибели. Карательный поход против традиционной культуры от имени революции вылился в открытое запрещение книг, их сожжение. Писателей убивали, бросали в тюрьмы, ссылали, обрекали на изнурительные каторжные работы. Примеров тому за последнее столетие несть числа, подобным варварством не отличалась ни одна монархия в истории Китая. В результате стало невероятно трудно создавать литературные произведения на китайском языке, а о свободе творчества и вообще говорить не приходится.

Если писатель хотел обрести свободу мысли, перед ним открывались лишь два пути: бегство или полное безмолвие. Но для писателя, работающего со словом, долгое молчание равносильно самоубийству. Значит, писателю надо было спасаться бегством, если он не желал кончать жизнь самоубийством или быть умерщвленным, если хотел возвысить голос как личность. Оглядывая историю литературы, можно сказать, что подобное происходило не только на Востоке, но и на Западе: от Цюй Юаня до Данте, а дальше — Джойс, Томас Манн, Солженицын и, наконец, китайские интеллигенты, которые в массовом порядке бежали прочь после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Такова судьба поэтов и писателей, стремившихся сохранить свой голос.

Однако в годы всеохватной диктатуры, которую осуществлял Мао Цзэдун, было невозможно даже бегство, поскольку горные храмы, где когда-то в феодальную эпоху находили убежище литераторы, подвергались обыскам или просто уничтожались. Смертельная опасность нависала даже над писателями, которые пытались писать тайком. Кто хотел сохранить способность самостоятельно мыслить, мог разговаривать лишь с самим собой, соблюдая при этом крайнюю осторожность. Хочу заметить, что именно в ту пору, когда литература пребывала в таких невыносимых условиях, я особенно остро ощутил ее необходимость, ибо литература дает человеку возможность сохранить свое сознание.

Можно сказать, что разговор с самим собой — это своего рода отправная точка литературы, и только за нею следует общение посредством языка с другими. Человек доверяет языку свои чувства и мысли, облекая их в письменное слово, попадающее затем в книги. Так рождается литература. В тот момент автор не думает о выгоде и пользе, он просто пишет, даже не помышляя о том, что однажды ему удастся написанное издать. Это происходит потому, что в самом процессе писания он черпает радость, получая разом и удовлетворение, и вознаграждение. Над романом "Чудотворные горы" я начал работать в ту пору, когда были под запретом мои произведения, которые, впрочем, я сам подвергал самой жестокой цензуре. Я писал их для себя, нисколько не надеясь на публикацию, чтобы изгнать из своего сердца тоску.

Обращаясь к собственному писательскому опыту, я должен заметить, что в момент создания книги литература для писателя есть, по сути, осознание им личной самоценности. Автор находит своему труду некое обоснование, стимул для него. Литература рождается прежде всего из писательской потребности получить удовлетворение, а что касается социальной отдачи, то она может возникнуть лишь после завершения произведения. Кстати подчеркну, что степень такой отдачи вовсе не зависит от желаний самого автора.

В истории литературы можно найти немало всемирно известных и поистине нетленных произведений, которые так и не были изданы авторами при жизни. Если бы, сочиняя, авторы не чувствовали внутренней потребности, то, спрашивается, зачем им было писать? Еще и сегодня с трудом поддается изучению, как и жизнь Шекспира, судьбы четырех талантливейших личностей — авторов самых великих произведений в истории китайской литературы: "Путешествия на Запад", "Речных заводей", "Цзинь, Пин, Мэй" и "Сна в Красном Тереме". К примеру, Ши Найань оставил единственную запись о себе со словами самоутешения. Но почему тогда все свои жизненные силы он вложил в громадное произведение, которое при его жизни так и не получило никакого вознаграждения? А разве не такая же участь постигла зачинателя современного романа Кафку или наиболее пронзительного поэта XX столетия Фернандо Пессоа? Они творили, вовсе не помышляя о переустройстве мира, но при этом хорошо понимали, что человек, даже очень слабый, может сказать очень важные вещи. В этом и заключается магическая сила языка.

Язык — это высшая, кристаллизированная, субстанция человеческой цивилизации. Он тонок и неуловим, но вместе с тем способен проникать в наши чувства, проходить всюду и везде, соединяя эмоции человека с его способностью к познанию мира. Через письменное слово, столь удивительное и чарующее, язык дает возможность каждому отдельному человеку вступать в контакт с миром, независимо от того, к какой эпохе, к какой национальности человек принадлежит. Именно так связываются воедино литературное творчество, вечные духовные ценности и читательская реальность.

Мне кажется сомнительным, что в наше время писателю надо как-то особенно выпячивать свою принадлежность к той либо иной национальной культуре. Если, к примеру, говорить о моем собственном происхождении и родном языке, то должен сказать, что я, конечно, ношу в себе культурные традиции Китая, и это вполне естественно. Но культура всегда тесно связана с

языком, в результате чего возникают некие, вполне устойчивые, формы чувствования, мышления и выражения мысли. Творчество писателя лишь зачинается в языковом высказывании, однако оно проявляет себя и в том, что слова выразить не успели. И все же тому, кто посвятил себя словесному искусству, вовсе не обязательно наклеивать на себя готовый и ясно различимый национальный ярлык.

Произведения литературы, преодолевая в переводе границы стран и языков, тем самым преодолевают сложившиеся в силу различных условий, исторических или географических, рамки социальных устоев и человеческих отношений и связывают человечество воедино. Надо заметить, что современные писатели испытывают самые разносторонние культурные влияния, выходя за пределы национальной культуры, а потому подчеркивание принадлежности к какой-либо национальной культуре (если это, конечно, не вызвано соображениями туристической рекламы) неизбежно порождает у читателей чувство недоверия.

Литература преодолевает идеологическую узость, государственные границы и пределы национального сознания, ведь точно так же и само существование человека в своей основе не исчерпывается тем или иным "измом". Само существование человека гораздо более важно, чем все рассуждения о нем или какие угодно научные дискуссии. И для литературы никто не устанавливал табу на то, чтобы она во всеуслышанье заявляла о тяготах человеческого бытия. Тем не менее всегда звучали голоса, призывающие установить для литературы разные ограничения. Эти призывы исходили от политиков, общественных деятелей, защитников определенного рода морали и нравов, пытавшихся оструга́ть литературу, втиснуть в жесткие рамки, сделав ее предметом украшения.

Но литература не является придатком власти или каким-то изыском моды, литература обладает своей собственной системой ценностей, собственной эстетической системой. Они неразрывно связаны с чувствами человека и являются главным и непререкаемым критерием оценки литературного произведения. Впрочем, сам этот критерий людьми же и меняется, поскольку разные люди и чувствуют всегда по-разному. И все же субъективность критериев эстетической оценки становится общепризнанной нормой. Способность эстетического осмысления, возникающая благодаря литературному воспитанию, дает людям возможность при чтении заново познать ту поэтичность и красоту, которые старался вложить в свое произведение автор: возвышенное и смешное, печальное и абсурдное, нотки юмора или насмешки — то есть решительно все.

Поэтичность, однако, не всегда и не обязательно задается лирическим характером произведения. Несдержанная самовлюбленность автора — это своего рода детская болезнь, которая неизбежно возникает, когда человек только учится сочинительству. Добавлю, что само понятие лиричности, в свою очередь, подразумевает множество слоев, и высшим из них является спокойное и "холодное" рассмотрение явлений. При таком отстраненном изучении бытия личность автора словно уходит в тень. Такая позиция дает писателю возможность обрести своего рода "третий глаз", который всевластно наблюдает и за персонажами книги, и за самим автором. Такой нейтральный взгляд, возможно, удержит автора от чрезмерно пристального разглядывания катастроф и грязи

человеческого бытия. Вместе с тем горечь, отвращение или ненависть автора способны пробудить в людях сострадание, жалость и любовь к жизни.

Эстетическая красота, зарождающаяся в человеческих чувствах, по всей видимости, не способна устаревать, хотя в самой литературе, как и в искусстве вообще, существует мода, которая может из года в год изменяться, причем критерии оценки, как и различия в моде, часто определяются принципом: хорошо только то, что ново и более современно. Так повсюду проявляет себя действующий механизм рынка, причем книжный рынок не является в этом отношении исключением. Но если авторские эстетические оценки станут определяться лишь рыночной конъюнктурой, это будет равносильно самоубийству литературы, тем более если речь идет о нынешнем обществе, получившем название "потребительского". Полагаю, что в данном случае литература как раз и должна оставаться "холодной".

Десять лет назад, когда я закончил свой роман "Чудотворные горы", на который потратил семь лет жизни, я написал небольшую статью, в которой обратил внимание на литературу именно такого типа. Я писал:

"Литература не имеет никакого отношения к политике, она не более, чем внутреннее дело индивидуума. Его наблюдения, воспоминания, анализ жизненного опыта, размышления о разнообразных впечатлениях и попытки выразить состояние собственной души — все это демонстрирует, какое удовлетворение приносит ему сам процесс мышления.

Так называемый писатель всего лишь обычный человек, умеющий говорить сам с собой и способный писать, причем посторонние люди его могут не слушать, могут не читать. Писатель вовсе не герой, выступающий от имени народа, и не надо делать из него идола, и уж тем более нельзя называть писателя преступником или врагом народа. Трудности, которые встают на пути автора и его произведения, объясняются лишь одним — кому-то это очень нужно. Когда власть хочет создать образ врага, пытаясь тем самым отвлечь внимание масс, жертвой в первую очередь становится писатель. Самое печальное то, что порой и сам писатель в помутнении разума считает за великую честь выполнять роль такой жертвы.

В действительности отношения между писателем и читателем представляют собой некий духовный обмен мнениями. Автору и читателю не обязательно встречаться или общаться друг с другом, они связаны лишь посредством литературного произведения. Литература — это та неустранимая форма человеческой деятельности, в которую вполне сознательно и по своей охоте вовлечены обе стороны, то есть читатель и автор. Вот почему литература не несет каких-то особых обязательств перед широкими массами.

Литературу, способную реализовать свою истинную сущность, вполне можно назвать "холодной литературой". Она продолжает жить именно потому, что человечество, помимо удовлетворения своих материальных потребностей, стремится еще и к чисто духовной деятельности. Понятно, что такая литература родилась не сегодня, и появилась она главным образом потому, что возникла необходимость противостоять давлению со стороны политических и определенных общественных сил. В настоящее время ей приходится противодействовать распространяющимся все шире и шире нормам и морали потребительского общества и всевлас-

тию рыночных ценностей. Но чтобы выжить, ей надо прежде всего уметь выдержать свое одиночество.

Совершенно ясно: если писатель будет заниматься лишь своим писательским трудом, его жизнь окажется очень нелегкой; помимо писательской деятельности, он будет вынужден искать какие-то другие средства к существованию. Из этого следует, что создание такого рода литературы можно считать некоей роскошью, удовлетворением исключительно духовных потребностей. Если произведения "холодной литературы" появляются на свет и распространяются в мире, то это происходит исключительно благодаря усилиям самого автора или его друзей. Примером могут служить Цао Сюэцинь и Кафка. При жизни авторов их произведения даже не были опубликованы, а потому писатели эти никак не могли породить какие-то литературные движения, стать для современников яркими звездами. Такие писатели живут на периферии общества, забившись в щели, целиком погрузившись в духовную деятельность, получая от нее удовольствие, но нисколько при этом не надеясь на вознаграждение, то есть не помышляя об общественном признании.

"Холодная литература" — литература бегства, в коем она обретает жизнь и духовные силы, не давая обществу себя задушить. Если нация не принимает литературу, отрицающую выгоду и пользу, то это не только беда для писателей, это есть и трагедия самой нации".

Я счастлив, что удостоился большой чести — награды Шведской Королевской академии. Я получил ее благодаря своим друзьям в разных частях света, которые на протяжении многих лет, не думая о вознаграждении, не считаясь с трудностями, переводили, издавали, ставили на сцене мои произведения. Я хочу всем им выразить глубокую признательность, хотя и не могу всех поименно перечислить, поскольку этот список оказался бы слишком длинным.

Я должен также выразить благодарность Франции, которая приняла меня. В этой стране, прославившейся своими литературой и искусством, я обрел условия для свободного творчества, нашел читателей и зрителей. Я счастлив, что уже не так одинок, хотя то, чем я занимаюсь, то есть сочинительство, — дело очень личное и индивидуальное.

Еще я должен сказать, что жизнь — это вовсе не торжественный праздник, а земля наша в целом не похожа на мирную Швецию, где не было войн вот уже сто восемьдесят лет. Вовсе не факт, что грядущему веку удастся избежать недугов только потому, что в прошлом столетии уже пережито множество катастроф. Человеческая память не передается по наследству подобно биологическому гену, а человечество, хоть и наделено разумом, но не настолько мудро, чтобы использовать во благо опыт прошлого. Более того, человеческий ум способен порождать такие чудовища, которые могут угрожать самому существованию людей.

Человечество не обязательно должно двигаться от одной ступеньки прогресса к другой, а цивилизация — я здесь вынужден сказать именно об истории человеческой цивилизации — не есть лишь поступательное и непрерывное движение вперед. Достаточно вспомнить застой развития в Европе в Средние века, хаос и разруху на азиатском континенте в Новое время и, наконец, две мировые войны в XX веке! Способы умерщвления людей за это время также приобрели еще большую изощренность, между тем как само человечество с развитием научно-технического прогресса от-

нюдь не стало более цивилизованным. Некоторым фактам истории человечества невозможно найти объяснение лишь с помощью науки, равно как нельзя воспроизвести их, руководствуясь какими-то историческими концепциями, воздвигнутыми на основе иллюзорной диалектики. На протяжении целого века, и даже более того, некоторые утопии оборачивались лихорадочной активностью, но в настоящее время и от нее, и от духа непрестанной революционности не осталось и следа. В результате горечь ощущают и те, кому, по счастью, удалось выжить. Или это не так?

Отрицание отрицания не обязательно приводит к утверждению, а революция не всегда означает созидание. Утопическое представление о новом мире предполагает устранение мира старого. Подобная теория социальной революции навязывается и литературе, тем самым и этот заповедный сад творчества становится ареной борьбы: ниспровергнуть предшественников, растоптать культурные традиции и начать все с нуля — хорошо лишь то, что ново. Таким образом, история литературы интерпретируется как непрерывные скачки и катастрофы.

В реальности писатель не в силах исполнять роль Творца, как не может он и вырасти в собственных глазах до фигуры Христа; посягнув на такое в помрачении рассудка, безумец станет воспринимать внешний мир как химеру и адское узилище, в коем невозможно существовать. Если авторское "я" потеряет над собой контроль, мир превратится в настоящую преисподнюю для остальных людей. Разве не так? Мало того что сам человек приносит себя в жертву во имя грядущего, но вслед за ним такими же жертвами становятся и другие.

Впрочем, не стоит спешить и делать скоропалительные выводы относительно истории XX века. Если попытаться втиснуть ее в рамки какой-то идеологии, то можно считать, что она написана напрасно, и потомкам, возможно, придется переписывать ее заново.

Писатель не является и пророком, но он — наш современник и способен разоблачить обман, исправить заблуждения, четко разглядеть, что происходит в окружающей жизни, пристально вглядываясь при этом и в себя самого. Впрочем, вполне возможно, что писательское "я" само пребывает в состоянии сумятицы, поэтому, задавая вопросы миру или другим людям, писателю не мешает разобраться и в себе самом. Различные беды и напасти обычно приходят извне, но и сам человек из-за трусости, робости или просто вздорности способен умножить собственные страдания и принести горести другим.

Людские поступки зачастую необъяснимы, и человек весьма смутно представляет, каков он есть на самом деле. Между тем литература предполагает прежде всего обращение взгляда на самого себя, причем в моменты такого самосозерцания возникают некие лучи, которые как бы освещают человека изнутри.

Литература по своей природе не предназначена для того, чтобы ниспровергать или разрушать. Ее ценность заключается в способности разглядеть и показать истинную суть мира и людей, которую обычно знают мало и плохо или, думая, что знают, на самом деле представляют себе неверно. Полагаю, что именно правда является самым основным и несокрушимым качеством литературы.

На пороге новый век, не стану говорить, насколько он действитель-

но новый, однако замечу, что литературная революция и революционная литература после краха идеологии, которая вела их за собой, зашли в тупик. Тень, которую более столетия бросала на мир социальная утопия, рассеялась. Освободившись от разных "измов", литература должна вновь вернуться к сложным и непреходящим обстоятельствам, сопутствующим человеческой жизни, поскольку тяготы человеческого бытия по существу изменились мало. Они по-прежнему являются главной и вечной темой литературы.

Новый век представляется эпохой без предсказаний и обещаний, что, на мой взгляд, совсем неплохо. Роль писателя как провидца и арбитра себя исчерпала. Многочисленные прогнозы, сделанные в прошлом веке, оказались ложными. Так не лучше ли ожидать будущее, следя за его приближением внимательным взглядом, нежели создавать вокруг него новые суеверия? Что до самого писателя, то ему пора вернуться на место свидетеля и очевидца событий, возможно, тогда он сможет явить правду жизни.

Впрочем, это вовсе не значит, что следует приравнять литературу к записи фактов. Надо сказать, что факты и доказательства, представленные в подобных текстах, обычно столь скудны, что скорее скрывают от нас причины и механизмы возникновения тех или иных явлений. Настоящая же литература способна показать их досконально, поскольку она может объяснить логику развития событий, взирая на них из глубин человеческой души. В этом состоит сила литературы, если, разумеется, писатель именно таким образом создает достоверную картину человеческого бытия, а не занимается бессмысленными манипуляциями.

От глубины проникновения писателя в правду жизни зависит ценность произведения, и правду эту невозможно подменить никакой словесной игрой или художественными изысками. В самом деле, ведь о правде жизни говорят все, кому не лень, но понимают ее разные люди по-разному. Тем не менее с первого взгляда можно увидеть, насколько точна и достоверна картина бытия отдельного человека и сообщества людей или, наоборот, сколь сильно она искажена. Но рассмотрение правды или неправды лишь как повода для умозаключений и далеко идущих выводов — дело литературной критики определенного идеологического толка, не желающей отступить от своих догм. Подобный принцип к собственно литературе имеет весьма отдаленное отношение.

Если же обратиться к фигуре писателя, то его готовность ориентироваться на правду жизни не сводится к проблеме творческого метода — она теснейшим образом связана с самой авторской позицией. Правда или неправда, рождающиеся под его пером, дают представление о том, насколько писатель был искренен, когда за перо брался. В этом случае правда выступает не только как мерило литературной ценности, но одновременно обретает и этический смысл. Писатель не обязан принимать на себя миссию морального наставника. Изображая разных людей или многоликие миры, он в то же время раскрывает самого себя — показывает все тайные уголки собственной души. Для писателя правда в литературе едва ли не равноценна морали, а для самой литературы — это высшая мораль.

Пусть литература основана на вымысле, но для взыскательного художника она в любом случае предполагает изображение правды человеческого существования, и

именно из этого источника и в былые эпохи, и в наши дни черпают жизненные силы бессмертные творения. Вот почему никогда не устаревают ни греческие трагедии, ни произведения Шекспира.

Литература вовсе не является слепком с реальности. Она проникает не только во внешние слои действительности, но внедряется и в ее глубины. Разоблачая ложь, она способна с дольних высот обозреть повседневные явления бытия, широко охватив их своим взором и показав их причинные связи.

Конечно, литература прибегает к образному изображению, но подобное путешествие духа вовсе не является самоцелью. Образ, лишенный выстраданной правды, есть не более чем пустотелая конструкция, оторванная от человеческого опыта, свидетельствующая лишь о немощи и бесплодии автора. Произведение, в которое не уверовал сам писатель, вряд ли затронет и читателя. В самом деле, литература вовсе не обращается только лишь к опыту повседневной жизни, и писатель не всегда довольствуется своим собственным опытом. Писатель слышит и видит что-то еще, он, скажем, читает то, что написали его предшественники. И с помощью своеобразного передатчика, каковым является язык, он может пропустить все это через свои собственные чувства. В чем и заключается магическая сила языка литературы.

Язык таит в себе силу заклинаний и благословений — он точно так же способен потрясти душу. Искусство языка заключается в том, что рассказчик может донести свои чувства до других людей. Он никогда не станет относиться к языку лишь как к системе знаков, семантической конструкции или грамматической структуре. Забыв о том, что язык — это еще и живой говорящий человек, легко свести смысл произведения всего лишь к игре ума.

Язык не только вместилище неких понятий и представлений. Он может также, питаясь непосредственными ощущениями, пробудить интуицию и чувства. В этом заключается еще одна причина, почему знак или сухая информация не способны заменить язык живого человека. За произносимым словом, модуляциями голоса, интонацией говорящего на самом деле кроются истинные намерения человека или мотивы его поступков. Их нельзя свести к одной лишь семантике или стилистике. Языку литературы следует донести до читателя слово живого человека — так, чтобы оно было услышано. Но функция языка не исчерпывается и тем, что он является инструментом мышления. Язык нужен человеку не только для того, чтобы выразить мысль, но и для того, чтобы прислушаться к самому себе, признать свое собственное существование.

Применительно к писателю афоризм Декарта звучал бы так: “Я сообщаю, значит, я существую”. Писательское “я” может быть авторским голосом, а может идентифицироваться с рассказчиком-повествователем или превратиться в персонаж его книги, и тогда это будет “он” или “ты”, то есть повествователь окажется “расщепленным” на три ипостаси. Называние предметов и явлений — отправная точка для воспроизведения авторского мировосприятия, отсюда и возникают разные повествовательные приемы. Писатель реализует свое отношение к действительности в процессе поиска индивидуальных форм и способов повествования.

В своих романах я нередко заменяю обычные имена героев местоимениями. Под разными местоимениями — “я”, “ты”, “он” — мне случается иметь в виду одного и то-

го же героя, и тем самым я привлекаю к нему внимание. Взгляд на персонажа с трех точек зрения помогает создать ощущение некоторой отстраненности. В театре, к примеру, такой прием дает актеру простор для психологической интерпретации роли. Поэтому чередование разных способов называния героя я использую и в своих пьесах.

Возможности прозаических или драматических жанров нельзя исчерпать, вот почему абсурдны легковесные заявления о гибели того или иного вида литературы или искусства.

Язык, родившийся одновременно с человеческой цивилизацией обладает, как и сама жизнь, одним удивительным свойством: его выразительная сила поистине неиссякаема. Задача писателя состоит в том, чтобы раскрыть и показать потенциальные возможности, заключенные в языке. Писатель не являет собой Творца Сущего, способного убрать прочь этот мир, даже если он слишком устарел. Точно так же автору не по силам сотворить некий новый, идеальный мир, пусть даже настолько абсурдный, что обычным разумом его постичь невозможно. Однако писатель в меру своих возможностей способен сказать нечто новое на тему, когда-то уже затронутую его предшественниками, или начать разговор сызнова — с того места, где они разговор закончили.

Призывы к ниспровержению литературы — трескучие лозунги времен культурной революции. Литература отнюдь не умерла, поскольку невозможно сломить самого писателя. Каждый автор имеет свое место на книжной полке, поэтому он будет жить, покуда у него найдется читатель. Автор сочтет для себя великим утешением, если сумеет оставить в богатейшей литературной сокровищнице человечества книгу, которую будут читать и завтра.

Однако литература, идет ли речь о писателе и его творчестве или о читателе и его восприятии, вызывает интерес и реализует себя именно в настоящем времени, то есть в данный момент. Рассуждения о том, что произведения изначально создаются для будущего — не более чем досужие домыслы, это и самообман, и обман других. Литература создается для живых людей, она является формой жизнеутверждения конкретной личности в конкретное время. Именно в данном моменте, заключающем в себе вечность, и таится признание факта существования самой личности. В этом и состоит непоколебимое обоснование, позволяющее считать литературу литературой, если, конечно, для такого громадного явления вообще необходимо искать какое-то обоснование.

Если творчество не сводится всего лишь к добыванию средств для поддержания жизни, а служит источником удовольствия, когда автор забывает, ради чего и для кого он пишет, — такое творчество становится абсолютной необходимостью, и автор пишет исключительно потому, что просто не может не писать. В этом случае литература рождается как бы сама собой. Она не зависит от соображений выгоды или пользы, и в этом сущность литературы. Между тем при разделении труда литературное творчество превращается в профессию, что является далеко не лучшим итогом его развития. Если же говорить о писателях, то им это может принести весьма горькие плоды.

Особенно остро проблема обозначилась в нынешнее время, то есть в эпоху, когда рыночная экономика проникает во все сферы, а книги превратились в товар. В условиях бескрайнего слепого рынка

не в силах выстоять не только писатель-одиночка, но даже целые ассоциации и движения, наподобие тех литературных групп, которые существовали и в прошлом. Если писатель не желает подчиниться давлению рынка и опуститься до производства продуктов культуры, удовлетворяющих вкусам современной моды, он вынужден искать иные средства для существования. Однако литературу нельзя свести лишь к бестселлерам или произведениям, отмеченным в списках популярных книг. Известно, что объектом восхищенного внимания телевидения и СМИ являются вовсе не писатели, а прежде всего реклама. Но свобода творчества не даруется чьей-то милостью, ее нельзя купить, она рождается прежде всего внутренними потребностями каждого автора.

Чем поминать в душе Будду, лучше говорить о свободе самой души. Вопрос лишь в том, как ты сумеешь свободой воспользоваться. Ведь если ты поменял ее на что-то иное, она улетит от тебя, как птица. Такова свобода.

Писатель творит задуманное им не из желания получить вознаграждение и не только для самоутверждения, но и чтобы бросить обществу некий вызов. И этот вызов — не выработанная поза. Писателю не следует строить из себя героя или борца-воителя. К слову сказать, герой и воитель сражается во имя какого-то большого дела или ради совершения подвига как такового. Но это не относится к литературному произведению. Вызов писателя обществу — это лишь слово, которое он вкладывает в уста персонажей произведения или использует при описании каких-то ситуаций. В противном случае он принесет литературе лишь вред. Литература — это не клич ярости, она не должна превращать протест человека в скорбную жалобу. Личные чувства писателя становятся литературой тогда, когда они растворяются в его произведении. Лишь в этом случае оно способно выстоять перед сокрушительными ударами времени, то есть может жить вечно.

Следовательно, вернее было бы сказать, что вызов обществу бросает не писатель, а произведение. Творение писателя, способное выдержать испытание временем, и есть его мощный ответ современным эпохе и обществу. Не существует иных посторонних звуков — только голоса, доносящиеся из самого произведения, именно в них те слова, которые нужны читателю.

На самом деле подобный вызов не может изменить общество, ведь это лишь малозаметный жест человека, который пытается преодолеть неизбежную узость рамок социального бытия. Но какой бы странной ни казалась такая позиция, она выражает чувство гордости за ощущение себя личностью. Если род людской в своей истории будет лишь следовать малопонятным закономерностям и слепо плыть по течению, если оно не услышит иных звуков — голосов отдельных людей, он неизбежно будет ввергнут в пучину страданий. Исходя из такого понимания истории, можно утверждать, что литература является ее прямым дополнением. Но даже когда великие закономерности истории безудержно навязываются людям, каждый человек все равно должен сохранить собственный голос. Человечество имеет не только свою историю, ему необходима и литература — ведь вымышленные герои таят в себе небольшую, но чрезвычайно важную частицу наших знаний о себе.

Уважаемые члены Академии, я благодарю вас за то, что вы наградили Нобелевской премией литературу свободную и несгибаемую, которая не уходит от человеческих страданий, не страшится политического гнета и не заискивает перед политиканами. Я благодарен вам за то, что вы присуждаете эту самую престижную премию произведениям, далеким от рыночного ажиотажа, возможно, не привлекающим к себе особого внимания, но достойным того, чтобы их читали люди. Я благодарю также Королевскую академию Швеции за предоставленную мне возможность взойти на эту трибуну, которая сейчас привлекает взоры всего мира, за то, что слабый и незаметный голос моей скромной личности, обычно не различимый в средствах массовой информации, будет услышан во всем мире.

Перевод с китайского
Д. Н. Воскресенского

Д. Н. Воскресенский

Тернистый путь нобелевского лауреата Гао Синцзяня

Почти ежегодно, когда время приближается к осени, а точнее к октябрю, в литературном мире происходит заметное оживление в связи с предстоящим выбором очередного литературного лауреата. Предположения, предсказания, почти что гадания по поводу нового претендента на литературный трон сопровождаются горячими спорами и дискуссиями на страницах прессы — подчас далеко не мирными и не безобидными, поскольку дело касается едва ли не самой престижной из нынешних литературных премий. Действительно, оценка литературного таланта — задача настолько тонкая, деликатная, к тому же и субъективная, что не может не включать в себя самых противоречивых мнений. Но и после объявления лауреата в Стокгольме — в присутствии королевской четы и интеллектуального бомонда — споры отнюдь не затихают, ибо само решение Нобелевского комитета порой оказывается настолько неожиданным, что у многих вызывает недоумение и даже оторопь. Из истории присуждения премий хорошо известно, какие жаркие дискуссии разгорались после обнародования шведским Нобелевским комитетом имени очередного лауреата, когда вопреки общим ожиданиям премии удостаивался писатель или поэт, произведения которого (возможно, интересные и талантливые) в силу разных причин были почти неизвестны широкому читательскому миру. Именно такое произошло в 2000 году, когда Нобелевскую премию присудили Гао Синцзяню, китайцу по происхождению, живущему сейчас во Франции, пишущему на китайском (иногда и на французском) языке, издающемуся главным образом за пределами материкового Китая — на Западе, на Тайване. Очередная "нобелевская новость" из Швеции — это почти сенсация, поскольку за все годы существования премии ее впервые удостоился представитель китайской

© Д. Воскресенский, 2001

нации (напомним, что представители Востока среди Нобелевских лауреатов были: Тагор и Кавабата, например). Замечу, что в Китае были и другие возможные претенденты — не рискну судить, насколько более достойные. В настоящее время Гао Синцзянь не только обрел постоянное пристанище во Франции, но и получил французское гражданство, то есть он уже "не писатель в изгнании", как принято говорить в таких случаях, а значит, и честь делится между двумя странами.

Гао Синцзянь написал и издал довольно много произведений в разных жанрах: пьесы, рассказы, эссе, два больших романа. В последние годы книги его вышли в переводах на шведский, французский, английский, польский и другие языки. Нетрудно предположить, что после присуждения Гао Нобелевской премии известность его возрастет, но споры вокруг самой фигуры писателя и его творчества вряд ли затихнут. И причиной тому отчасти и его судьба — судьба писателя-беженца.

Кто же он — писатель Гао Синцзянь, о котором до нынешнего дня было не слишком много известно не только на Западе, но и в самом Китае, если, конечно, говорить о широкой читательской аудитории? Краткий путь его жизни надо начертать хотя бы уже потому, что в разных публикациях, появившихся в нашей и зарубежной прессе, немало ошибок и неточностей, не говоря уж о постоянном искажении самого имени лауреата.

Гао Синцзянь (как любое китайское имя, отраженное в иероглифах-образах, его можно раскрыть — Гао Твердая или Уверенная Поступь, что, кстати, иногда обыгрывается критиками и литературоведами) родился в Центральном Китае в 1940 году в городе Ганьчжоу провинции Цзянси. Иногда называют другой город — Тайчжоу, что неверно: там жили предки Гао. Его семья принадлежала к слою служащих средней руки, родители были людьми в меру интеллигентными и довольно консервативными, жившими по традиционным понятиям, но им была не чужда и западная культура. Положение отца, банковского служащего, обеспечивало довольно привилегированное (хотя и не самое высокое) место в обществе, что сказывалось на воспитании сына, на формировании его характера и взглядов. Впрочем, меньше всего заботился о сыне отец, человек безалаберный, любитель дружеских попоек и азартных игр. Именно таким предстает его образ на страницах полуавтобиографических романов самого Гао Синцзяня. Большое духовное влияние на сына оказала мать, трагически погибшая в период политических кампаний шестидесятых-семидесятых годов: истощенная от постоянного недоедания и тяжело больная, она, потеряв сознание, утонула в реке. В пронзительном рассказе "Мать" (он удивительно напоминает один из рассказов-эссе другого писателя трагической судьбы — Лао Шэ) Гао пишет о том, как эта самоотверженная женщина сделала все возможное, чтобы поставить сына на ноги. Писатель корит себя за "бесчувственность", вспоминая, что в злосчастную пору "Борьбы против Четырех старых" он был вынужден сжечь единственную фотографию матери, на которой она изображена "в чудесном длинном платье — ципао, расшитом цветами". Если бы такая фотография оказалась в руках распоясавшихся хунвейбинов, она стала бы вещественным доказательством крайней буржуазности семьи.

Хорошая домашняя подготовка позволила Гао в конце пятидесятых поступить в Пекинский институт иностранных языков на французское отделение, которое он окончил в 1962-м — за четыре года до культурной революции. Знание французского языка и приобщение с его помощью к французской (западной) культуре в значительной степени определили выбор дальнейшего жизненного и творческого пути. Сначала Гао работал в изда-

тельстве "Международная книга". Примерно в это же время начинается его творческая деятельность, прерванная, как и у многих других писателей, развернувшимися вскоре политическими кампаниями. Впоследствии Гао напишет, что ему пришлось сжечь целый чемодан рукописей (всего более трехсот: стихи, эссе, очерки и т. д.), иначе с ним произошло бы то же, что с Лао Шэ, дом которого был разгромлен толпой обезумевших от вседозволенности юнцов, одураченных политическими манипуляциями власти.

Почти четыре года (с 1971-го по 1974-й) Гао проходил перевоспитание в "Ганьсяо" — "Школе Седьмого мая", своеобразной облегченной разновидности идеологического концлагеря (такие школы-лагеря были созданы в 1968 году в соответствии с "Указаниями Седьмого мая" Мао Цзэдуна). В своем последнем романе, опубликованном в 1999—2000 годах, автор (он же герой) не раз вспоминает об этом довольно мрачном периоде собственной жизни, который остался в памяти навсегда — не случайно писатель снова и снова возвращается к тем событиям, находя в них что-то близкое и нынешним дням. Прошлое для Гао — это не то, что уходит и напрочь забывается, это и сегодняшняя эпоха, в которой он видит и чувствует отголосок минувшего. Образы прошлого постоянно возникают и на страницах романа "Чудотворные горы", и в последней книге — "Библия одного человека", напоминая, что недавнюю историю забывать нельзя, ибо она в любой момент может повториться — возродиться в еще более страшном варианте. Письма, фотографии, былые беседы, образы людей, звуки и краски — все это рождает в душе писателя ассоциации, нити которых протягиваются к современности.

В 1975-м (за год до смерти Мао Цзэдуна) Гао оказался в Пекине, где стал работать редактором журнала "Чжунго цзяньшэ" ("Китай на стройке"), выходившем и на французском языке. В то время Гао держал при себе свои политические взгляды, проявить их было опасно даже в период постмаоистской диктатуры. Впрочем, он сам признается в том, что качествами политического борца и трибуна не наделен. Затем какой-то период он работал в отделе международных связей Союза писателей Китая, а в 1979-м стал членом этой писательской организации, столь же престижной, как и былой Союз писателей СССР. Вступив в партию, Гао получает возможность выезжать за границу — хорошее знание иностранного языка для литераторов той поры было довольно редким явлением. В составе делегаций он побывал во Франции, Италии, сумел завязать отношения с европейскими интеллектуалами. В начале восьмидесятых Гао уже довольно хорошо известен в писательских кругах, поскольку печатается в толстых журналах, таких, как "Дандай" ("Наше время") или "Хуачэн" ("Город цветов"). Он пишет статьи, очерки, рассказы. Забавно и странно, что в 1978 году Гао Синцзянь публикует свой первый очерк "Ба Цзинь в Париже", посвященный престарелому и очень знаменитому в Китае писателю, при жизни ставшему классиком. Кстати, в двадцатые годы Ба Цзинь жил и учился во Франции. И еще: в Китае его не раз прочили в нобелевские лауреаты — в том числе и в 1999 году. Однако судьба распорядилась иначе: премию получил Гао, написавший о нем свой первый очерк. Поистине, жизнь полна парадоксов, и предсказать все ее повороты и изгибы практически невозможно.

Восьмидесятые годы — период большой творческой активности Гао. Он довольно много пишет, его издают, но знают его по-прежнему главным образом в интеллектуальной среде. Нередко его произведения вызывают полемику, и хотя в постмаоистскую эпоху идеологические ограничения и запреты в стране несколько ослабли, всякая "излишняя" оригинальность — будь то в идеях или в форме, — иначе

говоря, всякое самоволие, воспринимались с предубеждением. В 1981 году Гао опубликовал эссе "Предварительные разыскания в области мастерства современной прозы", где подчеркивал важность индивидуального начала в творчестве и необходимость освобождения от идеологических штампов. К тому времени о том же начали говорить и другие китайские писатели (Ван Мэн, Лэй Да, Лю Цзайфу). Эссе Гао привлекло к себе внимание, поскольку там затрагивались острые проблемы как недавнего прошлого, так и настоящего китайской литературы.

Гао пробует силы в прозе, хотя и без особого успеха. В 1980-м кантонский журнал "Хуачэн" напечатал его повесть "Звезды в холодную ночь". В том же году в журнале "Шоухо" появилась другая его повесть — "Голубок с красным клювом". Гао работает в Театре народного искусства и начинает всерьез заниматься драматургией. Ему кажется, что именно пьесы открывают самые широкие возможности для новаторских экспериментов. И только спустя десять лет, то есть в девяностые годы, уже во Франции, он вернулся к прозе — не порывая с театром. При этом многие новые художественные идеи, опробованные в пьесах, он использует в художественной структуре двух своих романов.

В 1988 году в КНР появился любопытный двухтомник под названием "Пьесы, вызвавшие споры", хотя последнее слово вернее было бы перевести как "битва" или "борьба". В этом издании представлено сразу два текста Гао: "На остановке" (1983) и "Дикарь" (1985). Обе пьесы сопровождались статьями — одни критики сетовали на их абсурдистскую форму, другие хвалили автора за смелость исканий. Но спор, в общем-то, носил доброжелательный характер, что было неудивительно, поскольку в середине восьмидесятых китайская литература развивалась под знаком поисков и обновления традиций. Впрочем, тон официальной критики был совершенно иным. Так, один из идеологических боссов Хэ Цзинчжи сказал о пьесе "На остановке": "Самая скверная и вредная пьеса после "Отставки Хай Жуя" У Ханя". Напомним, что У Хань за "Отставку" подвергся сокрушительной идеологической проработке еще перед культурной революцией, поскольку там узрели скрытые намеки на ошибочность политики Мао и инициированных им политических процессов. Резкая критика обрушилась еще на одну пьесу Гао — "Другой берег" (1986), которая в конце концов была запрещена. Между тем драматургия Гао привлекла внимание его западных друзей и европейских синологов. В 1990-м известный шведский филолог-китаист Малмквист перевел десять пьес Гао, и некоторые из них были поставлены на театральных подмостках Европы.

Тем временем в Китае над Гао Синцзянем сгущались тучи. Появились слухи, что его могут выслать в отдаленные края провинции Цинхай (предгорье Тибета) для очередного перевоспитания. К этому добавились тревоги совсем иного плана: врачи обнаружили у Гао раковое заболевание, хотя, как потом выяснилось, диагноз был ошибочным. Болезнь Гао воспринял как последний звонок судьбы. Медики и друзья посоветовали ему уехать из Пекина куда-нибудь в горы, где он, возможно, сумеет излечиться от недуга. Так начались почти годичные странствия писателя по разным провинциям Китая, которые принесли ему массу впечатлений, впоследствии легших в основу романа "Чудотворные горы". Он проехал или прошел пешком более десяти тысяч километров, увидев при этом другой Китай — глубинный, живущий совсем иной жизнью, не похожей на городскую, край, которого почти не коснулась современная цивилизация и даже современная политика. В горных селениях Цинхая, Сычуани и в других местах он увидел страну в ее "естественном" облике:

простых людей с их незатейливым бытом, грубыми нравами, необычными традициями, уходящими корнями в далекое прошлое, землю, овеянную легендами и преданиями. Гао записывал свои разговоры с крестьянами, монахами, колдунами и шаманами, и эти беседы тоже вошли в роман, рукопись которого (только ее) писатель увез с собой в Европу. В одном из интервью Гао сказал, что "Чудотворные горы" он начал писать в 1982 году, а закончил в 1989-м, то есть уже в Париже.

В 1987-м Гао едет в Германию — получать литературную премию, — и там принимает решение пока в Китай не возвращаться. Невозвращенец Гао пополнил довольно многочисленные ряды китайских диссидентов, создавших за рубежом своеобразную "литературу в изгнании". В разное время остались на Западе весьма крупные авторы: эссеист Лю Биньянь, поэт Бэй Дао, известный литературовед Лю Цзайфу (он, кстати, написал несколько интересных статей о творчестве Гао Синцзяня), прозаики А Чэн и Ха Цзинь, получивший в 1999 году престижную американскую премию National Book Award за роман "Ожидание". Гао называет свой поступок "бегством" ("таован"), вкладывая в это слово особый смысл, о чем он говорит и в своей нобелевской речи. "Бегство" для него — это попытка освободиться от идеологических и политических условностей современной жизни на родине и обрести духовную свободу. Скитания восьмидесятых годов отчасти тоже были таким "бегством", а преднамеренным или вынужденным — это уже другой вопрос. О путях обретения писателем свободы мысли Гао рассуждает в своей нобелевской речи, утверждая, что "писателю надо спасаться бегством, если он не собирается кончать жизнь самоубийством или быть умерщвленным". Пример такого "бегства" он видит в судьбах Цюй Юаня, Данте, Джойса, Томаса Манна и Солженицына, хотя учитывает несхожесть обстоятельств и жизненных путей.

К окончательному решению остаться на Западе Гао Синцзяня подтолкнули события 1989 года, произошедшие на площади Тяньаньмэнь. Писатель резко осудил действия властей в эссе "Мстители" и по следам событий написал пьесу, где в присущей ему парадоксальной манере изобразил умонастроения людей тех лет. Характерно, что пьесу он назвал "Бегство". В 1990 году она была опубликована в выходящем на китайском языке издании "Тудей", и вскоре ее перевели на несколько языков. А в КНР назвали "клеветническим пасквилем" и осудили за эротизм. Сам же автор (к тому времени заявивший о своем выходе из партии) был объявлен на родине "нежелательной персоной".

Между тем, на Западе известность Гао растет. Пьесы его продолжают переводиться, их ставят в Париже, Авиньоне, Вене, Варшаве. В 1992 году роман "Чудотворные горы" выходит на шведском языке, в 1995-м синолог Ноэль Дютре переводит его на французский. В 1992-м французское правительство удостаивает его почетного звания кавалера ордена Искусства и литературы, в 1994 за пьесу "Сомнамбула" он награжден премией французской общины в Бельгии, в 1997-м — премией, присуждаемой за романы, написанные на китайском языке. К тому же в Париже Гао получает признание и как талантливый художник — он пишет картины тушью в своеобразной абстрактной манере. Выставки его работ проходят не только во Франции, но и в других странах. Все это предваряет восхождение Гао на нобелевский трон и отчасти объясняет мотивы, которыми руководствовались в Стокгольме, присуждая китайскому писателю высокую награду.

Последнее десятилетие было для Гао особенно плодотворным. Как мы уже упоминали, кроме пьес, он пишет два больших романа, которые можно назвать новым словом в литературе на китайском языке. В нашем коротком очерке нет возможности подробно ра-

зобрать эти очень сложные произведения. В решении Нобелевского комитета говорится об "универсальной значимости" его произведений, а также о присущей автору способности "глубокого видения" и его языковом мастерстве. Как часто случалось и раньше, "нобелевские" характеристики звучат столь обтекаемо и многозначительно, что и сами порой приобретают почти "универсальный" характер, как и первоначальная формула 1901 года: "Dans le sens d'idéalisme"[1]. Подобная абстрактность формулировок зачастую воспринимается как гимн "чистому искусству" и протест против идеологизированности, политической ангажированности и рыночной конъюнктурности. В действительности вряд ли "нобелевские" книги в большинстве своем соответствовали подобным "идеальным" (или "идеалистическим", как у Брокгауза) исходным установкам.

Нобелевский комитет в своем решении особо отметил первый роман Гао "Чудотворные горы", сложное и многослойное произведение, жанровую природу которого можно было бы назвать "синтетической". То же определение будет справедливым и для "Библии одного человека", опубликованной около года назад. Если попытаться кратко охарактеризовать "большую" прозу Гао, то сказать в первую очередь следует о ее психологизме. Писатель подробнейшим образом анализирует внутренний мир своих героев, их душевное состояние, то, что таится за внешним ходом событий, за жизненными перипетиями. Это своеобразная "анатомия" авторского сознания, скрупулезное воспроизведение чувств, мыслей, настроений писателя. Поэтому огромная роль в повествовании отводится авторской рефлексии, которая приобретает форму непрерывного разговора героя-рассказчика с самим собой. Напомним, что герой этот выступает в трех ипостасях — "я", "ты" и "он" (тот же прием Гао использует в своих пьесах). Скитания писателя по дальним районам Китая, жизнь в разных городах Европы и Азии, размышления о прошлом — все находит свое место в романах, воспоминания рождают причудливые ассоциации, которые переплетаются между собой, накладываются друг на друга, образуя сложную повествовательную ткань. К примеру, последняя глава "Библии одного человека" начинается с описания ощущений автора-героя во время короткого пребывания в Перпиньяне, небольшом городке на юге Франции. Герой (здесь он обозначен как "ты") смотрит в окно на небольшую лавку, которая должна вот-вот впервые открыться. Лавка украшена фонариками и цветами, звучит веселая музыка. И это напоминает ему "родные места, где открытие торгового заведения всегда сопровождается таким же торжеством". И вдруг: "Кто-то из друзей однажды спросил тебя, скучаешь ли ты по родным местам (Гао использует китайское выражение "грустить по своей деревне". — *Д. В.*), ты со всей определенностью ответил: "Нет, не скучаю, я порвал с нею связь раз и навсегда". Или лирический герой (это опять "ты", потом — "он") находит фотографию, случайно оказавшуюся в книге: "Ты не помнишь, как эта фотография оказалась в книге, которую ты привез с собой. На ней он наголо обрит и выглядит изможденным. Ты внимательно рассматриваешь снимок, держа его в руках. Эта пожелтевшая от времени фотография была сделана более тридцати лет назад, когда ты проходил трудовое перевоспитание в "Школе Седьмого мая". Ты всматриваешься в его глаза, стараясь в них что-то прочесть и понять. Он задрал вверх бритую голову, похожую на тыкву. Сейчас он напоминает уголовника, поэтому у него такое вызывающее выражение лица. Но, возможно, именно это его тогда и спасло, его не сумели раздавить..." Герой смотрит на платаны, окаймляющие улицу в Перпи-

1. За идеальную направленность (*франц.*).

ньяне, и на него наплывают воспоминания о первой любви: девушка, в которую он был влюблен, стоит прислонившись к голому стволу платана. "Тогда тоже было лето, только более жаркое..."

Некоторые критики, говоря о "Чудотворных горах", отмечают этнографичность романа. Другие пишут об "очерковом стиле" этой книги, о ее "фактологичности". Сам писатель в одном из интервью подчеркнул, что все это не случайные жанровые смещения и сбои, а обдуманные художественные приемы — способ сделать реальную жизнь полноценным участником романного действия. Особенностью поэтики романов Гао является также фрагментарность повествования, резкие перемещения во времени и пространстве, когда отзвук или отблеск ранее увиденного, прочувствованного силой авторской мысли реализуется в слове.

Если взглянуть на произведения Гао в контексте современной китайской литературы, а иначе их воспринимать было бы совершенно неверно, то они предстают явлением безусловно значительным. Но к этому нужно добавить еще одну характеристику: Гао Синцзянь в своем творчестве удачно соединяет элементы китайской (восточной) и европейской (западной) культуры.

О своем взгляде на жизнь, искусство, на роль языка и Слова, на место творческой личности в современном мире, о взаимоотношениях писателя и власти Гао подробно говорит в своей нобелевской лекции. Хотя в общем он затрагивает те вопросы, которые всегда волновали и продолжают волновать писателей и поэтов и которые не раз становились темой речей нобелевских лауреатов. Читателю, никогда прежде не слышавшему об этом "китайско-французском" писателе, опубликованная выше речь откроет многое. Возможно, с чем-то читатель не согласится, что-то подвергнет сомнению — некоторые взгляды Гао, его общественную или эстетическую позицию. Однако несомненно одно: к нам обращены искренние слова мыслящего и глубоко чувствующего человека, талантливого и не играющего в дешевые политические игры.

Людвик Вацулик

Эссе разных лет

Перевод с чешского Юзефа Преснякова

От переводчика

Всемирную известность принесло Вацулику его воззвание "Две тысячи слов", написанное в июне 1968 года, обращенное ко всем гражданам Чехословакии и ставшее самым известным документом Пражской весны. Людвик Вацулик — один из учредителей "Хартии 77", организатор неподцензурного издательства "Петлице", выпустившего около четырехсот книг. Произведения Вацулика были запрещены к изданию до "бархатной революции" 1989 года. За литературные и гражданские заслуги писатель в 1996 году награжден орденом Т. Г. Масарика.

Фельетоны Людвика Вацулика не случайно сравнивают с фельетонами Карела Чапека. Эта краткая литературная форма дает Вацулику возможность регулярно высказываться о злободневных проблемах. События крупные и мелкие, личные и исторические он использовал как предлог, чтобы возвещать свою философию, свои взгляды на общественные процессы. "С чуткостью, свойственной только натурам исключительным, — пишет Иван Клима, — кратко, остроумно и интересно Вацулик выявляет и называет по имени причины болезней, разъедающих душу и тело нашего общества; в блестящем литературном стиле, не имеющем аналога со времен К. Чапека, он ведет борьбу за нормального человека и его достойную, осмысленную жизнь".

© Ludvík Vaculík, 1987, 1995, 1999
© Ю. Пресняков. Перевод, 2001

Моя Европа

(С тремя картинками)

Собственно, для меня Европа — слово чисто теоретическое, а не какое-нибудь живое восприятие или опыт. Как если б вы жили в шестиэтажном доме, но ни разу не вышли из своей квартиры на третьем этаже. Весь дом вы видели только на фотографии. Вы знаете, на какой улице он расположен, значит, дом определенно существует; какое-то доказательство содержится и в том, что вы в нем живете. Судьба дома вас тоже касается, до вас доносятся слухи о том, что происходит с прочими его жильцами. Пожар в доме не минует вашу квартиру.

Я живу в одном из закоулков этой Европы, но вообще с ней незнаком. Не знаю, как она выглядит. Сообщения — не более чем сообщения; охотнее всего я бы отправился сам посмотреть. Возможно, вам придет в голову, что я человек неполноценный, инвалид и потому не могу передвигаться. Да нет, я здоров, передвигаться я могу и хочу. Неполноценно мое правительство: оно обращается со мной как со своей вещью. В чехословацком правительстве 1986—1987 годов нет ничего европейского! А я — я вообще-то европеец? Да, так же как крот остается кротом, даже не высовывая носа; он остается кротом по своему месту пребывания, поведению и судьбе.

Впервые я познакомился с Европой в постели. Я болел, и мама взяла у дядюшки карту Европы, чтобы развлечь меня. Читал я еще не ахти как, но разобрал названия стран и городов, многие из которых я уже слышал. Меня удивило, до чего малы некоторые известные мне страны, в том числе наша. Европа с первого взгляда понравилась мне своей формой и цветом. И размеры у нее были подходящие. Самое сильное и неизгладимое впечатление произвели на меня — и, наверное, чуть ли не на каждого — ее контуры: эта скандинавская собака вверху, итальянский сапог внизу, размах пиренейского молота. Тревожно выглядели оторвавшиеся западные острова: казалось, их медленно сносит в море. Дальше слева был только океан; Европа пристально смотрит, оглядывается и выходит в мир!

Обратите внимание, что Африка, Австралия и обе Америки стоят на своих картах спокойно до тупости. Их форма ничего не говорит об их чувствах, намерениях или способностях — независимо от того, наделены они ими или нет. Они не проявляют никаких наклонностей, не обращаются с каким-либо жестом к остальному миру, ничто их не интересует. Корабль то ли пристанет к их равнодушному берегу, то ли нет, но сами они никуда никого не пошлют. Да им, похоже, и неоткуда отправить корабль: на их теле отсутствуют занятные сумки, полости и карманы, в уюте которых можно мечтать о фантастических странствиях в неведомое, а потом основательно снарядить экспедицию. Если там кто-то куда-то на чем-то и плыл, на судьбу континента это никак не повлияло. На нее влияли только корабли из Европы.

Вы только взгляните на Австралию! Сразу видно, что мысли у нее крайне незамысловатые. Зато взгляд на Европу подсказывает, что перед нами существо проблемное, психически противоречивое, сотрясаемое идеями, страстями и изобретениями. Уже при том мальчишеском, неисторичном и неосведомленном, взгляде на отдельные ее формы во мне возникали чувства и представления, впоследствии подтвержденные опытом и знаниями: оставленный, заброшенный север; Британские острова с выгодной дистанции высокомерно взирают на материк; силезские равнины позволяют Германии вцепиться в загривок Польше; шаткая безопасность Нидерландов и Бельгии, оттесненных к морю, как к стенке — ни увернуться, ни размахнуться. Ясная определенность южной границы Франции в отличие от изменчивой границы на севере. Безрассудное стремление Италии зацепиться на Балканах. Запутанное соседство Балкан с Турцией как причина вечных споров.

Короче, ясно, что характер Европы и ее жизнеописание заданы ее внешностью: типично женская судьба! Африка — будем откровенны, господа, — не сумела бы совратить сколько-нибудь интеллигентного бога, Европа же после того, как один из них одарил ее своим вниманием, погрязла в скандальных историях со всем миром!

У силуэта Европы на карте подкачал правый бок: я его просто не нашел. Как я выяснил позже, та сторона Европы была чисто декларативной. Эта демаркационная линия по Уралу является весьма произвольной, и для нас, пожалуй, было бы лучше, если бы ее провели где-то между Балтикой и Крымом. Но сегодня это бы уже ничего не изменило. Европа просто не самостоятельна: ее фантастически нежное и даровитое тельце грубо притянуто какой-то бесформенной гомогенной земной массой, которая выглядит однообразной и нудной уже на карте.

Таким образом, сложная душа Европы обусловлена ее рельефом: расчлененностью побережья и высотой гор, климатом и направлением рек. Над каждым заливом властвовал свой князь, каждым островом правил свой король, а так как за каждыми горами говорили на ином языке, установить здесь единую власть на все времена было невозможно. Ни один завоеватель не мог овладеть всей Европой с одного захода: всегда он наталкивался на препятствия, терял время и силы. На завоеванных территориях за его спиной оставались очаги сопротивления; повстанцы провозглашали самостоятельное государство, какого бы размера оно ни было, свое наречие объявляли государственным языком — и так это осталось до сегодняшнего дня! Изгнанные из родных мест проповедники, учителя, художники и ученые переселялись в соседние края, и никто не мог найти на них управу. Сколько выступов на контуре Европы — столько же было в ней всегда политик. Сколько гор — столько же крепостей, замков и династий. Сколько всевозможных церквей — столько же священников, почти столько же церковных толков и столько же разных Библий. Теплый котел Средиземноморья породил столько культур, сколько там было народов и рас. Разная музыка на западе и на востоке, разный хлеб у вас и у нас.

Европу сотрясают идеи, страсти и изобретения.

Австралийская идея очень проста.

Русский план улучшения планировки Европы с применением американской строительной техники: а) собственно Россия; б) области; в) Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Англия, Дания, Голландия, Бельгия, Франция, Германия, Польша, Швейцария, Португалия, Испания, Италия, Австрия, Югославия, Чехословакия, Румыния, Венгрия, Болгария, Албания, Греция.

А между тем на необозримых монолитных пространствах неевропейской земли за это же историческое время распространяется единственный язык и единственная власть. Побеждает один интерес, проповедуется один взгляд, а другому некуда даже спрятаться. Власть на больших площадях однонаправленна, сурова и долговечна, ибо ничто не может принести изменений: никакой корабль, никакая почта, никакая новая школа. Впрочем, сама Азия это доказывает: на ее малоформатных окраинах, раздробленных морем, возникли разнородные культуры, в то время как в центре правило, опершись на бесчувственную глину, вначале извечно "неизвестное", а затем "запретное". Кто проникал туда извне, рисковал своей свободой, а то и жизнью.

Душа европейца — переводная картинка карты Европы: если материк и Британские острова разделяет естественный пролив, мы считаем совершенно естественным, что люди по обе стороны его будут смотреть на одно и то же дело по-разному. Аналогичным образом, какое-то злободневное дело перед Альпами может выглядеть отнюдь не столь неотложным по ту сторону хребта. Даже ребенок — да, именно он — поймет, что человек в стране, которая выглядит собакой, думает не так, как человек в стране-сапоге. И даже если бы ни одна из этих двух мыслей не была замечательной, разница между ними просто-напросто гениальна. Это и есть Европа! Как вы думаете, почему я осмеливаюсь выкладывать вам свои фантазии так, словно вы должны принимать их всерьез? Потому что контуры моей страны сформированы тектоникой, я могу говорить все, что мне вздумается, а вам до меня через эти горы не добраться. Добраться до меня могут те, другие, с противоположной стороны, но пока еще до них дой-

дет, что́ я здесь пишу! Ну так вот: на каждую пару сотен европейских километров приходится другое правительство, другая валюта и другой аргумент, и все они имеют силу!

В то время как по всей Европе проходили видимые изменения, Неевропа в основном лежала неподвижно. Поэтому для нас изменение и переменчивость всего на свете естественны, даже необходимы, в то время как в неевропейской однородности это явления нежелательные и редкие. Правительство, которое знает, что после выборов все может измениться, ведет себя совершенно не так, как правительство, знающее, что ничего не изменится. И диктатура в Европе не та, что в Неевропе. У нас это аномалия, а у них — привычка. Европейская диктатура погубит себя своим поведением, как у Гитлера, или сама собой прекратится — как у Франко. Неевропейскую диктатуру свергнуть невозможно, потому что там никто этого не умеет или в этом не нуждается. К тому же — кто бы смог прийти после нее, раз все они там одинаковы?

Европа размерами примерно с Китай, а жителей в ней на треть меньше, чем в нем. Зато цена каждого из них в двадцать раз больше. Не верите? Тогда следите внимательно: если китайское правительство захочет договариваться о чем-то с Европой, ему придется иметь дело с двадцатью правительствами. Для того чтобы документ имел силу, один китаец должен получить двадцать наших подписей! Нужно ли лучшее доказательство? Европеец развивает свою личность, свою индивидуальность через различия в языке, вере, ремесле. Говорят, де Голль как-то пожаловался, что трудно управлять страной, в которой имеется двести сортов сыра. Но ведь так и должно быть!

Как-то мне задали вопрос, в чем я вижу смысл существования чешской нации. Что я могу сказать на это — после нашего исторического опыта? Ни один народ не имеет самодовлеющего смысла. Единственный его смысл я вижу в проявлении права на своеобразие человеческого существа. Если бы, к примеру, в Швейцарии какая-то чужеродная сила добилась отмены кантонов под лозунгом укрепления Швейцарии, дружбы народов этой страны и прочей болтологии, это вроде и не затронуло бы никого из соседей. Но цена швейцарца упала бы, и он стал бы думать: "Каких ужасов еще ждать? Что удастся сохранить?" Однако, как подсказывает мой опыт, упала бы и цена европейца, и я почувствовал бы себя под угрозой: "Господи, значит, уже и в Швейцарии?.." У нас после войны под прогрессивными лозунгами коллективизма, крупномасштабного производства и роста эффективности произошло объединение мелких крестьянских хозяйств в кооперативы. В итоге упала цена земледельца, а когда потом и кооперативы стали укрупнять, упала цена кооперативов. Сегодняшний результат: упала цена человека и земли, возросла только цена зерна и мяса! Затруднить властям власть! — вот верный европейский инстинкт, защитный инстинкт мозга, чувств, культуры.

Европейский дух, многообразный, как очертания и рельеф Европы, возник в противоположностях и в относительности. Это дух беспокойный, сметливый, полный абстрактных идей и практических замыслов. Он изобрел парламент, паровоз, четвертое измерение, пенициллин и атомную бомбу (правда, последнее изобретение он сделал в Америке). После чего дух неевропейский тоже изготовил пенициллин и всё ту же бомбу; вообще он большинство вещей имеет "тоже". Он подражает Европе, не воспринимая ее мышление и мо-

раль; у него есть парламент — но все в нем от полноты счастья голосуют одинаково; сооружает гигантские библиотеки — для миллиардов одинаковых книг. Короче говоря, в мышлении он не добрался даже до второго измерения. Обладая огромными территориями, он в то же время страдает комплексом неполноценности, поэтому он недоверчив, обидчив, ревнив и честолюбив сверх меры своих способностей. Он еще не всем своим рабочим дал в руки кирку и тачку, поэтому многие из них до сих пор ковыряют землю ломом и таскают ее в носилках, как в древнем Вавилоне, но свой зонд к Венере он должен послать обязательно.

Я все время говорю о Европе, но краем глаза кошусь на Америку, точнее говоря, на Соединенные Штаты — это из-за их особых отношений с нами. Евроамериканская цивилизация шествует по всему миру: это понятие содержит противоречие, опасности, но также и хорошие перспективы. Ибо Америку можно рассматривать как иллюстрацию к моим рассуждениям о взаимосвязи между телом и духом континентов. Европейский дух когда-то сбежал в Америку — за свободой. Он нашел ее в огромном просторе, которым он завладел, кое-где разлиновал его по линейке... и случилось то, о чем я говорю: в сплошном огромном пространстве сформировалась гомогенная почва, в которой европейское растение не всегда чувствует себя уютно.

Американец знает, что пришел из Европы, и не отрекается от своего родства. Он печется о европейском наследии и при случае скупает его. Однако гомогенность пространства и языка слегка отчуждает его от нас: обратите внимание, как он с нами общается. Иногда он охотнее всего — в наших интересах, конечно! — размазал бы нас по стенке одним ударом. Но не может, потому что по воспитанию и по крови он в основном европеец. Не будь этого, он бы, пожалуй, превратил Нидерланды в сплошную бетонку для своих антисоветских самолетов, в немецких горах построил бы комфортабельные бункеры для нашего выживания, а в Польше и на Украине у него был бы полигон; пожалуй, только Францию он оставил бы как есть в качестве приятного тыла. Если американцу можно верить, то только ради того, что есть в нем европейского. Только поэтому он терпеливо ведет с нами дела через двадцать наших правительств, превозмогая свое "damned" ("черт побери"). Американец — блестящий исторический пример того, как воспитанием и силой законных учреждений даже на огромном однородном пространстве можно из человеческого мяса сотворить человека.

Кстати: почему название "американец" не означает обитателя всего континента, от севера до юга? Потому что он, янки, присвоил себе, только себе, имя всего континента. Ей-богу, мне все эти "крупноформатные" представляются в чем-то аномальными — или детьми. Общаясь с ними, человек должен больше считаться с их характером, чем со своим собственным. Я представляю себе, к примеру, что в национальное самосознание датчанина автоматически заложено отношение к Скандинавии, с одной стороны, и к Германии — с другой. Датчанину приходится постоянно соотносить с ними свое существование. Поэтому, как я себе представляю, он в состоянии понять и нас тоже. Вот это и есть Европа. Каждый из нас определяется не только тем, что́ он думает о себе, но и тем, что́ признают за ним все остальные. Только "крупноформатные" определяют себя так, как сами себя себе представляют, и думают, что это и есть правда. В беседе

с ними вы никак не преодолеете какую-то невидимую преграду. Поэтому после сложных переговоров, чтобы не ссориться, лучше кивните примитивно головой в ответ на это их примитивное "love" или "мир". Все равно ничего с ними не поделаешь: слишком мало полуостровов, слишком мало правительств!

С Европой некогда случилось несчастье: она прибрала к рукам почти весь земной шар, прежде чем сумела его понять. Не признала вовремя иных людей и иные культуры. Европеец стремился унифицировать весь мир под себя. А мир, в свою очередь, еще не усвоив европейский дух, присвоил себе нашу организацию, наше оружие, одежду и болезни. Когда-то мы понасеяли проблем по всему миру, а теперь их пожинаем. Да еще в период, когда у нас нет былого технического опережения, нет прежнего богатства, да и боевого духа тоже. Нас могут захватить и уничтожить белые, черные, желтые. Можно только удивляться, что они этого еще не сделали, хотя мы продали им все необходимое для этого.

Европа чувствует себя в опасности и хочет защищаться. Для этого ей следовало бы объединить свои идеи, средства и силы. Объединиться и не отречься от своего своеобразия — но как? Часто мне самому любопытно, чем же все это кончится. Когда я читаю, что Европа гибнет, я думаю про себя: не говорите так, иначе она и впрямь погибнет. Потом сижу и говорю себе: должна же найтись какая-то хитрость в ответ на грубую силу. А время от времени нужно и за оружие браться.

Конечно, это наглость: рассуждать о чем-то, что я знаю так мало, как Европу. Но, с другой стороны, раз мне никуда нельзя, я могу с большей независимостью размышлять о том, чего я не видел. У меня остается больше времени — и есть карта. Я гляжу на такое сложное, строением напоминающее человеческий мозг, тело Европы и чувствую: она опять что-нибудь придумает!

(Прага, апрель 1987, написано для какого-то сборника, который, возможно, выйдет в немецком издательстве "Зуркамп".)

Польза от коммунистов

Коммунизм у нас пал десять лет назад, но причины, по которым он когда-то наступил, остались! Думаю, социализм действительно был возможностью организовать более разумное и справедливое общество. Но это была возможность чисто теоретическая: практически мы были под диктатом "социализма", порожденного в другом месте, где он возник путем насилия. У нас склонность к социализму была естественной, и, пожалуй, достаточно было бы открыть ей более свободный путь. Например, сельскохозяйственную кооперацию незачем было импортировать из Советского Союза. Но воинственная концепция "построения социализма" погубила естественное развитие.

Причины, по которым у нас возник социализм, после переворота 1989 года остались или же возвращаются. У нас опять появилась безработица. На некоторых предприятиях рабочие не получают вовремя зарплату. Трудовое законодательство действует только в зависимости от воли работодателя, и люди боятся критиковать хозяина, чтобы не оказаться за воротами. Особенно возмущает меня поведение новых богачей: в погоне за прибылью они порой не гнушаются преступлением. Деньгами мож-

но завалить любое голосование, обойти любое законное препятствие, заглушить общественное мнение. И никто из предпринимателей уже не считает, что его деятельность является, помимо прочего, служением обществу. Короче, капитализм был и остается плохим...

И тем не менее, многие из нас, и я в том числе, выбрали его и будем, чертыхаясь, избирать и дальше. Голосуем за какую-то свою правую партию, но это нас не радует: нет уверенности, что люди, которых мы выбираем, оправдают наши ожидания. В сущности, мы всегда голосуем против того, чего мы не хотим, и уж это мы знаем лучше, чем то, чего мы хотим. При выборах происходит одна любопытная вещь, не уверен, что на нее обращают внимание: когда мы голосуем против чего-то и побеждаем, перемена наступает сразу же. Но того, за что мы голосовали, нужно дожидаться чертовски долго, и кто знает, наступит ли оно вообще. Приходится набираться терпения, голосовать снова и снова, а потом жаловаться победителям, давить на них, критиковать, подталкивать в спину. Какой смысл через четыре года голосовать против них: уж лучше мы заставим их лучше работать и лучше вести себя. Я пришел к выводу, что улучшенная общественная система, которую мы искали в социализме, может возникнуть, только если мы заставим капиталистов вести себя по-социалистически! Кстати, вы чувствуете это давление на них?

В последнее время растут прокоммунистические настроения, и многих это пугает, но не меня. Люди, готовые голосовать за коммунистов и вернуть им власть, опять знают только, против чего они выступают, но, похоже, плохо представляют себе, что будет потом. Коммунисты уже не смогут делать, что им вздумается, в одиночку им правительство не сформировать, и февраль сорок восьмого повториться не сможет — по причинам как внутренним, так и внешним. А когда коммунист не держит в своих руках цензуру и полицию, сила у него уже не та. Я их растущее влияние расцениваю положительно: они могут наконец-то припугнуть наших капиталистов. И лучше, чем мы, голосующие за них.

1999

Летний трамвай

Охотнее всего я езжу на семнадцатом номере трамвая, с вагонами модели Е3. У меня бывают с собой газеты, но сама поездка, люди, город интересуют меня больше. В последнее время, когда молодежь ведет себя много лучше, мне всё чаще уступают место. Однако этот поступок несколько теряет цену в моих глазах, если я вижу, что человек меня узнал. Еще мне нравится современный трамвай Т6, который ходит по двенадцатому маршруту, интерьер у него приятный. И совсем не нравится трамвай КТ, этакая гармошка, которая ездит на третьем маршруте, потому что это неуютный транспортировочный ящик. Вышеприведенные сведения я выспросил у водителя семнадцатого номера, чтобы обнародовать их здесь.

Я обращаю внимание на характер езды, и когда он мне особенно не нравится, я иду вперед посмотреть, кто же это нас так везет. Мне кажется, женщины водят хуже: както не чувствуют они все туловище трамвая за своей спиной, и как только ее зад под грохот колес минует перекресток или поворот, она бездушно катит дальше. Я чувствую, когда водитель перед поворотом замедляет ход, чтобы усилием

воли и электричества заранее перевести стрелки. Меня раздражает, когда трамвая долго нет, а потом он приходит битком набитый: в наказание я поворачиваюсь к нему спиной и жду трамвай получше, который придет вовремя. Мне все равно, в каком вагоне ехать, в первом или во втором, но с того дня, как водитель в свой микрофон поздоровался со мной и лично мне пожелал приятной поездки, я немножко стыжусь соваться в первый вагон.

Ближайшая остановка у меня за углом, около "Парк-отеля", но я предпочитаю идти улицей Яновского на площадь Строссмайера: по дороге куплю газету, опущу письма, заброшу что-нибудь в копировальную службу и вообще взгляну на улицу и на погоду. Иногда оглянусь по привычке, но это уже атавизм. На моем пути два почтовых ящика. Я опускаю письма в первый — что́ если до второго уже не дойду? Задачи и замыслы выстраиваю в цепочку, чтобы не пришлось петлять по городу. Неприятные, более или менее вынужденные встречи ставлю в начало цепочки, чтобы можно было сказать: "Извините, но мне уже пора..."

В вагоне предпочитаю садиться сзади, чтобы не на меня смотрели, а я смотрел. Наблюдаю за происходящим, иногда вмешиваюсь по мелочам. Года четыре назад какой-то очевидный иностранец подошел к сиденью, на котором сидела молодая женщина, и стал поглаживать ее по волосам. "Оставьте ее!" — инстинктивно выкрикнул я и встал между ним и женщиной. Он тут же вышел, и с тех пор никто больше не отваживался на что-нибудь такое в трамвае, когда в нем был я. Иногда войдет человек с собакой, собака ляжет у его ног, вытянет лапы перед собой, глядит спокойно. Когда рядом с ней оказывается какая-нибудь суетливая старушенция, у меня сердце замирает, как бы старуха не наступила ей на лапу. И наоборот, если войдет достойная старая дама, я уступаю ей место — тем охотнее, если это должен был бы сделать (но не сделал) кто-то помоложе меня. В трамвае мысли у вас то и дело отвлекаются на предметы, которые вы обычно не замечаете: в последнее время, например, на фигуры мужчин, от которых несет застарелой грязью. Тогда я стараюсь отойти подальше. Ну, а если входит женщина в боевой раскраске или ленивая пражская девка, разодетая до раздетости, я старательно ее игнорирую, не надеясь, правда, что она это заметит. Мне нравятся в трамвае маленькие мальчики — больше, чем девочки, и я уступаю место их мамаше: если она поймет меня неправильно и посадит вместо себя ребенка, я беру свое место назад. В таком описании это выглядит глупо, но я это делаю естественно и деликатно.

Недавно вошел мужчина и заиграл на гармонике: искусно и интересно. Я подумал, что это он делает под настроение, и очень обрадовался. Но потом он обошел вагон и стал собирать деньги, а так как играл он хорошо, я дал ему десять крон. Кроме меня ему что-то дали еще две молодые женщины. Когда еду по набережной, я всегда с удовольствием гляжу на телевизионную башню на Жижкове: лучше и нарисовать нельзя. Под Сталинской лестницей я смотрю, раскачивается ли над ней маятник огромного метронома. Иногда он стоит, потому что закончились деньги, и это производит на меня тягостное впечатление: если механизм, предназначенный отмерять историю человеческими секундами, останавливается, он теряет авторитет и не оправдывает свое существование. Что-то похожее я всегда чувствую на площади Палаха: это голое, безмысленное пространство перед

Рудольфином. Зная, что под ним гаражи, мы понимаем, что ничего весомого на нем стоять не может. Но, скажем, легкий фонтан туда бы подошел, особенно, если бы какой-нибудь архитектор подумал над тем, что я сейчас напишу: по углам этой площади хороши были бы водометные фонтанчики, чьи тонкие струи долетали бы издалека и соединялись в чаше посредине. Это была бы привлекательная картина, дразнящая воображение детей и взрослых, которым захотелось бы пройти под этими хрупкими арками. Вот это было бы по мне! Я видел в Тренчине ступенчатый фонтан, в котором вода с интервалами перелетала из одного бассейна в другой. Я долго глядел на это.

Недавно в трамвай вошла молодая беременная женщина, держа на ладони большую круглую пиццу, села и начала от нее откусывать. В трамвае не едят, но этой женщине беременность была очень к лицу, так что... Потом за моей спиной раздалось мычание: это какой-то мужчина заиграл на саксофоне, играл неважно, то форсировал звук, то пережимал клапаны. Чтобы воодушевить его к совершенствованию, я дал ему двадцать крон, а больше ему никто ничего не дал. Я считаю, что нужно поддержать человека, который, прежде чем начать красть, пытается найти лучшее решение.

Я люблю остановку "Карловы бани": это почти напротив редакции газеты "Литерарни новины", которая закроется, если не получит денег, на этот год ей нужно два или три миллиона. А ведь это сущий пустяк по сравнению с деньгами, которые выбрасывают на ветер, например на рекламу. Потом будет кафе "Славия", в которое я не заглядывал с тех пор, как его открыли, — до того я был зол, что оно так долго и глупо было закрыто. На Народном проспекте мне делать нечего, поэтому я еду мимо театра на площадь Ирасека, там выхожу, ехать дальше мне уже незачем. Мне нравится выставочный зал Манеса, но не тамошнее кафе, потому что там ко мне обращаются по имени при публике. Если мне нужно не просто чашку кофе, я лучше пойду в кафе "У святого Войтеха". Там незнакомые молодые люди и не так дорого. Глядя через Влтаву на Стрелецкий остров, я всякий раз вспоминаю, что хочу застолбить его для себя — только это нужно сделать вовремя! — на будущее Первое мая. Но пока я еще не решил, что там устроить. Несколько хороших идей у меня уже есть.

1998

Уважаемый господин премьер!

Это обращение скорее символическое: собственно говоря, я лишь ищу полномочный стол, чтобы положить на него свою "петицию". Поэтому не воспринимайте его лично, как премьер. И я не провоцирую немедленный ответ, потому что этим Вы просто прихлопнули бы мои вопросы. Это не прагматическая жалоба. Впрочем, жалобы и хулу на правительство я считаю дурной привычкой, унаследованной от старого режима. Условия, в которых мы живем, главным образом зависят от нас, "управляемых": от того, какие способы и для какой цели применяем мы в работе и в социальном общении, от нашего разума, чести и чувства ответственности. Мои вопросы имеют отношение к Вашей деятельности и не будут для Вас новыми, но думаю, что Вы задумываетесь над ними только тогда, когда сидите за своим столом в одиночестве: без подсказки, без помощи и чужого вмешательства в ход Вашей мысли. С Вами бывает такое? Надеюсь что да, потому что ес-

ли бы председатель правительства думал только то, что говорит, наше будущее виделось бы мне еще более мрачным.

Я начинаю свою предвыборную кампанию. Я не собираюсь выставлять свою кандидатуру, но ищу того, за кого я буду голосовать, и хочу дать ему достаточно времени, чтобы мое решение созрело. Вы являетесь также председателем самой влиятельной политической партии, хотя за нее голосовало меньшинство населения. Однако в коалиции с другими партиями Вам удалось перестроить провальную экономику, ввести в действие и основать на новых экономических связях новые общественные отношения, вернее, их предпосылки... Ибо о характере этих отношений все еще ведется напряженный спор.

Наши новые условия мы называем демократическими. Но в понятие демократии мы вкладываем не один и тот же смысл. Мы видим, что порой это слово служит лишь оправданием для бездельников, которым лень приниматься за творческое решение какого-то вопроса, или щитом, за которым верхоглядцы-чиновники укрываются от гражданской критики, — а часто и заклинанием для хищников, которые, отождествляя демократию с экономическим либерализмом, подло продают или скупают то, что не сумели "оттягать" открыто. Но демократия имеет также и — пардон! — нравственное содержание; человек уже не решается упоминать об этом, боясь насмешек компьютеризованных всезнаек. Но мы знаем, что, когда в классический период экономические силы подталкивали развитие демократии, они тоже использовали в своей пропаганде моральную аргументацию. Почему у нас столько постыдных афер, пусть и совершенных демократами? Или, может, все дело как раз в том, что их совершали демократы? Это вопрос не только правовой и административный.

Когда недавно стали продавать марки, подтверждающие уплату сбора за пользование автострадой, я прочел в газете, что какие-то люди уже их подделывают. Значит, мне нужно принять к сведению, что я опять за что-то должен буду платить, и тут же кто-то делает на этом "левые" деньги. Почему я должен быть в одной демократии с таким человеком? Лично я не хочу! Другой человек, по имени Марек Немец, продает свой товар под знаменитыми марками иностранных фирм и говорит, что это не противоречит закону. Но это же самое обыкновенное жульничество: ход мысли человека, способного стащить все, что не привинчено к полу! Именно из-за людей, лишенных врожденной чести, защитную решетку законов приходится делать все более частой — когда же все-таки мы, нормальные люди, сможем жить во взаимном доверии? Не могу понять, почему "приличное общество" мирится с подобными личностями. Любой рядовой магистр рыночной экономики должен был бы сказать такому Мареку: "Ты позоришь наше дело!" Кто-нибудь сказал ему это?

Я не дам своему оппоненту возможности перевести стрелку на удобную тупиковую колею демократии — не стану обосновывать свою позицию морально, потому что мое сопротивление имеет весомые практические причины: во-первых, экономическую — в конце концов, почему мы должны расплачиваться за эти преступления и мошенничества; во-вторых, гигиеническую — потому что от всего этого нас иногда начинает тошнить. Я решил сделать все что смогу, чтобы после следующих выборов такие люди выпали из демократии.

Все будет просто, ничего утопического. Профессиональные демократы часто цитируют Черчилля: демократия, к сожалению, лучший из всех плохих способов правления. Этим они оправдывают ее состояние: мол, усовершенствовать ее никак нельзя. Но вопрос стронулся бы с места, если бы мы признали (со всеми вытекающими из этого последствиями), что демократия существует для демократов. Нельзя, конечно, сказать заранее, кто есть демократ: какая комиссия может это проверить? Но можно распознать, кто им не является: он сам себя проявит. Несомненно, тот не демократ, кто умышленно вредит другому, совершая мошенничество, кражу и грабеж; человек, совершающий убийство и иное насилие над более слабыми, над женщинами, над людьми иной расы, нации или вероисповедания, человек, сознательно причиняющий вред соседям и своей общине. На то есть законы, такие люди подлежат суду. Но я предлагаю, чтобы осужденные за такие преступления были навсегда лишены права участвовать в выборах. Речь не шла бы о полном лишении правовой дееспособности: насчет себя пусть решают и дальше, но только не насчет нас. Ведь ясно же, что человек с испорченным отношением к миру и к людям выбирает иначе, по иным мотивам и иных людей. В результате мало-помалу очистилась бы политическая сцена. Область преступного будет очерчена более четко. А главное, наконец-то будет сказано, что люди не равны между собой: они подразделяются на лучших и худших, причем худшие сами себя отсеивают. Попробуем представить себе, какие психологические результаты (индивидуальные и социальные) это дало бы в течение одного поколения. Кто станет заключать договоры с такими людьми? Банк, прежде чем предоставить им кредит, поинтересуется не только их собственностью, но и их избирательными правами... Или и того больше: захочет ли кто-нибудь иметь от них детей? Может, тогда они вообще вымрут?

Поэтому на ближайших выборах я буду голосовать за партию, которая включит в программу эти меры. А если в ответ мне опять начнут возражать что-то про "объединенную Европу", мои опасения по поводу этой упадочной европейской ярмарки излишков в очередной раз подтвердятся.

Так Вы говорите, Лондону придется покупать в Брюсселе новые автобусы? И кому же от этого хорошо, кроме изготовителей автобусов? Господин председатель, лично мне это ни к чему! Эти фокусы не про меня! В таком случае вся Британия резко упала бы в моих глазах. Но я узнал еще более идиотскую вещь: говорят, на бретонских пастбищах собираются вырубить рассеянные группы деревьев, потому что в жару в их тени прячутся коровы. А этого им нельзя позволять, потому что брюссельские вездесущие-вездессущие всезнайки не смогут пересчитать их со своих спутников. Что еще новенького надумают и навяжут нам эти евробаре, если?..

Поэтому я буду голосовать за ту политическую партию, которая сначала выяснит мнения людей — людей, а не только правительств! — о нынешней "объединенной Европе". Выяснит и сформулирует, что́ нужно нам, чехам, от нее, чтобы жить в безопасности, что́ и в обмен на что́ мы получим; я подчеркиваю: в обмен! Я буду голосовать за партию, которая определит также границы нашей неприкосновенности. Мы тоже должны ставить им условия, а не только они нам! Впрочем, все, что есть у них разумного, целесообразного и достойного, мы можем и должны ввести у себя и без их

нажима. А некоторые формы воздействия и взаимоотношений можно для начала опробовать на уровне отдельных договоренностей.

Мне объясняют, что пока объединенную Европу понимают, в сущности, как наднациональную корпорацию производителей, коммерсантов и потребителей... — и всего-то? Хотя эта организация достаточно сильна и в политическом, и в военном отношении, она не сумела остановить войну на Балканах, она даже не назвала и не осудила агрессора. Мне кажется, под ширмой "объединенной Европы" кой-какие евробароны зарабатывают на балканской войне.

Эта объединенная Европа (собственно, европейский Запад), похоже, взяла патент на толкование демократии, но ничего не сделала, чтобы поднять ее выше. Найдем ли мы какие-то собственные представления и пути, или это станет камнем преткновения для нашего мышления и поступков? Тут я опять ожидаю затасканное возражение пресыщенных либералов: о пресловутом чешском мессианизме... Вот уж чего нет, того нет. Скорее, я предлагаю, так сказать, начхать на весь мир. Никого не спасать, а просто пытаться не провалиться в пекло вместе с ним.

Господин премьер-министр! Вы, наверное, согласитесь, что когда-нибудь самой большой редкостью во всей Европе станет лоскут нетронутой земли, по которой можно с удовольствием гулять, например пешком. Этот край не будет изрезан автострадами на биологически и ботанически омертвелые полоски, зашнурованные проводами вдоль и поперек и полностью канализованные. Складки местности не будут обезображены струпьями мегаломанских сооружений. Здоровые леса, на склонах холмов и в ложбинах — звери и растения, которые в других местах уже перевелись. А в ручьях — рыбы и раки. Вода во всех колодцах — пригодна для питья. Через каких-нибудь пятьдесят лет люди из окрестных мест станут специально приходить взглянуть на такую землю, и входная плата должна быть высокой: причем рыночной, а не предписанной Брюсселем! И все это не на потребу чужакам, как заманчивое коммерческое предложение, — нет, это будет естественный образ жизни местного населения, имеющего преимущество во всем, а иностранцам запретят тащить сюда свои системные помехи. И такую страну, господин премьер-министр, можно построить почти без инвестиций, скорее придется некоторых инвестиций избежать. Например, нужно разубедить близоруких людей, которые хотели бы на месте бывшей военной базы посредине Чехии построить центральный среднеевропейский аэропорт; не позволить строительство судоходного канала Одер-Дунай; не допустить уничтожения ландшафта Бероуна...

Меня тоже иногда смущает слово "экология". Задолго до "экологии" было известно, что корова дает лучшее молоко на выпасе, чем при содержании в стойле круглый год. Нормальный человек знал, что ехать, когда можно дойти пешком, — это леность, новое платье к каждому празднику — это суетность, что переводить продукты грешно. А упаковывать каждый ломтик недолговечного сыра в материал, который приходится добывать из-под земли, — тяжкий грех перед Землей. И без экологии ясно, что широкое не вмещается в узкое, поэтому, если дорожное движение не вмещается в дороги, нужно сузить транспортные потоки. Но есть ли на каком-нибудь брюссельском чердаке канцелярия, где планируется, что́ именно не будут перевозить откуда-то куда-то, поскольку?.. Я буду голосовать

за партию, которой придет в голову и такой вопрос.

Примерно два года тому назад Вы сказали, что у экологии есть свои экономические пределы. Тогда я не хотел ни в чем помогать оппозиции и потому сказал себе, что напишу Вам позже — то есть теперь. Вы — политик, который знал, что́ было необходимо в первую очередь после сорокалетней разрухи, Вы сумели это сказать и шаг за шагом "прозрачно" осуществляли свои замыслы. Ваша правда, что экологические меры ограничены экономикой — если она стоит на первом месте. И основополагающему периоду, на который пришлась Ваша деятельность, Вы недавно дали оценку и подвели под ним черту. Я согласен с Вашей оценкой. Заканчивается элементарный период. Следующему правительству, Вашему или иному, следовало бы приступить к более высоким задачам, если оно увидит и поймет их. Как раз о Вас я не думаю, что будущее видится Вам только как равномерно протяженное настоящее: тогда благосостояние всех просто росло бы себе, а решетка законов становилась бы все более частой... Но как будут жить люди на самом деле? Многие мудрые и чуткие люди у нас, и не только у нас, предвидят, что скоро речь пойдет о жизни и смерти.

Везде и всегда правительство — образование временное, учрежденное для решения злободневных вопросов. Это не академия. Разумеется, и я буду голосовать за партию, которая наконец-то, черт подери, включит в свою программу решение некоторых практических вопросов: например, я бы отнес сюда судебное преследование людей, которые в 1945—1946 годах совершали преступления по отношению к немцам; расследование и наказание преступлений коммунистов; возвращение земли крестьянам, которое затягивается невероятным и постыдным образом! О проблемах, которые в любом случае включат в свои программы все партии, я уж не говорю.

Таким образом, и в следующем правительстве будут люди, способные прежде всего заниматься настоящим. Но я бы хотел, чтобы в то же время они были людьми будущего, способными заглянуть вперед дальше, чем их избиратель, по большей части простодушный. Поэтому я подыскиваю председателя правительства, который отважится сказать, что экономика лимитирована экологией, и скажет это, не дожидаясь полной катастрофы. Однако, будучи человеком с фантазией, он просчитает, что свою фантазию сможет реализовать только последовательными и настойчивыми шагами. Если он заявит, например, что к такому и такому-то сроку во всех колодцах опять должна быть пригодная для питья вода, я бы мог подумать: "Да, это он". Ведь сколько всего и повсюду должно быть сделано, чтобы случилась такая естественная вещь! Для этого наш избранник должен быть большим виртуозом политики, экономики, психологии и чуть ли не философии!

В новом году желаю Вам прежде всего здоровья!

1995

Ирина Каспэ

Народ за Гарри Поттера

Первая книга Джоан К. Ролинг о воспитаннике пансиона благородных чародеев вышла в британском издательстве "Блумсбери" в 1997 году, неплохо разошлась, но бурного читательского восторга не вызвала. За "Гарри Поттером и философским камнем" последовало продолжение — "Гарри Поттер и секретная комната" (1998); серия была запущена на американский книжный рынок ("философский камень", конечно, пришлось упростить до "камня волшебника"), и к моменту публикации третьего тома — "Гарри Поттер и узник Азкабана" (1999) — подоспел термин "поттеромания", вполне готовый к употреблению. Три детских книжки прочно заняли первые места в авторитетных списках взрослых бестселлеров, а появление в июле прошлого года четвертого выпуска — "Гарри Поттер и Кубок Огня" — и в Америке, и в Европе было без колебаний встречено как самое крупное книгоиздательское событие конца века. Информация о том, как будет развиваться сюжет в трех последующих томах, скрупулезно собирается нетерпеливыми читателями — вплоть до попыток выкрасть свежие рукописи.

На сегодняшний день "Гарри Поттер" издан на 36 языках, включая китайского "Ха-ли Бо-те", и получил более 40 премий, среди которых — весьма престижные.

Британцы поспешили прочно закрепить за Джоан Ролинг статус писательницы с самым богатым воображением: именно в графе "Воображение", опережая Толкиена, Льюиса и Свифта, автор "Гарри Поттера" лидирует на выставке "Чептер энд Верс", подводящей итоги последнего тысячелетия английской литературы.

Наибольшего накала массовые страсти достигли, разумеется, в США. Места боевой славы Гарри Поттера впору наносить на топографическую карту. На переднем плане окажется Большое Кольцо, в которое объединились в корпоративном порыве многочисленные сайты-близнецы, посвященные сухопарому мальчику на помеле. На периферии всеобщего праздника — слабое сопротивление религиозных калифорнийцев, возмущенных пропагандой магии как образа жизни, обилием неприкаянных привидений в стенах школы для юных волшебников и сатанинским символом на лбу Гарри Поттера — молниеподобным шрамом. Написание имени ролинговского героя обычно сопровождается стилизованными молниями — наблюдательные противники колдовства вспоминают по этому поводу зигзагообразные буквы "S" в названии "оккультной рок-группы KISS"[1]. "Поттеромания" обретает не только собственную географию, но и хронологию: на одном из сайтов ведется отсчет точного времени, оставшегося до появления экранного "Гарри Поттера".

В Германии считают дни до выхода переводного четвертого тома, борются с пиратскими версиями и

© И. Каспэ, 2001

1. http://www.freedomvillageusa.com/ABC2.htm

с трудом вспоминают, о чем было принято говорить на светских вечеринках в те далекие времена, когда Гарри Поттера не существовало (Кристен Боа, "Литерарише вельт", 21 октября 2000).

Во Франции Гарри Поттер удостоился восприятия более сдержанного, однако на всякий случай был сопоставлен с "юным Иегуди Менухиным", который "тоже собирал толпы на концертах" и "воспламенял сердца взрослых" (Флоранс Нуавиль, "Монд", 31 марта 2000).

Однако сколь многообразными ни оказывались бы проявления "поттеромании", существуют общие правила игры, в которую охотно и повсеместно включаются разновозрастные читатели Джоан Ролинг. Многочисленные "поттероманы" либо особенно остро переживают свою "родительскую", "учительскую", "ученическую" идентичность и, исходя из соответствующей роли, оценивают ролинговский бестселлер в сетевых форумах и гостевых книгах; либо соглашаются на статус безликих "взрослых" и лихорадочно листают по дороге на работу специальные издания "Гарри Поттера" в блеклых, не привлекающих внимания обложках; либо отдаются новому хобби с "детской" непосредственностью: раскрашивают лбы зубной пастой, устраивают полуночные шествия, скупают товары мгновенно зародившейся "поттер-индустрии" — одежду, мебель, печенья, канцелярские и банные принадлежности. Все эти люди с воодушевлением обживают странноватое на первый взгляд пространство, в котором тоска по добротной "британской классике" сочетается с мобильной "американской" системой маркетинговых технологий. Конечно, в таком сплаве нет ничего неожиданного — из подобных соединений обычно и возникают новые формы массовой культуры.

Действительно, нельзя не отдать должное Джоан Ролинг — судя по всему, ей удалось вылепить новый массовый жанр из обращенной к ограниченному кругу читателей, в значительной степени ориентированной на "классические" образцы, одержимой "высокими" идеями воспитания и обучения детской литературы. Речь не о том, что из "Гарри Поттера" исчезли отеческие наставления — напротив, как мы убедимся несколько ниже, они прочно вросли в формальный жанровый каркас, стали неизменным, легко узнаваемым маркером изобретенного Ролинг жанра, — однако тем их функции и исчерпываются. С другой стороны, "Гарри Поттер" предлагает нечто большее, чем распространенные сериалы о школьной жизни, автоматически копирующие принципы "взрослой" мелодрамы. Ролинг не имитирует массовую литературу для "взрослых", а решает прямо противоположную задачу: делает роман о школе явлением, соприродным детективу, боевику или "розовому" роману. Истории о Гарри Поттере адресованы детям ровно в той же степени, в какой дамские покетбуки, перелистываемые в метро престарелыми домохозяйками, обращены к юным созданиям на пороге замужества.

Ролинг любит подчеркивать, что книги о юном волшебнике написаны исключительно "для себя", а возраст потенциального читателя определяется формулой "столько же, сколько и мне" (интервью газете "Либерасьон", 25 ноября 1999). Неважно, что составляло писательскую программу-максимум: намерение избавиться от "внутренних проблем" или выгодно их продать. Подобные высказывания не столько объясняют, сколько формируют читательские ожидания. Говоря о "литературе для себя", Ролинг лишь на первый взгляд легитимирует

чтение "детских" книг великовозрастными тетями и дядями — на самом деле давно легитимированное традицией восприятия "детской классики". За этой смутно знакомой и потому легко заглатываемой приманкой скрываются другие, более неожиданные смыслы, поддерживающие характерную для массовой литературы иллюзию: как кажется, Гарри Поттер, минуя "возраст" и "социальное положение", напрямую обращается к уязвимому, незащищенному, оставшемуся наедине со своими психологическими проблемами читательскому "я". Декларируемый читатель "Гарри Поттера" — это всегда "я", неопределенно-личная инстанция, избавленная от постоянного самоопределения и готовая ко встрече с мечтой. Фактическая ситуация несколько сложнее. Побуждая забыть о существующем многообразии возрастных, профессиональных и прочих различий, массовое чтение формирует собственную статусную шкалу: всеобщая готовность играть "в школу", в "учителей и учеников, детей и родителей" оказывается другой стороной неопределенно-личного бытования читателя. "Детство" и "взрослость" в данном случае — предельно размытые категории, каждая из которых способна вместить неограниченное количество биологических и культурных возрастов. Мир начинает делиться на детей и взрослых, учеников и учителей — как прежде делился на сыщиков и преступников, верных друзей и коварных врагов, влюбленных дам и отвечающих взаимностью кавалеров.

Распознать в творении Ролинг основные черты массовой литературы не составляет никакого труда: "Гарри Поттеру" свойственна, во-первых, постоянно акцентируемая серийность (каждый новый выпуск — с нетерпением ожидаемое событие) и, в-главных, — почти абсолютная, тотальная формульность (едва ли можно вспомнить детскую, да, впрочем, и взрослую книгу, с которой не сравнивался бы бестселлер о Поттере). Сложнее понять, в чем состоят особенности предлагаемой повествовательной формулы и отчего она оказалась до такой степени успешной. Списать все на удачную рекламную кампанию было бы, конечно, несерьезно, хотя подобные попытки неоднократно предпринимались. Припоминалась и слишком высокая, "солидная" цена на книги, и продажа свежих "Поттеров", начатая ровно в полночь, а затем приостановленная на часы школьных занятий, и незамысловатый имидж рыжеволосой писательницы в черном, ведьмы и отшельницы, которая всячески избегает общения с журналистами — о чем походя сообщается практически в каждом из многочисленных интервью.

Более того, все четыре тома кишмя кишат подсказками, с разной степенью навязчивости опережающими на полшага читательскую реакцию. Будучи несмышленым грудным младенцем, Гарри Поттер таинственным образом побеждает злого колдуна, мстя за убитых родителей-волшебников, приобретает в бою отметину-шрам и — внимание! — становится неимоверно, сказочно знаменитым; его имя вписано в чародейские анналы и включено в магические учебники, однако сам Гарри, до поры до времени естественно, ни о чем не подозревает, поскольку воспитывается у недобрых и не-волшебных родственников, — вся эта информация сообщается читателю в качестве пролога к действию. Сложно не сделать выводы: только плохой и заурядный человек может отрицать популярность Гарри Поттера. На протяжении второго тома за скромным Поттером бегает преданный поклонник, щелкает фото-

аппаратом, требует автографы и грозится организовать фан-клуб. В третьей книге тема славы не акцентируется — излишняя навязчивость ни к чему; зато в четвертой устраивается грандиозный кубок мира по квиддичу (чародейский спорт верхом на метлах) — как раз совпавший с мировой известностью серии. Ролинг вдохновенно перечисляет страны, представленные на всеобщем торжестве.

Действительно, "мир Гарри Поттера", включая "поттер-пиар", заботливо предлагает всем желающим и нежелающим уже сформированный язык для описания этой новой волшебной реальности. Язык настолько плотно сбитый и самодостаточный, что не воспользоваться им можно, лишь приложив немалые усилия. Необходимо известное напряжение, чтобы не начать критическую статью с точного указания объема продаж и не закончить цитатой из юного поттероманa с опять же точным указанием возраста.

Отечественный перевод "Гарри Поттера и философского камня", недавно выпущенный издательством "Росмэн", вынудил как минимум трех рецензентов использовать в качестве зачина один и тот же ход: доверчивое или циничное описание бедствий золушкообразной матери-одиночки, настолько голодной и холодной, что первые главы грядущего бестселлера пришлось строчить на салфетках в кафе. "Жила-была в Англии молодая мама со своей маленькой дочкой Джессикой. И была она... А никем особенно она и не была" (Ольга Гринкруг, "Итоги", 28 ноября 2000). В еще нескольких статьях история про то, как Джоан Ролинг была никем, а стала всем, дублируется уже не в качестве эффектной завязки, но как верный способ поддержать разговор. Салфетки неизменно играют роль вещественных доказательств. Если "Росмэн" приобретет права на издание четвертого тома (пока объявлено лишь о переводе трех первых книг), российским критикам вряд ли удастся избежать упоминания о том, что смерть одного из близких друзей Гарри Поттера была обещана жестокосердой Золушкой задолго до выхода английского "Кубка Огня". Во всяком случае, за рубежом это мало кому удалось.

Два-три критических отзыва — и возникает ощущение, что о Гарри Поттере известно практически все. На любом этапе своего существования поттер-реальность замкнута, завершена, предсказуема.

В построении серии вовсю учитывается практика создания компьютерных игр. Жесткие правила заданы изначально. Пролог — непременный элемент практически любой компьютерной "стрелялки или бродилки" — обещает неизбежную встречу с великим и ужасным противником, которая на сей раз должна быть пережита героем *сознательно*, увидена читателем *воочию*, а значит, наконец-то оценена по достоинству. Заранее известно, что Ролинг намерена ограничиться семью томами — не в честь семи сказок о Нарнии, а по числу учебных лет в Хогвартсе, закрытой Школе волшебства и магии. Предполагается, что читатель вместе с подрастающим Гарри будет переходить с одного уровня сложности на другой, сталкиваясь со все более страшными монстрами (не тут-то было — но об этом чуть ниже). Чтобы предельно занять читательское внимание, Ролинг помещает на заднем плане нечто напоминающее счетчик: Хогвартс делится на четыре соревнующихся колледжа, а профессора периодически занимаются подсчетом очков. Обычно, конечно, побеждают "наши" — колледж Гарри Поттера, Гриффиндор. Таким образом, читатель может по-

чувствовать себя игроком, который сопереживает "волшебным" событиям и одновременно краем глаза следит за количеством набранных очков, то возрастающим, то уменьшающимся где-то за рамкой основного действия.

Возможность такого двойного восприятия прямо связана со смешением жанров, которое нередко признается главной находкой Ролинг: соединяя школьную историю с фэнтези, автор "Гарри Поттера" обнаруживает собственный способ упорядочить "магический" мир, а именно — вписать его в рамки жестко структурированной, рациональной, освоенной и относительно нестрашной школьной реальности. В итоге получается нечто среднее: головокружительные приключения под присмотром директора, унылые школьные коридоры, в ночном свете приобретающие таинственный вид. Согласно одному из самых распространенных поттер-мифов, "Ролинг рассказывает, какими беззащитными часто ощущают себя даже храбрые дети" (Малькольм Джонс, "Ньюсуик", 17 июля 2000). В образе сироты Поттера интерпретаторы обычно обнаруживают неисчерпаемые возможности решения детских психологических проблем: "Все дети боятся, что в какой-то ужасный миг родители оставят их, боятся оказаться одни. Они думают, что не смогут выжить в этом мире в одиночку. Книги Джоан Ролинг убеждают детей в том, что это в их силах" (Барбара Ф. Мельц)[1]. Однако, зарекомендовав своего героя как беззащитного и одинокого, благословив его, в полном соответствии с законами волшебной сказки, на подвиги и добрые дела, Ролинг тут же распахивает перед храбрым Поттером гостеприимные и надежные двери учебного заведения. "Каждый поклонник Поттера знает, что Хогвартс наводнен привидениями и время от времени способен вызвать испуг, однако это упорядоченный и восхитительный мир, которого жаждет большинство детей и множество взрослых. Здесь есть простые правила, которым легко следовать, четкая иерархия старост и учителей, очки, которые можно набирать, и легко узнаваемые плохие мальчики", — справедливо замечает Вильям Андерхилл[1]. В то же время Джоан Ролинг потребовалось приложить определенные усилия, чтобы расцветить скучный школьный мир новыми красками. "Школа... может быть опасным местом; дети могут быть исключительно жестоки по отношению друг к другу", — убеждает свою аудиторию писательница в одном из интервью[2].

Конечно, дело не в том, что Ролинг сконструировала школу колдовства — чародейской системой образования интересовались и Урсула Ле Гуин, и менее известные в нашей стране Джилл Мерфи и Диана Джонс. Важно другое — автору "Поттера" удается выжать из этой идеи смыслы и ситуации, которые никому прежде не приходило в голову использовать. О них и поговорим.

В повествование вплетается определенный набор ежегодно повторяющихся событий. Отрабатывая формулу нового массового жанра, Ролинг начинает каждый том с упоминания о дне рождения Гарри Поттера, совпавшем с днем рождения самой писательницы, как и положено в "книге для себя". Эта знаменательная дата стала важным звеном пиар-компании: "поттероманы" должны воспринимать 31

1. http://ae.boston.com//news/daily/07/13/harry_potter.html

1. http://www.salonmag.com/mwt/feature/2000/07/05/boarding_school
2. http://www.salon.com/mwt/feature/1999/03/cov_31featureb.html

июля как начало очередного календарного цикла. Далее во всех четырех книгах следует получение письма из Хогвартса с обязательным списком необходимых для обучения предметов. Затем — непременно — волшебный шоппинг, закупка снаряжения и учебников. И наконец — поезд, переправляющий учеников в иную реальность. Не менее четкой и неизменной структурой наделяется финал. Подведение итогов совпадает с концом учебного года. Как правило, имеет место душеспасительная беседа с директором, который на протяжении двух семестров старался лишь издали наблюдать за ученическими проделками. Директор произносит многозначительную, туманную фразу, имитирующую басенную мораль, причем в таком разговоре тет-а-тет, как правило, вновь проигрываются космогонические события пролога — смерть родителей, победа над колдуном Вольдемортом: "...Любовь — такая сильная любовь, которую испытывала к тебе твоя мать, — оставляет свой след. Это не шрам, этот след вообще невидим... Если тебя так крепко любят, то, даже если тот, кто любит тебя, умер, ты навсегда останешься под его защитой" ("Гарри Поттер и философский камень"). "Вольдеморт... передал тебе часть своей силы, когда оставил шрам на твоем лице той самой ночью. Не сомневаюсь, что это не входило в его намерения" ("Гарри Поттер и секретная комната"). "Ты думаешь, те, кого мы любим, покидают нас? Твой отец жив в тебе, Гарри" ("Гарри Поттер и узник Азкабана"). Годовой цикл завершают: школьный праздник, обратный поезд, мрачный родственник на перроне и предвкушение безрадостных каникул. Здесь "подлинная жизнь" оставляет протагониста, он умирает, чтобы вновь воскреснуть на исходе лета, в день своего рождения.

Итак, жизнь Гарри Поттера, во-первых, подчинена устойчивому распорядку учебного года и, во-вторых, фактически не принадлежит самому Гарри Поттеру. Можно сказать, что главный герой бестселлера не имеет идентичности — в одну прекрасную ночь Гарри был собран из нескольких чужеродных деталей: любви его матери, силы его противника, личности его отца, дня рождения его автора, наконец. Момент "сборки" остался за скобками основных событий, в другом, мифологическом времени; в этот процесс невозможно вмешаться, то есть — "ничего нельзя изменить".

По большому счету ничего менять и не требуется. Пансион для юных колдунов, естественно, наделяется значением элитарности, избранности — высокий статус уже достигнут. Специалисты в области образования констатируют, что популярность закрытых школ в Великобритании возрастает одновременно с популярностью "Гарри Поттера"[1]. Жестокие разочарования первокурсников, конечно, остаются за скобками.

Цикличность, постоянство, предопределенность маскируются в книгах Ролинг прямо противоположными смыслами. Текст преподносится как "история успеха": читателя постоянно убеждают в том, что Гарри Поттер совершает Поступки и принимает Решения. Риторически-формальная природа подобных оценок явственно видна на примере все того же пролога: вроде бы в предыстории серии определяющую роль сыграл сам Гарри Поттер, победивший темного мага, однако победа эта, как мы помним, бессознательна, невидима, невербализуема, и все последующее повествование представляет собой

1. Об этом: http://www.salonmag.com/mwt/feature/2000/07/05/boarding_school.

смутное припоминание неизвестно чего. Самый значимый способ поддержать иллюзию изменений очевиден. Пока протагонист переходит с курса на курс, читатель может быть спокоен — время не стоит на месте. В одном из интервью Ролинг ловко зацепила нерв коллективного ужаса: "Нет ничего менее привлекательного, чем дети, которые не растут" ("Либерасьон", 25 ноября 1999). Идея обучения магии и волшебству обновляет унылое описание школьного процесса как такового: каждый год, проведенный в чародейской школе, должен приближать персонажей к великим свершениям.

Время неторопливо движется по спирали. Каждый хогвартсский курс вписан в иерархичную систему запретов и разрешений: второкурсникам впервые разрешается иметь собственные метлы, третьекурсникам — по определенным дням покидать школьную территорию. К четвертому тому едва заметно уменьшается количество диалогов, незначительно усложняется синтаксис, исчезают стишки и песенки. Ежегодные ритуалы становятся все схематичнее — Гарри Поттер не сам отправляется в магазин за учебниками, а перепоручает покупку матери лучшего друга. Намечается любовное увлечение; директор отходит на второй план; старший товарищ поступает на государственную службу в Министерство магии.

Между тем, вопреки настойчивой демонстрации атрибутов "взросления", Гарри-ученик ничему не учится, а Гарри-герой не становится более храбрым и ловким. И Гарри Поттер, и его друзья-однокурсники либо схватывают магические знания и навыки на лету, следуя все той же парадигме "припоминания" ("Гарри откуда-то знал, что ему надо делать"), либо так и не достигают особых успехов. И несмышленым первокурсником, и четыре года спустя Гарри Поттер одинаково легко оставляет с носом опытных взрослых магов.

Вообще сказочный сюжет в прямом смысле этого слова, то есть история борьбы со злом и победы добра, бесспорно, занимает в книгах Ролинг второстепенное место. Писательница долго раскачивается, застревает на "ненужных" подробностях, осторожно подбрасывает намеки, и лишь к финалу очередного тома Гарри Поттер со товарищи наскоро расправляется с той или иной назревшей проблемой. Однако в откликах восторженных читателей постоянно фигурирует "захватывающее действие", побудившее их перечесть тот или иной том энное количество раз. Книги о Гарри Поттере до отказа заполнены суетливыми, случайными действиями героев, обычно не имеющими далеко идущих последствий. Персонажи бестселлера постоянно куда-то бегут, прячутся от учителей, пересыпают зелья из одного сосуда в другой. Бессмысленные поступки завладевают читательским вниманием и не раздражают по одной-единственной причине: школьный хронометр внушает, что некуда торопиться. Часы запущены, время идет, социальное пространство структурировано — все в порядке, можно занять себя мелкими шалостями. История о Гарри Поттере не имеет продолжения за пределами седьмого тома — она изживет себя, как только несмышленый ученик станет "профессиональным" волшебником. Можно, конечно, начать делать карьеру в Министерстве магии — однако карьера предполагает некую дальнюю, затерянную в тумане будущего перспективу. Школьная реальность, напротив, четко очерчена и не только не требует, но и запрещает преждевременное преодоление границ. Бес-

покоиться незачем. Великие подвиги — еще впереди.

Сделаем некоторые выводы. Узнаваемые элементы фэнтези выполняют роль ценностных подпорок, на которых держится школьный мир. Вынуть эти подпорки, разумеется, ничего не стоит — поэтому для "поттероманов" столь важна задача "поверить в волшебную реальность", причем читатели Ролинг пытаются не столько эту реальность воспроизвести, сколько именно выделить ей определенное место в "посюсторонней" культуре, постоянно ощущать ее проявления "здесь и сейчас". В отличие от толкиенистов, устраивающих псевдотеатральные представления где-нибудь вдали от цивилизации, "поттероманы" явно предпочитают странную игру в вопросы и ответы, которая напоминает не то школьный тест, не то намерение "заговорить" не-волшебный мир: "Как зовут учителя астрономии?", "Какая девочка из Гриффиндора была заколдована Вольдемортом?"[1]. Подчеркнутая вымышленность, иллюзорность мира магов и чародеев подразумевала бы, что притягательность обучения в Хогвартсе — тоже фикция, причем бессмысленная (учиться, чтобы потом работать в банке, и учиться, чтобы стать волшебником, — не одно и то же). Допустить этого никак нельзя, поскольку школа в данном случае не просто сцена, декорация, место действия, как в большинстве детских книг. Идеализированный образ закрытой школы — это и есть метафора сказки, которую рассказывает Джоан Ролинг. Абсолютно комфортная замкнутая среда, в которой сюжет взросления, становления движется сам по себе, без каких бы то ни было "личностных", "внутренних" усилий и эти "внешние" изменения сочетаются с размеренностью и цикличностью. На такую сюжетную основу наслаиваются зачины принципиально иных, легко узнаваемых историй — об отважном герое, о брошенном сироте — эти сюжеты в книгах о "Гарри Поттере" постоянно анонсируются, но не реализуются в полной мере. Симбиоз здравого смысла и колдовства, обучения и приключения предоставляет прекрасную возможность ненавязчиво смешать, "перепутать" два принципиально разных переживания одиночества: слезы в пустой аудитории оттого, что не понимают родители, обижают учителя, недолюбливают одноклассники, — и чувство абсолютной ответственности за себя, достойное храброго воина на вороной метле. Второе подменяется первым. Если кэрролловская Алиса или льюисовский Дигори оказываются в "чужой", неизведанной стране, в которой не бывает надежных провожатых, а каждый следующий шаг чреват непредвиденными последствиями самостоятельно сделанного выбора, Гарри Поттер отправляется в дорогу с полными карманами денег, с огромным сундуком, набитым полезными вещами, и получает в распоряжение "свою", уютную и обжитую волшебную повседневность. Герой Ролинг, как предусмотрительный турист, изначально обеспечен всем необходимым, от него требуется лишь восполнить пробелы, освоить или, точнее, реконструировать — "вспомнить" — местную картину мира, полагаясь на авторитет мудрых учителей и доброту гостеприимных старожилов.

Этот волшебный мир кажется похожим как две капли воды на "реальный" не потому, что суперметла "Нимбус-2000" воспринимается как отраженный в кривом зеркале мотоцикл, а "травоведение" — как прямой аналог ботаники. Дело в другом: все элементы, из которых составлен мир магов и чародеев, об-

1. http://www.hpfactsandfun.com/hpquiz.html

ладают одной общей особенностью — соответствуют представлениям о стабильности. В этом смысле и элитарный пансион, и свечи, и камины, и фолианты, и волшебные палочки выполняют общую задачу — реконструируют образ "старой доброй Англии", зависшей где-то между эпохой Просвещения, XIX веком и Зазеркальем. Неудивительно, что обнаруживать следы "нашего", "современного" мира доставляет читателям "Гарри Поттера" особую радость: скажем, сюжет о непутевом волшебнике, попытавшемся вырастить дракона в домашних условиях, признается социальной сатирой на владельцев опасных животных. Подобные читательские находки свидетельствуют не о том, что "потусторонний" мир подражает "посюстороннему", а о том, что "наша", унылая и ненадежная, реальность тоже может оставить свой отпечаток на гладкой поверхности утопии — пустячок, а приятно.

Мир не-волшебников или, как их называет Ролинг, магглов в "Поттере", напротив, наделен значением непостоянства, непредсказуемости. Родственники Гарри Поттера во главе с ненавистным кузеном Дадли настойчиво характеризуются писательницей как "обыкновенные обыватели", однако на поверку оказываются людьми странными, необычными, с абсолютно алогичным поведением. Они то дарят протагонисту ношеные носки на день рождения, то вовсе забывают об этом празднике. То грозятся запретить обучение в Хогвартсе, то посылают новогоднее поздравление прямо в клоаку ненавистного волшебного мира. То бросают юного Поттера одного на перроне, то зачем-то приходят встречать его на вокзал.

Магглы, обретающиеся на улице Прайвет-драйв, играют в бестселлере вполне традиционную роль "значимых чужих" ("Гарри... сидел на полу... и радость переполняла его. Он ел торт, а Дадли — только грейпфрут, на улице стоял солнечный день, завтра он покидал Прайвет-драйв"); цивилизация магглов так и остается непознанной. Всю информацию о жизни и смерти, добре и зле Гарри Поттер получает в Хогвартсе, причем эта информация лежит перед ним как на ладони.

Тема смерти, которой писательница периодически пугает детей и интригует взрослых, на самом деле оборачивается мирным сосуществованием живых и мертвых. Умершие чародеи плавно переходят в состояние призраков.

Точно так же три колледжа, где обучаются добрые волшебники, в стенах Хогвартса соседствуют с четвертым, чьи выпускники, без сомнения, злы. Хотя бывшие соратники Вольдеморта давно перешли на "правильную" сторону, их темные личины видны за версту. Все только и ждут от этих нехороших людей очередной подлости, однако поделать ничего не могут — политкорректность. Иллюзия сложноорганизованного ценностного пространства возникает всего лишь за счет того, что "добро" и "зло" разделены длинным школьным коридором.

Таким образом, различия в поведении живых и мертвых, добрых и злых, детей и взрослых оказываются гораздо менее существенными, чем черта между волшебниками и магглами. Застывший мир Хогвартса пытается присвоить и расположить на одной плоскости все измерения, все грани реальности. "...Романы Ролинг оказались в роли альтернативной Библии... В них нет ничего иррационального, 'запредельного'", — замечает Глеб Шульпяков ("Ex libris НГ", 14 декабря 2000). Действительно, даже после смерти никому не удастся покинуть стены волшебной школы.

Характерно, что среди множества деталей специфически чародейской повседневности особого внимания автора удостаиваются почта и денежная система. Путешествие в волшебный мир начинается для Гарри Поттера со спуска в подземные глубины волшебного банка. Совы-почтальоны мелькают чуть ли не на каждой странице. Средства коммуникации, связи, обмена призваны усилить ощущение плотности и прочности мира волшебников. В этом мире не должно быть пауз, провалов, разрывов — все сосуществует со всем.

Кстати оказывается и чрезвычайно плотная, "несказочная" еда, слишком уж явно отсылающая к голодным временам Золушки-писательницы: вместо или, точнее, вместе с вареньем и печеньем — картошка, сосиски, стейки, сандвичи. В мире сказок, как известно, "тоже любят булочкы". Собственно говоря, в возможности наедаться на ночь и заключается, с точки зрения Гарри Поттера, едва ли не основное преимущество чародеев.

"Самые популярные книги в Америке сегодня говорят об ученичестве — и в школе, и в жизни", — восхищается В. Кольченко, упоминая в числе прочих книг "Гарри Поттера" ("Первое сентября", 16 ноября 1999). Неудивительно — с разложением американской системы образования метафора школы приобретает новый волшебный смысл, не испорченный какой бы то ни было целесообразностью. Однако жанр, изобретенный Ролинг на основе романа о школьной жизни, показался уместным не только в Америке. Избавленный и от романтического "культа детства", и от апелляций к "взрослому" чувству ответственности, "Гарри Поттер" представляет собой идеальное средство остановить время. Пока читателя убеждают в том, что Хогвартс врастает корнями в Прошлое и устремляется ветвями в Будущее, Гарри Поттер может вяло пережевывать жвачку событий. Времени не существует. Пятнадцатилетний Стивен Палмер сообщает об этом в лирическом отзыве, написанном по просьбе учительницы: "Возможно, я тоже, как Гарри, смогу однажды взлететь в ночное небо... а пока я читаю".

Послание директора библиотеки Конгресса США Джеймса Биллингтона поэтическому вечеру, посвященному 5-й годовщине со дня смерти Иосифа Бродского

Спасо-Хаус, Москва, 25 января 2001 г.

В январе в Спасо-Хаусе, резиденции посла США, прошел торжественный вечер, приуроченный к 5-й годовщине со дня смерти Иосифа Бродского. Открыл вечер посол, господин Джеймс Коллинз. После него выступили поэт Евгений Рейн; американская писательница Франсин дю Плесси-Грей, а также известный поэт, профессор университета штата Техас Эдвард Хёрш. Мы предлагаем вниманию читателей "ИЛ" обращение директора библиотеки Конгресса США Джеймса Биллингтона к участникам вечера.

Для Соединенных Штатов Америки и для Библиотеки Конгресса США было большой честью то, что Иосиф Бродский в течение двух сроков, с октября 1991-го по сентябрь 1993 года, был поэтом-лауреатом Америки. Как поэт-лауреат он был красноречив и ироничен, почтителен и дерзок, мягок и язвителен, страстен и увлечен. Предметом этой страсти была скорее поэзия, нежели политика. Как он заметил: "Единственное, что у них общего, — это буквы П и О". Хотя больше всего на свете он ценил свободу, он искренне верил, что поэзия — это "единственно возможная страховка против вульгарности человеческого сердца".

Поэзия была для него особой формой памяти. Изумительно звучно он читал по памяти свои собственные стихи, множество произведений русской поэзии, а также произведения Донна, Харди, Фроста и Одена. Он требовал, чтобы его студенты, изучающие литературу, учили стихи наизусть. Он страстно верил в колоссальные возможности поэзии, особенно той, что вышла из великой традиции немодернистской английской поэзии и творений выдающихся поэтов, писавших на других языках, таких, как Гораций и Милош. Когда он был поэтом-лауреатом, он вслед за Свифтом выдвинул "Скромное предложение", предлагая напечатать недорогие антологии великих американских поэтов. Они должны были продаваться в супермаркетах и аэропортах и лежать во всех гостиницах рядом с Библией. Библия, по словам Бродского, "смогла бы выдержать конкуренцию". Бродский верил, что отчаявшиеся и уставшие люди, прочтя эти стихи, могли бы неожиданно для себя открыть, что другие до них уже испытывали подобные чувства и использовали их для того, чтобы воспеть жизнь, а не уйти из нее. Его замысел был осуществлен через проект "Поэзия и грамотность" — тысячи таких сборников были распространены повсюду, где люди могли найти их случайно или по необходимости. Бродский очень серьезно относился к своим обязанностям поэта-лауреата, помогая молодым поэтам и всегда с готовностью поддерживая настоящие таланты.

Бродского очень любила Анна Ахматова, которая была последним петербургским поэтом начала двадцатого века. Для нее, равно как и для Надежды Мандельштам, вдовы еще одного великого поэта с трудной судьбой, он воплощал в себе надежду на будущее. Обе они представляли себе Бродского как луч света, который когда-нибудь поведет Россию вперед, поможет ей снова открыть для себя свое прошлое.

Для Бродского это прошлое заключалось в космополитическом гуманизме литературы Санкт-Петербурга, где он родился, и иудейско-христианском наследии, которое вновь открыли для себя многие художники в позднеимперский период. Пожалуй, самым прекрасным стихотворением Бродского является "Сретение", где он описывает сцену в храме, когда Мария показывает новорожденного Христа пророчице Анне, которую Бродский идентифицирует не столько с матерью Марии Анной, сколько с Анной Ахматовой. Ахматова во многом была духовной матерью Бродского, она направляла его и помогала найти свой путь в мире поэзии. Любовь к Анне Ахматовой и преклонение перед ней были настолько сильны, что в 1994 году он назвал свою дочь Анной в честь Ахматовой. Находясь под влиянием не только русской культуры, но также и английских метафизических поэтов от Донна до Одена, Бродский заканчивает стихотворение образом Симеона, держащего на руках новорожденного, "дабы осветить тропу, ведущую в царство смерти, где до сих пор ни одному человеку не удавалось осветить себе путь. Факел старика горел, и тропа становилась шире".

Одной из страстей Бродского была Италия и те замечательные образцы культуры, созданные человеком, которые особенно поражают в Венеции, Риме и Флоренции. Свет и каналы Венеции (восхваляемые в стихотворениях "Лагуна", написанном в 1972 году вскоре после его изгнания из России, и "Водяное пятно", написанном в 1992 году) напомнили ему о мерцающих каналах его Петербурга. Венеция и его родной город похожи на зеркальные образы друг друга, и не случайно Петербург часто называли северной Венецией. По желанию Бродского, которому было всего 55 лет, когда он умер, его похоронили в Венеции.

В поздно расцветшем — он исчислял его от Пушкина до Ахматовой — поэтическом языке России Бродский видел надежду посткоммунистического возрождения России. Я помню, как он сказал на одной из наших конференций в 1991 году: "Что касается такого быстрого загнивания империи, я думаю, она сгнила так быстро потому, что ее основание было менее прочным, чем у других известных нам империй. Империи прошлого держались не на легионах, а на языке". Мы, знавшие этого обладателя Нобелевской премии по литературе и поэта-лауреата Америки, не забудем его восхищения хорошим рассказом, его преданности ремеслу и делу поэзии. Как он сказал в своей первой лекции в качестве поэта-лауреата в октябре 1991 года:

"Не читая и не слушая поэтов, общество приговаривает себя к низшим видам артикуляции, таким, как у политика, торговца или шарлатана... Другими словами, оно лишается своего собственного эволюционного потенциала. Ибо то, что отличает нас от остального животного мира, это именно дар речи... Поэзия — не форма развлечения и, в определенном смысле, даже не вид искусства, а наша антропологическая, генетическая цель, наш эволюционный, лингвистический маяк".

Сергей Дубин

Действительно ли scripta manent[1] ?

"Элементарные частицы" Мишеля Уэльбека два с половиной года спустя

При упоминании о литературных скандалах – не чахлых келейных ссорах враждующих группировок от пера, а заметных общественных потрясениях, дебатах, не оставляющих в стороне практически никого из читающей публики, – память услужливо предлагает лишь довольно давние примеры. Битва на премьере "Эрнани", запрещение "Госпожи Бовари", негодование после выхода "Цветов зла", в ушедшем столетии – "Улисс", Генри Миллер, "Лолита". Все заканчивается, по сути, "новым романом". Позже литература словно бы перестала восприниматься всерьез: для многих автор, по расхожей формуле, мертв, все возможные сюжеты давно расписаны и классифицированы, так стоит ли ломать копья из-за воздушных замков, заведомого вымысла? Но с появлением в августе 1998 года романа Мишеля Уэльбека "Элементарные частицы" население Франции едва ли не поголовно решило, что стоит.

По свидетельству самих французов, ни один роман за последние три-четыре десятилетия не вызывал такой бурной реакции в обществе – причем в самых разных его слоях; из современников к Уэльбеку в этом робко приблизилась разве что Мари Дарьессек со своими "Хрюизмами", однако здесь баталии в основном кипели в узком кружке просвещенной публики, да и того накала явно не достигали. "Элементарные частицы" внесли непривычное смятение в Гонкуровский комитет – на главном книжном состязании страны Уэльбека в итоге "прокатили", что лишь подлило масла в огонь; на литературных страницах газет замелькали обыкновенно проходящие по ведомству политики обвинения в расизме, гомофобии и даже фашизме (от которых Уэльбек не сильно отбивался, открыто признаваясь в "прохладном отношении к демократии"); за созданием любительского сайта Общества друзей Уэльбека последовало открытие аналогичного форума его врагов; споры об ответственности писателя за предложенные им в книге идеи в кои-то веки вышли за пределы прессы "для своих" и литературных гостиных на улицы и в метро. Лицо Уэльбека – мягко говоря, не самое фотогеничное – буквально не сходило с экранов телевизоров и обложек журналов; этот до сих пор мало кому известный поэт, автор романа "Расшире-

© С. Дубин, 2001

1. Verba volant, scripta manent. – Слова улетают, написанное остается (*лат.*).

ние пространства борьбы" (прообраза "Элементарных частиц") и эссе о Говарде Лавкрафте (таком же, как и сам Уэльбек, мизантропе и уж совсем откровенном реакционере) в одно мгновение стал сразу и парией, и любимчиком всякого французского homo legens.

Что же происходит сейчас, два с половиной года спустя? Ничего. Или почти ничего. Признаваясь в недавнем интервью "Фигаро", что "Частицы" — та вершина, которую ему не то что не превзойти, но даже и не достигнуть снова, Уэльбек сейчас то ли старается выиграть время, пожиная плоды мгновенной славы, то ли растерянно пытается понять, что же делать дальше. Он снял короткометражку "Река" ("La Rivière"), дал несколько концертов как рок-певец (!) и выпустил музыкальный диск "Присутствие человека" ("Présence humaine"), встреченный недоуменным пожиманием плеч, а этой осенью опубликовал альбом своих фотографий с канарского острова Лансароте, правда сопровождаемых авторским текстом. По слухам, он выступает режиссером эротической картины для кабельного Canal+, где единственной утвержденной актрисой пока является его жена, а издательский дом "Фламмарион", опасаясь судебных преследований, пытается отговорить его затрагивать в готовящемся к публикации рассказе реально существующий культ поклонников инопланетян на тех же Канарских островах (похожие иски "натуристских" лагерей, описанных в "Элементарных частицах", сильно осложнили судьбу книги). Наконец, по словам корреспондента "Нью-Йорк таймс", навестившего Уэльбека в его добровольном заточении в ирландской глуши (куда под конец жизни перебирается и герой "Частиц"), бóльшую часть времени писатель проводит, истребляя сигареты — пачка за пачкой — и регулярно напиваясь к вечеру, а по выходным отправляется в swingers club, место интимных встреч "для тех, кому за...", едко высмеянное в его романе.

Но все это, возможно, не так интересно; любопытнее узнать, какова литературная судьба Уэльбека и его знаменитого детища. С одной стороны, форумы друзей и врагов по-прежнему существуют, хотя былого пыла там давно нет; несколько вдумчивых рецензий можно найти в англоязычной прессе, однако к этому скорее обязывают появившиеся недавно переводы "Частиц" и "Расширения пространства борьбы" (снятый по этому роману фильм Филиппа Ареля прокатывался минувшей осенью в Лондоне под названием "Whatever" — что-то вроде "А, все равно"). Однако если заглянуть в книжные разделы "серьезных" французских "Либерасьон" и "Монд", посвященные не светской жизни, а литературному процессу, там найдется лишь несколько разрозненных упоминаний, где имя Уэльбека либо используется для сравнения ("...пишет, как Уэльбек"), либо речь идет все о тех же дисках и фотографиях. Что же, звезда закатилась? Или такова она, мимолетная литературная слава? Наверное, все чуть сложнее.

Книги, созданные исключительно для продвижения тех или иных идей, — а в случае с "Элементарными частицами" мы имеем дело именно с такой "ангажированной" литературой, — как правило, недолговечны. Любопытно, кстати, что сам Уэльбек жаловался в одном из интервью: французские писатели-де "не привыкли вкладывать идеи в романы". Уж чего-чего, а именно этого во Франции хватает, вспомним хотя бы о философ-

ской прозе эпохи Просвещения или знаменитую сентенцию Сартра: "хочешь философствовать — пиши романы". Другой вопрос, что французские романы не всегда откликаются именно на злободневные идеологические проблемы — алжирская война, становление мультирасового общества в самой Франции и пр., но это уже тема для иной беседы.

Что же касается идей, подспорьем для которых могла бы стать книга Уэльбека, то при всей революционности они довольно просты, не особенно новы и уж точно не требуют длительного усвоения. Обозлившийся писатель-левак, раскритиковав современное общество потребления, предлагает проект идеального утопического общества, но с явно тоталитарными антидемократическими тенденциями (неудивительно, что герои книги в минуту откровения с таким упоением вспоминают "Прекрасный новый мир" Хаксли; неудивительны и обвинения автора в фашизме — сочетание антикапитализма и антилиберализма характерно для всякой фашистской идеологии, уж во Франции-то точно).

По Уэльбеку, всеобщее равенство и открытые возможности демократии на деле оборачиваются неравенством, сводя жизнь во всех ее проявлениях (в частности, секс и карьеру) к простейшему экономическому соревнованию. За ярлыком же "элементарных частиц" кроются отъединенные друг от друга средние индивиды, ничем не отличающиеся друг от друга атомы, образующие основу буржуазного общества. Торжество рекламы и маркетинга в эпоху потребления убило связанное с обладанием наслаждение, оставив лишь неутолимое желание новых товаров, и в отсутствие религии единственный выход из этого тупика — уничтожить желание как таковое, генетически модифицировав человека, лишив его эмоций.

Не вознося Уэльбека до статуса нового властителя умов, все же следует признать, что эти его идеи легко находят своих потребителей. Молодым не могла не понравиться мысль о том, что снедающая их пустота и разобщенность — дело рук поколения родителей, в угаре сексуальной революции и баррикад Мая 68-го доведших эгоистичный индивидуализм до опасного предела (и наоборот, во многом именно этот тезис и вызвал негодование у интеллектуалов, к поколению родителей принадлежащих и не допускающих критики тогдашних своих идей). Тем, кто не вписался в карьерную иерархию или же чахнет в стандартных офисных "кьюбиклах", пришлась по душе критика бездушного и обездушивающего капитала. Мало кто станет отрицать редкую наблюдательность Уэльбека, его умение ухватить узнаваемые детали современности, а также едкий, шершавый юмор. Ну, а сладковатый душок якобы гибнущей цивилизации был ходовым ароматом во все времена.

В идеологическом смысле "Элементарные частицы" — книга очень французская, с актуальными во многом именно для Франции проблемами политической стагнации (из-за "сосуществования" правого правительства и левого парламента) и идеологического однообразия, доставшегося в наследство от "примирителя" Миттерана. После крушения "республиканских" мифов в нынешней Франции вообще широко распространено мрачное ви́дение будущего как атомарного, распадающегося на частицы мира разъединенных индивидов, вращаю-

щихся в полом пространстве без привязок к истории, нации, семье или друзьям. Правят этим бездушным миром, не знающим любви, безжалостные силы рынка и неконтролируемое развитие техники. "Элементарные частицы" — первое заметное воплощение новейшего эсхатологического мифа во французской литературе.

Однако, с удовольствием примеряя маску пророка, Уэльбек переусердствовал по части максим; один из читателей как-то упрекнул его в пренебрежении уроком "Стихотворений" Лотреамона-Дюкасса, где сентенции просвещенческих философов с черной иронией выворачиваются наизнанку. Уэльбек убийственно серьезен, однако принять всерьез его идеи — идеи тупиковые и разрешения не предлагающие (см. об этом его интервью "Ex libris НГ", 5 августа 1999 г.) — крайне сложно. Он ударил в набат, но, на мгновение подняв голову и увидев хмурую физиономию очередного "моралиста", прохожие поспешили дальше по своим делам (другой вопрос, упрекать ли за то прохожих или звонаря). О проблемах нравственности и личного выбора сегодня не пишет разве что ленивый, и читателю такие рассуждения уже явно набили оскомину. Принимать или не принимать мир, исключать или нет себя из нивелирующей системы — это каждый решит по-своему. Единого решения не может быть — реальный бунт в современном мире невозможен, да и губительная для любого совместного действия личная свобода (воспользуемся теми же камнями, которые бросает в огород демократии Уэльбек) сводит на нет возможность какого бы то ни было компромисса. Разобщенность общества в итоге может лишь возрасти. Более того, любой протест против системы неизбежно превращается в самостоятельную систему, которая вскоре уже стремится заменить существующую, "устаревшую" систему и самой стать доминирующей.

Искусственно привнесенное идейное наполнение — удел сиюминутных фельетонов. Думается, что сколь-либо долговечны в художественной литературе — *текст*, письмо, пусть на идеях так или иначе основывающееся, но неизменно их переживающее. Руссо, к примеру, ценится сейчас не как апологет возвращения к природе, а прежде всего как отменный стилист. Мало кто из неспециалистов внятно сформулирует отношение Джойса к проблеме ирландского национализма, а вот что "Улисс" — памятник, каких немного было и вряд ли будут еще, скажет едва не каждый. Даже "Человеческая комедия" пусть и запоминается как гигантская фреска эпохи, но немалым подспорьем тому — литературный талант Бальзака. Что-либо по-настоящему интересное, живучее (чтобы scripta действительно manent) в нынешнем быстро меняющемся мире и столь же стремительной литературе, наверное, может существовать именно на уровне письма, этого неповторимого мира, своеобычно организованного и преломленного словом. И как раз в этом смысле "Элементарные частицы" могут представлять определенный интерес — как попытка изобрести новый тип письма.

Постепенное обезличение жизни (с одинаковой мебелью от IKEA, одними и теми же замороженными блюдами и телепрограммами, неотличимыми одна от другой), подавление человеком последних эмоций, иначе говоря — стирание романтической стороны действительности, — представляет собой проблему и для беллетристики. "Мы, мягко

говоря, далеки от "Грозового перевала", – заметил Уэльбек в одном из интервью, – романная форма не придумана для описания безразличия или душевной пустоты. Нам необходимо изобрести более плоский, нейтральный дискурс". Сотворение такого дискурса в "Элементарных частицах" идет по двум направлениям. С одной стороны, Уэльбек полностью снимает все эмоциональные обертоны; это бесстрастное письмо идеально подходит для создания портрета нашего расчетливого мира (кстати, и в жизни Уэльбек говорит точно так же: монотонно, глядя сквозь собеседника бездвижными глазами). Более того, в конце романа такое "плоское" письмо оправдывается еще и элегантным сюжетным поворотом: мы узнаем, что "написал" книгу один из тех клонов, лишенных желаний и переживаний сверхчеловеков, над созданием которых работал главный герой романа; "Элементарные частицы" вообще предстают реквиемом "миру, каким мы его знаем". Параллельно с этим Уэльбек напитывает свой текст элементами психологии, истории, социологии и даже квантовой физики, причем не только на содержательном ("про что?"), но и на дискурсивном уровне: тщательно выстраивая и обосновывая свое повествование, словно в соответствии с законами точных наук.

Удалось ли Уэльбеку создать новый тип письма? Наверное, для ответа на этот вопрос прошло слишком мало времени. По словам самого писателя в недавнем интервью, он пока не видит себя главой новой школы, однако кого-то с ним уже начинают ассоциировать; часто упоминается, например, роман Фредерика Бегбедера "99 франков". В духе его произведений даже создаются комиксы: "Клэр – откровенная дурнушка, – читаем мы подписи к рисункам, – Бог (если он существует) или, точнее, то, что мы называем силами природы, не наделили ее даже намеком на природную грацию..." и т. д. В этом, конечно, есть своя доля пародии, но именно пародия, собственно, и показывает, что стиль созрел, закрепился, стал узнаваемым. Однако в большинстве случаев, как уже говорилось, имя Уэльбека служит пока лишь удобным ярлыком – таким же, как Тарантино, Пелевин и пр. А вот что стоит за этим ярлыком – умение компилятора, ловко играющего на модных темах и сюжетах, или же дар провидца, – покажет, наверное, время.

Житие Агасфера

Лийса Бюклинг. *Михаил Чехов в западном театре и кино.* СПб., Академический проект, 2000

Исследовательница театра из Финляндии Лийса Бюклинг давно и хорошо известна всем, кто так или иначе интересовался творчеством Михаила Александровича Чехова — выдающегося русского артиста, режиссера, педагога. Сосредоточив внимание на том периоде жизни Чехова, что прошел далеко от России, Лийса Бюклинг изучила ранее неизвестные (или не упоминавшиеся в силу недоступности немногочисленным советским исследователям) архивы канцелярии Президента Республики (Прага), Музея театра им. Смильгиса (Рига), Музея театра и музыки и Национальной библиотеки Литвы (Вильнюс), близкой знакомой, переводчицы статей и книг, помощницы Чехова Жоржет Бонер (Цюрих), Дартингтон-холла, где в имении Дороти Элмхерст на протяжении нескольких лет плодотворно работала Чеховская студия (Великобритания), Бахметевский архив (Нью-Йорк), архив Театральной коллекции Библиотеки Линкольн-центра в Нью-Йорке и целый ряд других. Конечная цель этой работы сформулирована так: "До сих пор творчество Чехова было представлено в виде двух отдельных этапов — московского и зарубежного. Одной из моих задач является попытка соединить эти периоды в единое целое и, по возможности, показать "сквозную идею" (по словам Станиславского) творчества Чехова, логику его внутреннего действия и мышления, чтобы можно было лучше понять его работу в театрах и студиях на Западе, а также его педагогическую и литературную деятельность".

Но достигнуто и нечто большее: со страниц книги Бюклинг предстал живой, раздираемый противоречиями человек, чья судьба оказалась подчинена бурной эпохе, выпавшей на его долю.

Это судьба Агасфера, Вечного Жида, в той трактовке, которую придала вечному образу эпоха романтизма, прочитавшая библейскую историю как притчу о человечестве, пережившем свои надежды, но чудесно начинающем свой путь заново. Агасфер в сознании романтиков — про́клятый, но и самим этим проклятием накрепко соотнесенный с Христом. Осужденный на вторую встречу и способный через покаяние обратиться добрым знамением для мира.

В таком Агасфере Михаил Чехов чувствовал что-то глубоко родственное себе. Он был страстно увлечен вечным образом еще в послереволюционные московские годы. Вот характерное его признание: "Нет такой муки душевной, нет такой боли, нет катастрофы, которые не стали б уделом Вечного Странника. Кихот — полуангел, Лир — полубог, но Агасфер — человек: вы, я, он, все мы..." А почти четверть века спустя в его письме читаем: "Другая моя идея — в этот раз для себя как актера (если я могу еще играть) — Вечный Жид. У меня есть много книг на эту тему... Испытав все муки и боли, Вечный Жид в конце концов придет к Христу; в этом и есть весь смысл истории".

В книге Лийсы Бюклинг сделана попытка объяснить внутреннюю мотивацию, предопределившую этот интерес, для чего потребовалось подробно проследить жизнь Михаила Чехова на протяжении фактически всей его

творческой жизни. Разделенная на главы по странам, с которыми связан путь Чехова (Россия, Германия, Франция, Литва и Латвия, Англия, Америка), книга затрагивает и эпизоды биографии своего героя, не отмеченные крупными художественными событиями, но существенные для понимания различных поворотов его актерской и личностной судьбы. Бюклинг пишет о несбывшихся надеждах на работу в Праге, о драматических событиях в странах Прибалтики в 1933–1934 годах, которые вынудили Чехова покончить со своей благополучно складывавшейся режиссерской и педагогической карьерой, о неосуществленных планах контактов с еврейским театром "Габима", начинавшим в Москве, а потом работавшим в Палестине. И, конечно же, о Голливуде – этой фабрике грез, уготовившей Чехову тяжелые испытания и немногочисленные радости, Бюклинг посвящает отдельную главу.

Перед читателем проходит жизнь и творчество человека, о котором вряд ли можно сказать точнее, чем сказала не о нем, но и о нем Марина Цветаева в послесловии к статье "Поэт и время": "Эмигрант из Бессмертья в время, невозвращенец в *свое небо*". Уже в ранней юности покоряя и потрясая силой своего магического таланта (Известный отзыв Станиславского: "Племянник Антона Павловича Чехова, Миша – гений"), Михаил Чехов был одним из создателей знаменитого МХАТ-II. Пережив тяжелейший духовный кризис, он вышел из него не только с помощью антропософских теорий доктора Штейнера, усвоенных от Андрея Белого, но также не без влияния педагогики. Чехов считал, что должен воспитать актеров, каких прежде не было, – и это единственный путь к обновленному театру.

В мемуарах М. О. Кнебель, С. Г. Бирман, С. В. Гиацинтовой и многих других содержатся ценнейшие свидетельства о формировании "метода Михаила Чехова", который представлял собой специфический и сложный синтез антропософии (эвритмии как составной ее части), общекультурного контекста и собственно техники актера, вырастающей из этих сложносплетенных корней. Лийса Бюклинг твердо отстаивает мысль о сущностном единстве системы Станиславского и метода Чехова (сам Михаил Александрович говорил так: "В моем методе 60 % от Станиславского, 20 % – от Мейерхольда, Вахтангова, Рейнхардта и от деятелей культуры разных стран и 20 % – моего собственного"). На протяжении десятилетий в нашем театроведении крупнейшие имена режиссеров в основном рассматривались в противопоставлении, под знаком нарочитой конфликтности – Лийса Бюклинг не первой указывает на то, что идеи Вахтангова, Мейерхольда, Чехова, Таирова взросли из системы Станиславского. Все это – ставшие самостоятельными побеги, которые идут от одного мощного ствола. Для Бюклинг и в творчестве таких крупных западных режиссеров, как Антонен Арто, Ежи Гротовский, Эужен Барба, Питер Брук, отчетливо просвечивают театральные воззрения Михаила Чехова. Она справедливо считает, что "Чехов, не зная об этом... участвовал в европейском театральном процессе. Русская театральная практика предвосхитила европейскую мысль".

В книге "Михаил Чехов в западном театре и кино" содержится много абсолютно нового для нас материала: дневники артистов "Габимы", с которыми Чехов работал в Берлине над шекспировской "Двенадцатой ночью", записи о лекциях Чехова, прочитанных в Риге, письма к Жоржет Бонер из Риги, Каунаса, Дартингтон-холла. Это увлекательное чтение, и не просто из-за новизны приводимых фактов. У Бюклинг эти свидетельства, документы, письма, тщательно продуманный

комментарий к ним восстанавливают целостность — и личности гениального артиста, и духовной жизни его эпохи.

Эта личность принадлежит прежде всего русской культуре — во всяком случае, так о себе думал сам Чехов. Вот его письмо к Жоржет Бонер, датированное 22 ноября 1935 г., ответ на вопрос корреспондентки, стоит ли ей ехать в Россию: "Да... 1000 раз... Да... Если хочешь увидеть и пережить нечто необычайно интересное, возможно даже ошеломляющее — ты *должна* поехать в Россию... Когда я думаю о твоей поездке в Россию, у меня внутри все вспыхивает...". Прекрасно осознающий, что дорога домой закрыта для него навсегда после того, как в 1928 г. он стал "невозвращенцем", Чехов писал А. Бессмертных (это письмо прежде печаталось с купюрами): "Российская провинция в тысячу раз выше театральных Парижей, Нью-Йорков и т. п... скажу тебе откровенно, что если бы мне нужно было поехать в СССР, то я, вероятно, предпочел бы провинцию".

И все это говорится после Берлина, где Чехов работал с Максом Рейнхардтом, после Парижа и Лондона, где он видел на подмостках Шарля Дюллена, Лоуренса Оливье, Джона Гилгуда. Говорится в тот момент, когда, казалось бы, осуществилась мечта — в Дартингтон-холле удалось создать первую экспериментальную студию, очень много значившую для театра будущего. На Западе Чехов ощущал себя посланцем русской культуры. Другое дело, что его творческие открытия — а как могло быть иначе в 30-е, 40-е годы? — оказались востребованы не в России.

Очень содержательная глава посвящена Голливуду. Михаил Чехов проработал на голливудских студиях двенадцать лет, снялся в десяти художественных фильмах и в одной так называемой "воспитательной ленте" для американской армии. Здесь он и вел занятия, которые оказали серьезное влияние на признанных звезд мирового кинематографа: Мэрилин Монро, Грегори Пека, Энтони Куинна, Малы Пауэрс, Ингрид Бергман, Гари Купера, Джоун Колфилд, Херда Хэтфилда... В книге Лийсы Бюклинг возникает увлекательная тема "русского Голливуда" — в 30-е годы там оказались мхатовские артисты Мария Успенская, Лев Булгаков, Аким Тамиров, Ричард Болеславский, еще раньше — Алла Назимова. Эти люди не только снимались в кино и снимали фильмы, но и преподавали, ощущая себя миссионерами системы Станиславского.

Мысли о сущности нового театрального искусства, педагогические выводы Чехова сегодня получают все большее распространение в мире. С 1992 года регулярно организуются Международные мастерские Михаила Чехова в тех местах, с которыми он был связан: они проходили в России и Англии, США и Франции, Германии, Латвии, Литве. В течение многих десятилетий метод его используется на занятиях по актерскому мастерству. В последнее время главная цель Чехова — "быть услышанным русским актером" — оказалась достигнутой. И произошло это, вероятно, не только стараниями энтузиастов из разных стран мира, но и благодаря самому времени. Одна из учениц русского артиста в Америке, Джоанна Мерлин, писала: "Занятия Чехова основаны на целостной философии и на синтетических, а не аналитических методах. За последние годы восточные философские учения стали популярными на Западе, и современные студенты применяют их к актерскому искусству. Благодаря знакомству с йогой и медитацией студенты научились прислушиваться к своим интуитивным реакциям, а именно в них и заключается суть чеховской техники". Это касается не только западных актеров, но и российских.

"Почему я странствую по Европе? Я хочу вручить актерам ключик от театральной магии", — говорил Чехов своей литовской ученице Казимиере Кимантайте.

Теперь этот ключик в их руках.

А странствия Агасфера продолжаются, ибо, как писал Михаил Чехов, "две тысячи лет нашей эры — только начальная стадия, только первый день христианства. Образ Странника нужен каждой душе, Агасфер-человек — вы, я, он, все мы..."

Наталья Старосельская

Между небом и землей

Антония С. Байет. *Ангелы и насекомые.* Перевод с английского Михаила Наумова. М., Издательство Независимая Газета, 2000

Антонию С. Байет часто называют постмодернистским викторианцем. Действительно, блестящая и талантливая эпоха королевы Виктории завораживает англичанку Байет. За последние двадцать лет, начиная с "Имени Розы", полки книжных магазинов захлестнула волна исторических романов. К этому жанру часто обращается и Байет, из всех эпох выбирая именно викторианскую.

Роман "Ангелы и насекомые" ("Angels and Insects"), вышедший в Великобритании в 1992 году, спустя два года после романа "Одержимость" ("Possession"), получившего Букеровскую премию, вызвал у критиков не меньший восторг. Яркая и изящная проза Байет покоряет с первых строк. Нельзя сказать, что романы Байет пародируют стиль XIX века, — постмодернистская ирония неуловимо сочетается в них с трогательной старомодной серьезностью. Автор, изучавшая и преподававшая английскую литературу, пропускает Остен, Дж. Элиот, Теннисона через свое художественное воображение, и в ее оригинальном и в то же время традиционном письме читателю чудятся их голоса. Интересно, что, когда Байет работала над романом "Одержимость", ей пришлось впервые в жизни стать еще и поэтом — создать за своих вымышленных героев не только любовные письма, но и их поэмы — в стиле конца XIX века. По словам писательницы, ее голова с детства была полна строками из Теннисона, Браунинга, Китса, Россетти. Она читала и перечитывала их, пока не почувствовала себя "одержимой их голосами", и из-под ее пера стали выходить "поэмы XIX века".

Повествование в романе ведется от третьего лица, что сейчас не модно. (Современный автор зачастую эгоцентричен и предпочитает обнажать свое "я".) Однако Байет-рассказчик не всезнающий автор, ведущий своих героев одному ему известными путями, а просто повествователь, который знает то, что знает, близок и героям и читателю и в то же время иронически отстраненно взирает на тех и на других. "Жил ли он долго и счастливо? Свадебным пиром закончилась сказка; пусть и с немалым трудом, но все же автору удалось преподнести читателю урок морали, и вот он перевернул последнюю страницу романа..." — авторский голос звучит отчетливо, но не навязчиво.

Первый роман дилогии — "Морфо Евгения" — был задуман Байет как сценарий к фильму, который был снят в 1995 году. Этот роман больше насыщен действием, интригой, страстями, чем второй — "Ангел супружества", где велика роль размышлений и воспоминаний. Вообще же романы очень тесно связаны между собой — викторианской атмосфе-

рой, поэзией Теннисона — и имеют похожие счастливые финалы: любящие сердца соединяются, по счастью, еще в этой жизни.

"Морфо Евгения" — роман о людях и насекомых. Морфо Евгения — это имя красивой амазонской бабочки, Евгенией зовут прекрасную английскую девушку, а Морфо — одно из имен Афродиты. Роман родился, по признанию автора, из метафоры. Байет интересовала жизнь викторианского особняка, который своими коридорами и снующей по ним незаметной одетой в черное прислугой напоминает муравейник. Это сравнение со временем начинает преследовать Вильяма Адамсона — молодого энтомолога, попавшего в такой особняк и полюбившего Евгению Алабастер. Его прекрасная "бабочка", освободившись от кокона свадебного платья, оказывается муравьиной царицей, такой же белой, рыхлой и плодовитой, как и ее мать. После женитьбы на Евгении Вильяма ожидает участь главы дома, Гаральда Алабастера, который отдалился от жизни и погряз в своем бесплодном труде — написании трактата в доказательство существования Божьего промысла.

Вильям, бедный ученый, живет на средства своего тестя и с ужасом замечает, что превращается в трутня, пригодного только для поддержания рода Алабастеров. Но к его удивлению, рождающиеся один за другим дети совсем не походят на него. Однажды, извещенный неведомым доброжелателем, Вильям застает жену в постели с ее родным братом. Insect (насекомое) и Incest (инцест) — игра слов, которую Байет, по ее признанию, хотела развернуть в романе.

Вильяма спасает гувернантка — один из рабочих муравьев дома, целеустремленная и сильная Матильда, этакая феминистка конца XIX века. Наблюдения за насекомыми и работа над книгой сближают их. В конце романа Вильяма и Матильду уносит в Южную Америку корабль, ведомый неким капитаном Папагаем.

Перевернув страницу, читатель оказывается в мире второго романа, начинающегося с имени Лилиас Папагай — жены того самого капитана. Однако Байет объединила два романа не только с помощью этого простого приема. Романы дилогии перекрещиваются и отражаются друг в друге. "Морфо Евгения" вращается вокруг теории Дарвина, резко изменившей мир, пошатнувшей веру. Поэтому так отчаянно пытается старший Алабастер отстоять, доказать существование Божьего промысла: ведь какая-то сила управляет нами? Людям той поры было не так-то просто смириться с тем, что судьбу человека, величайшего творения Божьего, вершит слепой случай — естественный отбор.

"Ангел супружества" — о тех людях, которые не смирились и стучались в дверь потустороннего мира, пытаясь получить от духов ответы на свои вопросы. Этот роман строится вокруг учения Сведенборга, мистика, основавшего церковь "Новый Иерусалим". Если в "Морфо Евгении" герои классифицируют и описывают насекомых, то во втором романе это же проделывают с ангелами. Мир людей оказывается словно отраженным и в мире насекомых и в мире ангелов, в которых люди ищут свое подобие.

Герои Байет страдают от потери любви — божественной и человеческой, спасаются от тревог и сомнений пошатнувшейся веры — кто в науке, кто в спиритизме и учении Сведенборга.

В "Ангелах и насекомых" Байет применяет излюбленный постмодернистский прием вкрапления текста в текст (как и в других своих романах, например в "Одержимости"). Причем в повествование вплетаются как цитаты и отрывки из реально существующих произведений (стихи Теннисона, Китса, Мильтона и др.), помогающие воссоздать дух эпохи,

так и произведения вымышленных героев, стилизующие этот дух (трактат Алабастера, сказка Матильды, наблюдения Вильяма и т. д.).

В отличие от первого романа, "Ангел супружества" основан на подлинных взаимоотношениях — любовной истории сестры Альфреда Теннисона и Артура Галлама и горячей дружбы Теннисона и Галлама. Эта история, захватившая воображение Байет, послужила толчком к написанию романа.

Лилиас Папагай, муж которой несколько лет считается пропавшим без вести, зарабатывает на жизнь спиритическими сеансами. Медиум Софи Шики видит духов и может общаться с ними. Эмили Джесси, урожденная Теннисон, ждет послания от умершего много лет назад возлюбленного Артура. Мистер Хок, дьякон Новоиерусалимской церкви, излагает постулаты Сведенборга и его классификацию ангелов. Эти персонажи рассаживаются вокруг стола и вслушиваются в послания духов.

Описания спиритических сеансов, воспоминания и размышления героев связываются изложением отвлеченных теорий Сведенборга и живыми, яркими строками поэмы Теннисона "In Memoriam", посвященной умершему в ранней молодости другу.

"Главное — жизнь... надо лишь уметь видеть". Эта незамысловатая истина, высказанная в конце "Морфо Евгении", находит свое подтверждение, как ни парадоксально, и среди мыслей о смерти в "Ангеле супружества". Эмили, всю жизнь пытавшаяся сохранить любовь к мертвецу, наконец получает послание с того света: за могильной чертой она сможет соединиться с дорогим Артуром и стать с ним одним ангелом. Но теперь она осознает, что не хочет этого, что ее половинка — земная и небесная — ее муж, все эти годы шедший с ней рука об руку. Великая тайна любви, словно ангел, пролетает над героями Байет и читателем, и мрачноватая атмосфера спиритизма рассеивается. Пьют чай из чашек с розами, едят пирожные с кремом — каждая деталь тщательно выписана, повествование замедляется, успокаивается, как умиротворяются души героев, взволнованные зловещими посланиями духов. И еще один счастливый финал, который заслужила и Лилиас Папагай, дождавшаяся мужа, и читатель, побывавший по ту сторону бытия. Капитан Папагай возвращается домой, к жене. "Вот она, жизнь после смерти".

На вопрос, о чем же все-таки романы Байет, можно лишь ответить — о жизни, смерти и любви. И о творчестве, которое упорядочивает ускользающую действительность и придает ей форму. И это будет самый точный ответ.

Ю. Виноградова

"Серый кардинал" — за кулисами современности

Олдос Хаксли. *Серое Преосвященство. Этюд о религии и политике.* Перевод с английского В. Голышева и Г. Дашевского. М., Московская школа политических исследований, 2000

Хаксли-эссеист практически неизвестен русским читателям. Тем не менее публицистические произведения составляют большую часть его литературного наследия, и именно очерк и эссе всегда оставались излюбленными жанрами этого писателя-интеллектуала, образованнейшего человека первой половины XX века, мастера сатиры и гротеска, визионера и мистика. И даже его романы — это прежде всего интеллектуаль-

ные романы-дискуссии, романы идей, лишенные традиционной фабульности и напоминающие философско-эстетические эссе и трактаты.

"Серое Преосвященство" – книга размышлений о личности и судьбе сподвижника Ришелье знаменитого отца Жозефа, прозванного современниками Серым Преосвященством, – по словам писателя, самой "удивительной психологической загадке" XVII века. Это любопытное повествование, жанр которого определить довольно сложно, поскольку Хаксли выступает здесь во всех возможных ипостасях – романиста, историософа, теолога, автора "of non-fictional literature". Книга задумана и написана в 1942 году, уже после переезда писателя в Америку, – в период, когда Хаксли-сатирик начинает приближаться к мистицизму, проповедничеству, увлечению индийской философией. Примечательно и то, что данное исследование принадлежит мыслителю первой половины XX века – человеку эпохи тоталитарных режимов. Это обстоятельство объясняет выбор Хаксли именно фигуры отца Жозефа, а также стремление писателя к глобальным историко-религиозным обобщениям (поскольку в XVII столетии и во многом благодаря стараниям Серого Преосвященства была "подготовлена почва для революции, а из революции вышел... наполеоновский империализм и, как реакция на него, прусская империя и катастрофы XX века"). В последние десятилетия, проведенные в Америке, Хаксли напишет свои знаменитые философско-религиозные трактаты, романы-притчи, утопию "Остров" (1962). В этот период идеалом для Хаксли становится мистическая, дзэн-буддистская идея растворения в божественной первооснове путем самосозерцания, что отчасти и становится предметом размышлений в книге. Все главы исследования, представляющие разные жанры, объединены общей темой и проблематикой. Хотя часто возникает ощущение несвязанности, неорганичности повествования – эпизоды с элементами авантюрного сюжета сменяются несколько затянутыми размышлениями о мистической традиции в христианстве. Переходы от одной главы к другой порой могут показаться нелогичными и ничем не мотивированными. Необходимость пространной главы о мистицизме становится понятной только в последней части (ибо, как заявит писатель, лишь в нем заключено спасение для человечества).

Так что же за повествование перед нами? *Биография* ли это? Несомненно да. Причем биография художественная, с привкусом некой героичности, будто намеренно облагороженная, но без каких-либо откровенно романтических домыслов. Хаксли оправдывается перед читателями, что предпочитает достоверные события вымышленным, ибо "правда гораздо причудливее, богаче и интереснее вымысла". Главный персонаж и объект пристального изучения в книге – Франсуа Леклер дю Трамбле, также известный как барон де Маффлие, молодой человек знатного происхождения, получивший великолепное образование и наделенный всеми задатками для того, чтобы сделать политическую или дипломатическую карьеру. Хаксли прослеживает его жизненный путь от рождения до смерти, показывая, как юный благочестивый Франсуа превращается в интригана и авторитетнейшего политика. Будущий помощник Ришелье посвящает себя церкви, обучается начаткам мистической теологии, ведет суровый аскетический образ жизни, становится членом монашеского ордена и постепенно превращается в Жозефа Парижского – правую руку кардинала, которого он порой превосходит в неуклонной решимости и мужестве ("Я потерял опору, – повторял Ришелье после смерти друга, – я потерял опору").

Вместе с тем "Серое Преосвященство" — это и *исторический роман* с элементами литературного вымысла. Центральное событие — Тридцатилетняя война, в развязывании которой одну из главных ролей и сыграл отец Жозеф. Место действия — Франция XVII столетия с ее роскошью и жестокостью. Основные действующие лица — Серое и Пурпурное (Ришелье) Преосвященства, король, мушкетеры, монахи-капуцины. Чем не сюжет для авантюрного романа, скажем, Дюма?

Книга отличается фактографической полнотой; впрочем, Хаксли довольно осторожно отбирает исторические события. Его интересуют прежде всего те, в ходе которых "выковывается очередное звено в судьбе отца Жозефа". Отсюда явная непоследовательность в изложении конкретных событий.

В духе приключенческих романов описывает Хаксли дипломатические миссии, которые выполняет Серое Преосвященство, его политические интриги и авантюры. Автор подчеркивает "ненормальность духовной жизни отца Жозефа, одной своей частью сосредоточенной вокруг Бога, другой — вокруг слишком человеческих стремлений; отсюда — общины строгих молитвенниц, которых он так заботливо наставлял в искусстве медитации и к которым в то же время обращался как к молитвенным машинам для материализации конкретных выгод". Интересы Франции принимались им (с наивностью духовного лица или с расчетливостью виртуозного дипломата) за интересы истинного католицизма, он верил в ее провиденциальное Божественное назначение. Он призывал весь христианский мир к крестовым походам против турок, намеренно усиливал раздоры между Францией и Габсбургами.

Эта книга — еще и своего рода *психологический очерк* об уникальной, феноменальной личности XVII столетия. Хаксли постоянно указывает на дуализм, противоречивость природы своего героя — в отце Жозефе сочетаются пророк Иезекииль и Тенеброзо-Кавернозо ("tenebroso-cavernoso" — в переводе с итальянского "темный-пещерный" — прозвище, данное ему Ришелье), Меттерних и Савонарола. Он — францисканский проповедник и мистик, изощреннейший, жестокий политик и изобретательный дипломат. В зависимости от обстоятельств он виртуозно играет ту или иную роль, но, что любопытно, переход от одной роли к другой совершается им, как правило, неосознанно, по наитию.

Отца Жозефа автор постоянно сравнивает с великими диктаторами XX столетия — Лениным, Сталиным, Гитлером. Сами или с помощью своих ближайших сподвижников они создали о себе миф как о "посюсторонних" искупителях, которые ради грядущего счастья человечества берут "на себя ответственность за творимое ими зло..." Следуя логике Хаксли, не будь монаха Жозефа, история современности была бы совершенно иной.

"Нет такого эпизода в истории, который не имел бы никакого отношения к каждому из последующих эпизодов", — пожалуй, именно эта идея исторической преемственности, генетической связанности вселенских процессов и становится центральной в книге. "Но в практическом смысле, — продолжает Хаксли, — некоторые события оказывают на дальнейшее больше влияния, чем другие. Этот монах, например... — видит Бог, он как будто бы достаточно далек от наших современных забот. Но на самом деле если мы присмотримся к его биографии чуть пристальнее, то обнаружим, что его мысли, чувства и желания существенно повлияли на состояние мира, в котором мы живем сегодня".

Также мы легко можем отыскать в этой книге черты *философско-политического, религиозного*

трактата. Исследуя одну историческую личность, Хаксли приходит к глобальным обобщениям. Он вовсе не ставит своей единственной целью, как может вначале показаться, только нарисовать психологический портрет отца Жозефа или увлечь читателей перипетиями авантюрного сюжета. Главный вопрос исследования, завуалированно или прямо ставящийся в каждой главе, — возможен ли союз политики и религии? Герой Хаксли воплощает собой отрицательный ответ на этот вопрос. Центральная тема — история человека, безуспешно пытавшегося примирить политику и религию, мир здешний и потусторонний; история "хорошего человека", который начал заниматься государственной политикой в надежде насильственно "затолкать человечество в Царство Божие".

Пространственно-временные границы в книге разомкнуты: события XVII века постоянно проецируются Хаксли на современность. "Дорога, по которой ступали его босые огрубелые ноги, непосредственно вела в Рим Урбана VIII. В отдаленном смысле она привела к августу 1914 года и к сентябрю 1939-го" — это на первый взгляд парадоксальное заявление и есть главный вывод Хаксли.

История отца Жозефа — история изживающей себя религии: посвятив жизнь созерцанию Христовых мук, христиане тех времен "не отличались исключительной сострадательностью". Но самое удивительное то, что монах Жозеф, жестокий, прагматичный, ни перед чем не останавливающийся, отнюдь не вызывает негодования или возмущения — по крайней мере у Хаксли. В заключение автор приводит любопытный эпизод: тело отца Жозефа захоронили рядом с могилой Анжа де Жуайеза — монаха-дворянина, принявшего его в орден. А через несколько дней на могильной плите появились две строчки, выведенные анонимной рукой:

Passant, n'est-ce pas chose etrange
Qu'un demon soit pres d'un ange?
(Прохожий, не странно ли,
Что бес покоится рядом с ангелом?[1]

Разве не было бы это лучшим способом изящно и логично подвести повествование к финалу? Но только не для Хаксли. "Написать на человека эпиграмму всегда проще, чем понять его", — заключает он, завершая свой труд. Что же заставляет его оправдывать поступки отца Жозефа? Отчего они не вызывают у Хаксли праведного гнева? Вероятно потому, что Серое Преосвященство был последним истинным мистиком, верным последователем Бенета из Канфилда — основателя мистической традиции в христианстве (ее истории в книге отводится целая глава). А мистики для Хаксли — "те каналы, по которым хоть какое-то знание о реальности просачивается в человеческую вселенную невежества и иллюзий. Окончательно лишенный мистиков мир будет миром окончательно слепым и безумным". Это главное предостережение Хаксли, которое он адресует своим современникам, уверенно шагающим по пути, ведущему во мрак. Писатель берет на себя проповедническую миссию и предлагает один из возможных способов свернуть с этой дороги — самосозерцание и единение с Богом через мистицизм или буддизм. Сам Хаксли позже отыщет еще один способ "идентифицироваться" со своим ego — через наркотические, мескалиновые переживания, которые он опишет в знаменитых эссе "Двери восприятия", "Рай и ад".

Хаксли исследует христианскую мистическую традицию, уже находясь под сильнейшим влиянием буддизма. Он постоянно призывает христианскую религию учиться у буддистской как религии просветленной, ибо в ней

1. Имя Жуайуза — Анж (Ange) по-французски значит "ангел".

"католицизм нашел бы весьма полезные коррективы для своей на удивление произвольной теологии с элементами первобытной жестокости, унаследованными от наиболее суровых частей Ветхого Завета, с его постоянной и опасной поглощенностью мучениями и смертью, с его тщательно обоснованной верой в магическую действенность обрядов и таинств".

В своем эссе "Писатели и читатели" (ИЛ, 1998, № 4) Хаксли писал: "Развенчав Библию и заменив изучение мертвых языков более полезными на первый взгляд предметами, торжествующая наука завершила процесс духовного разъединения, начатый ею в ту пору, когда она подорвала веру в трансцендентальные религии и подготовила почву для позитивистских суеверий — национализма и преклонения перед диктаторами. Будущее покажет, найдет ли она способ вновь собрать этого разбитого вдребезги Шалтая-Болтая". Хаксли, кажется, находит способ. С настойчивостью провидца, убежденного в своей правоте, он предлагает отказаться от идей антропоцентризма, приведшего мир к тоталитаризму, изучать теоцентрическую теорию и самосовершенствоваться. Впрочем, относительно ближайшего будущего человечества Хаксли делает довольно пессимистические прогнозы: до тех пор, пока не войдут в обыкновение "методы политики добра... и практики созерцания, <...> бесконечно будут продолжаться до унылости знакомые шатания от крайнего зла к половинчатому, саморазрушающемуся благу — шатания, из которых и состоит история всех цивилизованных обществ".

Алиса Романова

Италия

Когда лучшее — друг хорошего

Италия считается одной из самых читающих стран Европы: по опросам, 55 % граждан этой страны причисляют себя к книгочеям — это больше, чем в Испании или Греции, хотя меньше, чем во Франции. Кто же пользуется наибольшим успехом у итальянской публики? Во-первых, молодые авторы: Андреа де Карло, Рокко Фортунато, Марчелло Фойс и Эрри де Лука; во-вторых — классики и книги о классиках, каждый раз открывающие новые аспекты жизни и творчества великих литераторов. Таковы и очередные новинки.

"Данте" Энрико Малато — это взгляд на жизнь и творчество поэта через призму его дружбы-вражды с писателем Гвидо Кавальканти. Именно эти отношения определили, в частности, содержание "Божественной комедии", которую Э. Малато называет "сведением счетов". Вот лишь один из примеров: "Любовь — безотчетный и неуправляемый естественный порыв", — утверждал Кавальканти. "Нет, ею руководит надежный советчик — разум", — возражал Данте.

Гениальный ум, он находил истину, а в явлениях, казалось бы несовместимых, — общность. На такую мысль наводит книга "Две руки Бога" Франко Ферруччи, который считает, что в "Божественной комедии" отражено тяготение христианской веры к слиянию с язычеством.

Витторе Бранка — составитель и редактор солидного трехтомника с международным составом авторов "Боккаччо в иллюстрациях: Поведано словами и рисунками от Средневековья до Возрождения" (издательство "Эйнауди") — избрал особый путь исследования литературного процесса. Издание представляет собой сборник очерков о связи литературы и живописи в иллюстрациях к произведениям Боккаччо, дополненных репродукциями самих рисунков, картин, гравюр, декоративной росписи и чеканки итальянских, французских, фламандских, английских, испанских и немецких мастеров. Собственные работы Джованни Боккаччо исследователь представил в переиздании "Декамерона" (издательство "Леттере"), куда также включил свыше 500 произведений его великих иллюстраторов XIV и XV веков. Боккаччо был, безусловно, одним из первых рассказчиков на языке рисунка, и эта часть его творческого наследия еще послужит основой для новых изысканий — на сей раз в области истории искусства.

Великобритания

Теория Дарвина: кто автор?

В 1858 году Чарльз Дарвин, получив письмо от своего коллеги, находившегося в экспедиции в районе современной Индонезии, потерял покой. Ведь в этом письме 35-летний Альфред Рассел Уоллес изложил основу теории естественного отбора, которая открылась ему в момент лихорадочного озарения (он болел тогда малярией). "Теперь от оригинальности моей идеи — сколько ее ни есть — не останется и следа", — написал Дарвин. Но судьба была благосклонна к нему, а не к сопернику — своеобразному Ватсону при Шерлоке Холмсе.

Надо сказать, что жизнь поначалу вообще уводила Уоллеса от мира науки. Семья жила трудно, и он, простившись со школой в тринадцать лет, пошел в подручные к брату-топографу. Но в двадцать пять лет он познакомился с Г. У. Бейтсом (будущим известным биологом), и оба отправились на берега Амазонки, где собирали образчики растений и животных на продажу коллекционерам и музеям.

Научная мысль Альфреда работала независимо от того, платили ли ему за исследования. В результате этой поездки и ряда путешествий в Юго-Восточную Азию, Австралию, на острова Борнео и Бали ему удалось открыть биогеографический принцип распределения животных и растений, а его дневники вошли в число лучших книг о путешествиях. Читая их, забываешь, что автор посещал экзотические страны не в качестве праздного туриста, а вел там интенсивную на-

учную работу. Например, в книге "Малайский архипелаг" Уоллес так описывает встречу с одним из крупных видов бабочек: "Я весь задрожал от волнения, когда увидел, как она величественно летела прямо на меня; я просто не верил в свое счастье и поверил лишь тогда, когда вынул ее из сачка, а сам, как зачарованный, восхищенно глядел на черный бархат и сверкающие изумруды ее крыльев размахом в семь дюймов, золотистое тельце и малиновую грудку. Конечно, подобных насекомых я встречал и раньше; но одно дело увидеть в зоокабинетах, под стеклом коллекции, и совсем другое — поймать собственными руками, ощутить, как она бьется между пальцами, глядеть и не наглядеться на ее свежую, живую красоту, на этот драгоценный камень, ослепительно сверкающий среди мрачной тишины темного, дремучего леса. В тот вечер в деревне Доббо был по крайней мере один счастливый человек". Не случайно поэт, романист и критик Г. К. Честертон считал Уоллеса, наравне с Уолтом Уитменом, одним из кандидатов на звание самой выдающейся фигуры XIX века.

Действительно, в 1862 году этот "счастливый человек" вернулся в Англию знаменитым. Но в отличие от Дарвина, он остался бедным и безработным. Почему? Очевидно, потому, что после того письма Дарвин бросил все силы на доработку своей теории, опубликовав по прошествии почти двадцати лет сомнений "Происхождение видов", а затем еще десять книг в развитие темы. Уоллес же не сумел — или не захотел — посвятить себя одной, пусть и очень важной, проблеме. Он тоже писал статьи и книги (в общей сложности более шестисот) — но о чем?! О социализме и национализации земли, о пацифизме и избирательном праве для женщин, о спиритизме (поддержав который, отрекся от ортодоксальной религии и рассорился с учеными), о малой вероятности разумной жизни на других планетах и вреде прививок от оспы...

Кроме того, Дарвин всегда старался избегать споров и конфронтации (отчего тянул с публикацией своего революционного труда); Уоллес же очертя голову бросался в научную драку, если ему казалось, что попирается истина или человеческая справедливость. Услышав заявление некоего сумасброда о том, что факт выпуклости поверхности воды недоказуем, Уоллес сразу принял вызов. Опираясь на свой топографический опыт, он сделал блестящие выкладки и подтвердил искомый факт, но оппонент нарушил все договоренности и, вместо обещанных призовых, 500 долларов, замучил беднягу многолетними судебными тяжбами.

Попутно Уоллесу приходилось сражаться и с другими, часто весьма известными противниками. Защищая спиритизм, он вступил в полемику с философом Дэвидом Хьюмом, определявшим чудо как "нарушение законов природы". Это неверно, заявил Уоллас: ведь эти законы известны лишь отчасти. Затем наступил черед проповедников превосходства белой расы. Пожив бок о бок с ее "низшими" представителями, Уоллес стал лучшего мнения о человеческой природе вообще и постоянно выражал свое удивление поразительными способностями народов, стоящих на низших ступенях общественного развития, но потенциально готовых к познанию и изучению любых дисциплин и наук, известных лишь просвещенным европейцам.

Звезда ученого быстро померкла после его смерти в 1913 году. Но сегодня для него настала эпоха возрождения. Документальная повесть Сандры Кнапп "Следы в лесу: Альфред Рассел Уоллес на берегах Амазонки" (издательство "Нэчурэл хистори мьюзиум") стала данью памяти скромному слуге науки, умелому рассказчику и безоглядному борцу за истину.

Мексика

Кафка-сын и Кафка-писатель

Не совсем обычную интерпретацию жизни и творчества Франца Кафки предложил известный не только в Мексике, но и за ее пределами писатель и издатель Сеальтиель Алатристе. Точнее говоря, не совсем обычна главная героиня и рассказчица, от лица которой написана книга: это мать Кафки, Юли, урожденная Лёви. Об отце знаменитого писателя и о его роли в жизни Кафки известно достаточно много, но голос его матери, пожалуй, впервые звучит со страниц книги.

"Ущерб" (мадридское издательство "Эспаса") начинается с размышлений матери писателя: Сеальтиель Алатристе как бы предлагает читателю попытаться проникнуть в ее сознание. Замысел автора, бесспорно, очень интересен, но, к сожалению, ему не удалось в

полной мере раскрыть внутренний мир своей героини. После нескольких первых глав голос госпожи Лёви постепенно становится все тише, и его сменяет голос автора-эссеиста, и от этого "Ущерб" в значительной мере утрачивает свою правдоподобность. Возможно, современному мексиканскому литератору показалось слишком сложно перевоплотиться в столь малоизвестную и оттого довольно загадочную личность. Возможно, фактов и биографических данных оказалось слишком мало для целой книги. Понятно желание С. Алатристе восстановить справедливость по отношению к далеко не последнему человеку в жизни Франца Кафки (о значении отца в жизни Кафки написано немало, тогда как образ матери оставался в тени). Писатель искренне пытался воссоздать образ женщины, которую он определил как главную героиню своей книги, но, видимо, в реальной жизни она действительно не играла главных ролей, и сведений о ней оказалось явно недостаточно.

В самом деле, отец писателя был личностью более яркой и известной последующим поколениям, хотя и малосимпатичной: вспыльчивый, заносчивый, нетерпимый лавочник, считавший себя авторитетным знатоком по всем проблемам — от повседневных до философских. В домашней обстановке он проявлял себя как типичный тиран, и жена всю жизнь зависела от него, безропотно помогая ему в лавке. Угодливо смеясь его шуткам, подстраиваясь под его плохое настроение, госпожа Лёви не имела душевного мужества, чтобы защитить сына, и старалась при всяком удобном случае воспользоваться отсутствием мужа, чтобы лишний раз приласкать Франца. Известно, что, даже целуя перед сном маленького Франца, она была вынуждена делать это украдкой, скрывая от мужа проявление материнских чувств. Известно также, что склонность сына к литературе она воспринимала как преходящее увлечение, а его литературные занятия — как простое времяпрепровождение. Меж тем для самого Кафки литература никогда не противоречила жизни, она служила ее оправданием и даже обладала исцеляющей силой.

США

Жены Цезарей — вне подозрений?

Богиня, королева — и изнасилование: допустимо ли такое? Да — если судить по древнегреческому мифу о похищении Елены Прекрасной и древнеиндийскому мифу о похищении Ситы. Нет — если судить по более поздним вариантам этих мифов, на которые опирается Уэнди Дониджер в книге "В поисках компромисса: вопросы пола и миф в Древней Греции и Индии" (издательство "Чикаго"). Слово исследовательницы весомо: она является специалистом по истории религий и культуре стран Юго-Восточной Азии, знает санскрит и хинди, а также древнегреческий и латынь.

В гомеровской "Илиаде" Парис выкрал Елену, ее венценосный супруг пошел войной на Трою, сразился с обидчиком и победил. В эпической поэме "Рамаяна" демон Равана выкрал царицу Ситу, царь Рама пошел войной на Цейлон и отомстил вероломному сопернику. Несмотря на очевидное торжество справедливости, последующие рассказчики узрели большую оплошность в таком изложении событий: не пристало коронованной особе быть замешанной в прелюбодеянии. На нее не должна упасть и тень подозрения в супружеской измене, не говоря уже о факте применения к ней грубой физической силы. Чтобы красавица оставалась кристально чистой, нужен просто призрак-двойник.

Вариант с подставной Еленой угадывается в произведениях Эсхила и Геродота и звучит открыто в опусе Платона, посвященном покаянию Стезихора. Этот древнегреческий автор вынужден признаться, что оклеветал Елену: в Трое была не она, а ее призрак. Аналогичное алиби получила к XV веку и Сита. Зная, что Равана намерен овладеть его женой, Рама посоветовал ей подсунуть тому двойника-тень, а самой отсидеться в укромном месте.

Но почему истории со спасенной добродетелью не прижились, а с поруганной честью — прославились? Ответ прост: коварные призраки получились колоритнее, а потому привлекательнее, чем сама невинность с ее неземным совершенством. Даже Рама начинает горевать по обесчещенной, словно забыв, что она — не его Сита.

Идея разделения личности героини надвое — с одной стороны, подлинная и безгрешная, а с другой — фальшивая и порочная — не оригинальна, замечает исследователь-

ница. Перенесение греха на некоего козла отпущения с целью отмежеваться от отрицательного опыта — испытанный психологический прием. С помощью подобного компромисса легче сохранить какую-либо высшую ценность, даже если она утратила свое безусловное значение. Но живое тянется к живому, и поклонники мифологии потянулись не к божественным созданиям, а к грешным, страстным и страдающим, а потому более земным "двойникам".

Безопасный секс с чувством юмора

Есть ли на свете нечто такое, что невозможно обсуждать? Да, это анекдоты. Их можно только рассказывать, причем эти произведения устного творчества не терпят повторений или разъяснений, от которых теряют весь блеск и убийственную смехотворную силу. Поэтому, взявшись теоретизировать в книге "Анекдоты: философские мысли на тему смешного" (издательство "Чикаго"), исследователь Тед Коэн рисковал показаться скучным и занудным на фоне комментируемого материала.

Во-первых, анекдоты не всегда являются безобидным орудием смеха, напоминает автор. Невинны лишь загадки с забавным подвохом типа "Что общего между Александром Македонским и Винни Пухом?" ("Оба имени — без отчеств"), где не задеты, например, национальные чувства. Иное дело шутка про немецкую еду: "Она такая, что сколько бы ни съел — через час все равно изголодаешься по власти". Соль этого юмористического блюда теряется для тех, кому не по нраву такое изображение немцев. Далее, как быть с приличиями в шутках на сексуальные темы? ("Эксгибиционист хотел было прикрыть свое дело хотя бы на год, но потом решил: 'Нет. Раскрывать талант — так до конца!'") Наконец, как расценивать элемент жестокости и цинизма, особенно в "медицинских" анекдотах? ("В кабинет психиатра вбегает мужчина с криком: 'Доктор, помогите! Мне всю ночь снились кошмары: то я мать изнасиловал, то жену убил, то дочку совратил... Утром проснулся весь в холодном поту, на ходу перехватил кофе с гренками — и прямо к Вам'. — 'Какой ужас! Разве это завтрак?!'") Юмор здесь, безусловно, черный. Но не разобщает ли людей такой юмор?

Если посмотреть в корень, то все происходит наоборот, утверждает Т. Коэн. Конечно, неизвестный сочинитель подтрунивает над национальной немецкой чертой, но ему вторят смехом другие, потому что подмечено действительно остроумно, и отрицать это не могут даже недовольные. Отклик-смех объединяет людей, через него они находят точку соприкосновения. Ведь если слушатель смеется вместе с рассказчиком — значит, он разделяет его чувства, то есть смотрит на ситуацию с тех же позиций. Человек вольно или невольно стремится обрести родственную душу, ибо никто не хочет быть уникальным до полного отчуждения; смех "за компанию" помогает объединиться легче и быстрее, чем все иное. Кстати, он же позволяет выявить и обратное: если вам не смешны чьи-либо шутки или ваши остроты не встречены смехом — это может означать, что вы выпали из своей среды, что окружающие вас люди чужды вам по убеждениям или образу мысли.

Что касается аморальности сексуальных анекдотов, то автор ссылается на теорию Фрейда, по которой вообще все шутки сексуальны. Таким образом, если согласиться с тем, что юмор сближает людей, открывая нечто самое главное в них самих или, во всяком случае, нечто такое, чего нельзя не признать и не оценить, то можно найти в нем определенное сходство с сексуальным желанием, а в анекдотах — с безопасным сексом. Современный человек, который неизбежно вынужден постоянно контролировать свое поведение и свои поступки, скорее оценит все непроизвольное — тот же смех или сексуальное желание. И в какое бы нравственное смятение ни повергла его фривольная шутка, именно она может оказаться тем, что его воодушевляет.

По материалам газеты "Паис" (Испания), журналов "Лондон ревью оф букс" (Великобритания), "Кензен литтерер" (Франция).

Анджей Стасюк
Andrzej Stasiuk
[р. 1960]. Польский прозаик и поэт, лауреат нескольких литературных премий.

Автор поэтического сборника *Стихи любовные и нет* [*Wiersze miłosne i nie*, 1994], сборников рассказов *Стены Хеврона* [*Mury Hebronu*, 1992], *Через реку* [*Przez rzekę*, 1995], *Дукля* [*Dukla*, 1997], романов *Белый ворон* [*Biały kruk*, 1995], *Через реку* [*Przez rzekę*, 1996] и *Девять* [*Dziewięć*, 1999]. В *ИЛ* [1998, № 4] напечатаны его рассказы из сборника *Галицийские рассказы*.
Публикуемые рассказы взяты из газет Тыгодник повшехны [Tygodnik Powszechny, 1999, № 3], Газета выборча [Gazeta Wyborcza, 1999, № 67] и из сборника рассказов *Дукля* [Gładyszow, wydawnictwo Czarne, 1997].

Мишель Уэльбек
Michel Houellebecq
[р. 1958]. Французский писатель, поэт. Лауреат "Гран при" по литературе [1998].

Автор сборников эссе *Г. П. Лавкрафт* [*H. P. Lovecraft*, 1991], *Выступления* [*Interventions*, 1998], романа *Расширение пространства борьбы* [*Extension du domaine de la lutte*, 1991], повести и фотоальбома под общим названием *Лансароте* [Lanzarote, 2000]. В *ИЛ* напечатана беседа с писателем [1999, № 10] и его роман *Элементарные частицы* [2000, № 10].
Эссе *Оставаться живым* [*Rester vivant*] впервые вышло в Париже в 1991 г. в издательстве Éditions de la Différence. Публикуемые стихи взяты из сборников *Смысл борьбы* [1996] и *Погоня за счастьем* [1997], изданных в парижском издательстве Flammarion.

Ингрид Нолль
Ingrid Noll
[р.1935]. Немецкая писательница.

Автор романов *Смерть петушка* [*Der Hahn ist tot*, 1991], *Головы моих возлюбленных* [*Die Häupter meiner Lieben*, 1993, премия им. Фридриха Глаузера], *Холодное дыхание заката* [*Kalt ist der Abendhauch*, 1996] и др., сборника рассказов *Стежок за стежком* [*Stich für Stich*, 1997] и книги повестей *Секретарша. Три истории отмщения* [*Die Sekretärin. Drei Rachegeschichten*, 2000]. На русском языке произведения Ингрид Нолль еще не публиковались.
Перевод романа *Аптекарша* осуществлен по изданию: *Die Apothekerin* [Zürich, Diogenes Verlag AG, 1994].

Михаил Львович Рудницкий
[р. 1945]. Литературный критик и переводчик с немецкого, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Инолит* [1996].

Автор книги *Перед лицом правды* [1987]. В его переводах издавались романы и повести *Короткое письмо к долгому прощанию* П. Хандке, *Искра жизни* Э. М. Ремарка, *И больше нечего желать* А. Мушга и др. В *ИЛ* напечатаны его переводы романов *Под конвоем заботы* [1988, № 11, 12] и *Завет* [2001, № 1] Г. Бёлля, *Другой процесс* Э. Канетти [1993, № 7], *Медея*. К. Вольф [1997, № 1], *Собачьи годы* Г. Грасса [1996, № 5–7], *Земля обетованная* Э. М. Ремарка [2000, № 3] и др.

Ингер Эдельфельдт
Inger Edelfeldt
[р. 1956]. Шведская писательница, поэтесса, переводчица и иллюстратор, лауреат ряда литературных премий.

Автор книги для детей *Умный мальчик* [*Duktig pojke*, 1977], романа *Густой огонь* [*Den täta elden*, 1987], сборника рассказов *Обряд* [*Rit*, 1991, премия газеты *Свенска дагбладет*], сборника стихов *Соль* [*Salt*, 1999] и др.
Новелла *Прогулка* [*Utflykt*] взята из сборника *Удивительный хамелеон* [*Den förunderliga kameleonten*. Stokholm, Norstedts, 1995, удостоенного персональной премии Ивара Лу-Юханссона, литературной премии Кар-

ла Венберга и премии газеты Гётеборгс-постен]. Эта книга скоро выйдет на русском языке в издательстве Текст.

Милан Есих
Milan Jesih
[р. 1951]. Словенский поэт и драматург, специалист по сравнительному литературоведению. Лауреат многих литературных премий Словении.

Автор сборников стихов *Уран в моче, хозяин!* [*Uran v urinu, gospodar!* 1972], *Легенды* [*Legende*, 1974], *Губы* [*Usta*, 1985] и др., пьес *Горькие плоды справедливости* [*Grenki sadeži pravice*, 1978], *Комиссия по орфографии* [*Pravopisna komisija*, 1984] и др., ряда сценариев для радио и телевидения. В его переводе в Словении изданы произведения У. Шекспира, Р. Шеридана, А. Островского, А. Чехова, М. Булгакова, Б. Нушича.
Публикуемые стихи взяты из сборников *Сонеты* [*Soneti*, 1989] и *Сонеты вторые* [*Soneti drugi*, 1993], выпущенных издательством Založba Wieser [Klagenfurt, Salzburg].

Роберт Пенн Уоррен
Robert Penn Warren
[1905–1989]. Американский прозаик, поэт, критик, лауреат многих литературных премий.

Автор романов *Ночной всадник* [*Night Rider*, 1939], *Вся королевская рать* [*All the King's Men*, 1946; премия Пулицера 1947; рус. перев. 1968], *Потоп* [*Flood*, 1964; рус. перев. 1965], *Приди в зеленый дол* [*Meet Me in the Green Glen*, 1971], *Куда мы возвращаемся* [*A Place to Come to*, 1977] и др.; двенадцати поэтических сборников, нескольких публицистических книг. В *ИЛ* напечатаны переводы его стихов из сборника *Пока еще здесь* [1982, № 4].
Публикуемые переводы выполнены по изданию Robert Penn Warren. *The Circus in the Attic and Other Stories* [New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1983].

Гао Синцзянь
[р. 1940]. Драматург, прозаик, эссеист, художник, лауреат Нобелевской премии 2000 г. С 1987 г. живет во Франции.

Автор пьес *На остановке* [1984–1985], *Другой берег* [1986], *Бегство* [1990] и др., романов *Линшань* [*Чудотворные горы*, 1990], *Библия одного человека* [1999].

Дмитрий Иванович Воскресенский
[р. 1926]. Китаист, литературовед, переводчик с китайского языка. Доцент МГУ им. М. В. Ломоносова [Институт стран Азии и Африки], профессор Литературного института им. А. М. Горького.

Автор более 120 работ по различным вопросам китайской литературы и культуры. В его переводе вышло несколько книг китайской средневековой и современной прозы, в том числе классический роман XVIII в. *Неофициальная история конфуцианцев*, городские повести XVII в. Фэн Мэнлуна и Лин Мэнчу, произведения Ли Юя [XVII в.], сборник повестей *Двенадцать башен*, роман *Вэйян Полуночник* [*Подстилка из плоти*]. Из авторов XX века переводил произведения Сюй Дишаня, Лао Шэ, Ли Чжуня, Ван Мэна, прозу сингапурских авторов.

Людвик Вацулик
Ludvík Vaculík
[р. 1926]. Чешский писатель.

Автор романов *Секира* [*Sekira*, 1966], *Морские свинки* [*Morčata*, 1973], крупных автобиографических текстов, написанных в форме дневниковых записей *Чешский сонник* [*Cesky snár*, 1981], *Как делается мальчик?* [*Jak se děla chlapec?* 1993], *Дорогие одноклассники* [*Mili spolužaci*, 1995], сборников эссе *Старая дама развлекается* [*Stará dáma se baví*, 1991], *Августовский год* [*Srpnový rok*, 1990] и др.
Предлагаемые вниманию читателей эссе были опубликованы в чешской периодике или ходили в "самиздате".

Ирина Михайловна Каспэ
Критик, культуролог.

Автор ряда публикаций по проблемам массовой культуры, русской эмиграции в НЛО и книжных рецензий в еженедельнике Ex libris.

Переводчики

Сергей Борисович Дубин
[р. 1972]. Литературный критик, переводчик с французского.

Автор ряда публикаций в *ИЛ*.

Марина Тихоновна Курганская
Переводчица с польского и английского языков.

Ее переводы публиковались в периодической печати.

Татьяна Ивановна Изотова [Касина]
Переводчица с польского и английского языков, журналист, эссеист.

Переводила произведения Ч. Милоша, Е. Пильха, П. Марцинкевича, Ф. С. Фицджеральда, Н. Толстого-Милославского и др. Участвовала в переводе книги американского литературоведа Б. Бойда о В. Набокове. Автор цикла статей о современной польской литературе, публиковавшихся в Независимой газете, и материалов по теории перевода.

Ирина Исаевна Кузнецова
Переводчик с французского. Лауреат премии *Инолиттл* [1997], премии им. Мориса Ваксмахера [1999].

Переводила стихи Г. Аполлинера, А. Рембо, Ш. Кро, Б. Ноэля, А. Боске, романы А. де Виньи, А. Ланжевена, С. Пру, Колетт, А. Камю, Х. Семпруна. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны повесть *Ни завтра, ни потом* В. Денона [1997, № 5], *Письма Симоны де Бовуар к Нельсону Олгрену* [1998, № 7], фрагменты книги Н. Саррот *Откройте* [1999, № 5] и др.

Григорий Алексеевич Шевченко
[1941—1999]. Филолог-германист, литературный и кинокритик, переводчик с немецкого языка.

Автор статей о творчестве Э. Т. Гофмана, братьев Гримм, Э. Юнгера, Г. Грасса, Г. Бёлля, о кинорежиссерах В. Герцоге и В. Вендерсе и др. В его переводах опубликованы книги Г. Скурлы *Александр Гумбольдт* [1985], К. Бетца и Х. Хольцера *Телеэкран — неограниченное господство?* [1987], эссе Г. Зиммеля *Конфликт современной культуры* [1996] и др.

Елена Юрьевна Ермалинская
Переводчица с шведского языка.

В ее переводе была опубликована новелла для подростков Х. Манкеля *Мальчик, спящий на заснеженной кровати* [2000].

Жанна Владимировна Гилёва
Переводчик со словенского, сербского и македонского языков.

Ее переводы печатались в сборнике *Весь свет* [М., Молодая гвардия, 1985]. В *ИЛ* в ее переводе были опубликованы стихи Алойза Ихана [1999, № 4], Анте Поповского [2000, № 2], а также рассказы Г. Петровича [2000, № 9].

Олеся Леонидовна Качанова
Переводчица с английского, выпускница Литинститута им. А. М. Горького.

В ее переводах опубликованы рассказы Т. Капоте и И. Хантера.

Анастасия Николаевна Власова
Переводчица с английского, выпускница Литинститута им. А. М. Горького.

В ее переводах публиковались рассказы Т. Капоте и Б. Мальцберга.

Александра Алексеевна Урубкова
Переводчица с английского, выпускница Литинститута им. А. М. Горького.

Печатается впервые.

Григорий Михайлович Дашевский
[р. 1964]. Поэт, переводчик с английского, немецкого, французского и латыни.

Автор трех сборников стихов, последний — *Генрих и Семен* — вышел в 2000 г. В его переводах выходили эссе И. Бродского, стихи поэтов древнего Рима, теологические работы К. Барта, Д. Бонхёффера, произведения Ф. Йейтса, Р. Жирара, О. Хаксли. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Дина Валерьевна Крупская
Переводчица с английского.

В ее переводе опубликован роман Ф. Флэгг *Жареные зеленые помидоры в кафе "Полустанок"*; готовится к печати роман Р. П. Уоррена *Дебри*.

Людмила Владимировна Мотылева
[1973—2001]. Переводчица с английского.

Ее переводы рассказов, эссе, документальной прозы англоязычных авторов авторов публиковались в периодических изданиях, в т. ч. в *ИЛ* [1995, № 2, 10; 1999, № 6; 2000, № 5].

Юзеф Васильевич Пресняков
[р. 1935]. Переводчик с немецкого, чешского, словацкого, английского, нидерландского языков. Лауреат премии им. Подъяворинского [1985].

Автор книги для детей *Древний Рим* [1996]. Переводил с чешского языка произведения Я. Гашека, В. Ржезача, Л. Вацулика.

«АНГЛИЯ» Британские книги

МОСКВА, Хлебный пер., 2/3, м. Арбатская. Тел.: (095) 203-5802
С.-ПЕТЕРБУРГ, Набережная р. Фонтанки, 40. Тел.: (812) 279-8284

Часы работы: **пн., вт., ср., пт. с 10 до 19**
чт. с 10 до 20
сб. с 10 до 18
вс. с 11 до 17
без перерыва

РЕГУЛЯРНО В КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

- Авторские чтения
- Лекции специалистов и ведущих переводчиков по английской и американской литературе
- Детские праздники
- Английский дискуссионный клуб и многое другое

Информацию о наших мероприятиях вы можете получить
по телефонам: 203-58-02 и 203-44-03

Мы также выполняем индивидуальные заказы на любые книги, изданные в Великобритании и в США

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОТЕКАМ И УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ!

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных особняков Замоскворечья
разместились
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

л и н и я - а р т

Среди ведущих авторов Галереи известные московские художники, представители поколений 60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ ▫ ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ ▫ АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ ▫ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ ▫ ИГОРЬ КИСЛИЦЫН ▫ АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ ▫ ОЛЬГА БУЛГАКОВА ▫ СЕРГЕЙ [illegible]ИЛА ПОПЕНКО ▫ ОЛЕГ СЛЕПОВ ▫ КАТЯ

Галерея открыта для посетителей
по предварительным заявкам с 12 до 20 ч.

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❐ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❐ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❐ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❐ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки использован фрагмент картины американского художника Эндрю Уайета *"Северная точка"* (1950).

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://novosti.online.ru/magazine/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7;
"Б.С.Г.-Пресс" —
ул. Гиляровского, д. 1.
В Санкт-Петербурге —
в магазине издательства "Азбука" —
ул. Решетникова, д. 15.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 5.04.2001.
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 4689.
Тираж 12 850 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий",
103473, Москва,
Краснопролетарская ул., 16.

Общественно-публицистический иллюстрированный журнал

ПЕРСОНА - журнал для широкого круга читателей, ставящий своей целью раскрытие качеств, которые формируют персону. У нас это личность, обремененная культурными традициями. Герои журнала - те, кто определяет лицо России в XXI веке. Мы рады всем, кому небезразлично состояние нашего общества вообще и культуры, в частности. Наша задача - напомнить о вечных ценностях, рассказать о выдающихся современниках и уже вошедших в историю персонах.

Подписной индекс **38678** Объединенный каталог "Подписка-2001"

Адрес редакции: 121019, г.Москва, ул. Новый Арбат, 21 Тел.: 290-19-85, 291-20-05.

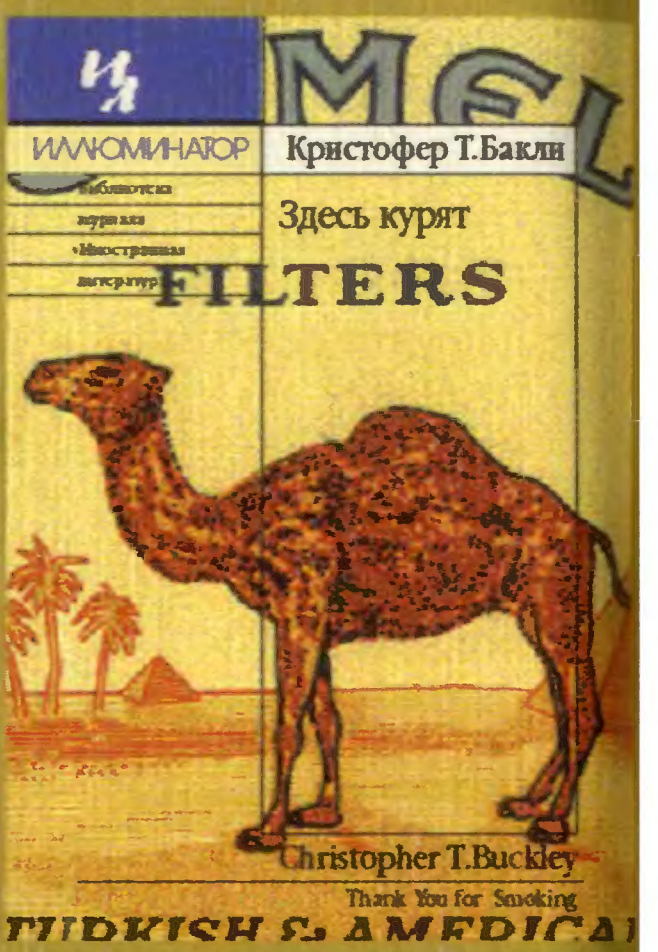
---

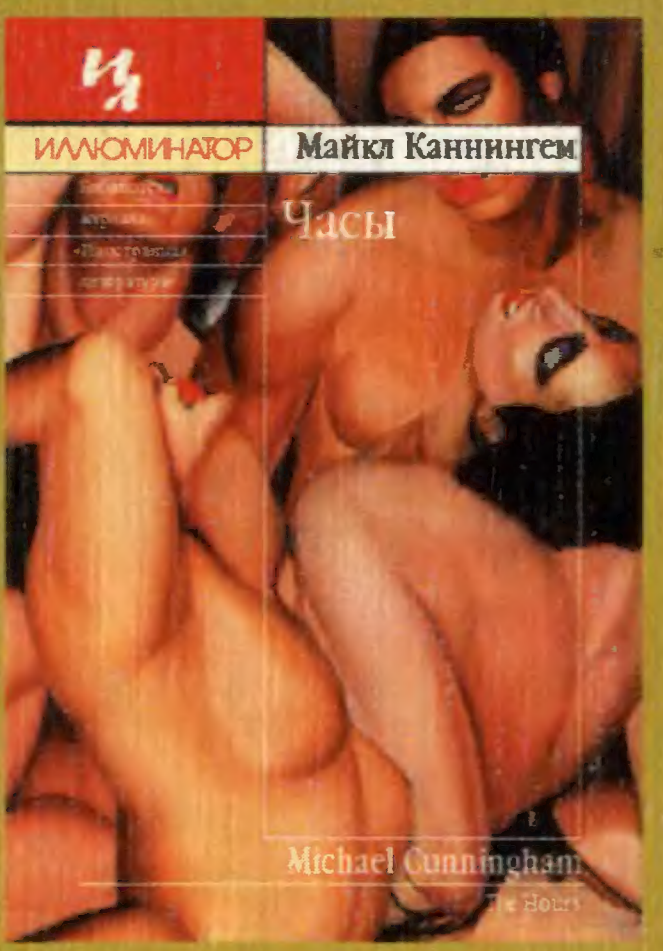
[6] 2001

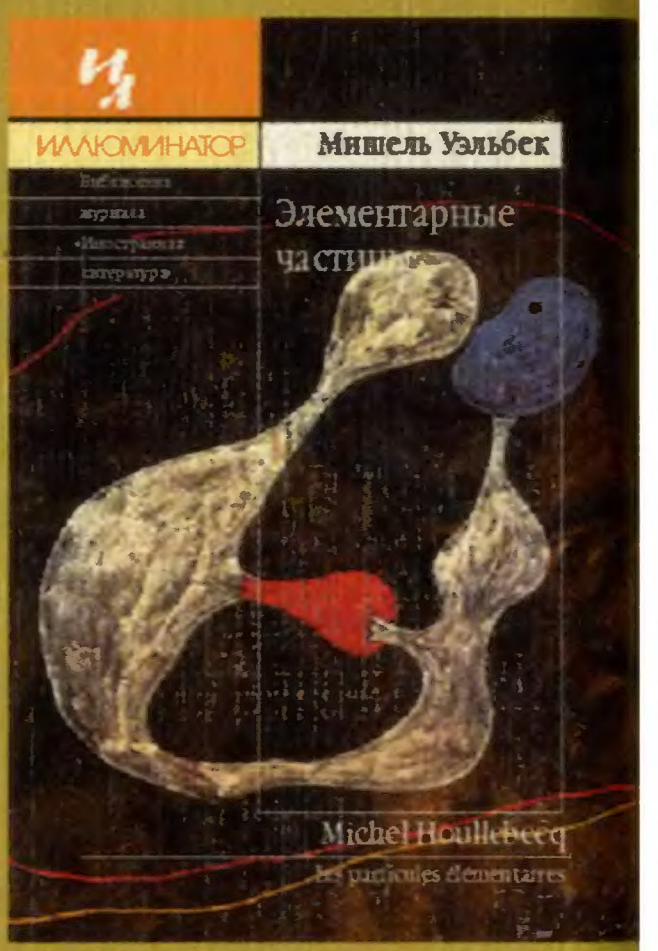
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "ХУЛИО КОРТАСАР, ИЛИ САМЫЙ ВЕЛИКИЙ ХРОНОП" / "СТИХИ ЛЮБВИ И ВОСТОРГА" ПЕРСИ БИШИ ШЕЛЛИ В РУБРИКЕ "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" / РОМАН ГИЛБЕРТА АДЭРА "ЗАКРЫТАЯ КНИГА" / "ДАРУЙ ЕМУ ЯЗЫК": ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ БАСНОПИСЦА ЭЗОПА В ИЗЛОЖЕНИИ ХАНСА ИОАХИМА ШЕДЛИХА

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

ИЛЛЮМИНАТОР







024. Алессандро Барикко “Море-океан” **025.** Бруно Шульц “Коричные лавки”. “Санатория под Клепсидрой” **026.** Кристофер Т. Бакли “Здесь курят” **027.** Берил Бейнбридж “Мастер Джорджи” **028.** Майкл Каннингем “Часы” **029.** Мишель Уэльбек “Элементарные частицы”

В нашей новой книжной серии “**Иллюминатор**” читайте
лучшие произведения мировой литературы в лучших переводах

По вопросам оптовых закупок обращаться в редакцию журнала “Иностранная литература”
Факс: (095) 953 5061, e-mail: inostranka@rinet.ru